

ЗНАМЯ

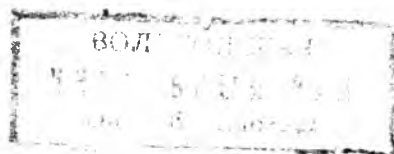
ЖЕ М Е С Я Ч Н Ы Й
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ СССР

175/70.

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

КНИГА ПЕРВАЯ • ВТОРАЯ



О Г И З

МОСКВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1942

СОДЕРЖАНИЕ

- Приказ Народного Комиссара Обороны товарища Сталина
Стихи о Ленине: **СТЕПАН ШИПАЧЕВ, АНДРЕЙ МАЛЫШКО**
П. ПАВЛЕНКО — Русская повесть
Стихи: **ПЕРЕЦ МАРКИШ** — Партизаны. **П. АНТОКОЛЬСКИЙ** — Баллада о трех братьях
Ю. ЛЕБЕДИНСКИЙ — Гвардейцы. Повесть
V Стихи: **К. СИМОНОВ** — Пехота. Три стихотворения. **А. СУРКОВ** — Друж-
ям. **М. ИСАКОВСКИЙ** — Зима
ЛЕОНИД СОБОЛЕВ — Черная туча. Рассказ
АНДРЕЙ МАЛЫШКО — Цикл стихов — Моя Украина

НА ВОЕННЫЕ ТЕМЫ

- Генерал-майор **А. САМОХИН** — Красная Армия в оценке иностранной печати
РАЛЬФ АРТУР ПАРКЕР, корр. газеты «Таймс» — Красная Армия глазами иностранца
А. ЕРУСАЛИМСКИЙ — Моральный облик гитлеровского офицера



- Генерал-майор **А. А. ИГНАТЬЕВ** — 50 лет в строю, часть III

С ФРОНТА

- В. КОЖЕВНИКОВ** — Рассказы о войне
Ю. ЖУКОВ — Бои бригады Катюкова
Л. РЕШЕТНИКОВ — Дневник войны, цикл стихов
А. МАЦКИН и А. ШАРОВ — Ростовские записки

Рецензии

- Проф. **ПИЧЕТА** — Великий полководец
Б. ЧЕРНЯК — Албанцы в борьбе с немецкими оккупантами
Н. ВЕНГРОВ — Испания, Париж
-



ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ

23 февраля 1942 г.

№ 55

г. Москва

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки!

24-ю годовщину Красной армии народы нашей страны встречают в суровые дни отечественной войны против фашистской Германии, нагло и подло посягающей на жизнь и свободу нашей родины. На протяжении громадного фронта от Северного Ледовитого океана до Черного моря бойцы Красной армии и Военно-морского флота ведут ожесточенные бои, чтобы изгнать из нашей страны немецко-фашистских захватчиков и отстоять честь и независимость нашего отечества.

Не впервые Красной армии приходится оборонять нашу родину от нападения врагов. Красная армия была создана 24 года назад для борьбы с войсками иностранных интервентов-захватчиков, стремившихся расчлениить нашу страну и уничтожить ее независимость. Молодые отряды Красной армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля 1918 г. был объявлен днем рождения Красной армии. С тех пор Красная армия росла и крепла в борьбе с иностранными интервентами-захватчиками. Она отстояла нашу родину в боях с немецкими захватчиками в 1918 году, изгнав их из пределов Украины, Белоруссии. Она отстояла нашу родину в боях с иностранными войсками Антанты в 1919—1921 гг., изгнав их из пределов нашей страны.

Разгром иностранных интервентов-захватчиков в период гражданской войны обеспечил народам Советского Союза длительный мир и возможность мирного строительства. За эти два десятилетия мирного строительства возникли в нашей стране социалистическая промышленность и колхозное сельское хозяйство, расцвели наука и культура, окрепла дружба народов нашей страны. Но советский народ никогда не забывал о возможности нового нападения врагов на нашу родину. Поэтому одновременно с подъемом промышленности и сельского хозяйства, науки и культуры росла и военная мощь Советского Союза. Эту мощь уже испытали на своей спине некоторые любители чужих земель. Ее чувствует сейчас хваленая немецко-фашистская армия.

8 месяцев назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну, грубо и подло нарушив договор о ненападении. Враг рассчитывал, что после первого же удара Красная армия будет разбита и потеряет способность сопротивления. Но враг жестоко просчитался. Он не учел силы Красной армии, не учел прочности советского тыла, не учел воли народов нашей страны к победе, не учел ненадежности европейского тыла фашистской Германии, не учел, наконец, внутренней слабости фашистской Германии и ее армии.

В первые месяцы войны ввиду неожиданности и внезапности немецко-фашистского нападения Красная армия оказалась вынужденной отступать, оставив часть советской территории. Но, отступая, она изматывала силы врага, наносила ему жестокие удары. Ни бойцы Красной армии, ни народы нашей страны не сомневались, что этот отход является временным, что враг будет остановлен, а затем и разбит.

В ходе войны Красная армия питалась новыми жизненными силами, пополнялась людьми и техникой, получала на помощь новые резервные дивизии. И настало время, когда Красная армия получила возможность перейти в наступление на главных участках прорывного фронта. В короткий срок Красная армия нанесла немецко-фашистским войскам один за другим удары под Ростовом на Дону и Тихвином, в Крыму и под Москвой. В ожесточенных боях под Москвой она разбила немецко-фашистские войска, угрожавшие окружением советской столицы. Красная армия отбросила врага от Москвы и продолжает жать его на запад. От немецких захватчиков полностью освобождены Московская и Тульская области, десятки городов и сотни сел других областей, временно захваченных врагом.

Теперь уже нет у немцев того военного преимущества, которое они имели в первые месяцы войны в результате вероломного и внезапного нападения. Момент внезапности и неожиданности, как резерв немецко-фашистских войск, израсходован полностью. Тем самым ликвидировано то неравенство в условиях войны, которое было создано внезапностью немецко-фашистского нападения. Теперь судьба войны будет решаться не таким привходящим моментом, как момент внезапности, а постоянно действующими факторами: прочность тыла, моральный дух армии, количество и качество дивизий, вооружение армии, организаторские способности начальствующего состава армии. При этом следует отметить одно обстоятельство: стоило исчезнуть в арсенале немцев моменту внезапности, чтобы немецко-фашистская армия оказалась перед катастрофой.

Немецкие фашисты считают свою армию непобедимой, уверяя, что в войне один на один она, безусловно, разобьет Красную армию. Сейчас Красная армия и немецко-фашистская армия вступят войну один на один. Более того: немецко-фашистская армия имеет прямую поддержку на фронте войсками со стороны Италии, Румынии, Финляндии. Красная армия не имеет пока подобной поддержки. И что же: хваленая немецкая армия терпит поражение, а Красная армия имеет серьезные успехи. Под могучими ударами Красной армии немецкие войска, откатываясь на запад, несут огромные потери в людях и технике. Они цепляются за каждый рубль, стараясь отодвинуть день своего разгрома. Но напрасны усилия врага. Инициатива теперь в наших руках и потому разбогатанной ржавой машины Гитлера не могут держать напор Красной армии. Не далек тот день, когда Красная армия своим могучим ударом отбросит озверевших врагов от Ленинграда, очистит от них города и села Белоруссии и Украины, Литвы и Латвии, Эстонии и Карелии, освободит советский Крым, и на всей Советской земле снова будут победно реять красные знамена.

Было бы однако непростительной близорукостью успокаиваться на достигнутых успехах и думать, что с немецкими войсками уже покончено. Это было бы пустым бахвальством и зазнайством, недостойным советских людей. Не следует забывать, что впереди имеется еще много трудностей. Враг терпит поражение, но он еще не разбит и — тем более — не добит. Враг еще силен. Он будет напрягать последние силы, чтобы добиться успеха. И чем

больше он будет терпеть поражение, тем больше он будет звереть. Поэтому необходимо, чтобы в нашей стране ни на минуту не ослабевала подготовка резервов на помощь фронту. Необходимо, чтобы все новые и новые войсковые части шли на фронт ковать победу над озверевым врагом. Необходимо, чтобы наша промышленность, особенно военная промышленность работала с удвоенной энергией. Необходимо, чтобы с каждым днем фронт получал все больше и больше танков, самолетов, орудий, минометов, пулеметов, винтовок, автоматов, боеприпасов.

В этом один из основных источников силы и могущества Красной армии. Но не только в этом состоит сила Красной армии.

Сила Красной армии состоит прежде всего в том, что она ведет не захватническую, не империалистическую войну, а войну отечественную, освободительную, справедливую. Задача Красной армии состоит в том, чтобы освободить от немецких захватчиков нашу Советскую территорию, освободить от гнета немецких захватчиков граждан наших сел и городов, которые были свободны и жили по-человечески до войны, а теперь угнетены и страдают от грабежей, разорения и голода, освободить, наконец, наших пленников от того позора и поругания, которым подвергают их немецко-фашистские изверги. Что может быть благороднее и возвышеннее такой задачи? Ни один немецкий солдат не может сказать, что он ведет справедливую войну, ибо он не может не видеть, что его заставляют воевать за ограбление и угнетение других народов. У немецкого солдата нет возвышенной и благородной цели войны, которая могла бы его вдохновлять и чем он мог бы гордиться. И, наоборот, любой боец Красной армии может с гордостью сказать, что он ведет войну справедливую, освободительную, войну за свободу и независимость своего отечества. У Красной армии есть своя благородная и возвышенная цель войны, вдохновляющая ее на подвиги. Этим собственно и объясняется, что отечественная война рождает у нас тысячи героев и героинь, готовых идти на смерть ради свободы своей родины.

В этом сила Красной армии.

В этом же слабость немецко-фашистской армии.

Иногда болтают в иностранной печати, что Красная армия имеет своей целью истребить немецкий народ и уничтожить германское государство. Это, конечно, глупая брехня и неумная клевета на Красную армию. У Красной армии нет и не может быть таких идиотских целей. Красная армия имеет своей целью изгнать немецких оккупантов из нашей страны и освободить советскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Очень вероятно, что война за освобождение советской земли приведет к изгнанию или уничтожению клики Гитлера. Мы приветствовали бы подобный исход. Но было бы смешно отождествлять клику Гитлера с германским народом, с германским государством. Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское — остается.

Сила Красной армии состоит, наконец, в том, что у нее нет и не может быть расовой ненависти к другим народам, в том числе и к немецкому народу, что она воспитана в духе равноправия всех народов и рас, в духе уважения к правам других народов. Расовая теория немцев и практика расовой ненависти привели к тому, что все свободолюбивые народы стали врагами фашистской Германии. Теория расового равноправия в СССР и практика уважения к правам других народов привели к тому, что все свободолюбивые народы стали друзьями Советского Союза.

В этом сила Красной армии.

В этом же слабость немецко-фашистской армии.

Иногда в иностранной печати болтают, что советские люди ненавидят немцев, именно как немцев, что Красная армия уничтожает немецких солдат, именно как немцев, из-за ненависти ко всему немецкому, что поэтому Красная армия не берет в плен немецких солдат. Это, конечно, такая же глупая брехня и неумная клевета на Красную армию. Красная армия свободна от чувства расовой ненависти. Она свободна от такого унижительного чувства, потому что она воспитана в духе расового равноправия и уважения к правам других народов. Не следует кроме того забывать, что в нашей стране проявление расовой ненависти карается законом.

Конечно Красной армии приходится уничтожать немецко-фашистских оккупантов, поскольку они хотят поработить нашу родину, или когда они, будучи окружены нашими войсками, отказываются бросить оружие и сдаться в плен. Красная армия уничтожает их не ввиду их немецкого происхождения, а ввиду того, что они хотят поработить нашу родину. Красная армия, как и армия любого другого народа, имеет право и обязана уничтожать поработителей своей родины, независимо от их национального происхождения. Недавно в городах Калинин, Ельня, Сухиничи, Андреаполь, Торопец были окружены нашими войсками стоявшие там немецкие гарнизоны, которым было предложено сдаться в плен и обещано в этом случае сохранить жизнь. Немецкие гарнизоны отказались сложить оружие и сдаться в плен. Пожальство, что их пришлось вышибать силой, причем не мало немцев было перебито. Война есть война. Красная армия берет в плен немецких солдат и офицеров, если они сдаются в плен, и сохраняет им жизнь. Красная армия уничтожает немецких солдат и офицеров, если они отказываются сложить оружие и с оружием в руках пытаются поработить нашу родину. Вспомните слова великого русского писателя Максима Горького: «Если враг не сдается,— его уничтожают».

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! Поздравляю вас с 24-й годовщиной Красной армии! Желаю вам полной победы над немецко-фашистскими захватчиками!

Да здравствуют Красная армия и Военно-морской флот!

Да здравствуют партизаны и партизанки!

Да здравствует наша славная родина, ее свобода, ее независимость!

Да здравствует великая партия большевиков, ведущая нас к победе!

Да здравствует непобедимое знамя великого Ленина!

Под знаменем Ленина вперед, на разгром немецко-фашистских захватчиков!

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОНЫ И. СТАЛИН.

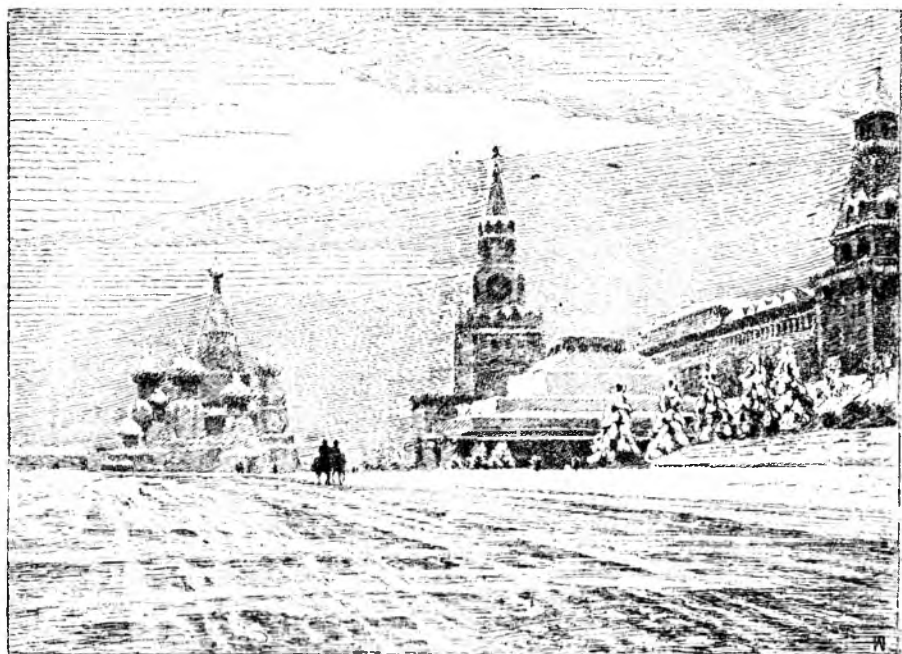


Рис. художника А. ПАРАМОНОВА

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

* * *

Солнце дедам, прадедам светило,
 Люди славили его из рода в род;
 Но не в нем сейчас земная сила,
 Руки не к нему простер народ.
 Знамя Ленина нас в бой водило,
 И опять оно — в сраженьях — впереди.
 Без него, как солнце ни светило б,
 Люди к счастью не найдут пути.

А. МАЛЫШКО

ЕЛИ

Здесь, под покровом снежным, елки
 Стоят перед стеной Кремля,
 И сны их будит ветер золотой,
 Вдыхая звоны и шала.

Как изваяния живые,
 Здесь, под мерцающей звездой,
 У мавзолея часовые
 Стоят сурово в мгле ночной.

У елки веточку возьму я,
 В родную землю унесу,
 Чтоб вспоминать, по ней тоскую.
 Ее бессмертную красу.

Чтоб вылетите, как живые,
 У мавзолея под звездой
 Мне вспоминались часовые,
 Суровые во мгле ночной!

БРАТЯ

В глубоком снегу храбрый воин залег.
Как вошки свирепые, были метели.
На кончиках пальцев мороза ожог,
От холода руки бойца жочесели.
Что ж, день еще будет мести гурга,
Поля засеять среди пещатого жита.
Лежит развороченный танк врага
Здесь рядом, гранатой меткой
 пробитый.

— Вы слышите, братья, в снежном
 дыму
Недалыний разрыв, звук немощный?..
 Тише!..

— Слышу! — ответил товарищ ему.
Третий, как брат, отозвался: — Слышу!
Пускай его ранило больно в плечо —
Сухие губы не выдали муку,
И справа товарищ припал горячо,
И слева другой протянул ему руку.
Так вступают они в новый день и
 простор,
В шинелях, в ушанках, из ночи
 суровой,
И будет сняты на их стеге пунцовом
Над ними прищуренный ленинский взор.

Перевел с украинского М. Т—з

П. ПАВЛЕНКО

РУССКАЯ ПОВЕСТЬ

Человек без родины —
соловей без песни.

Нам смерть — не родня.

Партизанская поговорка

В сырую октябрьскую ночь к Смеляковскому леснику постучался путник. Хозяин долго не открывал — не до гостей в такую пору. Но стук был уверенный, собаки шаяли на него без злобы, и лесник бойком подошел к двери, нащупал по пути дробовик в углу у притолоки и спросил:

— Кто там?

— Впусти, отец. Это я, Павел, — ответил стучавший.

— Откуда будешь? — осторожно переспросил хозяин, не торопясь открывать.

— С тнезда в перелет по своему следу, — видно условную фразу произнес стучавший. — Впускай, отец! Промок я до глубины души.

Лесник загредел затвором.

— Перестал бы по ночам шататься, нечистая сила. Только людей пугаешь, — проворчал он, впуская сына.

В темную комнату ворвалась прохлада ночи, струя ветра пробежала по полу, всколыхнув занавески, и скрип деревьев стал так явственен, словно скрипели и шатались сени избы.

— Маскировано у тебя, что ли? — спросил вошедший, ощупью подвигаясь к столу. — Ты, отец, зажег бы лампу, дело есть.

— Побили вас, что ли?

— Вроде того. Ух, и продрог я. Водки нет? Ты, папаша, ничего про нас не слышал? Никто у тебя не был?

— Приходили шестеро бойцов, к фронту пробивались, — ну, вывел я их на тропу, показал, куда идти. А больные никого не было.

— К фронту! Вот и нам бы с тобой за ними, — крикля, сказал Павел, сбрасывая сапоги и встряхивая скомканные портянки.

Лесник зажег крохотную керосиновую лампочку и, не отвечая сыну, как бы даже не слыша его, сказал:

— Чай будешь пить? А то кликну Наталью.

— Пускай спит. С глазу на глаз потолкуем.

Павел снял с себя мокрый брезентовый плащ с глубоким капюшоном, сбросил стеганный ватник и оказался невысоким, сухощавым парнем лет двадцати

тупых, с толстотой, клычконою, как говорят в народе, бородкою, отпущенною, видно, полемкою.

Могучий, тяжелый в плечах лесник, на котором все было узко, молча глядел на сына.

— Ну, папана, разбили нас, — сказал, наконец, Павел, садясь к столу. — Коростелев Александр Иванович погиб.

— Коростелев? Александр Иванович? — переспросил лесник и нахмурился, будто соображая, может ли это быть.

— Ситников Михаил Ильич погиб. Большаков Николай погиб. Сухов едва живой от немца вырвался.

— Ну этот и вырывался зря. Тех вот жаль. А ты что, сам был в бою, сам видел?

Павел кивнул головой.

— Все там были. Из сорока много если пятнадцать осталось. Поодиночке вышли, — к утру, пожалуй, соберутся.

— Кто ж начальником теперь?

— А чего начальствовать? Бежать — на то командира не требуется... Да в общем, Сухов взялся...

— Сухов теперь командир? — с неприятным удивлением спросил лесник. — Вот оно какое дело, скажи. Сухов, значит. Так... А тело-то Александра Ивановича где схоронили?

— Где там хоронить! У немца остался.

— Вы что же, живым его отдали, выходит?

— Говорят, что мертвый был, а сам я не видел, — ответил Павел.

Лесник еще более насупился.

— Уходить надо, — сказал сын. — За линию фронта надо уходить, тут дело битое.

— Это кто же вам сказал — уходить? — передвинув лампу так, чтобы лучше видеть сына, спросил лесник. — Приказ имеете?

— Добьет нас немец теперь. Большакова пытал, Ситникова пытал, — Сухов сам это видел; его тоже на пытку было взяли, да убегал, повезло парню.

— Выдали они, думаешь?

— Все может быть.

Лесник ударил ладонью по столу.

— Молчал бы, дурной. Кто это выдаст, Коростелев? О ком говоришь?

— Я говорю: все может быть, — упрямо ответил Павел, не глядя в глаза отцу. — Не оп, так другой, а уж если к немцу попали — молчать не даст. Не нынче, так завтра ожидать надо немца. Ты не сердчай, отец, ты слушай. В Старую Руссу немец фивлов привез, две тысячи... Природные лесовики. Они нам дадут жару.

— Это что же, решение такое или сам придумал?

— Сухов как командир принял такое решение. С пятнадцатью не развоюешься. Я потому вперед и прибежал, чтобы тебе сказать. Собраться ведь надо. Вскроем две твоих глубинки, запасаемся хлебом да и прощай, прощай, леса родные!

— Меня, значит, тоже приглашаете? — насмешливо спросил лесник.

— А то как же. Тебе оставаться нельзя. Это уж факт.

— Не дело вы задумали, — сказал лесник. — Я этому Сухову, как придет, все уши повыдергиваю за такое решение.

— Не имеешь права. Раз командир, так вся дисциплина на его стороне.

— Какой он к хренам командир! Кто его, дурака, ставил? Таких командиров — за хвост да в прорубь.

— Не советую, — ответил сын и, приподняв голову, прислушался. На печке послышался легкий шорох. — Ты, Наталья?

— Я.

— Слезай, и к тебе дело есть.

Пошумев за занавеской, вышла и встала, облокотясь о край печи, высокая, статная, вся в отца, девушка. Ее лицо было не по-девичьи строго, но природа дала этой строгости выражение такой наивной чистоты и взволнованности, что превратила строгость в обаяние. Брат невольно залюбовался ею.

— Что же к столу не идешь? Я же жених, чтобы меня стыдиться, — сказал он.

— Да не прибрала я, говори, какое там у тебя дело, — кутаясь в шаль, небрежно ответила сестра. — Мне и отсюда слышно.

— Разговор, сестра, короткий, как телеграмма. Сухов Аркадий Павлович велел мне с тобой договориться до точки. Пусть, говорит, Наталья бросит заноситься да и выходит за меня — поставлю ее жизнь на высший уровень.

— Это Сухов-то? — презрительно спросил лесник.

— Сухов, да. А в чем дело? Есть у него кой-какие трофеи, деньги есть. За линию фронта выйдет — награду дадут. Возьмет отпуск, Наталью в Москву свезет, будет она там с утра в клюкву ходить да лимонад пить, — и Павел засмеялся своим словам, как острой шутке.

— Как, Наталья? — спросил отец. — Хочешь суховского лимонада? Пашка-то наш, гляди, и то соблазнился — глаза заблестели.

Наталья еще глубже спряталась в шаль и долго не отвечала. Молчали, ожидая ее ответа, и мужчины.

— Мне идти некуда, незачем, — сказала затем она. — Я вам и в тот раз, как Сухов приставал, объясняла — была у меня любовь такая, какой и в песнях нет, и ждала я счастья, как трава соинца ждет..., да сломалось все, нет у меня теперь никакой жизни и никуда я отсюда не пойду. Где он искать меня будет? Не найдет, если уйду.

— Это кто же тебя искать будет? — насмешливо перебил ее Павел. — Валюта какая, подумай! — и обратился к отцу все с той же насмешкой в голосе: — Это она все о том плясуня страдает, который весной тут шатался? Так о нем что говорить! Их полк порубил немец в мелкую щепу, — не то что человека, целого седла не осталось.

— Все бывает. — серьезно сказала Наталья. — Бывает, уж и бумага придет, что погиб человек, и товарищи о том напишут, и пособие выдадут, а он — стук в дверь и входит... Нет, папаша, я буду ждать Алексея, — и, резко взмахнув занавеской, она исчезла за нею.

— Не будь душой, выходи за Сухова... — начал было Павел, но отец остановил его:

— Хватит! Ложись спать! — и резким дувком погасил лампу.

Павел лег на лавку у стола и с головой покрылся старым отцовским тулупом.

— Откроешь, в случае чего, на три совы. Пароль «Тамбов», — сказал он. Отец, не отвечая, побрел к своей постели.

Новости, рассказанные сыном, взволновали и расстроили его до крайности. Партизанский отряд Александра Ивановича Коростелева, секретаря райкома, был одним из лучших в районе между Ильмень-озером и Валдаем.

Здесь в густых лесах, лиризованных оврагами и болотами, в древнем Приозерном крае, ютившем еще новгородскую вольницу, раздолье было для партизан. Коростелев, сам исконный ильмонец, рыбак с детства, знал леса, как хороший волк, разбирался в озерной путанице, как дикая утка. Это был лесной рыбак, редкая разновидность русского человека. Ему партизанить сам бог велел. Еще немцы были у Витебска, а он закопал в лесах продовольствие на добрых полтора, вооружения — на две сотни людей, ушел в лес волхонное озеро в сорок пловов да с десятком члоков. Еще шли дожди, а его партизаны вели в лес лыжи и сани, в артелях шли им белые маскировочные халаты. И все это хоронил он в десяти местах, никому не рассказывая, где и что. Только Ситников, Большаков да отчасти емельяковский лесник одни и знали его таинственное хозяйство.

После того как немцы взяли Старую Руссу, Коростелев остался в городе, поручив партизан Ситникову.

В городе палал Александр Иванович своих подпольщиков и взрывал там немцев добрых две недели, выжигал из домов, вырезал на темных улицах, душил в постелях.

Уходя в лес, оставил в городе верных людей с походной радиостанцией.

Из города сообщают в лес Коростелеву: на таком-то тракте колонна, там — пушки, в ином месте — тапки. И он выберет самое важное место, самый обмаленный пункт и ударит, где не ожидали. За голову его определили немцы сначала пять тысяч марок, потом десять тысяч, а в последнее время двадцать пять тысяч советскими, три коровы и пять мешков пшеницы.

Но взять Коростелева они не могли ни силой, ни хитростью. И вот теперь он погиб.

Рассказ сына о неудачном бое и еще более, чем самый рассказ, его непонятная привязанность к Сухову, вместе с явным желанием выйти за линию фронта, все очень не нравилось леснику, и он чувствовал за всем этим недоброе. Затаив дыхание, прислушивался он, спит ли Павел.

«Спит, полдец! — думал со злостью. — Коростелев потиб, Большакова нет, Ситников не вернется, а какие с ними золотые бойцы погибли — страшно подумать! Шабил столько народу, а ему и горюшка нет, храпит, дьявол».

И тоска, как ломота, ократывала его кости и пыла в них — хоть кричи.

«Россия наша, Россия», — бессвязно повторял он, переживая огромную боль за родину, за ее беды, за все то страшное, что навлек на нее немец. Он, как и многие простые люди, плохо знал родную историю, он не мог бы полком назвать ни одного царя или исторического деятеля и что именно и когда они совершили, он путал последовательность многих событий и мог приписать Кутузову то, что совершил Петр, но за всем тем он любил русское прошлое и гордился им. Знал он, что родина велика, сильна и богата, помнил ее великую славу, верил в ее людей, знал, что и во тьме веков, в ранних истоках державы, всегда выручали ее из беды великие подвижники и герои. В годы бедствий Россия всегда рождает героев. С детства помнил он удивительное житие князя Александра Ярославича Невского, своего «однофамильца». С детства запечателась в его памяти фигура дремлющего Кутузова на совете в Филях, худенького Суворова с задорным седым хохолком, Сибирева с мяси-

стыми щеками и тщательно распушенною бородой, солдата Архипа Осипова, взрывающего пороховой погреб, или солдата Рябова, в плену у японцев.

Для него и Суворов и матрос Кошка были родными. Они и строили ту Россию, которую он любил, которую и сам он, Петр Семенович, сплел не покладая рук.

Теперь все великое русское проходило перед его неспящими глазами.

То проносилось какое-то острое слово царя Петра, то что-то связанное с Суворовым сжимало сердце. А то вдруг, ни с того, ни с сего, вспоминался ему запах черники, такой тонкий и нежный, что его слышно лишь изредка и лучше всего, когда ешь чернику с молоком, — и этот запах был до того нежный, как запах родного ребенка, которого теперь, может быть, и не увидишь никогда.

То пробегал перед глазами вид Новгорода, то скрип уключин и плеск воды под веслами возникал в ушах, и — господи, боже мой! — сколько образов родной и милой сердцу русской жизни вставало сразу!

Вспомнил он, как лет пять тому назад в здешних местах отрывался санаторий для туберкулезных ребят, как он пошел туда поглядеть, что это такое за санаторий, и целый день просидел у решетчатой ограды санатория, следя за играющими детьми, любуясь их игрушками и слушая песни женщин в белоснежных халатах, и как было трудно тогда ему встать и уйти от этой новой, приятной и уютной жизни, которая вдруг возникла в глухих лесах.

Вспомнил он, как создавался совхоз за соседним лесным участком, вспомнил молодежь, уходившую из деревень в города и возвращавшуюся с медалями, со знаками.

Вспомнил невысокую крапивоистую девушку, как-то приехавшую к нему на участок «лечить лес». Была она проста и неопытна, как ребенок, не умела отличить клыкасту от бруснички, но болезни деревьев знала и умела лечить их. Вечерами долго рассказывала она о солнце, жучках и червях, а Петр Семенович сладко, точно сам был ребенком, задремывал под ее рассказы, с веселою нежностью бормоча: «Лечи, лечи, дочка», и была она ему приятна, как самая жизнь.

Да, много было хорошего, радостного.

И вот се, эту жизнь, топчет сапогом немец, и, казалось, при немце ничего не будет из прежнего — ни солнца, ни рыбы в озерах, ни запаха земляники, ничего...

«Ах, беда ты моя, беда, Россия наша», — шептал он, ворочаясь с боку на бок, и, не в силах справиться с ворохом мыслей, от которых бил его мелкий озноб, встал и, как был не одет, вышел во двор.

Ночь подходила к концу.

Лес бормотал и выл под сильным ветром. На поляну выметало последние запахи осени. Дыхание размокших под дождем ометов, дров, дорог, навоза, пролитого кем-то дегтя, вздувшихся хмурых студеных озер, укропа на раскисших грядах было широким, сытным.

— Нет, не может того быть, — сказал он вслух. — Россия свою тягу имеет, как пламень. Ее мало взять, ее тушить надо. А огонь-то — ого, до Тихого океана! Не загасишь, нет.

И как-то сразу при такой мысли отлегло от сердца.

Прислушался. Издалека доносился крик совы.

«Баловники! Сигнал ответственный, вроде пароля, а они его по всему лесу на десять верст трубят», — и, набирая злость на этого Сухова, стал поджидать партизан на пороге сторожки.

На печи было жарко, и Наталья не покрывалась одеялом, а лежала в легком ситцевом платье, как в жаркий день у реки, когда, бывало, выходили турьбой из деревни и как бы невзначай поджидали военных из лагерей, давая знать о себе песнями.

Там, у реки, Наталья и встретила его прошлым летом. Он шел, — она прижала руки к сердцу, так было явственно сейчас это виденье, — он шел, легко неся тело на длинных упругих ногах, и как бы сдерживал их, чтобы они не унесли его дальше.

Среднего роста, щупленький, он не сразу бросался в глаза, но стоило заговорить ему — сейчас же запоминался и нравился своей речью. Он был русский, родом из Грузии, говорил с заметным акцентом, что очень шло к нему. И смеяться любил он долго, весь загораясь от смеха и как бы нехотя замолкающая. Он не был красив, но Наталья залюбовалась им, а он тоже, видно, отметил ее из всех и рванулся к ней, но сдержал себя и, рассмеявшись, небрежно-красивой походкой прошел мимо девушек. Как хорош был тогда день — с крутыми белыми облаками на голубом небе, с пулом далекого грома за лесом, с душистым полевым ветром. Из лесу доносились визгливые крики ребят — сегодня с утра все ушли за ягодами, лес ухал от ребячьих криков, как пустой котел.

Слабый запах тления, словно дымок, пронизывал горячий летний воздух. И все было хорошо, как никогда. Как они тогда познакомились? Как они тогда сразу поняли, что им назначено любить друг друга и нельзя терять ни часа, ни секунды из счастья, раскрывшегося с такою щедрой простотой?

Теперь Наталья не могла даже вспомнить, как все это произошло. Одно она могла сказать — день тот был самым лучшим в ее жизни. Ни до, ни после него она уже не испытала того высшего наслаждения жизнью, как тогда у реки, когда увидела его и сама предстала перед ним — вся, на всю жизнь.

День тот длился долго. На исходе его, утомленная, Наталья купалась в реке. Вода была розовой от бокового солнечного света, и кожа на ее теле тоже казалась красной, разгоряченной, как в бане.

«Вот и пришло мое счастье, — думала тогда Наталья, — какое ни есть, а мое навек, и для него, и с ним только и жить теперь. Только б не разминулись дорожки, не разошлись пути!..»

Шатаясь, вышла она из воды и, заломив над головою руки, долго глядела на первые, растерянно мигающие звезды.

И Анята Большакова громко и раздраженно сказала тогда при всех:

— Не могу я на тебя смотреть, какая ты счастливая.

Как все удивительно в человеческой жизни! Еще и счастья нет, оно лишь слегка почувствовалось, а сразу изменился вид Натальи.

— Ах, да что там!..

Ей хотелось и продолжать воспоминания, и отстранить их, потому что были они без окончания, без торжества, без Алексея, без всей той жизни, о которой думалось с таким волнением.

— Найти бы Алексея, найти, — шептала она.

И ей в самом деле казалось, что если она найдет его, то прежнее ощущение счастья сразу вернется к ней и все прежнее станет на свое место.

И в глубоком сне она застонала и, морщась, нехотя проснулась. За окном трижды прокричала сова. Послышались голоса, фыркание уставших коней, гулгань.

«Ох, опять этот Сухов!» — мельнуло в мозгу, и, словно убегая от него, пока он не заметил, Паталя торопливо заснула вновь.

Бой, о котором наспех рассказал отцу Павел, произошел третьего дня на развилке двух проселочных дорог, возле деревни Безымянки. Немцы заночевали в деревне, выставив охранение. К вечеру Коростелев окружил деревню и послал Большакова с Суховым и Павлом скрытно подползти к избам и поджечь из них две или три, для паники.

Часа через полтора избы запылали.

Крича и стреляя в воздух, немцы выскочили на улицу, и тут Большаков сразу был ранен в руку, а немного погодя еще и в ногу. Сухов и Павел поволокли его к скирде сена и укрылись там вместе с ним. Бой шел на улице. Пули шуршали наверху, в сене. Оно, наконец, вспыхнуло. Тогда поволокли Большакова к какому-то огороду, в кривую, покосившуюся баньку. Из нее кто-то вышел, поглядел на них и окликнул их:

— Нашка, ты?

Сухов уронил Большакова, припал к земле.

— Я. А это кто?

— Это Бочаров Дмитрий. Здорово! — и к ним, с немецким автоматом в руках, низко нагибаясь к земле, подбегал человек в русской одежде.

— Давно я хотел, Сухов, с тобой повидаться...

Сухов что-то прокашлял.

— И Коростелев тут? — спросил Бочаров.

— Тут, — ответил Сухов. — А ты что, у немцев?

— Вроде. А ну-ка, ты лежи, парень, — сказал Бочаров Павлу, — мы с Суховым отдельно поговорим.

— Ты не убивай меня, Бочаров, — сказал тогда Сухов. — Я тебя умоляю, не убивай меня.

— Да что ты! — сказал Бочаров. — Я, помнишь, сам к вам в отряд присоединился. Да Александр Иванович не взял за мою анкету. Кулак, говорит, то да се. Чужой ты?

— Конечно, — сказал, вставая, Сухов, и они отошли в сторону, а Павел остался в капусту, оставив Большакова.

Минут через десять он услышал голос Сухова. Тот звал его. Павел побоялся откликнуться.

— Брось искать, удрал он, ну и все тут, — сказал Бочаров. — Еще лучше! Ничего не узнает. Так договорились? Или нет?

— Это дело серьезное, Бочаров, — ответил Сухов, — как я могу обещать? Выйдет — выйдет, а не выйдет — не обижайся.

— Должно выйти. Надо во всем свой интерес иметь. Я тебе так скажу: тебе в партизанах, ни мне у немцев делать нечего.

— Это-то так. Ну, погляди!.. Бежать надо. А то еще твои немцы прикончат, — сказал Сухов.

— А это кто ранен? — спросил Бочаров. — Не Большаков ли?

— Я, — медленным, страшным голосом ответил Большаков. — Сволочи вы!.. слышал я, о чем сговаривались, — и он выстрелил из «вальтера» раз пять или шесть.

Бочаров кинулся наземь, застрочил из автомата. Кто-то, наверное Сухов, пробежал мимо Павла.

Тогда и он на четвереньках, ползком, а потом в полный рост кинулся к балочке, перемахнул ее и, обойдя деревню задками, вышел к своим.

Сухов был уже тут. Он докладывал Коростелеву, когда подошел Павел, и здорово испугался, увидев его.

— Жив, Павел?.. Золото мое!.. Ну, рад я, так рад... хоть ты жив.

Коростелев сидел на завалинке у крайней избы и молча смотрел на них. Потом сказал:

— Где бросили Большакова?

— Александр Иванович, да как же бросить, когда под автомат попали...

— Где бросили, я спрашиваю?..

— Да черт его найдет то место. Темнота ведь. На огороде каком-то. Ты же запомнил, Павел?

Коростелев окинул взглядом улицу — бой достиг ее середины; немцы, бросая повозки, пешком уходили за дорогу.

— Скажи Ситникову: я за Большаковым пошел, — сказал Коростелев своему связному Грише Курочкину. И, встав, оправил на себе патронный. — Веди, Сухов.

Двое партизан — они всегда находились при Коростелеве — молча вскинули на плечи автоматы и тоже пошли. Павел остался. Гриша сказал:

— Судить теперь вас, сволочей, будем. Как это вы Большакова бросили? И Александра Ивановича от дела отбили. Ну и сукины же вы дети!

— Мы не бросили. Отбить не могли.

— Конечно, голыми руками не отобьешь, — сказал Гриша. Павел схватился за грудь — выстрелка-то осталась в капюше.

— Ты помолчи, не твое дело, — сказал он Грише. — Иди, куда тебе сказано.

— Я лучше тут подожду Александра Ивановича, — сказал Гриша. — Фланг открытый, а тебе поручить нельзя. Сходи к Ситникову, передай, что слышал.

Павел сразу обрадовался — спасение! Побежал к Ситникову и, передав, что было сказано, добавил:

— Фланг открытый, беспокоюсь я за Александра Ивановича.

Ситников молча окинул взглядом обстановку, покачал головой:

— Это какие же такие хрены Большакова там раненого оставили? Придется Александра Ивановича теперь выручать, беды бы какой не вышло.

Пришлось отойти с улицы и повернуть на огороды. Немцы, совсем было оставившие деревню, вернулись в нее и, хоронясь за избами, открыли по огородам такой огонь, что кругом посветлело, и партизаны лежали в зареве сплошных ракет, пожаров и красно светящих пуль. Павел сохранил в памяти лишь отдельные звенья этой ночи. Он помнил, что душа его металась от испуга к отваге, — то он охотило куда-то бегал с поручениями Ситникова, то подносил патроны, то оттаскивал и перевязывал раненых, то, притулясь к какому-нибудь штеню, вздрагивал и выл, как пес.

Ночь была на исходе, когда увидели — немцы что-то зажгли в деревне. Украинец Сквородченко, из красноармейцев, пошел узнать, в чем дело.

— Большакова на огонь складут! — крикнул, вернувшись. — Сначала били, в ранах штыком ковыряли, все требовали танку базу открыть. Молчат. А сейчас к сараю привязали, сеном обложили — жечь хотят.

— Не дам Большакова жечь! — сказал Коростелев. — Нет, не дам я им этого.

Прямо на огонь сарая взял направление Коростелев. Ни о чем не заботясь, бежали за ним партизаны. Наскакивая на немцев, били их наотмашь прикладами, косячили пистолетами, хватали за ноги и валяли паземь. Пулеметы замолчали. Попла ружейная, и все смешалось. Свой своего окликали по имени.

— Ситников?

— И.

— Коробейник?

— Здесь!

— Ты, Сема?

— И, Николаша.

Человек двадцать немцев валялось вокруг сарая на освещенной пожаром земле. Уже было пробилась к Большакову, но тут сразу пропали немцы, и по чашим рванули из миномета. Коростелев взмахнул рукой и упал.

И это было последнее связное, что хорошо помнил Павел... А потом стоял он у полусожженного тела Большакова и плакал, и дрожал, и его тошнило от запаха паленого мяса.

Подбежал Сухов.

— Бежим, Панька. Александра Ивановича убили. Видел?

— Куда?

— Как куда! Вообще убили!

— Куда бежать?

— В лес, поодиночке. У твоего отца — послезавтра.

И они побескали, шаркаясь от выстрелов, и никак не могли разделиться. Ночью остатки отряда еще раз встретились где-то на пути к леснику, и тут был ими избран временным командиром Аркадий Сухов.

Сова прокричала три раза.

На поману из лесу выехала группа конных.

— Ишь, спят-то как, и часового нет, — делашно-заботливым голосом сказал Сухов. — А ведь Паньку загоя посылал...

— А чего тебе, Сухов, музыку, что ли, выставить? — сказал лесник. Конные быстро подъехали к нему.

— А-а, Петр Семенович! Привет! — Сухов спрыгнул с коня и, покачиваясь на занемених ногах, стал привязывать лошадь к плетню. — Ну как, собрался?

— Куда это?

— Панька тебе ничего не пересказывал?

— Да какую-то глупость говорил. Бежать будто вы, ребята, собрались. Да я не поверил.

— Бежать? Вот сукни сын! — засмеялся Сухов. — Это называется перебариваться. Про нашу беду слышал? Беда, чистая беда! Слез до сей поры не удержу, как об Александре Ивановиче вспомню. Без него — сироты. Конси всем.

— А Ситников? — спросил лесник, словно не знал ничего.

— Погиб и Ситников. Что же это Панька, ей-богу... Я ж ему велел тебя в куре ввести...

— Осталось много?

— Человек десять. Ну, потом за часом, Петр Семенович, поговорим.

— Вы что, ребята, чумные какте? — спокойно всматриваясь в лица партизан, спросил лесник. — Откуда кони? Кто дал?

— Коней в одном селе взяли — до утра. Пойдем в тепло, там поговорим.

— Стой, пока я стою, — сказал лесник. — За что тебя чаем поить? Ты жто, партизан или нет?

— Да, я тебе забыл сказать — вчера ребята меня командиром проголосовали. — Сухов положил руку на плечо лесника, но тот отпрянул ее. — Так что давай не будем! Решение принято, отбою нет.

— Здорово юноте. За такую войну к стенке бы вас поставить, да еще, может, и поставит, погоди.

— Мы, Петр Семенович, не виноваты, — сказал один из партизан. — Начет отходу — это мы от беды решили. Без командира — гибель. А где его взять?

— Молчи. За командиром всем отрядом идти хотите? Совести нет у людей! Рапорт надо составить да кого-нибудь одного и послать, пригласит командира...

— Да ты слушай меня, Петр Семенович, — несколько раз начинал было Сухов, но лесник не обращал на него никакого внимания. — Слушай, Петр Семенович... Десять нас человек, что за отряд?

— Молчи! И одна голова — отряд, если мозги целы. Откуда десять? На седьмой дистанции у нас четверо легко раненых, в Волчье, у колхозников. — слышал я, — двенадцать бойцов хоронятся, отстали, отбились от части, к нам просятся. В Чижеве есть люди, в Затоновке, в Ямках. Кликнем клич — ото-всюду сойдутся. Надо объехать деревни, — там же знали, что у нас нет набора, — и сказать, что теперь принимаем.

— После того как Александр Иванович погиб, не сильно пойдут-то, — сказал Сухов.

— Врешь, пойдут. За него пойдут.

— Хотя верно, — только чтобы отделаться от упрямого лесника, сказал Сухов. — Мстить пойдут, конечно.

— Что за мсть, когда нечего есть, — мрачно вскрикнул партизан, лицо которого трудно было узнать в темноте. Раздался смехок.

— И то верно! — подхватил лесник, словно не понял насмешки. — По деревням теперь стон стоит, пухнут с голоду. У кого еще хлеб есть — так это у нас. Приходи любой, становись с нами — накормим... А ты, крест тебя накрест, я хоть и не узнаю тебя, а сейчас надеру уши, — нащел время шутки бросать над святым делом. Где у вас родина, обормоты? — Петр Семенович передохнул, вытер ладонью пот с лица.

Сухов воспользовался паузой.

— Что же, предложение ничего — поплем за фронт, не всех, одного; я, к примеру, за три дня обернулся бы. Как вы, ребята, смотрите на это?

— Что ж, валай, узнать надо... Всем не всем, а идти безусловно... — раздались голоса.

— Отыпформируюсь и — назад, с полной картиной событий. А то ведь, Петр Семенович, какая неувязка. Немец слух пустил — Москва, мол, взята, большевики, слышь, к Волге отступили, армии все разбиты.

— А ты и веришь?

— Верить не верю, но, как говорится, уточнить надо. Может, какая правда и есть, кто его знает. А то выйдет, что одни будем бороться... Так вы как, не возражаете против общего мнения?

— Поезжай, — сказал лесник. — Поезжай и в четыре дня все выясни да привези с собой командира.

— Лады! — развизно сказал Сухов, говоривший на том нелепом русском языке, который присущ у нас некоторым городским полуинтеллигентам, почему-то думающим, что они пользуются самым современным советским языком.

— А вы, ребята, с полдня отдохните и поезжайте по деревням за людьми, — сказал партизанам Невский. — Всех к нам зовите, в ком душа живая, богатая. Мужиков, баб, ребят, бойцов заблудших... Может, пленный какой бежал от немцев, хоронится у солдаток, и его берите. А главное, у кого обида, тех надо нам. Перед кем родную кровь пролили — тот будет воевать не как вы. У того рука с плечевой, кулак с гирькой.

Партизаны рассмеялись.

— Теперь покормишь? — спросил Федорченков, низенький, на кривых ногах, псковский сапожник. — Полностью нас покормил, старый. А как накормишь, — я с тобой разговор хочу иметь, с глазу на глаз.

— Ступайте в дом, грейтесь, — сказал лесник.

Сухов тоже пошел вслед за всеми, но хозяин остановил его.

— А тебе курс даден, валай!

— Да я Паньку хочу разбудить. Какого же чорта, ей-богу.

Лесник, повернув Сухова за плечо, сказал:

— Не теряй времечка — валай. Коня-то сдуру чужого не забори. Валай, валай. К вечеру там будешь, — и, войдя в сени, заложил дверь изнутри на щеколду. Потом потянулся в «глазок».

Сухов вынул из холщового мешка, что висел на седле, три яйца, ломоть хлеба, сунул за пазуху и, промок выморкавшись, двинулся в лес.

Лесник вошел в комнату.

— Чаю поьем да и перебазирuemся, — сказал он. — По вашему следу как бы гостей не было.

В тот самый день, когда происходила ссора в лесной сторожке, в городке X., на квартире у заведующего районным отделом народного образования, члена бюро горкома Никиты Васильевича Коротеева, собрались подпольщики, делегаты квартальных бригад. Председательствовал секретарь горкома Медников. Заседание было посвящено итогам действий отряда за последние две недели. Слово имел Коротеев.

— За последние четырнадцать дней городское партизанское движение, товарищи, пережило многое. Численно оно сократилось — террор, страх, голод, доносы, — но качественно возросло и окрепло и, что важнее всего — накопило нам всем новый опыт.

Вспомним, как действовали мы в сентябре. Взорвали склад с боеприпасами, раз пятнадцать портили связь, подожгли комендатуру, порознь уничтожили десять немцев. Все! Какие потери мы понесли? Сто человек расстреляно из числа жителей, да наших попалося добрых двадцать пять душ.

Потом немцы усилили бдительность, удесятерили террор, активность населения пала, мы стали перед опасностью полного отрыва от города, от народа.

В чем ошибки сентябрьской тактики?

Ошибки сентябрьской тактики следующие:

Мы действовали изолированно от масс — первое.

Мы брали курс исключительно на большие, шумные дела, пренебрегая малыми, — это вторая ошибка.

Третья: мы действовали по шаблону, воювали большими группами, забывая, что городские бои — одиночные, что поля городских сражений — это не только площади и улицы, но и самым образом отдельные дома.

Учтя это, мы быстро перестроились, и что же, чем можем похвалиться за первые две недели октября?

Семнадцать домовыми пожарами от неизвестных причин. Сорока разобранными печами в домах, предназначенных для постоя немцев. Больше чем тремя сотнями разбитых окон в домах, уже занятых немцами. Но нитому и шестому разу свалены телеграфные столбы у железнодорожной станции. Одну крушение поезда. Три столкновения грузовиков на тракте. И как общий результат всех этих мероприятий, снижение немецкого хамства, боязнь выходить по ночам в одиночку, тяга их солдат из нашего городка.

Есть у нас одна такая активистка из третьей бригады, номер ее девятнадцатый. Натопила она немцам, что у нее на шестое, баню да и закрыла вышку до времени, — один номер, пятерых уехали в околоток. Другая из одиннадцатой бригады работала по принуждению в их гарнизонной прачешной и сожгла двести комплектов белья, да так хитро — комар песу не подточит. Появилась недавно и такая старушка. Две недели поила немцев недокипяченой водой, пока не свалились они с расстройством желудков...

Делегаты негромко засмеялись.

— Оно верно, что смешно. Но ведь как ни говорите — и то дело.

Есть еще один парень у нас, взяли они его воду возить для автопарка. Возит парень воду с утра до утра, трудится всем на удивление, а у них машина за машиной из строя. Понять не могут. А он что сделал? Они на ночь из радиаторов начнут воду спускать, а он между делом закрывает крантики. Утром, глядишь у десяти—пятнадцати машин прихватило радиаторы, вышли машины из строя.

В чем, значит, успех? Вовлекли в свое дело маленьких, рядовых людей — вот и успех!

Борьба с оккупантами в городе — дело новое. Ему приходится учиться на ходу. Нужно в самом процессе борьбы находить и новое оружие, и новые методы.

— У нас новая, еще небывалая война, в которой действия гигантских армий взаимосвязаны с выступлениями народа. Мы — сито, сквозь которое вперед и назад пройдет немец. Пока наши армии вынуждены отходить, мы дезорганизуем немецкий тыл и взрываем немецкие порывы, но вот начнут наши теснить немцев — и тогда уже не о дезорганизации придется говорить. Тогда мы должны хватать и бить, жечь, душить, препятствовать их отходу и спасению.

Мы — сито, сквозь которое пройдет немец. Чем мельче сито, тем лучше.

Из этого вытекает и тактика: не крупными сражениями возьмем мы, а повседневной, постоянной войной, чтобы самый воздух был неловким для немца, чтобы он боялся есть и пить, боялся ночи и дня, боялся шума и солнца, громкого крика и шепота.

За последнюю неделю мы очень много добились словом. Вы видели — на стенах домов появились надписи ужом по-немецки? Мы написали:

«Имена всех мародеров и убийц нам известны. Куда бы ни скрылись они — мы достанем их!»

И перечель: «Капитан Вегенер — убийца. Лейтенант Штарк — убийца и вор».

Мы имеем сведения, что на немцев надписи эти произвели гнетущее впечатление. Но слово — наше оружие еще и в другом смысле.

Надо больше говорить с народом. Подбодрять его, оживлять, внушать ему веру в победу и разоблачать перед народом всю сволочь, что продает родину.

С завтрашнего дня на всех стенах будет написано:

«Список объявленных вне закона. Каждый может убить подленов Иванова, Куркина, Василькевича, Трошкину, продавшихся немцам».

Что нам хотелось бы организовать в дальнейшем? Минную войну. Само собой разумеется, для нее надо иметь мины. Отсюда вытекает задача разведки — выяснить, есть ли в городе мины падавливающего действия, где они и как их добыть.

Второе — разыскать и связать с нами всех химиков, какие есть в городе. Конечно, проверив сначала их. Сдается мне, что кое-что можно было бы изготовлять самим, вспомнив опыт царского подполья.

Вот это самая важная и самая срочная задача, которую мы перед вами ставим.

Что касается самого нашего штаба, то мы предпринимаем ряд шагов, чтобы объединить или, как у нас иногда глупо говорят, — увязать свою деятельность с лесными партизанами, в частности с секретарем нашего района Александром Ивановичем Коростеловым. Я думаю, он и минами нас сосудит, и вообще, может быть, удастся подготовить комбинированные удары по немцам извне — из лесу на город, и внутри — в самом городе.

— Эх, это было бы здорово! — не стерпел председатель. — Чесануть бы сразу с сотню! А то по одному как-то не то, вида нет.

После речи Коростеева стали выступать делегаты.

— В моем квартале их полевая почта, — сказал один. — Так вот мы уж который раз почтовые мешки, что адресованы в тыл, засылаем на фронт, а что — на фронт, в тыл возвращаем. Такая путаница у них получилась, с неделю не могут разобраться, а почты с обоих концов тонны четыре накопились, весь двор завален.

— Сжечь ее, сжечь!

— Вот мы так и думали. Наверное, завтра и сожжем.

Второй делегат сказал:

— У нас один школьник по-немецки малость читает, так он собрал штук пять или шесть дощечек с надписью — «минировано». Помните, они, как заняли город, выставили такие воюруг?

Собрал их да на выходах из города и растыкал. Честное слово, смех берет глядя — скопилось машин пятьдесят, шоферы руками машут, саперов вызвали, те в карты посмотрели, полезли, как дураки, по всем обочинам, с полдня ползали, толка догадались, что это обман.

— Молодец твой школьник. Ты скажи ему это от имени штаба. Еще у кого что?

Делегаты кратко высказались и стали по одному расходиться.

Остались Коростеев и Медников.

— Когда выходишь? — спросил Медников.

— Немедленно.

Коростеев вынул из леза сверток, достал из него грязную немецкую шинель, белье, обувь.

— Боюсь я за тебя, Никита Васильевич, а идти надо, ничего не подождем.

— Я сыграю чеха — это у меня выйдет, — сказал Коротеев. — Бету, мол, из русского плена. Точка. Да я не немцев, скажу тебе, боюсь, опасаясь я партизан чаных не найти. От Александра Ивановича никаких сведений вот уже трое суток. Никогда этого не было.

— Пустилки! Мы бы слыхали, если что. Они б тут по всему городу развозили, попадись им Коростелев. Пустилки.

Коротеев нарядился немецким солдатом.

— А ну, сыпай, как оно у тебя выйдет, — попросил Медников, по тот замахал на него руками.

— Не проси. Сглаза боюсь. Я, брат, суеверен. Дай я тебя поцелую, — увидимся ли, кто его знает.

Он подошел мелкими шажками полного и немолодого человека и, громко чмокая, расцеловал Медникова.

— Шаг не забудь! Шаг! — сказал тот сквозь поцелуи.

— Да, да. Верно. Спасибо — заметил.

И вялым, но широким шагом, шаркая сбитыми в каблуках сапогами, словно преодолевая болезненную усталость, Коротеев, не оглядываясь, вышел из комнаты, совершенно непохожий на того Коротеева, который только что целовал Медникова.

...Страшны леса приильменские!

Кто и родился в них, не знает всех тайн, всех глубин, всех излучин этого дикого царства.

Веками стоят леса эти, и что в них таится, какие дела совершались на их давно залюкших тропах, чьи тела берегут их бесчисленные курганы, — никто не знает, никто не слышал. Даже в старых песнях не выдана тайна леса.

Ни сечь его — воды много; ни срубить — сил мало.

И стоит лесище, раскинувшись от Селигера до Ильменя пещерой со многими ходами, океаном с подводными струями, стоит и воюет, старый.

Все в нем война. И жестче лет ее для пришельцев. Голос гибнущего недалеко слышен округ. Пуля не бьет дальше ста метров, деревья встречают ее то веткою, то стволом и сдерживают, гасят.

Танк не пробьет топкой гущины, конь провалится в ней...

Страшна лесная крепость!

В той необыкновенной войне, которую мы сейчас ведем, леса играют и все время будут играть роль чрезвычайную, первостепенную.

Лес — крепость народная. Нет техники, способной сломить упорство русского леса. В его благословенных глубинах нет для немца ничего, кроме смерти. Труден лес для того, кто не знает его. В этом зеленом море есть свои штормы, рифы, мели и омуты. Гибель тому, кто боится их! Спасение тому, кто знаком с ними!

Безлюден, мертв был лес. Ничто не оживляло его утомительной тишины. Звук топора показался бы сейчас чудовищно страшным.

Старик с котомкой, которого встретил Коротеев на второй день пути, лимытнул с тропы, завидев путника. Коротеев дагнал его.

— Куда, отец?

Старик затрясся.

— Не губи, господин немец. За хлебом ходил. Да ничего нету, пусто.

И никак не мог или не хотел поверить, что перед ним русский.

Глядел куда-то в сторону, говорил непонятно и, как только Коротеев отпустил его, быстро скрылся в стороне от тропы.

Вилась тропа — куда? Деревня впереди выгорела, тропа никуда не вела.

Под широкою елью стояла швейная машина. Чья она? Чьи обессилевшие руки бросили ее? На перильцах лесного мостика лежала мокрая кукла. Чьи озябшие ручки положили ее сюда?

На стене дорожной будки висел плакат об очередном розыгрыше займа. Все это теперь где-то там, в России. А сколько дней до нее? Сколько сражений до нее?

Грязная, изголодавшаяся собака у сгоревшего хутора проводила путника удивленным лаем.

Потом встретил Коротеев двух женщин. Шли к Валдаю. Не знали, там ли наши.

— Говорят, Москву, гад, забрал? — спросила одна.

— Все равно, пойдем хоть до самой Волги, — сказала другая. — Задичала я тут, кусаться охота, как зверю.

...Коротеев благополучно дошел до первой деревни и, узнав, что поблизости немцев сегодня не было, направился в детский санаторий ВЦСПС, к учителю Ползикову, который должен был провести его на партизанскую базу...

Штаб карательного отряда стоял в здании детского санатория в глубине парка, посаженного еще при Екатерине.

На полураздавленных колесах клумбах доцветали золотые шары и стояли малывы, сожженные ранними заморозками.

На грязных аллеях прустно торчали фанерные аисты и кони-качалки, гимнастические снаряды и маленькие домики с маленькой деревянной мебелью. Еще сохранилась похожая на недодеженный пирог жуча леску со следами детских лопаточек, и на шестах, вблизи санаторного здания, много скворешен. Деревянные бирки с именами и фамилиями ребят, прикрепленные к скворешням, болтались на жестком ветру, стучась о шесты.

В первом этаже, где когда-то была столовая, выкрашенная светлой масляной краской, с краснощеками малышами, поедающими супы и каши на больших дешевых панно, в красном уголке и в учительской, где еще все сохранилось, — вплоть до глобуса с продавленной Африкой, — теперь разместилась команда карательного отряда.

Офицеры же, капитан Пауль Вегенер и его младший лейтенант Рихард Штарк, устроились наверху, в маленькой угловой комнате, выходящей окнами на пруд и село за ним.

Солдаты спали на детских кроватках — три кровати на одного, — взломав высокие барьеры и приставив кровати одна к другой.

У офицеров два низеньких детских столика вместо стульев, гладильная доска на козлах — вместо стола, умывальник и две койки. Из этой комнаты открывался вид на пруд, деревню и холм за нею с церковью, строенной при Грозном.

Капитан приказал ежедневно звонить в колокол по всем правилам, и так как русские сами не хотели звонить, дежурный солдат ежеутренне и ежевечерне взбирался на колокольную и вяло раскачивал веревку колокола в течение

двух-трех минут. Днем не звонили, так как это мешало работать. Но утром и вечером, сев у окна, капитан Вегенер блаженно вкушал своеобразный уют этой лесной стороны, чужой, страшной, и все же привлекательной, неизвестно чем.

Если бы выбирать себе именис, он, пожалуй, попросил бы что-нибудь ближе к югу; но в конце концов даже здесь он мог представить себя счастливым, не будучи войном.

Зимы еще не было, осень превратила дороги в клейкое черное тесто, в солпечную погоду было еще ничего, зато в пасмурную хотелось сойти с ума. Главным образом из-за ночей. Ночи были черны до ужаса. «Партизанские ночи», как называли их все. А когда надлежало появиться луне, — шел дождь или спускался такой туман, что все равно было темно.

И вот была такая ночь, когда не видно и своего носа. В воздухе стояла беспоянная ветреная зыбь, лес поскрипывал, будто все деревья его шагали вразброд, махая ветвями, чтобы не споткнуться.

Капитан Пауль Вегенер возвращался в штаб из деревни за прудом. До парка его довели с фонарем, но по аллее он пошел в темноте, один. Он шел от дерева к дереву, прислушиваясь, оглядываясь. Отовсюду что-то шало на него, что-то покрикивало со всех сторон. Он несколько раз выругнул всем позвоночником, как лошадь под укусом овода. «Проклятая ночь!» Но дом был, к счастью, рядом.

Капитан Пауль Вегенер ощупно взлез на террасу и долго искал входную дверь. Из комнаты доносились голоса солдат. Он постучал в стену. Они не слышали. Капитан постучал громче, но в этот момент солдаты захлопали в ладоши и опять не услышали его стука. Тогда деревянной кобурой маузера Вегенер ударил в стену.

«Хоть бы окно попалось под руку, чтобы разбить стекло, крикнуть им», — подумал он.

И оно как раз очутилось под деревяжкой маузера. Раздался звон стекла. В комнате, падая, затарахтели стулья, послышались кликанье затворов, и проклятая дверь настежь распахнулась; несколько солдат в грязном нижнем белье едва не сбили с ног капитана.

— Назад! — сказал он, щурясь от света, и рукою, вытянутой вперед, загнал их обратно в комнату. — Фельдфебель! Почему нет дневального у входа? Почему здесь крик, как в пивной?

Солдаты замерли.

— Спать не раздеваясь! Мы на войне! Соблюдать тишину и поставить дежурного снаружи!

Он поднялся наверх, еще дрожа от ночной темноты, которая до сих пор стояла перед его глазами.

Комната была заперта.

— Что за чорт! Рихард!

Лейтенант был в комнате, но открыл не сразу.

— Я помешал тебе, Рихард? — раздраженно спросил капитан.

— Да нет, чем ты мне можешь помешать, капитан. Я просто запутался в веревках, — и лейтенант кивнул на стол, где разложены были детские пальтишки, костюмчики и ботинки, приготовленные для упаковки.

— Откуда это у тебя?

— Круглосуточная круговая разведка — залог успеха, капитан. Спустился я в подвал, — ты слушаешь? И вижу — наш сторож, этот высокий русский,

прячет там троих ребят. Мы тут с тобой сидим, ни черта не знаем, а внизу — целое сборище.

— Да, безобразие! — безразлично сказал Вегенер. — Ты распорядился там?

— Все устроено, капитан. Завтра я сам найду другого сторожа.

— Отлично. Надо бы выпить, Рихард.

— Темная ночь, капитан?

— Да, черт бы побрал! Висит над головой, как снаряд замедленного действия, — висит, и не знаешь, когда он упадет на твою несчастную голову — сейчас, завтра или, может быть, никогда.

— Психопатия заразна, капитан. Я тоже начинаю бояться ночи, — сказал Штарк, стоя на коленях и держа в зубах конец веревки, которой он перевязывал пакет.

— Убирай поскорее всю эту срунду, Рихард, и давай выпьем, хорошо поедим и хорошо выйдем. Мы, что же, остались без сторожа?

— Оказывается, он был учителем, — сказал лейтенант, быстро завязывая второй пакет. — Я подозреваю, что в сторожа он определился с особыми целями. Но сейчас это уже не имеет значения. Я кончаю. Одну минуту...

Капитан сел к столу.

— Бочаров только что привез тело Коростелева. Его опознало человек тридцать — сомнений нет, это он.

— Он? Браво! Поздравляю. Все оформлено?

— Все.

Лейтенант быстро сунул все три пакета под койку и крикнул:

— Ганс!

Солдат, очевидно, давно дожидался зова у дверей комнаты. Пахнувший дымом, как говошешка, он вошел с подносом в руках. Подмышкой у него была зажата бутылка, на локте висел небольшой бидончик с пивом.

— Пиво у них плохое, а коньяк силен, настоящий мужской коньяк, — сказал лейтенант, открывая судки, в которых лежали ломтики жареной свинины, винегрет из бурачков и капуста с картофелем.

Капитан смотрел в угол, барабанил по столу пальцами.

— Хватит, капитан. Ты хотел выпить, давай выпьем. Это, знаешь, такая удача — Коростелев!

— Темные ночи меня так измучили, что я едва держусь. Если бы война шла три лучше... — сказал капитан, продолжая смотреть в угол.

— Если требовать невозможного, так пусть бы она шла только в прохладные летние дни... Бочаров не сообщал ничего нового? — перебил его лейтенант, желая перевести разговор на другое.

— Говорит, отряд Коростелева рассыпался. Остатки уходят за линию фронта.

— Вторая удача! Можешь потребовать отпуск. И дадут.

Вегенер не ответил. Улыбаясь, глядел он на пламя свечи, и кожа на его щеках, напоминающая лимонную корку, подергивалась, словно он изнутри подталкивал ее языком.

Штарк взял его за руку.

— Не надо. Честное слово, лучше тогда застрелиться. Вот твой стакан. Пей! Я влил в него немножко коньяку. Эта смесь — русский коктейль.

— Это хорошо. Давай действительно выпьем и крепко уснем. Чорт с ней, с ночью. Как-нибудь, а?

— Поверь моему совету, капитан: кровь самое сильное средство для укрепления организма. У тебя нервы? Пролей кровь! Тебе нездоровится? Немедленно пролей кровь! Вид пролитой крови молодит нашего брата. Немец замешан на крови. Это не мое мнение, а какой-то большой персоны. Кровь — наше вдохновение, капитан. Она...

— Я много раз слышал это от тебя.

— Ну, и как? Я не прав? Пролей кровь, если тебе страшно, и станешь смелым. Трусит только тот, кто мало пролил крови.

— Я не трушу, я болен.

— Все равно. Нет лучшего средства стать на ноги, как кого-нибудь убить. Когда сердце почувствует, что ему все можно, оно забьется у тебя иначе.

— Есть много других средств...

— Нет других средств,— сказал Штарк. Он раскладывал по тарелкам картофель с капустой и размахивал ножом, как капельмейстер.— Картофель чуть-чуть подморожен. Но выручает укус... Нет других средств! Кровь — одно средство! Понял? Если ты немец, это должно доставлять тебе удовольствие. Когда она течет, лоснясь, как бархат... Да что рассказывать! Убей я насладись!.. Будешь здоров!..

Он поднял стакан с пивом, в который уже заранее влил две рюмки коньяку, и поболтал им в воздухе. Потом, закрыв глаза, выпил и вздохнул с удовлетворением.

— Кроме того, я тебе скажу, убивать надо систематически. Когда долго не проливаешь крови — это вредно.

— Может быть, может быть,— произнес капитан с безразличной усмешкой.

— И наконец, капитан, если мы будем воротить нос от крови — мы с тобой погибнем. Надо привыкнуть к тому, что мы еще много прольем ее. Я пьян, но говорю верно. Согласен, что я говорю верно? То-то. Я всегда говорю верно, когда пьян.

Солдаты уже спали. Дневальный вытаскивал чечотку на мокрой веранде. Ночь была очень длинная. Офицеры пили, шили и все-таки никак не могли пересидеть ее, и наконец, заснули не раздеваясь, положив головы на стол.

А ночь и впрямь была темная по-партизански. Еще с вечера Коротеев добрался к пруду, но лишь полночь пересек он пруд и ползком, в сопровождении мальчика,— сынишки домохозяина, у которого пересиживал вечер, пополз мимо часового в санаторный парк. Расстояние было невелико, около двухсот метров, но одолевать его пришлось более часа. Хрусти под телом ветка, зашурши сухой лист — и все кончено, и бежать некуда, смерть.

Если бы не этот смертельно опасный путь, место было замечательное, под самым носом у немцев, и учитель был хорошо осведомлен.

Ветер в эту ночь партизанил во-всю. Часовой не слышал, как проползти двое. В заборе — щель. Затем — аллея. Здесь опасность уже гораздо меньше, разве что какая-нибудь случайная встреча.

Теперь самое главное — спуститься по лестнице в подвал, пролезть узким ходом почти без воздуха, и вот они в сыром подвальном коридоре. Тут можно, закрыв рот руками, и кашлянуть, и отдышаться. Потом тихий стук. Молчание. Снова стук. Молчание. Еще раз. И черная дверь из черного коридора бесшумно открывается в новое черное пространство.

Коротеева бросило в пот. Никто не встретил их ни одним словом, и, казалось, кроме него и мальчика, нет ни одной живой души в этом смрадном подземелье.

Но тотчас же он услышал едва уловимый шелест человеческих губ:

— Ты, Вася?

— И,— так же тихо ответил мальчик.

— Ты привел кого-то? Вас двое?

— Да.

И дверь тихо-тихо закрылась за ними. Коротеев дрожал. Голос (повидимому, учителя) несколько громче произнес:

— Вы ко мне?

— Да,— ответил Коротеев,— от Медникова.

— По какому делу?

— Мне к Александру Ивановичу.

Молчание.

— Мне нужно в его отряд,— сказал Коротеев.

— Отряда больше нет,— услышал он.

— Что же мне делать? Вы не можете зажечь свет, чтобы поговорить нам?

— Нет, не могу. Вам нельзя быть у меня — я открыт немцами. Слышишь, Вася? Не ходи больше ко мне.

— Зажгите свет, я прошу,— сказал Коротеев.— Вы должны мне посоветовать. Я же не могу вернуться в город, не побывав в отряде. Вы слышите меня?

— Я зажгу свет, но вы один останетесь со мною, вашего проводника я сейчас отпущу... Уходи, Вася.

Шорох двери. Тишина. Чирканье свечки.

— У меня сегодня большое горе. При свете вы увидите тяжелую картину, возьмите себя в руки,— услышал Коротеев, и, когда зажегся свет, он закрыл глаза.

Помещение было маленькое, тесное. Высокий, худой учитель («Да, это он!..» — сказал себе Коротеев) укрепил свечу в горлышке бутылки.

— В городе вы, должно быть, привыкли ко многому, и мое горе едва ли покажется вам серьезным, но поглядите...

И Коротеев взглянул, куда показал рукою учитель.

Три маленьких тела лежали на куче соломы, небрежно покрытой темной дерюгой. (Нет, это же кровь — не дерюга! — сразу разобрал Коротеев.)

— Один жив, но что я буду с ним делать? — прошептал учитель.— Я кое-как перевязал его. Вы не врач, кстати? Жаль. Утром они его все равно добьют.

Не было сил оторвать взгляда от детских тел. Одно из них, скрюченное предсмертной болью, было таким худым, что как бы всосало в себя рубашонку. Лица не было видно, оно было прикрыто шапкой, но руки с бледными пальчиками, вымазанные в чернилах, еще казались живыми.

Коротеев коснулся их — они были уже тверды.

— Этот мальчик — любимец мой,— сказал учитель.— Способный, даровитый. Все время писал отцу письма на фронт. А как остались мы у немца — он вел дневник. Какая трогательная, какая страшная книга! Ребенок на войне... Такой книги еще не было в мире!.. Ему попало первому, но, думаю, все кончилось у него быстро. Шесть пуль в голову. А этот... — и учитель потянул Коротеева за плечо к второму телу. Оно лежало павзничь, свет бегал

по его лицу, словно ища лазейки внутрь, туда, где еще, может быть, теплилась жизнь. Белый, помятый вихор, белый круглый лоб и голубые щелки страшных своей неподвижностью глаз, и губы, умершие на вскрике, и белые ряды зубов... и все такое жалкое, страшное, как всегда бывает страшна детская гибель.

— Этого я октябрью когда-то. Сирота. Жил у бабки. Ему девятый год. Какая поразительная душевная чистота, если б вы знали...

Коротеев взял учителя за плечо.

— Как это произошло?

— Сегодня один из здешних офицеров случайно панел нас. Я ведь тут сторожем числился. Ребятки по старой памяти лазили ко мне. То расскажи им, как война идет, то сказку придумай. Сколько раз запрещал приходить — лезут все-таки. А ведь и мне без них было тяжело. Выходить на деревню не могу, через них только и была связь с миром...

Коротеев остановил его:

— Надо думать, как выбраться отсюда.

Учитель с трудом понял, что ему говорит Коротеев.

— Да, да, конечно, — ответил он. — Но я еще не сказал вам, что и я ранен тоже. И плохо ранен — в грудь.

Он погладил рукой лицо мальчика, которого когда-то октябрью.

— Милый мой, сирота ты моя родная...

Коротеев понял, что нужно немедленно что-то предпринимать. «Бросить третьего раненого мальчугана, — ничего не поделаешь, — вытащить учителя и уйти», — он взглянул на третьего мальчика и виновато отвел глаза в сторону. Казалось, тот спит или в обмороке. Но два заплаканных глаза, не мигая, смотрели на Коротеева со страхом и вместе с тем с трепетной надеждой.

— Вы сможете идти? — спросил Коротеев учителя.

— Могу попробовать.

— Вставайте. Я возьму раненого, а вы пойдете самостоятельно.

— Куда же? — спросил учитель. — Тело Коротеева только что опознавали в этом селе. Отряд его рассеян. Повидимому, там завелся предатель. Я ничего не знаю, кроме того, что с предателем связан некий Бочаров. Куда ж мы пойдём? На деревню? Чтобы ее наутро вырезали?

— В другой отряд.

Учитель поглядел на раненого.

— У Константина перебито плечо и прострелена нога, кажется, с повреждением кости. Кроме того, он раздет. Этот плащ снял с него даже мокрый от крови валенок, а на дворе холодно.

— Вставайте и пойдём!

— Мы приняли с Константином другое решение, — сказал учитель. — Мы их подождем сегодня, спалим весь дом — вот и все.

— Мальчик из этой деревни?

— Ага, — тоненько, радостным голосом заговорил Константин. — Чупрова сын я.

— Так вот. Я дорогу помню. Я заберу Константина и денесу его до дому, слам отцу. Чупров сможет проводить меня к партизанам или по крайней мере объяснить дорогу?

— Папка-то? — живее стал Константин. — Папка-то может. Он у Коростелева связной был, все знает... До емельковского лесника Петра Семеновича дойдешь, а там скажут.

— А я их сожгу, спалю, — сказал учитель. — Я их сегодня погрею, Костя. За всех вас, ребятки мои родные...

Он обернулся к Коротееву:

— Убивать детей — это ведь страшно. Не смотрите никогда, как убивают детей. Не хочется жить после этого. В маленькое слабое тельце вгоняют свинец, и оно тает на глазах. Дети — они даже сопротивляться боли не умеют, они, как стеклянные — бьются сразу...

Глаза Коротеева давно были полны слез, и он едва удерживался от рыданий.

— Теперь о вас, — с трудом сказал он. — Чем вам помочь?

— Свое я сделаю сам, — ответил учитель, проводя рукой по глазам. — По совести говоря, весь вопрос был с Константином. Но если вы возьмете его — тогда все.

— Я бы взял и вас, но не под силу.

— Понятно. А дело всегда дело. На всякий случай, если доберетесь до Чупрова, скажите ему — сегодня я жгу немцев.

— Хорошо.

Коротеев подобрался к раненому мальчику и взял его на руки. Дрожащие руки доверчиво охватили его шею. Он уткнулся в ручонку и заплакал, заплакал навзрыд.

— Тихо, не плачь, дядя, — услышал он тихий шепот на ухо. — Выберемся, дяденька, ты только меня не бросай.

И, целуя грязные першавые детские пальцы, Коротеев едва выждал, пока учитель погасит свет и выпустит их в коридор.

И как вышел в опасность — забыл обо всем.

Сказал только одно:

— Молчи. Как бы ни было больно — молчи.

И Константин в ответ только прижал к себе его голову.

С тех пор как Сухов отправился в штаб фронта, прошло много дней. О нем не было ни слуху, ни духу. Между тем народ сходил к Петру Семеновичу Невскому со всех сторон, и надо было ренать, как поступить с отрядом. Чупров настаивал на том, чтобы не ждать Сухова, а самим взяться за формирование, и писал, что такого же мнения и представитель райкома, который сейчас живет у него, у Чупрова, и скоро будет в штабе. Невский медлил.

Но однажды глубокою ночью Чупров постучался в лесникову сторожку и, не снимая тулупа, не сбив снега с валенок, раздраженно вошел в горницу, сердито разбудил Невского и, показывая рукой на входящего Коротеева, сказал:

— Вот это и есть делегат из райкома, я тебе писал. Вот, пожалуйста, обсудите положение.

Петр Семенович, спавший одетым на печи, быстро спустился вниз.

— С прибытием! В чем дело?

Коротеев поздоровался, раскрыл блокнотик и, морща лоб, перелистал его.

— Я, Петр Семенович, к вам двух колхозников по срочному делу привез.

— А на какой предмет? — спросил Невский.

— Как на какой предмет? — Коротеев откинулся и удивленно поглядел на Невского.

— А как по-вашему, политической работой будем мы заниматься или нет?

— Политической? — переспросил Невский.

— Вот именно.

— Вам видней, поскольку вы из райкома, — ответил лесник.

— Значит, будем вести, — закончил Коротеев.

Вошли двое колхозников. Невский взглянул на них — обоих он знал лет по десяти.

— Вот они обращаются к вам за помощью, — сказал Коротеев. — Немецкий комендант велел сдать всех коней к завтрашнему полдню; но двум колхозам это даст семьдесят пять коней и семьдесят пять саней...

— Выручи, Семеныч, угони наших лошадок к себе в лес, — сказал один из пришедших. — Сделай набег на нас, а мы организуемся, чтобы тебе полегче было.

— Ежели ты не поможешь, больше не к кому, — сказал и второй.

— Как, Федор, — спросил Невский Чупрова. — Ты что скажешь?

— Да чего тут говорить, угнать — и все. Подавай приказ — завтра сделаем. Только вот при тебе предупреждаю — будет какая измена, они первые под наган. Это уж так условимся.

Колхозники встали.

— Спасибо за выручку!.. Пойдем, Федор, договоримся.

Невский с Коротеевым остались одни. Наталья и Павел спали на другой половине, их дружный храп отдаленно доносился, как скрип раскрытых на ветру ворот.

Коротеев долго не начинал разговора, выжидая, не начнет ли Невский. И точно — лесник не выдержал:

— Бери-ка ты, товарищ Коротеев, команду, а я у тебя на подслуге буду, — сказал он, беря Коротеева за руку и хлопая ладонь о ладонь. — Какой я командир?

— Ты командир не плохой, народ тебя знает и верит тебе, — так же, как и Невский, на «ты», просто ответил Коротеев. — Мое дело помочь тебе.

— Дал бы ты мне книжку какую или инструкцию... Может, написано где обо всем, как действовать?

— Книг много, да тебе они сейчас не нужны, Петр Семенович.

— Как не нужны? Партизанское дело не новое, оно исстари велось, опыт есть.

— Нет, дорогой мой, никакого опыта для нашей войны. Таких партизан, как мы, было совсем не так уж много; те, что были, мало на нас похожи. Ну, что ж, были партизаны и у Петра Первого, их действия против Карла XII на Украине отличались большим размахом, — да кем они были? драгунами, частью регулярной армии, они только на время отрывались от основных войск да и решали несложные тактические задачи. Наш Александр Васильевич Суворов первую свою известность получил за партизанский набег на Ландсберг в Семилетнюю войну!.. А Платов, а Денис Давыдов, а Фигнер!.. Большие люди, а все не то. Нам с тобой надо учиться у старых большевиков-полпольщиков, у наших партизан гражданской войны, и сверх того — у самих себя... Денис Давыдов о посевной не думал, а мы с тобой обязаны думать, и школы мы обязаны открывать... Кстати, сколько школ у тебя закрыто немцами?

Невский с грустной нежностью поглядывал на Коротеева.

— Двадцать три школы, — сказал Коротеев, заглянув в блокнот. — Видишь, какое оно дело!

— Вижу. Не по мне.

— И-ну!.. Лишь бы дым прямо шел, не беда, что труба кривая, — рассмеялся Коротеев. — Не года растут, а работа. Захочешь — справишься.

— А что, Никита Васильевич, если мне самому в штаб сходить? — спросил Невский. — Вот я слушаю тебя и слушаю, и страх меня берет за этого Сухова. Сходить разве мне самому?

— Я хотел было сам тебе это предложить, да боялся, как бы ты не понял моего предложения... ну, как, понимаешь... как недоверия, что ли. А вообще-то говоря, сходить тебе просто необходимо.

— Завтра же и пойду. А ты все на себя возьми.

— Завтра так завтра. Хорошо. В таком случае я хочу тебя поставить в известность, что произойдет, пока тебя не будет.

— Загадал, что ли?

— Зачем загадал? Запланировал. А вместо себя ты все-таки Федора Чупрова поставь. Так лучше.

И Коротеев, опять перевернув свой блокнотик, прочел план действий примерно на десять дней, составленный им еще вчера.

Было намечено в плане несколько докладов на сельских собраниях о положении на фронтах, три приговора над предателями, которые он тоже хотел провести через сельские собрания, лагерь на авторемонтную немецкую мастерскую и — самое серьезное — захват железнодорожного полустанка X., где, по данным разведки, стоял только что прибывший эшелон с провиантом, для разгрузки которого и собирали крестьянских лошадей.

— Быть тебе генералом, Никита Васильевич, с такой головой, — и лесник сжал Коротеева в своих могучих руках.

Спустя три дня Петр Семенович сидел в штабе, у одного небольшого начальника, ведающего партизанами, пил чай в накладку и рассказывал о делах отряда. Сухов не появлялся в штабе.

Ночью, когда рассказ его был перепечатан на машинке, начальник наскоро вымыл руки, надувшись одсколом, принял чистый воротничок к гимнастерке и, поздравив Петра Семеновича, поехал с ним в штаб.

— А духа-то зачем на себя мылил? — с любопытством спросил Петр Семенович.

— Захарьин, брат!

— Кто это Захарьин?

— Не слыхал? Ну, сам увидишь, — и он захохотал, очевидно предвидя впереди что-то очень веселое.

Ехали вдоль красивого озера с капризным профилем. Стояла полная луна. Вода была словно никелирована. Белый монастырь на острове нежно сиял в голубом лунном свете.

Обгоняя воинские колонны и встречаясь с колоннами беженцев, объезжая трупы навших колхозных коров, сталкиваясь с брошенными телегами и подсакивая на ямках для мин, они довольно быстро добрались до штаба.

Ждать приема пришлось не долго. Но Петр Семенович, утомленный опасной дорогой из отряда в штаб, после горячего чаю с водкой, которым угостил его небольшой начальник, и несколько волнуясь в ожидании ответственной встречи,

стал засыпать на глазах у всех. Когда заснул всерьез — их как раз и вызвали.

Разговаривать с ними должен был Захарьин, комиссар очень крупного масштаба, только что приехавший из Москвы.

Когда сегодня днем маленький начальник по партизанским делам доложил ему о гибели Коростелева и что-то промямлил относительно плохой связи с отрядом, Захарьин велел немедленно доставить к нему емельковского лесника.

— Ну, Петр Семенович, следи за собой, — успел шепнуть Невскому начальнику и, шумно вбрав в себя воздух, приоткрыл дверь в кабинет неслышным, ласковым движением.

Высокий, плотный человек встретил их на пороге кабинета. Он нетерпеливо поводил плечами, точно готовился к рукопашной.

— Из отряда Коростелева? — и, не ожидая ответа: — Сами кто будете, как зовут?

— В обиходе зовусь Емельковым, поскольку я емельковский участковый лесник, а по бумагам звонко значусь — Петр Семенович Невский.

Захарьин, усмехнувшись и осторожно поправляя маленькое пенсне на своем широком энергичном лице, сказал:

— Вот если б так воевали, как вам по фамилии надлежит... хорошо было бы. Садитесь. Рассказывайте!..

И Петр Семенович начал снова рассказывать то, что он только что доложил и что было уже напечатано и лежало перед начальством, но Захарьин то и дело перебивал его, задавая вопрос за вопросом, и доклад благодаря им становился другим, новым — все обыкновенное приобретало теперь в его новом повествовании гораздо большее значение и смысл.

Захарьин расспрашивал о настроениях жителей, о положении с тяглом, о том, есть ли соль и спички, сколько закрыто школ, то есть как раз о том, что Невский знал плохо.

Чистенькая, аккуратная девушка принесла два стакана чаю с бутербредами, и Петр Семенович, не сообразив, что один стакан принесен Захарьину, выпил оба. Тогда, немного погодя, она принесла еще два стакана и, с укоризною поглядев на лесника, теперь уже поставила стаканы не вместе, а порознь, перед каждым в отдельности.

«Не хорошо», — подумал Петр Семенович и, вспотев от смущения, стал быстро заканчивать свой доклад.

Захарьин встал, осторожноенько положил пенсне на тетрадь, сказал, поднимая плечо:

— В любом деле главное — не терять перспективы. Кто ее потерял, тот пропал. Это твердо запомните... — Он прошелся по комнате, приблизился к карте, занимавшей всю боковую стену, и прочертил рукой волнистую линию от уровня своей головы вниз.

— Надо, чтобы там всюду земля горела под их ногами... Мстить надо конкретно. Убили у вас ребенка — мстите за него, не только вообще за ребят, а и за этого, с именем и фамилией. Сожгли деревню? Мстите за нее. Наш колхозник — человек точный. Когда за его избу, за его сынишку мстят, он это всей душой поймет, он и сам возьмет винтовку. Как, товарищ Невский, возьмет?

Петр Семенович сначала показал рукой, что, мол, возьмет безусловно, и потом произнес:

— Точно.

Захарья продолжал:

— Партизанская война — на народе. Там ваш театр войны. Где горе, где беда — там вы нужны более всего. Партизан — общественный деятель, не забывайте. Не только сражаться, но и воспитывать вокруг себя людей политически. И главное — ни одного дня без борьбы. И чем смелее, тем лучше. Командиром коротостелевского отряда назначаю вас... Отдохните и возвращайтесь к себе... Сводки посылайте короткие и правдивые. Не бойтесь давать нам советы и предложения, делитесь опытом. Война — это все время поиски нового. Кто зевает — проигрывает. Солдат куетея в бою, мы, начальники, тоже. Кто рассчитывает получить все готовое — ошибается... От неудач не расстраивайтесь. У вас еще будут неудачи, но на этом народ проверите и отберете. Все!

Петр Семенович встал и первый протянул руку этому страшному Захарьину.

И — как уж вышло, но помнил — сказал ему:

— Дорогой товарищ комиссар, золотые твои слова.

Так, не разжимая рук, вышли в коридор, как два родных брата.

Порученцы встали при их появлении.

— Проводите к полковнику Богодухову. Он уже знает.

...Светало, когда, получив все нужные сведения, Невский возвращался из штаба.

Где-то близко работали зенитки.

В голубом, но уже потускневшем небе слышен был рокот моторов.

На чистом горизонте нежно розовели зарева горящих деревень.

Невский закрыл глаза.

— А у меня сейчас бой! Чупров, небось, колхозных коней спасает.

Чупров благополучно «сбил» у двух колхозов семьдесят пять коней с сажнами и держал их наготове в лесу. Падеж на коней был первой частью падежа на полустанок. Немцы, торопясь разгрузить эшелон, быстро собрали десятка два саней по всем соседним колхозам и с козвром из четырех солдат направили их к полустанку. Не успели те подойти к месту, как их нагнал другой обоз из двадцати саней, с Коротеевым в немецкой форме.

Стали грузить сразу сорок саней. Час спустя подошел третий обоз, стали грузить и на него.

С последними пятнадцатью санями прибыл Чупров. Начинало темнеть.

— Наше время подходит, — шепнул Чупров Коротееву, который поминутно козыряя немцам, спокойно выправлял какие-то бумаги на груз и только едва кивнул головой.

Партизаны таскали кули и ящики из вагонов и укладывали на сани. Те, что погрузились раньше, вытянулись на дороге, за полустанком, поджидая остальных.

Два солдата, пританцовывая на морозе, стояли в голове обоза.

Все немцы были на самом полустанке, в компате, где выписывались документы, или у вагонов, возле которых они велили зажечь костры, чтобы видней было отбрасывать груз.

Чупров прошел вдоль поезда. Ребята стояли, где надо. Коротеев, выправив документы, шел, чеканя шаг, к обозу. Тогда Чупров быстрым и легким движением вышел из-за плазухи правую и метнул ее в окно станционного здания.

Разом загрохотало и у эшелона. Полетели вверх поленья из костров, затрещали вагоны, вспыхнуло сено, как бы невзначай наваленное у вагона, и застучали скороговоркой партизанские автоматы.

Чупров, бросив гранату в станционное здание, видел, что там сразу погас свет. Прислонясь к ящику, лежащему на платформе, внимательно держал здание под контролем.

Он не оглядывался на то, что происходит на путях, а вслушивался, но когда близко стоящий возле него вагон занялся озорным огнем, лежать на свету рискованно, и он отбежал к киоску.

Положение сразу стало яснее.

Поезд горел уже почти весь. Немцы, успевшие ~~живыми~~ выбраться из вагонов, стреляли, укрывшись за полотно дороги.

Слышны были робкие очереди и на дороге, у обоза.

— Федор! — услышал он крик. — Пора или нет?

— Огня мало. Погасят, сволочи, — ответил Чупров.

— Огонь сейчас будет. Спирт загорится.

— Подождем.

Кривоногий Федорченков пробежал, согнувшись, вдоль поезда, бросая бутылки с бензином в настежь открытые вагоны. Огонь сразу повеселел. Миша Буряев поддал огню в хвосте поезда. Коробейник, любивший делать все медленно и точно нехотя, поджег выход из станционного помещения.

— Ну, теперь пора! — крикнул Чупров. — Все ко мне! — и, хоронясь за каждый выступ стены, припадая к земле, партизаны бешено проскочили освещенную полосу и скрылись за домами железнодорожного поселка.

Выстрелы немцев сразу усилились, охватили полустанок со всех сторон, приближаясь к дороге.

— Бегом! — скомандовал Чупров.

Он сбросил с себя длинную волчью шубу, побежал в одной куртке.

— Заморзнешь, Федор, подними шубу! — кричали ему.

— Ничего!.. Хоть на час, да вскачь!

За последним баракom стояли развалыни, запряженные парой коней.

— Груня?

— Я, дядя.

— Обрось нам лыжи и сама гони во-всю! Обоз далеко?

— Обоз хорош! — засмеялась Груня, племянница Чупрова, и щелкнула языком. — Ну, родные!.. — Кони уже неслись.

Партизаны быстро порасхватили лыжи.

— Целиной?

— Есть целиной!

— А может, ну их к чертям, пойдем трактом?.. На чем они будут догонять?

— Тихо. Не разговаривать. Пошли целиной.

Когда отошли километра за три, Чупров спросил:

— А что грузили-то, известно?

«Тринкен» главным образом, выпивку, — не без удовольствия сообщил Федорченков.

— И галеты есть, и консервы. Зачем же! Умно подобрано.

— Будет теперь Наталья работеха, — засмеялся Чупров. — Сейчас она это в двадцать пять ящиков позароет, потом не допросишься!.. Я у нее недавно муки просил, ну, дала она, как говорится, адрес, нашел я то место,

копая — спирт. Я ж шей. Ошибка, говорю. Покраснела, бедная, извините, говорит, дядя Федор, и дает мне другое место. Что за черт! Опять спирт.

— Везет тебе! — сказал Федорченков. — Со мной вот таких чудес никогда не бывает. Хоть бы разок ошиблась.

Выстрелы давно замолкли за спинами партизан, а зарево сильными рывками поднималось, подпрыгивало все выше и выше и часто вздрагивало и темнело.

Точно словорвалось, партизаны не поминали о побеге. Поговорив о том, о сем, о пустяках, они замолчали, потому что идти было трудно, а они устали и были голодны. Но, не глядя на их усталость, Чупров упрямо вел группу по целине.

Был вечер. Наталья не зажигала огня. Прислонясь спиной к печи, сидела она на низенькой табуретке и, закутавшись в шаль, повторяла наизусть:

«Картонки двенадцать мер на явильковском кладбище... двенадцать мер люд могилой с чугунным крестом... У колодца на тракте патроны... патроны у колодца на тракте... Керосину пять бочек...»

Дверь в сенях шумно раскрылась, вбежал возбужденный Павел.

— Где лыжи?

— Где-то отец схоронил, не знаю. Куда собрался?

— Сбегаю к большой сторожке. Слышно — саней пятнадцать туда прошло, голоса слышны, песни.

— На полатах лыжи. Да ты и мои спиши, вместе сходим, одна боюсь оставаться.

— Боюсь, боюсь, — недовольно проворчал Павел. — Я же говорил, как тебе поступать. Вышла бы за Сухова и горя не знала. Да и сейчас в общем не поздно. Вернется он из штаба, отряд наверняка распустит, в Москву поедет. Вот и я бы с тобой.

— Молчал бы уж со своими советами, — сказала Наталья.

Лес был подернут вечернею мглою, все таяло в нем, все терялось, и даже голос падал у самых губ, не распространяясь в воздухе.

Шли осторожно, боязливо. Не доходя версты до старой поляны, где стояла их большая изба, почувствовали запах дыма, и мгла впереди пожелтела.

Пять или шесть костров трещали на поляне, и черные силуэты людей со светящимися головами качались вокруг них.

— Поди-ка, разнюхай, — сказал Павел сестре. — Смотри, только к мужикам особо не суйся, а то дадут тебе пряника.

Но тут же усовестился и, остановив сестру, вышел из леса сам.

Наталья подумала и двинулась следом за ним. И только вышла на поляну, попяла — Сухов здесь.

Он — Наталья увидела сразу — стоял на крылечке, в новом черном полушубке, в серой барашковой шапке, и держал речь. Наталья оглянулась, — Павла нигде не было, и она одна подошла к последнему костру и стала в створке, за чьими-то санями, груженными мясом.

Поляна напоминала колхозный рынок в канун базарного дня. Тесными рядами стояли розвальни, груженные мясом и мукой. Мычали телята. Попискивали в лукошках куры. Из раскрытых кадушек розово-белыми комьями выглядывала мороженая клюква. В пахнущих сушками рогожных кулях любескивала рыба. На кулях лежали завернутые в тряпье винтовки, а у двух саней торчало по станковому пулемету. Коростелевские партизаны и приехавшие с ними вступить в отряд новички набивали патронами пулеметные ленты и сушили у ко-

стров валенки. Мальчишки, приехавшие со старшими, возбужденно носили воду, наливали ею черные, прокопченные на кострах ведра, набрасывали тулупы и одеяла на прозябших коней и, перекликаясь друг с другом, помогали отцам стряпать ужин.

Все было возбуждено, приподнято и, несмотря на будничную обычность, звучало новыми голосами. Наталья подошла ближе к сторожке.

— Вижу я, без меня отклонение от директивы произошло, — услышала она голос Сухова. — Откуда народ, зачем? Кто велел собирать?.. Был я в штабе и получил указание отвести партизан за линию фронта. Так и сделаем, как нам приказано. И всех вас, кто сюда прибыл неизвестно зачем, с собой заберем.

— Куда же нас из родных мест уводишь, Аркаша? — сказал Чупров. — Собирались мы по приказу Петра Семеновича. Я сам двадцать человек сагитировал, вот они. Народ все крепкий, известный нам. А тут еще и товарищ из города прибыл, — и он показал на человека в зеленой немецкой шинели (это был Коростеев), с интересом следившего за партизанским сходом.

— Кого ты привел мне, немца? — закричал Сухов. — Под суд за это, под суд!

Народ недовольно зашумел.

— Это, Аркаша, беспорядок... Нельзя так... Где лесник?

И тут Наталья увидела Павла. Размахивая руками, он вертелся у крыльца сторожки.

— Вот послушайте, что его сын говорит, — прокричал Сухов. — В разведку, говорит, отец ушел. Слыхали? А какая такая разведка? Сиди дома да чай попибай — вот и все задание. Боюсь я, граждане дорогие, таких разведчиков. Поэтому и повторю приказ — готовиться к выходу за линию фронта.

— Мы тебе присяги не давали, — сказал пожилой колхозник из тех, что пришли вступить в отряд. — Как, ребята? — спросил он поляну.

— Верно, не давали!.. Да кто он, Сухов этот?

— Видали разложение? — сказал Сухов двум-трем стоящим поблизости от него партизанам. — Боюсь я, чужеродных элементов тут много.

Не успел договорить он, как перед ним вырос худой, изможденный человек с темною всклокоченною бородой, одетый в латаную суконную куртку, немецкие брюки и деревенские сапоги. Левый рукав куртки был пуст.

— Ты кто, слушай, будешь? — вызывающе спросил он Сухова звучным, пересского тона голосом, в котором слышался легкий южный акцент. Так говорит русские, много лет прожившие на Кавказе и перенявшие и тамашний лад речи, и тамашние ухватки.

— Откуда ты взялся? Кто такой? Зачем командуешь? — все более горяча, спрашивал безрукий.

При первых звуках его голоса Наталья вздрогнула и, сжав руки в почти несбыточной, обманчивой надежде, замерла, прислушиваясь к тому, что он скажет дальше.

— Раньше доложи нам, как вы Коростелева потеряли, — продолжал безрукий.

«Он!» — мелькнуло в ней, не мысленно, а всем существом сразу. Но она еще не верила себе. Шаг за шагом приближалась она к нему, все более узнавая и все-таки еще боясь ошибиться.

Коростеев тронул Чупрова за руку.

— Хорош парень. Откуда он?

— Пехоте, армейский.

— А ну, ребята, ведите его в избу, сейчас разберемся, кто откуда, — сказал Сухов, и Павел с двумя другими повели Алексея.

— Пойдем-ка и мы за ними, — сказал Коротеев. — Послушаем, что и как. Пора бы кончить беспорядок.

Расталкивая стоящих в сенях партизан, Наталья вбежала в горницу. Сухов, держа в руке маузер, сидел у стола. Он, Алексей, — теперь Наталья точно знала, что это он, — стоял в двух шагах от Сухова.

— Я, товарищи, ефрейтор Энского кавполка Алексей Овчаренко, — заговорил он непринужденно. — Был ранен летом под Витебском, скрывался в колхозах. Как маленько на ноги встал, решил двигаться к фронту, к частям Красной Армии. Много я видел, много запомнил, это должно пригодиться. Долго я шел. Выбирал места знакомые, через которые наш полк проходил в свое время. Я и в ваших местах в начале войны был, полк наш тогда стоял здесь лагерем, за рекою.

Сухов встал, стукнул по столу револьвером и быстрым воровским взглядом оглядел безрукого.

— Кого тут знаешь? — спросил он.

Безрукий повел плечом, улыбнулся.

— Многих знал, да ведь не мало времени с тех пор прошло, и позабыть могли.

— Говори, кого знаешь! Если не опознает никто — убью!

— Э-а, зря ты меня смертью пугаешь...

Наталья выбежала вперед, к столу.

— Я, — сказала она, приложив руки к груди. — Я. Я его знаю.

Алексей и все, кто были в горнице, повернулись к ней.

— Веселое дело, — сказал, усмехаясь, Сухов. — Это-то и есть твой суженый?.. Ты что же — к ней шел или часть свою искал?

Алексей лишь на мгновение взглянул на Наталью.

— Теперь ты, Сухов, знаешь, кто я, — сдерживая злость, сказал он. — Теперь твоя очередь. Знакомиться — так знакомиться...

— Нет, уж извините, теперь моя очередь, — и Коротеев, в своей зеленой гимназической шинели, бочком пробрался к столу.

— Это, знаете, ни на что не похоже, товарищи, — словно председательствуя на шумном недисциплинированном собрании, начал он раздраженно. — Я член бюро райкома. Пришел к вам из города для связи. Коростелев погиб. Ситников тоже. Кого вы послали к нам с докладом? Судя по всему, никого. Кто вам разрешил уходить за фронт? В каком таком штабе вам это сказали, Сухов?.. Доложите-ка нам немедленно. С кем персонально вы говорили?

— Буду я каждому рассказывать... — с манускриптной небрежностью отмахнулся Сухов и сказал партизанам, толпящимся у входа в горницу: — А ну, освободите помещение!.. Штабной разговор, а вы тут уши поразвесили. Я и без вас управлюсь.

Он нервничал, видно не зная, что предпринять и как вести себя.

Наталья робко приблизилась к Алексею.

— Родный ты мой, счастье ты мое бедное...

— Погоди, Наташа, — как бы даже небрежно, вскользь ответил он, отстраняя ее от себя.

А Сухов был уже рядом с ними.

— Кому я сказал? Ну? Очистить помещение.

Алексей заслонил собою Наталью, сказал ей, не оборачиваясь:

— Выйди, Наташа.

Но сам остался, и Сухов не повторил ему своего приказа.

— У нас такой был порядок, — сказал он Коротееву. — Брали мы в отряд только тех, кого лично знаем. Измены боялись. А как разбили нас и погиб Коростелев, общее мнение было уйти отсюда, переформироваться, получить нового командира...

— Да нет, погодите, Сухов, постройте... Вы ответьте на мой вопрос: у кого вы были, с кем именно говорили?..

— Что я вам буду штабные дела рассказывать! Не знаю я вас! Вот отведу в штаб — выясним!

— Погоди, Аркадий, — вступился Чупров. — Если ты не знаешь кого, — так я знаю.

Громкие крики на поляне заставили его замолчать и прислушаться.

— Кстати, — сказал Коротеев, — беспорядок у вас невероятный. Никакого хранения, никаких дозоров. Костры горят, как на ярмарке. Пойдите-ка, Чупров, приведите все в норму.

— Тут Чупрову нечего делать. — Сухов застегнул полушубок и, словно беря на себя полную ответственность за беспорядок, решительным шагом вышел из горницы.

Чупров и безрукий Алексей Овчаренко бросились следом за Суховым.

Крики на поляне нарастали. Прислушиваясь к ним, Коротеев что-то набросал на газете, покрывавшей стол.

За сторожкой послышался топот коня.

Раздался выстрел. За ним — второй.

— Поразительный беспорядок! — произнес Коротеев с несдерживаемой злостью. — Стихия какая-то, чорт ее возьми! — и, бросив на стол отрывок календаря, стал искать шапку, чтобы выйти и самому разобраться, что происходит.

Тяжелые шаги нескольких человек раздались в сених. Медленно, рывками приоткрылась дверь. Четверо внесли раненого.

— Кто это? — спросил Коротеев, но тут же увидел бледное лицо Алексея Овчаренко, и то, что могло произойти на поляне, сразу промчалось в его сознании.

— А Сухов?

— Драну дал Сухов, — сказал один из четверых. — Мы и внимания на него не обратили. Обступили Петра Семеныча, кричим «ура», а Сухов прыг на коня да в лес. Парнишка-то этот один сообразил, схватился было за узду, а Сухов сразу всадил в него две штуки — и валькой звали.

Вскликивающая Наталья, дрожжа, зажигала фитилек, плавающий в масле. Дверь в сени была настежь распахнута, холод волнами валил в горницу, колебля робкий свет.

В дверях показалась фигура лесника.

Алексея уже раздели, и Груня Чупрова, вполголоса покрикивая на него и вся ему то позволяющая, то повернувшись, торопливо накладывала повязку.

— Ничего, Наташа, ничего, — сказала она, заметив вошедшую Наталью, — жив будет, мясо всего только пробило, кость целая...

— Мне только одно сердце оставьте, я и то выживу, — сказал раненый, медленно улыбаясь.

— Он тебя убить мог, — сказала Наталья, садясь у изголовья. — Он сразу догадался, что это ты, что из-за тебя я ему отказывала... Ну, только б ты выздоровел, все хорошо будет. Увезу тебя в спокойное место. Я при тебе, как травинка при земле, Алеша, — и она опять заплакала и, не утирая слез, поглядела на него счастливо и тревожно.

Алексей взял ее руку в свою, грязную, твердую, напоминающую рассохшийся кусок коры.

— Одно сердце на двоих дала нам жизнь, — сказал он. — Жить врозь полсердца мало, только вместе можем мы.

— Только вместе, Алеша. Вот оправишься немного, увезу я тебя в спокойное место, выхожу тебя, и опять ты будешь у меня сильным, веселым.

— Самое спокойное место там, где душа спокойна, — сказал Алексей. — Я ведь не думал, что тебя разыщу. Так, иногда, мелькало — а вдруг она здесь? Может, думал я тогда, помочь ей чем надо? А когда узнал, что собирают народ в коротелевский отряд, я сразу вызвался и обо всем забыл, и о тебе забыл, родная...

— Воевать тебе сейчас трудно, Алеша, рука и нога в двух местах ранены, а партизанское дело знаешь какое!.. Нет, Алеша, и думать тебе ничего тут оставаться, только обузой будешь. Ты наши места, я помню, никогда не любил. Все тебе было холодно здесь да сыро...

— Мало ли что раньше было, Наташа! А сейчас нет в моей душе ничего, кроме злобы к немцам. Сплю, я то во сне вижу, как их уничтожаю.

— Да я ведь... — не договорив, Наталья взмахнула рукой и быстро вышла из горницы.

Невский, шептавшийся за столом с Коротевым и Чупровым, поднял голову и внимательным взглядом проводил дочь.

— Значит, тебя Алексеем Овчаренко звать? — немного погодя спросил он раненого. — Так. Молоцом, говорят вот, держался ты с Суховым, молодцом! Жаль, что ранило. Нам бы ты сильнее пригодился, — развитой человек, военный, да что сейчас с тобой делать? Докторов у нас нет, больницы далеко.

— Да уж как-нибудь, — коротко ответил Алексей.

— Может, и вправду тебя переправить на время за фронт? — спросил Коротев. — Подлечисься, окрепнешь... Как думаешь?

— А я бы так сказал: оставили бы вы меня в покое, дорогие товарищи, может, оно самое лучшее.

— И то дело, — сказал Невский. Он встал, и громоздкая тень от него легла на половину горницы.

— Значит, ты, Федор, с утра поднимай свой народ и уведи его в эту дистанцию. Никита Васильевич поговорит с новыми, отберем им хорошего командира и отправим вслед за тобой. Штаб я оборудую в малой сторожке, километрах в восьми отсюда... там и основной склад будет.

— Вот я у тебя, начальник, и буду бессменным дежурным при штабе, — сказал Алексей.

— А что ж? Пока лежишь — никуда не спешить, и то верно, — спокойно ответил лесник.

Скрипнула дверь, вошла Наталья.

— Бери сап, перевози раненого в малую сторожку, — сказал ей отец. — Навел там, что ли?

— Здесь был, — ответил Чупров. — Все возле Сухоза терся, озорник.

— Так. А сейчас он где?

Никто не ответил.

— Если в малой сторожке застанешь его, Наталья, вели без меня ни шагу не делать!

Как только Павел увидел отца, он сразу понял, что настала минута, решающая судьбу всей жизни. Услышав же, что отец был в штабе, и сразу догадавшись, что Сухов там, конечно, не был, Павел окончательно растерялся и убежал в лес. Выстрелы прозвучали за его спиной, и он легонько всхлинул, ожидая пули в спину.

Он не знал, зарыться ли ему в сугроб, спрятаться ли в ельник, или уходить, куда глаза водят. Но глаза никуда его не вели, в сугроб зарываться было долго, и он присел под ель, наблюдая за поляной. Сухов уже скакал на коне в лес.

— Аркаша, друг! — кричал Павел. — Аркашенька, дорогой, что ж ты, крест тебя накрест!..

Аркашка махнул ему — дескать, дальше где-нибудь поговорим — и скрылся из виду.

Павел побежал по его следам. Ему надо было что-то выяснить у Сухова, но сейчас, задыхаясь от усталости и волнения, он не мог даже сообразить, что собственно ему надо. Да что же выяснить? Он остановился перевести дух.

«Сухов — подлец, снюхался с немцами, надо об этом сказать отцу, — думал Павел, — надо все рассказать отцу и о Сухове, и о Бочарове и... о себе тоже». И как только осознал он, что следует открыться перед отцом и признаться, что и сам он, Павел, был рядом с изменой, с предательством, что о многом умолчал он, передавая о гибели Большакова, что не упомянул ни разу о встрече Сухова с Бочаровым, то есть, что был он тайным пособником их, как страх овладевал им до дрожи, до обморока, и он чувствовал, что быть правдивым у него нет сил.

«Никуда я не пойду, никуда — ни к отцу, ни к Аркашке, — думал он тогда. — Вот лягу в снег и замерзну, ну их всех к чертям!»

Было ему сейчас стыдно за свое увлечение Суховым и было страшно показаться на глаза отцу. И он на самом деле готов был замерзнуть, только чтобы не отвечать ни перед кем.

Он присел на поваленную ветром сосну и, задумавшись, задремал. «Может быть, так и замерзну», — подумал с надеждой. Но когда мороз пробрал его до костей, он зевнул и, перестав думать, что предстоит ему, побрел домой.

На Большой поляне он уже никого не застал. Пусто было и в малой сторожке, где жили они с Натальей. Тогда, по наитию, двинулся он к бараку лесорубов, в котором не жил никто лет пять, и нашел здесь Наталью, Группу Чупрову и раненого Алексея Овчаренко.

Отец еще не являлся. Видно, размещал партизан. А Наталья с Группой были так заняты, что едва обратили на него внимание. Они вскрывали ящики, подпарывали кули и раскладывали муку к муке, консервы к консервам, то и дело влетая в барак и крича Алексею:

— Заметь себе, три ящика консервов.

Алексей ставил угольком на бревенчатой стене палочку.

— Что стоим, как оца, помог бы, — крикнула ему, наконец, Груня. И через минуту Павел уже бегал со двора в барак и кричал Алексею:

— Три — консервы, два — вино, три — мука.

Так, не разгибая спин, проработали до вечера. Вечером Груня Чупрова сделала раненому перевязку.

— Сухоз-то твой оказался измептик, — словоохотливо сказала она Павлу. — Казнить его надо...

Павел промолчал. Наталья положила перед ним ломоть хлеба, кусок солонины, сказала:

— Отсюда чтоб никуда не уходил. С утра ямы рыть будем.

— Ладно.

— Уйдешь — убью.

Он поглядывал на нее, удивленный сказанным. Сестра глядела на него потопченски жестко, немилосердно, губы ее были плотно сжаты.

— Ошибся я, Наташа, ошибся, я уж сам знаю, — пробормотал он, вставая, чтобы сбросить с себя ее безжалостный и презрительный взгляд.

В ту ночь он не спал, ожидая отца, но лесник так и не явился. Под утро мальчик-разведчик прибежал сказать, чтобы не ожидали и завтра.

— Одно дельце надо ему обстригать, — по-взрослому объяснил мальчуган.

— Какое дельце? — неосторожно, просто из любопытства, спросил его Павел.

Мальчик подмигнул ему — знаем, мол, вас.

— Клятва дадена, — восторженно произнес он. — Всем отрядом клятву давали и потом по отдельности. Я тоже расписался, — сказал он с нескрываемым уважением к самому себе, степенно попрощался и, опять повторяя кого-то взрослого, вымолвил, уходя:

— Благослови, метелица, с немцами не кашнителиться!

Дело, о котором наметнул мальчик, не было намечено в плане Коротеева. Идею его привнес Иевский. Это была месть за учителя Ползикова и двух убитых Штарком ребятнишек. Ее подхватили сразу и, чтобы не терять времени, решили не откладывать надолго. Коротеев тут же сел за плакаты на немецком языке:

«Казнен за зверства над детьми в санатории», «Казнен за убийство учителя Ползиковъ».

Некоторые просили себе два или три плаката, а Чупров взял десяток. Коротеев аккуратно записывал в блокнот, сколько кому выдано. Многие тут же сделали заявку на следующие дела — на мщение за трех казненных старушек, за осиротевшую церковь, за других замученных ребят. Коротеев аккуратно записал все предложения, и отряд, разбившись на шесть маленьких групп, отправился на операцию. Федорченков с молодыми партизанами — к дороге, что проходила лесом, Буриев — к ближайшей деревне, а Иевский с Коротеевым — к штабу карательного отряда.

С той страшной, похожей на бред умирающего, ночи, когда она, темная, вдруг вспыхнула пламенем смертельного пожара, когда затрещал дом и мыши засуетились за обоями, на потолке, под полами, выгрызая себе выходы из жилища, когда колокол в церкви за прудом вдруг загудел могучим набатом, когда фигура высокого окровавленного человека с мертвым ребенком в руках прошла по огненно-оранжевому снегу парка, когда выбежал Ветепер на скользкий лед пруда и побежал, слыша за собой крики этого несчастного Штарка, когда в беспамятстве дополз он до проклятого Бочарова, — казалось, все кончено. С той самой ночи Ветепер жил только при свете. Едва опускалась темнота, он запирался в избе и даже за нуждой не ходил дальше сеней. Впрочем, в эту минуту его стерег кто-нибудь — то ли мать Бочарова, то ли сам Дмитрий.

Так и сейчас, когда ночь разверзлась, как бездна, он не знал, что ему делать.

Слава победителя Коростелева уже забывалась.

Необходим был новый успех. И тогда — отступок. Только тогда. Ночь была неисчерпаемой глубины. Вегенер вызвал адъютанта.

— Ракеты! — сказал ему, кутаясь в белый шелковый платок. — Пусть будет светло! Все время! Одна за другой! Мне нужен день.

Скоро за окном затрещало и посветлело. Вегенер успокоился. Конечно, покойный Штарк был прав — кровь надо проливать неустанно. Наверно, это злорово укрепляет волю. С завтрашнего дня он начнет...

То, что творил этот Невский, было поистине невыносимо и требовало решительных ответных ударов.

Но все, что ни затевал Вегенер, наталкивалось на умное сопротивление, на суровый отпор. Судя по данным Бочарова, — а они были, конечно, отрывисты и случайны, — Невский расчленил свой огромный отряд на крохотные ячейки.

У него были «мостовики», и они специально следили за тем, чтобы не был восстановлен ни один мост.

Были «связисты», — они снимали по пять километров проводов в день.

Были «ораторы»-спайперы — они специально посещали сельские сходки, на которых присутствовали немецкие представители, и выступали там с «речами» из автомата.

Были «пожарники», спасающие подожженные немцами села.

Были, наконец, «мстители-одиночки» — неуловимые, неуязвимые агенты огромной осведомленности и страшного упорства.

Агитаторы Невского проникали в каждый дом. Его листовки Вегенер находил у порога своей избы.

Его плакаты «Верни награбленное, иначе смерть!» пестрели на всех дорогах.

За убийство Штарком двух ребят в санатории Невский перебил более трех десятков солдат, не считая тех, что погибли при пожаре самого санатория.

Вегенер бежал тогда в другое село. Снуя сутки дома опустели, пошли пожары. Он перебрался на хутор за маленьким озером. Стало спокойнее, но точно в блокаде. Ни один немец не мог безопасно проникнуть на хутор или уйти из него.

За учителя Ползикова пало двенадцать немцев.

Вегенер, с трудом пересиливая себя, обосновался в селе Любавине, стоящем на оживленном шоссе. Здесь было бы совершенно отлично, если бы не так далеко от Невского. Но будь Вегенер и поближе, что он мог сделать?

Что можно предпринять против воздуха, который опарывает твои щетки?

Что можно предпринять против темноты, которая подстерегает любой твой шаг, против света, который выдает любое твое измерение, против морозов, которые прызнут твои руки и ноги, против пожаров, которые возникают внезапно, точно заклинаны какой-то сверхъестественной силой?

Солдаты, перестававшие прабить, все равно умирали от холода, от истощения. Солдаты, уставшие убивать, все равно погибали в мщенье за прошлое.

Но те, которые и грабили и убивали, те тоже не выигрывали, — те тоже погибали, как все...

По воскресеньям приходится держать весь отряд под ружьем и в полном сборе, ибо каждый осел в отряде знал наизусть плакат:

«В плен беру только по воскресеньям».

По было ли легче действовать во вторник или в четверг? Божь мой, конечно, нет! Во вторник или среду где-нибудь на оживленном перекрестке уже висел новый плакат.

В нем перечислялись фамилии десяти или пятнадцати лучших унтер-офицеров с предупреждением: «Вы будете первыми казнены за совершенные злодеяния...» В этот день ни на одного из перечисленных нельзя было рассчитывать.

За окном раздался окрик часового, и русские толпы в ответ. Вошел адъютант.

— Прибыл Бочаров с одним партизаном от Невского.

— Светло? — спросил Вегенер.

— Как в Луна-парке, капитан.

— Пусть войдут.

Сняв шапки, Бочаров и Сухов, поклонившись, стали у дверей, позади переводчика.

Бочаров откашлялся.

— Вот Сухов бежал из отряда Невского. Он там разложение может сделать.

— Как ты можешь разложить отряд Невского? — спросил он Сухова уже более милостиво.

— Надо будет узнать, где их провиантские базы, да и накрыть их. Без хлеба не выдержат. Факт!

Он начал было подробнее рассказывать о своем плане, но Вегенер уже не слушал его — взгляд его блуждал какой-то отвлеченной мыслью. Не мигая, глядел он в промерзшее окно, за которым подыхали шумные взрывы ракет.

— Пусть уйдут, — сказал он после долгого молчания. — Я не могу видеть русских.

Переводчик жестом, без слов, показал Бочарову и Сухову, чтобы они покинули комнату. Вышли на двор.

— Спать в сарае, — сказал переводчик. — В дом капитана не смеет входить.

— Посетить бы, господин переводчик, — робко спросил Бочаров, стоя без шапки во дворе собственного дома.

— Это ваше дело, — сказал переводчик.

В сарае сидел запертый Павел.

Шопотом они обменялись мнениями, не заходя в сарай.

— Что, все они такие? — спросил Сухов. — Это ж нехороший форменный.

— Да он личное, добрый, это он так, блажит только. Ты ему ругай себя, он все простит.

— Да чего мне себя ругать-то, — сказал Сухов. — Я к нему имею дело, а он ко мне.

— Немцы любят, чтоб их величали, — подобострастно сказал Бочаров.

— Не так что-то мы с тобой сыграли, — сказал Сухов. — Я ведь что думал? Я думал, немец — хозяин, порядок.

— Ни-у! Нашел куда за порядком ходить, — рассмеялся Бочаров. — Жить надо по-своему. Что нам немец? Ты о себе думай. Свой курс держи.

— Какой тут курс! Такого ж нехорошего и обмануть нельзя. Ты ему одно, он, — другое. Да и с Невским теперь, не знаю, как быть. На Пашку я рассчитывал.

— Его достанем! Он парень слабый — возьмем от него, что надо.

— Да, без Павла не обойтись! — сказал Сухов. — А что, всю ночь будут ракеты кидать?

— Свет, говорит, люблю. Беспокойный, сволочь! Ну да привыкнешь, ничего. Ракета не бомба, здоровью не вредит... Ну, пошли спать. Утром подумаем. Поработать придется нам здорово.

Ощупью пробрался на сено, закопался в него и быстро заснул.

6 ноября, в канун октябрьских праздников, отряд Петра Семеновича Невского устранивался в заброшенных бараках торфяников, километрах в тридцати пяти от прежней базы.

Партизаны разожгли печи в землянках, набрали на огородах мерзлой картошки, поставили на огонь чайники с желтой болотной водой.

— И заваривать не надо, — шутили они, — сама с заваркой.

Петр Семенович устроился в большом бараке и, как люди вымылись и прогреблись, собрал их к себе.

— По землянкам разобьемся, ночью не докричитесь.

В тот самый час Сталин начинал свою речь в Москве. Сирены будили темную столицу сигналами воздушных тревог, в воздухе рвались снаряды зениток, рокотали вражьи моторы, но слезов опасность ночи шли и ехали люди к тому месту, где, в свете люстр, в строгот морщании стальных и мраморных колонн, окруженный учениками, соратниками и друзьями по битвам, кровавым, трудным, но всегда победоносным, стоял у трибуны Сталин. Он похудел за время войны, но это молодило его. Он словно возвращался к годам гражданской войны, сбросил с плеч бремя прошедших с той поры лет.

Много бед пережила страна, много земель ее стонало под немецкой пятой. Судьбы родины почь и день тревожили сознание всех, держа его в крайнем напряжении. Но Сталин был спокоен и тверд не только внешне. А от спокойной фигуры его, от медленных движений руки, от улыбки, просто и красиво освещавшей его похудевшее, но бодрое лицо, исходила сила.

И шла эта сила по всей стране, по всем сердцам, зовя их, вдохновляя и предвещая победу.

Сквозь снежный вихрь проникал его голос в дымящиеся тучами кавказские ущелья. Бросив бурку на мокрую спину коня, всадник на носках, словно танцующая, входил в саклю и замирал на ее пороге, прикованный голосом из Москвы. Сквозь шум ледяной волны моряк в рубке подводной лодки, улыбаясь, закрывал глаза, вбирая в себя желтую волю, голос из Москвы. Сквозь грохот близкой битвы, в маленьком русском городке, обуглившимся от пожара, мальчик шептал израненной матери:

— Мамочка, тише!.. Сталин же говорит!.. Не стони, мама! Мы не услышим!..

В тот день — суровый, полный тяжелых испытаний, — один лишь сталинский голос торжествовал, предвещая победу.

На севере было уже темно, но бои шли не ослабевая, и в темноте. Раненых находили ощупью.

Снег запорашивал тропы, проваливался в темные блиндажи, снег набивался в валенки и рукава.

Мети, метель! Поднимай, разноси по стране сталинский голос! Пои сердца спасительною надеждою, зови на бой Россию!

В дремучих ильменских лесах не слышали в ту ночь Сталина.

— Доклад мой не длинный, — сказал Петр Семенович, когда собрались. — Во-первых, с праздником вас! Не простой день отмечаем, а победу, первый советский день на нашей земле вспоминаем... А во-вторых, желаю всем вам скорой победы добиться. У немца каска стальная, да душа большая. Мы его побьем, это точно. Но обязаны крепко бить, чтобы отдыху не знала рука. Клятву дадим — до последнего биться. Вторую клятву дадим — из родных мест шагу не делать. Кто я? Простой лесник. Пятьдесят шестой год пошел мне. Ничего не видал я в жизни и образования не имею, весь свой век в лесу просидел. А принята война, глаза на жизнь открыла. Вижу ее, как на ладони. Вот она, красавица, вся передо мной. Власти мне большой не дадено, а — сознаюсь вам — как командир, стал на жизнь глядеть. Вижу — тут давно надо лесопильный поставить, а там больнице место, в другом месте рыболовецкий стан открыть или дорогу расширить. И нестерпиво мне за это взягся, руки чешутся потрудиться в свое полное удовольствие. Кончим войну, за все сразу возьмемся. Разве так будем жить, как жили? Во сто раз веселее! Часу лишнего не проспим, душна умней стала, душна хозяйкой стала... А третья клятва у нас с вами такой должна быть... Шемец — враг, а свой изменник — тройне. Этим пощады нет, кто бы ни был... Коротесв Никита Васильевич разузнал, что наш Сухов с Бочаровым у немцев, при штабе. Никто из нашего района иудой не стал, кроме этих двух, так надо сжить их со свету. С Суховым моя вина. Я упустил из рук. Обещаю казнить обоих своей рукой. Вот и все. Пусть теперь каждый, кто хочет, выскажется от чистого сердца.

С волнением слушал Алексей речь Невского. Приподнявшись на лавке, не отрываясь, глядел он на говорившего. Губы его шевелились. На бледных ввалившихся щеках проступили ягпа яркого румянца. Теперь, когда он сбрил бороду, лицо его казалось юношеским, почти мальчишеским. Худоба придавала чертам его лица светлую вдохновенность.

— Мне уж не рубить немца, но горжусь — рубил, — сказал он. — И правду ты сказал — для этого только и жить сейчас. Не будет тому счастья, кто стоит в стороне. Проклята будет жизнь того. Товарищи отвернутся от него, родные откажутся, жена перестанет рожать детей ему, честного имени лишится он! Большую правду сказал ты, товарищ Невский, — сухой капсель остановил речь Алексея. Он хотел сказать что-то еще, но уже не мог и только махнул рукой.

Коротесв наклонился к Невскому:

— Придется его отправлять. Иначе погубим парня.

Глядя, как Наталья бережно укрывает Алексея, Невский ответил:

— Отправляю их при первой возможности.

— Ну, а теперь споем, повеселимся, — сказал Петр Семенович. — Наталья выдаст нам кое-чего к празднику. Сходи, дочка, принеси поесть, попить.

— Сегодня бы отлично выпить по стопочке, но другой, — поддержал Коротесв, — а я вкусто ее, проклятой, забыл.

— Стопочки это у вас в городе, — ответил ему Миша Буряев, повгородец. — У нас на четвертинки счет поставлен. И название военное: не четвертинка, а запальник, не половинка, а фугасник.

— Вот мне бы фугасника и хватило, — засмеялся Коротесв.

— Верно ли, говорят, Никита, что ты поешь хорошо? — неожиданно спросил Коротесва Невский.

— И? Как же! Бас-баритон. А чего это ты?

— Да вот как раз к празднику твое уменье. Спел бы нам, а?

— Ни с того, ни с сего? — развел тот руками.

— Как ни с того, ни с сего? Мы тебя просим. Вот это и есть причина. А во-вторых, праздник! А в-третьих, я, может, тебя проверить хочу—поешь ли.

— Ну, если так...— рассмеялся Коротеев,— тогда спою. конечно... для проверки. Да не знаю, сумею ли натошак?

— Пой, пой! Может, тебя, друг, и кормить не за что.

— Не знаю, поет ли, а человек хороший,— заметил Чупров.

Коротеев встал, прилепился спиной к парам, пожевал губами.

— Я шел к вам в лес, и казался он мне мертвым, безжизненным... А на самом деле такой бурной и яркой жизни, как сейчас, никогда и не знал он... Твердый народ мы. Об этом я и спою,— и, вздохнув, он начал песню:

О скалы грозные дробятся с ревом волны
И с белой пеною, крутятся, бегут назад.
Но твердо серые утесы
Выносят волн напор,
Над морем стоя... —

запел он сильным, но запущенным, давно не тренированным и, однако, глубоким, искренним голосом.

Пел он арию варяжского гостя из «Садко», самое сильное, что когда-либо было написано для баса, сильное, торжественно-величавое о духовной мощи Севера. Слова и мелодия слиты были в прекрасном единстве. Он пел арию, как собственное признание, как исповедь.

От скал тех каменных у нас, варягов, кости,
От той волны морской в нас кровь-руда пошла,
А мысли тайны — от туманов.
Мы в море родились,
Умрем на море.
Мечи булатны, стрелы остры у варягов,
Наносят смерть они без промаха врагу.
Опьянны люди стран полночных,
Велик их Один-бог,
Угрюмо море.

Партизаны слушали его не дыша.

— Проверен! Бас! Крепкий бас! — сказал Невский, когда Коротеев закончил, но тот только махнул рукой — не мешайте! Теперь запел он старую песню на слова Языкова, которую пел когда-то в юности, в начале жизни, молодой, честолюбивый, мечтавший о громкой славе:

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно...

Он пел и сам дрожал от упрямой силы слов и мелодии. И опять не чужкою песней, а собственной речью звучало пение, словно не пел, а ораторствовал он, поднимая людей на борьбу, словно не певцом был он и даже не поэтом, сочинившим удивительные слова эти, а полководцем, который ведет сейчас людей на смерть.

Смело, братья, бурей полный,
Прям и крепок парус мой.

Он замолчал, и никто не хлопнул в ладоши, никто не произнес ни звука.

Одна Наталья (она уже вернулась и застала половину песни) нашла, что сделать: вышла с подносом на середину горницы и на подносе подала Коротееву кружку трофейного вина.

Молча, едва кивнув, вынул он кружку залпом.

— Вот это и есть ваш запальничек? — спросил насмешливо. — Пионерская посуда какал-то.

И медленно, важно, чувствуя, что все глядят на него с уважением, достойно вынул вторую.

Тут уж все зашевелилось.

— Артист! Вылитый артист!.. Что спеть, что выпить — кругом хозяин.

Наталя быстро и ловко расставляла бутылки с водкой и раскладывала на дощечках ломтики солонины.

— Пусть будет этот день всем на радость, на счастье, — сказал Петр Семенович и, когда проходила Наталя, попридержал ее за руку.

— Собирайся в дорогу, дочка, — шепнул ей. — Алексея повезешь в штаб, лечить надо.

— Уж такой неспортивный он стал, своевольный, — ответила она тихо.

— А ты ласковым словом возьми, уговором.

Быстро расставив еду, Наталя сейчас же подошла к Алексею. Глаза его были закрыты, но она чувствовала, что он не спит.

— Алеша, можно с тобой поговорить?

Он открыл глаза, улыбнулся.

— Я было загадал: если до ста досчитаю, а ты не подойдешь, значит, плохо мое дело. Не успел до сорока досчитать — ты рядом.

— Алеша, отец хочет возить тебя в штаб, — одним духом вымолвила Наталя.

Алексей покачал головой.

— Если обуза и, так зачем людям рисковать, вывозить меня? Нога поправится, кашель пройдет, тогда и поговорим. Сам уйду, если увижу, что лишний.

— Да ведь перенешься, — робко настаивала Наталя. — Вылечат тебя, и вернемся мы. И будешь здоровый.

— Не время со мной возиться...

Партизаны затаили хоровую, говорить тихо стало трудно.

— Сядь-ка, Наташа, послушаем песню.

— Это все?

— Все, родная. Садись, послушаем, как поют.

Шел к концу декабрь 1941 года.

Партизаны Невского заканчивали год победами. Немец засел в деревнях, в тепле, и выгонять его на мороз стало трудней, но у партизан был уже накоплен опыт. Бесстрашно штурмовали они занятые немцами села, перехватывали обозы, уничтожали связь. И волей-неволей вылезал за ними немец из теплых изб, и кружился по глубоким снегам, в тщетных попытках разыскать Невского. Было у него теперь семь отрядов, и действовали они всегда широким фронтом, в разных местах.

Только сожжет Чупров немецкие склады в Ольгинском, как в тот же день Коротеев, верстах в двадцати от Ольгинского, атакует колонну на шоссе, а сам Невский в третьем месте перехватит связистов.

Неудовимость Невского стала легендой. За голову его обещали немцы большую награду.

Однажды одел он своих партизан в красноармейскую форму, окружил копьём во главе с Коротеевым, что до сих пор ходил в немецкой шинели, и повел в город.

Встречные немцы спрашивали:

— Кого ведут?

— Пленных. На работы, — отвечал Коротеев.

— Хорошо. Ты кто, чех?

— Чех, — покорно отвечал Коротеев.

— Вот вам и славяне. Свои своих сторожат. Следуйте!

Вошли в город к вечеру, в темноте добрались до комендатуры, ворвались внутрь, освободили три десятка арестованных жителей да больше сотни пленных красноармейцев, перебили дежурный немецкий взвод, пристрелили самого коменданта и ушли, захватив два пулемета.

В другой раз Коротеев затеял «строить мост». Человек тридцать партизан вместе с колхозниками разобрали средь бела дня хороший мост в три пролета и стали недалеко возводить новый. За день у разобранного моста создалась «пробка» подвода и сапёй в полтораста. Как стемнело, партизаны отложили топоры, вынули автомаг и, оставив на месте больше полусотни немцев, спокойно ушли в лес.

Был случай, когда Миша Бурлев попал на железнодорожный толкстанок и держал его за собой больше суток. А уходя, велел законать в снег пустые бутылки и плевательницы из kiosка, делая вид, что минирует всю окрестность.

Потом рота немецких сапёров добрые сутки откапывала эти плевательницы, и движение по дороге было приостановлено.

«Одиночки» во главе с Федорченковым тоже делали чудеса. Бывало, по десять часов лежали они в снегу, выжидая у дороги немца, и не было случая, чтобы уходил он от них живым.

Капитана Вегенера губали, на смену ему прибыл новый, из прибалтийских немцев, знающий русский язык, некто фон Каульбарс. Этот стал целиком сжигать деревни, заподозренные в симпатиях к Невскому.

Тогда население нескольких деревень ушло в леса, забрав с собой все оконные рамы и двери и развалив печи.

Каульбарс мгновенно изменил тактику и перестал тропать население. Он пытался устраивать в селах какие-то ярмарки, принимал «заказы» на сапёраторы и общал даже кино тем селам, где будет порядок.

Но возбуждение народа уже перевалило за уровень, который может быть назван спокойным. Все живое сражалось с немцем. Кто мог, уходил к Невскому, кто оставался дома — выживал немца морозами, огнем, топором.

Три женщины, три старухи, были пойманы и казнены за то, что отравили семерых немцев, стоявших на постое.

В другой раз прибежал к Невскому мальчик и принес офицерскую сумку с картами и документами.

Все поднялось и вошало из дня в день. Хлопотливо собирал и накапливал Невский оружие. Знал — наступит день, когда степною встанет народ на немца.

В декабре он как раз и получил известие, что в Любавине, где стоял штаб карательного отряда, прибыл транспорт с оружием, и решил во что бы то ни стало отбить его.

Но тут случилась беда. Немцы открыли две его основных провиантских глубинки и две ямы с боеприпасами. Отряд оказался в бедственном положении.

Впервые растерялся Петр Семенович. Что делать? Коротесва, на несчастье, в отряде не было, уехал в совхоз под городом Х., Чупров дрался под селом Егоровым. А медлить было нельзя.

«Тут не без Сухова дело», — думал Певский, не видя никакого выхода из положения.

Но всегда в минуты отчаяния и безвыходности встает перед человеком путеводная звезда — чей-то живой пример, чье-то горячее слово, чей-то огненный призыв, и вся жизнь устремляется к этой звезде и слепо идет к ней, пока не вырвется из беды.

Так и сейчас вдруг встали в мозгу слова Захарыина:

«Главное — никогда не терять перспективы! Кто потерял ее — тот пропал!»

И хоть лесник не очень точно представлял себе, что такое «перспектива», но она была для него единственной надеждой, единственной верой и тем основным, нерушимым законом действий, который определяет все направление, весь характер поступков.

«Перспектива — это то, что впереди», — думал Певский и понимал это в самом простом смысле. Впереди — значит, надо смотреть вперед. Значит, ни в коем случае не делать шагу назад, а чем хуже и труднее — стремиться вперед и только вперед.

Он не знал, да и не догадывался, что перспектива означает политическую дальновидность и умение прозревать будущие события на основании анализа сегодняшних дел.

Он знал другую перспективу, перспективу глаза, когда с высокого кургана или с верхушки старой сосны открывался перед ним широкий вид. Это и была перспектива. И лежала она впереди.

Быстро увел он свой отряд вперед, то есть глубже в тыл к немцам. Пока его искали в лесу, он объявился на большом тракте.

Алексея еще нельзя было перенести за линию фронта, потому что раны на ноге, общее истощение, а главное невыносимый кашель держали его в постели, но Наталья начала готовиться к отъезду с такой нервной поспешностью, точно должна была уехать не позднее чем через час.

— Ах ты, грех мой! — бормотала она, полая по пустой и гулкой комнате барака и что-то рассовывая в вещевые мешки, и что-то из них выбрасывая, и все время приставая к отцу, чтобы он освободил Груню Чупрову для приема всех сведений о зарытых боеприпасах и продовольствии.

В этой суете как-то вышло, что Павел бывал ей необходимым больше всех. Отец с Коротеевым решили, что он отправится вместе с Натальей и Алексеем. Павел не скрывал, что доволен таким их решением, и как мог помогал сестре в сборах. Иногда случалось, что она поручала ему сходить на одну из известных ему баз и что-нибудь принести ей оттуда; иногда он помогал ей прятать новью трофеи. Нет, он теперь совершенно изменился и не думал о Сухове, раз он и без него достигал своей давней мечты покинуть здешние леса.

Отъезд задерживался главным образом из-за Алексея, хотя опросившаяся на несколько дней к тетке Груня тоже не появлялась в отряде.

Но вот кто-то передал, что она будет завтра к вечеру, и что именно на тех лошадях, что привезут ее, и поедут Алексей, Наталья и Павел.

И вдруг все изменилось в какой-нибудь час.

В десять часов утра, когда бодрствующий по ночам штаб отряда спал мертвым сном, прискакал связной из деревни Чупрова, — она была соседней с полустанком. Дежурил Павел. Немедленно разбудили Петра Семеновича. Новость потрясла всех. С полустанка сообщили, что прибыл железнодорожный состав, груженный пятнадцатью танками, что они уже выгружаются и, как удалось

выяснить, сегодня же пойдут своим ходом по большому тракту к городу X. (то есть, должны будут километров двенадцать пройти краем смельковского лесного участка). Связной передал также, что проводниками колонны взяты несколько сельских старост и Бочаров с Суховым.

Разбудили Коротеева.

— Нельзя упустить такого случая, — сказал ему Невский, раскладывая на столе карту своего участка и надевая на нос очки, что было признаком его крайнего возбуждения. В спокойные дни он превосходно обходился и без очков.

— Где Буряев?

— В засаде, — ответил Павел, вытягиваясь, как полагается.

— Коробейник?

— На линии. Сматывает с Федорченковой группой провода на Ольгинское.

— Губарев?

— Несет охранение штаба.

Губарев был командиром-кадровиком, к нему поручал Невский обучение молодежи, что легче всего было вести в условиях довольно хорошо укрытой штабной базы.

— Федор где?

— Сено возит с группой.

— погоди-ка, Семенович, — сказал Коротеев. — Дай-ка мы нанесем на карту расположение наших групп. Значит, Буряев примерно здесь. Так? Коробейник где-нибудь в этой зоне. Так? Губарев здесь вот, а Чупров, надо полагать, не ближе вот этого пункта... Нет, ни черта не получается... Как у меня душа не лежала отпускать его за этим проклятым сеном!

Отбив от немцев колхозных коней, Чупров по-хозяйски решил перевезти в лес и запасы сена. Не ездить же за ним по деревням. И возил его третьи сутки.

— Надо ехать на место, — поднялся Невский. — Павел, седлай двух коней... трех... со мной поедешь.

— На какое место? — спросил Коротеев. — Место, брат, много.

— Ближе всех к дороге Чупров. Свяжемся с ним, выедем на тракт, определимся... А ты, друг, — он пожал руку связанному, — дуй обратно. Ежедневно будет возможность, сообщки — вышлй, нет ли, куда идут...

Собрались в один миг.

— Наталья, поиди сюда. Шепши, имеется ли у нас что-нибудь при дороге за Косым лучом?

— Место открытое. Невозможно там ничего хранить.

— И близ Чупрова ничего?

— Близ дяди Федора ямка со спиртом, две бочки керосину под мостом, под маленьким. Я там вроде как немецкую могилу сделала, каску положила... Скоро назад будем?

— К вечеру управимся.

Выехав к тракту, к тому месту его, где у маленького моста с «немецкой» могилой под ним отвечалась в лес проселочная дорога, Петр Семенович и Коротеев заметили чупровский обоз и остановили его. Послали за самим Чупровым, который был недалеко.

— Что-нибудь надумал? — спросил командира Коротеев.

— Да нет, а приготовиться все-таки надо.

Чупров прискакал на неоседланном коне.

И давай! Готов к бою! — еще патали прокричал он.

Петр рассказывал ему о танках. Помолчали.

— Наряду с тобой много? — спросил Невский.

— Наряду хвятишь. Бутылки с горючей смесью тоже при нас. А вот время, командир, не наше, — сказал Чупров, глядя на небо. — Полдень, не позже?

Коротеев взглянул на часы:

— Тринадцать десять.

— Время не наше, — повторил Чупров. — Это будет беда, если на танки среди бела дня полезем. Беда будет, командир... Стой! Тихо!.. Андриуша, взлезь-ка на сосну! — крикнул он кому-то из своих. — Или у меня в ушах гудит?..

— Есть. Идут, — раздался мальчишеский голос, сдавленный волнением.

— Петр Семенович, не выйдет. Дай-ка я свой обоз оттяну с тракта, — и Чупров, проваливаясь в снег, побежал к саням, что остановлены были Невским.

— Стой!

В Невском теперь появилось это точное, математическое вдохновение военного человека, когда знание незаметно для него самого превратилось в умение.

— Федор, вали сено на тракт, рядами вали, живо!.. Никита, Павел, ройте могилку под мостом!

Еще никто не понимал, что должно произойти в результате приказа, но он был категоричен, и все бросились выполнять его, подчиненные воле командира и уже не думающие ни о чем другом, как только о точном выполнении заданного.

Десять возов сена, по два в ряд, пятью очередями уже лежали на дороге. Порожние сани выбирались обочинами на преселок.

— Не трогай сани! В ряд их, за сено! В три этажа! Живо!.. Тащи керосин! Тащи керосин, убой!.. Федор, командуй бутылщиками!

Чупров, сваливший несколько возов сена, потный, задыхающийся, безмолвно, автоматически бросился за мост, к бутылщикам. Картина того, что произойдет, была ему еще не ясна. Но когда, леронью оторвав пот с лица, он перемархнул через мост, заметив какой-то одной клеточкой глаза, как волочат к дороге бочку с керосином, все задуманное Невским вдруг стало ему совершенно ясно и понятно.

— Здорово! — прохрипел он, либо уже все понял и оценил, и теперь уже не нуждался ни в какой команде, так как до конца представлял себе операцию.

Но Коротеев ничего не видел из-под моста и был обеспокоен и несколько раз оглядывался на Петра Семеновича, застывшего за широкой елью с напластованным на ее ветвях, подобно белесовой пастиле, снегом.

Однако, когда бочку выкатили наверх, к дороге, и открыли ее, он тоже сразу увидел, что произойдет, и тоже все понял.

— А время-то, время как? — крикнул он Чупрову. — Время-то не наше, Федор!

— Черт с ним, со временем, азарт меня взял, — ответил тот, с головой утапывая своих людей в снег среди мелкого, но довольно частого ельника.

Танки были уже близко.

Андриуша, тот, который первым увидел танки с сосны, сняв ушанку, стал зачеркивать ею керосин и кропить сено и сани. Павел и еще кто-то последовали его примеру. Невский подбежал к ним, крикнул, приподнял бочку и опрокинул ее на дорогу меж савязми и сеном.

— Ступайте в лес! Коней уведите! — и дрожащими от напряжения руками зажег спичку. — Садись на коня, Андрей, зови Губарева. Такой же заслон сделать верстах в трех, подальше!.. А ты, Павел, за Мишей Буряевым!

Мгновение помедлив, пламя, шипя, рванулось кверху, стеною встав поперек дороги.

— Сначала снайперы, бутылки потом! — крикнул Невский и, вынув гранату, лег в кювет, за стеною огня.

Головной танк выскочил из-за поворота и остановился, вильнув на месте. Его пулемет застрочил по огню, окраинам дороги и ближнему лесу. Второй и третий прошли на тормозах юзом и встали поперек дороги. А дальше не видно было. Невский слегка поднял голову — Чупров молчал. Что ж, может, и правильно. Выдержать их.

Головной танк, низко нагнув свою пушку, выстрелил два раза вперед, норовя движением воздуха от снаряда сбить пламя. Сверкающие вихри сена взлетели в воздух.

«Эх, эхот Федор, конуха, дятло!» — и вместе с его мыслью заговорил ручной пулемет Чупрова, потом взрыв гранаты подальше, торопливое токанье автоматов еще подальше, за поворотом.

Невский взглянул на небо. Был откровенно светлый день, устойчивый, прочный, общающий медленный вечер.

«Много работы, много».

Он опять поднял голову. Головной танк методически посылал вперед снаряд за снарядом, и сено взносилось в воздух и развевалось по краям дороги, обнажая тонкую стену саней. И...

— Ты с ума сошел! — закричал он, угрожая и негодуя. — Ты с ума сошел, окающий!.. — и, не укрываясь, побежал к Коротееву, который выкатил на дорогу вторую бочку и, морщась от грохота орудийных и пулеметных выстрелов, пытался зажечь ее и толкал ногой, чтоб она катилась на танк.

Невский одним рывком сдернул Коротеева с шоссе и поддал ногой бочку. Потом, уже из-под моста, бросил в нее гранату.

Танк вспыхнул, точно давно ждал этого случая.

Дым окутал обочины. И тогда заговорили и бутылщики, и снайперы Чупрова.

— Ну, слава тебе, началось, — отдуваясь, произнес Невский и взял в рот горстку снега. — А тебя, Никита, за такие дела надо пороть.

— За какие это?

— За глупости.

— За какие глупости?

— Кто же это перед пулеметом бочки выкатывает?

— А ты?

— Что я?.. Я только рознял вас; тебя сюда, а бочку — туда. Тебя рядом с керосином нельзя держать, больно горячий!..

Огонь на танке крепчал, делался звучным.

— Вот оно, наше партизанское солнышко! — сказал, кивая на огонь, Невский.

...К вечеру, когда прибыл Губарев, с двенадцатью танками было покончено, три хвостовых ушли.

— А что же Миша Буряев не прибыл? Ему что, приказ не в приказ? — спросил довольный днем, но обычно в таких случаях нарочито ворчливый Петр Семенович.

— Бурьев только с засады вернулся, — ответил Губарев, — чай пьет со всеми, видно, не получил приказа.

— А Павел там?

— Да Павел же с тобой, Петр Семенович, уехал...

— Вот он где, Сухов, оказался. Пашку схватили, — тихо вымолвил Невский, бросая в снег рукавицы. — Парень-то ведь не смелый, беды бы нам не наделал!

Как только танки остановились у огненной преграды, Сухов выскочил из машины с запасными частями, шедшей в середине колонны.

Головной танк еще стрелял. Партизаны были не видны. Он и Бочаров дугом, не появ в снегу, обогнули лесной участком у моста и вышли на проселок, усыпанный охапками свежесрыпанного сена.

— Кого-нибудь обязательно тут накроем, — сказал Сухов.

Бой с танками разгорелся все яростнее, а на проселочной дороге было тем не менее пусто.

— Зря. Надо возвращаться, — шепнул Бочаров после того, как они бесцельно пролежали более часа. В это время Павел верхом на лошади, выпряженной из саней, без седла, появился возле них. Они тут же схватили его.

— К нам, что ли, скакал? — спросил его Сухов, обыскивая. — Это, брат, мы примем во внимание.

— Чего с ним говорить, не в себе он еще, — пробурчал Бочаров.

— Почему не в себе? — удивился Сухов. — Слава богу, не чужие.

Разоружив и связав ему руки, Сухов с Бочаровым повели Павла к полутанку.

— Только не будь дураком, Паныка, — сказал Сухов. — Можешь и себя выручить, и нас устроить. Хочешь, отпустим?

Павел молчал.

— Первое — скажи, где база? Второе — где Наталья? Мой план такой: немцу базы откроем, — и твоему отцу крышка! Он — за фронт. Мы — за ним. Наталья — моя. Что ж, он против зятя пойдет? Не станет сора из избы выносить.

— Отец на все пойдет, — сказал Павел.

— погоди, давай по порядку, — перебил его Сухов. — Берешься показать базу?

— Нет, — зло ответил Павел. — И Наталью тебе не предаю, и баз не откроею. Сволочь ты. Только меня запутал.

— Тогда пытаться.

— Убивайте, черт с вами! Лучше убитым быть, чем с вами дело иметь!

— Это все шутки, дело впереди будет, — засмеялся Сухов. — Мы тебя пока что от немца скроем, сам потом увидишь, что мы тебе добра желали. Но, между прочим, иди, не оглядываясь. Бежать задумался — убили!

Они немного отстали от Павла.

— Я его образую, — сказал Сухов. — Это же воск, что я его не знаю?

— Поберечь думаешь?

— Безусловно.

Из лесорубного барака Наталья с Алексеем на другой же день перебрались в лесных вырытую землянку, за широким, даже в зиму плохо замерзающим болотом. Совсем уж в медвежью глушь. А отряд после разгрома танков спял в соседний район.

— Сейчас опасно перевозить вас, — сказал отец Паталье. — Пока Сухова не прикончу, к фронту нам дорога заказана. Он там, побось, день и ночь. Ну, и их отодвину назад. Дней на десять ухожу. Не скучай.

Нетерпеливо поджидала Паталья возвращения отца.

Все в ней было теперь устремлено только на предстоящий путь с Алексеем. Он один мерещился ей — как счастье, как избавление от беды, как будущее, без которого бессмысленно и ненужно все со настоящим. Отрезать у нее этот путь — и останется, станет мертвой жизнь. Незачем будет жить и нечем.

Потру Паталья осторожно выглядывала наружу, топила железную печь, кипятила воду с сухим шалфеем, размораживала кусок сала — завтракали. Потом, взяв топор, выходила наколоть дров. Потом снова топила печь и садилась к огню чистить картошку. День был недолг. К обеду темнело.

Укрытый тулупами, Алексей лежал на нарах, рядом с печью.

Наталья присаживалась к нему и тихо пела или расспрашивала о том, что им предстоит впереди.

— А у вас, Алеша, еще не весна?

— Зима и у нас, доржая. Только у нас зима теплая.

— Посмотреть бы мне, что за зима такая без холода?.. Я даже и не пойму, как это.

Или расспрашивала его о горах, об амальсиях и винограде и улыбалась, не веря, что существуют горы, и виноград, и зима без морозов, по зная, что они будут существовать, как только она захочет, чтоб они были. Маленькая железная печурка до боли обжигала жаром лицо Паталье, — она только вяло шурилась, не отодвигаясь. Ей уж мерещился сухой зной юга. Пусть жжет до боли!

— Валенки в пути придется оставить, — говорила она. — Куда мы там, по вашей жаре, с шубами да с валенками будем крутиться? Людям насмех!

Алексей останавливал, трезво рассекая ее мечтания:

— Где теперь фронт — не знаем, и сколько ехать нам — тоже не знаем.

И она поднимала от огня лицо и замолкала в тревоге. Ведь война, кругом война!

Засыпали рано. По почам округ были волки, и однажды целая стая их, голов в двадцать, всю ночь, рыча и взывая, вертелась вблизи землянки, скреблась в промерзшую дверь, припихивалась к запаху человеческого жилья.

Ночи были длинные, утомительные.

— Ах, скорей бы, скорей отец возвращался!

А ему на этот раз не повезло. В конце третьей недели беспрерывных и в общем очень удачных боев Песевский был неожиданно окружен карательным отрядом капитана Каульбарса. Бой длился всю ночь. Партизаны сражались каждый за пятерых. Оля Федор Чупров сразил в бою девять солдат. Буряев, израсходовавший патроны, бросался в атаку, молотя пемцев прикладом по головам. Молодой партизан Васильков из группы Губарева с ручным пулеметом пробрался на фланг пемцев и три часа держал их под таким огнем, что они закопались в снег, упустили инициативу и разжали уже сомкнувшиеся клещи. Сам Губарев получил четыре ранения, его партбилет был пробит вместе с сердцем. Дважды раненная группа Чупрова перевязывала, лежа на снегу.

Бой шел вблизи богатого до войны села Любавина, славившегося своим колхозом, фермами и особой урожайности льном. Теперь это село вымирало

В нем стоял штаб Каульбарса, и злодеяния немцев были здесь особенно жестоки.

Когда перед рассветом Буряев разжал немецкие клещи и партизаны ото- рвались от противника, Невский решил идти на Любавино.

Раненный в плечо и очень ослабевший, он сказал Коротееву:

— Народ наш до того устал, что отходить будет трудно. Раненых много. Так вот я как планирую: ты и Федор Чупров двумя группами обтекайте немцев и держите курс на их штаб, на Любавино; ночь наступит — ударьте с тылу. Нам тяжело, — значит, немцу во сто раз труднее. Ударите по его ты- лу — он выскочит.

— А ты?

— А я возьму раненых и скою немцев воп у того лесотка. Как-никак, а до темноты продержимся. Как вы начнете в Любавине, мы отойдем поти- хоньку.

— Что ж, другого выхода нет, — сказал Коротеев и взглянул на Чупрова. Тот согласился.

— Войдете в село, — сказал Невский, — сейчас же организуйте розыск Сухова, Бочарова... Пасчет Павла узнайте, не слышало ль о нем?.. Если убит — так убит, а жив, — значит, до меня его поберете.

Чупров широко вздохнул от странной усталости.

— С Каульбарсом надо, конечно, кончать, — сказал он. — Его щелкнуть — весь район вздохнет. Тогда мы хозяева в районе. Пойдем, Никита Васильевич, светает...

...Фронт прошел через Любавино еще в сентябре, и с тех пор жизнь села, чем дальше на восток откатывалась от него война, постепенно возвращалась к мирной обстановке.

Но хотя рядом и не прохотали орудия, не пылали избы и давно не ревели перепуганные бабы, не лежали в избах свои и немецкие раненые и промча- лась троза пыток и зверств, — полного мира не получалось.

Брал человек, скажем, почтовую марку и долго соображал: что за вещь, к чему? Письма-то ведь некуда написать. Вытаскивал из кошелька облигацию займа, вспоминал, что скоро должен быть розыгрыш. Пойти разве в сельсо- вете узнать? И вдруг с оборвавшимся сердцем соображал, что нет ни сельсо- вета, ни розыгрыша, ни почты, ни сына (он где-то далеко, в Красной Армии), нет ничего, что было содержанием всей его жизни. Сведать, что ли, к своя- ку? Да нет, и этого нельзя, запрещено. Радио, может, послушать? И радио нет.

Вот идет шоссе, а куда оно, спрашивается, идет? Никуда. И почты нет, и воздух молчалив, как мертвый, и все, что было живого, деятельного, при- творилось безгласным, неживым.

Ни школы, ни сельмага, ни клуба. Хоть бы уж трактир был, да ведь и трактира-то нет. Некуда пойти, нечем заняться, не о чем позаботиться. Даже календарь не нужен, даже часы-ходики ни к чему, — что по ним проверять? Нечего проверять. Нету ничего. Какой уж тут мир, раздави ее танком, помец- кую душу!

Да, поняли теперь любавинцы, — как, впрочем, и многие с ними, — что за удивительной широты жизнь вели они до войны!

Была это жизнь широкая, кипучая, свободная, полная огня, страсти и вдохновения! Иной раз думалось — а к чему все это, а? Нужно ли? То тебе выставка, то соревнование, то спектакль в клубе!.. Глупо думалось. Нет уж, лучше любая война, чем немецкий мир. Война, война!.. И теперь уж досыта, до смерти, до победы!

Фронт, однако, был далековат, и любовники всеми средствами старались жить мирно, тихо и не обозлать немца бестолку, хотя и ненавидели его.

Но вот однажды пробежали по деревенской улице ребята.

— Бой недалеко! — прокричали они.

— Партизаны подошли!

— Дай им бог святой час! — сказала мать Бочарова, выходя к воротам. — Моего подлеца не видели?

— Твоего не видели, а немцев много раненых и побитых. Во-он везут их.

Вирягшись в розвальни, немецкие санитары и легко раненные солдаты входили в село. На шести розвальнях лежало и сидело человек тридцать. Многие были мертвы или близки к смерти.

— Дай им бог святой час! — опять повторила старуха Бочарова, подумав о партизанах.

Народ вышел к воротам изб и прильнул к окнам.

«Началось», — подумал каждый, и у всех забило сердце, точно все ожидали встретить сегодня среди партизан кого-то из самых близких.

След, оставляемый Невским, был широк, как след ледника или обвала. Выследить движение было нетрудно. Сложнее было остановить его.

Прибывший на смену Вегенеру капитан фон Каульбарс был из прибалтийских немцев, в прошлом русский помещик, и знал, с каким упорным народом имеет дело. В последний раз приказал он Бочарову и Сухову любыми средствами дознаться о планах Невского. И на рассвете они, наконец, принесли известие, что партизаны разбились на три группы и, очевидно, расходятся всером и что с третьей группой, самой многочисленной, находится раненый Невский.

Капитан фон Каульбарс, в женском лиловом мантио, переделанном в полушубок, сидел под елью с Вегенером, тогда подполз растерянный Бочаров.

— Господин капитан! Сам Невский, ей-богу!.. Своими глазами видел. Отходит к леску, за речкой.

— Мне, Вегенер, везет, — сказал Каульбарс. — Садитесь в мою машину и отправляйтесь в штаб. Ваш последний день не надо пугать с моим первым.

— Хорошо, — Вегенер встал, вяло попрощался. — Странно, что они начали сражаться даже днем.

Совсем было затихшие выстрелы снова возобновились, торопливо учащаясь.

— Вы полагаете, мне удобнее ехать именно сейчас? — Вегенер полубернулся и, не получив ответа, быстро вышел к дороге, где стоял маленький «Мерседес». «Да, конечно, приходится ехать», — сказал он самому себе. — А ракеты я оставляю вам. Очень хорошо в темные ночи. Ракеты очень сокращают их.

Каульбарс не ответил ему. Глядя в бинокль, он поманил к себе Сухова и Бочарова:

— Пользите на тот край леса и осведомляйте меня о ходе дела через каждые десять минут. Двигайтесь так, чтобы была хорошо видна повязка на рукаве.

Оба поправили парукавные повязки со свастикой и, пригибаясь, побежали по глубокому снегу к дальнему краю леса.

— А что мы теперь будем с Панькой делать? — на бегу спросил Бочаров Сухов.

— Пригодится, — ответил Сухов.

— Не засыпшемся с ним? Скрывали, мол, что сын Невского? А?

— Не засыпшемся.

— Смотри, Сухов!

— Сегодня со стариком покопчим — дело яснее будет.

— Дал бы бог встать, а ляжем сами, — туманно ответил Бочаров, осторожно перелезая через поваленные деревья.

— Старик-то бешеный, — добавил он. — Гляди, как срезает под корни! — и он кивнул головой в сторону дороги, на которой у подножки «Мерседеса» стонал, ощущая перебитые ноги, только что собиравшийся уехать капитан Вегенер.

— Старик чего-то задумал, — согласился и Сухов. — На себя удар принимает. Не в обход ли его группы пошли?

Три недели боев принесли партизанам много успехов. Неудача последней ночи не должна была стать решающей. Любавино было рядом, штаб Каульбарса под руками, и отказаться от последней попытки разгромить его Невский не мог.

Но знал он, что обрекает себя на опасность, из которой, пожалуй, не будет выхода.

«Да выход-то, впрочем, есть», — думал он, отходя с девятью партизанами в лес, за неглубокой речкой Синявкой.

«Выход-то у Коротеева и Чупрова. Мне б только до темноты живу быть...»

Под огнем немцев перебралась его группа через Синявку. На льду убиты были Федорченков и с ним трое, а вскоре после того, как залегли за речкой, почувствовал второе ранение и Петр Семенович. Пуля пробила бедро, застряв в тазу, и сразу ноги Петра Семеновича отяжелели, точно заснули.

«Крышка! — подумал он с тревогой. — Теперь конец. Не во-время: не задержим немца до ночи».

Пятеро раненых партизан залегли по опушке леса, за речкой. Стреляли они только по цели, редко, и время длилось бесконечно долго, словно подоглять его приходилось выстрелами, а как молчание, оно замирало.

Немцы подвигались вперед очень осторожно, медленно, это только и радовало Петра Семеновича.

Теперь, когда было недалеко до смерти, страха перед ней не чувствовал он. Жизнь Невского была сейчас не в нем самом, а в Коротееве и Чупрове, и о них думал он, представляя, где они могут быть и как двигаться. И до боли захотелось увидеть их и поторопить.

Часам к пяти дня небо стало резко делиться на мглистое вечернее — в восточной половине и на легко оранжевое, весеннее, почти рассветное — в западной. Показались и замерли бледные, почти белые звезды. Снег, еще

недавно совсем без теней, покрылся синими и голубыми полосками и от них как бы всколмился. Зыбь сине-голубых теней прошла по его белой сверкающей глади,— и он ожил, зашевелился, поплыл.

Ночь предстояла, однако, длинная, и Петр Семенович, если бы не два ранения, злывших его и очень ослабивших, был бы доволен. «До зари все успеем»,— и он задумался, в который раз стараясь себе представить, где сейчас Коротеев с Федором и удачно ли там у них. Выстрелов с их стороны не было слышно, значит, их до сих пор немцы не обнаружили, и все развивается верно.

Буряев окликнул его и, так как Невский не сразу ответил, потряс за плечо.

— Ты не закоченел, Петр Семенович? — тихо спросил он.

— Нет, я ничего...

— А я гляжу, тебя окликают, а ты молчишь, думаю, не замерз ли.

— Кто окликает?

— Да от немцев. Сухов, наверно. Слушай! Опять вот кричит.

Они замолчали.

— Э-э-э-о! Э-э-о! Нев-с-кий! — раздался слабый тепловый голос Сухова.— Сда-вай-ся!

— Будем отвечать? — спросил Буряев.

— Нет, — одними губами ответил Невский. — Зачем себя выдавать? Пусть ишут.

И точно. Покричав и не дожидаясь ответа, Сухов и несколько немцев с ним стали ползти к опушке. Буряев дал короткую очередь из автомата и, перетаскив Петра Семеновича шатов на пятнадцать в сторону, занял новую позицию.

На снегу завозились, заохали, черные пятна ползущих немцев замерли.

— Ракеты! Давайте сюда ракеты! — закричал издали Сухов.

— Эх, вот подлец-то! — сказал Буряев. — Ну, как нам теперь, Петр Семенович?

— Посмотрим, что за ракеты, — спокойно ответил Невский, чувствуя, что от спасительной ночи остались считанные секунды.

— Теперь бей, Мизпа, только наперняка!

— Промазывать некогда, — ответил Буряев.

За речкой послышалась немецкая речь. Это Каульбарс сказал: «Вегенер все-таки пригнулся со своими ракетами», — и над спокойной и глубокой темнотой суебно взвилась королевская желто-оранжевая звезда. Помедлив сверху, она верно и вбок закатилась, а на смену ей, волнуясь, взлетела новая.

Немцев было много, и, огибая светлый круг ракет, они ползли и бежали со всех сторон. Последнее, что еще заметил Петр Семенович, был выстрел, сделанный не то им, не то Миней Буряевым, но кем именно, он не мог понять и не мог сам повторить выстрела.

Вспыхнули ракеты. И на ярком, естественно желтом снегу обозначилась охотничья фигура в бело-красном халате. Она стояла по пояс в снегу, опершись на винтовку и будто на половину выступая из-под земли.

— Он самый! — закричали Бочаров с Суховым и остановились. — Абсолютно точно! Невский!

— Так возьмите его и доставьте в село, — сказал Каульбарс. — Запечать какую-нибудь избу. Всех жителей согнать к огню, — и, отирая пот с толстой слоистой шеи, как бы уже совершенно равнодушный ко всему остальному, повернул к селу.

Невский стоял подобно серебряной статуе. Легкий ветер сухо шелестел в замерзших складках его маскировочного, утром еще белого, а сейчас бурого от крови халата.

Кровь, заливавшая его лицо час или два назад, теперь жилками и пятнами свернулась на щеках и бороде. И борода и халат покрылись красным ледяным стеклярусом. Иней легким пушком выступил на ресницах и бровях. Но он все-таки еще не был мертв. Он как бы только забылся на мгновение. Перед его глазами предстал протертый летний день в запыленных лесах, неширокая река и золотисто-зеленеющий луг за нею, и слышал он чей-то юный голос, поющий неторопливую песню.

Он не видел, кто поет ее. И казалось, что, забывшись в безлюдье, сам воздух вдохнул звонкою думой о родине... «Все вернется и сызнова переживем все, точно «смолоду», — думал он, а песня звенела, то удаляясь, то возникая вблизи, точно сама душа народа, несаясь над бескрайними лесами, тихо бегущими сонными реками, над дугами, дрожащими дивным гудом, пела ее в избытке широты и простора.

«Все отберем обратно, всю красоту, все счастье наше. Не погибнет, что навеки неотделимо от нашей земли. Нет конца нашей песне — душе нашей. Нет смерти и нам вместе с родиной».

А песня все длилась, и, приумолкнув, внимательно слушала песню прихода — и он, Невский. И больше ничего не было. Только они вдвоем. Сейчас, когда к нему подходили, крича и со всех сторон освещая его шероховатым светом фонарей, он проткрыл глаза.

Человек пять схватили его и поволокли.

Первая с краю изба уже загоралась. Народ, крестясь и вопиющий причитая, гурьбой сходил к свету, стоняемый прикладами солдат. Кто не хотел идти, тем солдаты угрожали смертью.

Невского пристолкнули к стене избы, рядом с горящей. Медленно, словно свершая земной поклон, пал он на колени, и окровавленный лоб его коснулся снега.

Ахнули и закричались женщины.

— Тихо! Поднимите ему голову, — сказал офицер. — Кто знает, кто он таков? Ну!

На круг вышел бледный, с синими запекшимися губами Бочаров, взглянул в лицо Невского и кивнул головой.

— Ошибки нет — Невский, — сказал он.

За ним, наступая на валенки Бочарова, выскочил Сухов.

— Точно говорю, как на святой исповеди — Невский это! — и снял ушанку и зачем-то развязно поклонился офицеру.

— Кто еще знает старика? — спросил Каульбарс. — Кто знает, пусть выйдет и скажет. — Он все время отирал платком шею и ворчливо торопил переводчика, чтобы тот оформлял акт сельского схода о признании в пленном знаменитого Невского.

Народ упорно молчал, хотя многие знали Невского в лицо и были знакомы с ним.

Вдруг что-то зашумело позади толпы, и, расталкивая обомлевших баб, на круг выскочил полураздетый Павел. Лицо его было зелено, страшно, оно выражало мучение. Весь день, пока шел бой с партизанами, он был один и приготовил себе выход из хлева, в котором держали его Бочаров с Суховым.

— Я знаю Невского, — сказал он.

— Ты? — Каульбарс был растерян. — А ты кто?

— Сын его!.. У вих я скрывался, — сказал Павел, кивая на Бочарова и Сухова.

— Для вас, для вас, господин капитан, птичку эту приготовили, — выскочил вперед Сухов. — Как же! Сыи, ей-богу, сын!

— Так-так-так. Ну, вот скажи. Вот погляди... Это отец? — спросил Каульбарс.

— Мне и глядеть нечего, — беспешашно, будто во хмелю, сказал Павел. — Не мой это отец, нет.

Народ зашумел, придвинулся ближе.

— Ушел, братцы, Невский! — кивнул Павел.

— О, колоссальный дрянь! — захрипел офицер. — Эй, Бочаров, Сухов! Чей это сын? Где был? Ну, быстро.

Теперь, когда все в жизни стало необычайно ясно и просто, ни следа не осталось от обычной робости Павла. Какое-то страстное вдохновение, какое-то иступленное бесстрашие овладели сейчас им, и он не в сплах был молча ожидать смерти, но сам рвался к ней, упоенный собственной отвагой.

— У них я и жил, свинья дурная! — ответил он офицеру.

— Не дури, Пашка! — остановил его Сухов. Но Павел небрежно отмахнулся от него.

— Все мы Невского партизаны! — прокричал он, захлебываясь восторгом от пришедшей мысли. — И Бочаров, и Сухов, и я — все мы Невского агенты, дурак ты немецкий. Он тебя еще, скотину, прицепит!

Мысль, что он, Павел, сейчас расшатится с подполками Суховым и Бочаровым, что он казнит их за предательство и измену, поднимала его в собственных глазах. Если б немец вдруг помиловал его, Павел бы растерялся.

Он взглянул на Сухова и резким движением головы позвал его к себе.

— Что ты, Паша! — хотел остановить его Сухов, но дюжие руки солдат уже крепко держали его за плечи.

Бочаров, опутанный ремнями, безучастно глядел на происходившее.

— О, суткин сын! — задыхаясь, сказал Каульбарс. — О колоссальный подлец!.. Все вы одно, это есть русские свиньи, — убить всех, убить!

Долговязый, веснучатый немец в очках быстро подскочил к Бочарову и, повернув его голову так, как ему удобно, выстрелил ему в ухо. Потом повернулся к Сухову и, взглянув на своего офицера, убил и Сухова. Перемахнув через труп, он приблизился к Павлу.

Народ зашумел. Без слов прошло по толпе возбуждение, сказавшееся в откатывании, в искании какого-то общего для всех жеста, который должен был мгновенно родиться, подобно взрыву.

Но Невский медленно приоткрыл заиндевевшие глаза и последним взглядом обвел окружающих. Все замерло. Ничего, кроме напряженного ожидания, не выражал его взгляд. Так смотрят, немного вверх и вниз, когда к чему-то прислушиваются, чего-то ждут. Не услышав того, что волновало его, — выстрелов коротеевской группы, — он снова обвел взглядом человеческий круг, увидел Павла, заложившего правую руку за борт полушубка, и из тусклой, почти безжизненной пустоты зрачков глянуло светящееся тепло.

— Молодец, — одним дыханием прошептал Невский. — Спасибо... Вместе умрем... Семья моя... Вместе надо...

Лепкая, в полкапли, слеза заволокла его глаза, и они, потемнев, оживились и чуть заиграли.

Что-то звонкое коротко застучало в воздухе. Тупая, как у дрозда, трель партизанских автоматов сейчас же возникла в другом месте. Двум трелям ответила третья, поближе. Немцы, сторожившие народ возле Невского, затащили и стали расталкивать толпу, знаками веля всем расходиться.

Народ упрямо стоял на месте.

— Эйне, цвей, дрей!.. В окончательный раз! — прокричал Каульбарс. — Невский это? — и поднял пистолет к виску Павла.

— Я сказал — не он это.

— Что мы, Невского не знаем? — закричали из толпы. — Невский, господин офицер, вон он где, — и чья-то рука показала в сторону выстрелов, которые, нарастая, сливаясь в залпы, приближались к селу.

— Невских не перебьешь! — все с тем же веселым, озорным выражением в голосе произнес Павел и только хотел взмахнуть рукой, как выстрел долговязого немца потянул его тело вниз. Каульбарс, окруженный солдатами, побегал, расталкивая народ, к своей избе.

Павел упал к ногам отца и ошупью обнял их мягким, как бы сонным движением. Все, что должен свершить человек умирая, сегодня свершил он. Недолго и прост был его жизненный подвиг, но ведь и жизнь Павла была не сложна. Тело Павла, вздрагивая, остывало, и рука его, незаметно дергаясь, точно гладила, точно ласкала отца.

Бой врывался в село. Партизанские автоматы работали на задах, за избами. Но толпа, стоящая возле Невского с сыном, все медлила расходиться. Наконец кто-то сказал:

— Чего же это мы?.. Давай кто-нибудь одеяло!.. Поднимайте!

Чей-то тулуп распростерся на снегу. Осторожно положили на него тело. Кто-то подхватил пылающую головню, кто-то другую.

— Несите в избу, где офицер жил...

— Переждать бы стрельбу!

— Вояки, чего там! Стрельба ему же в новину.

Спотыкаясь в темных сених, вбежал Никита Коротеев, окруженный деревенскими мальчуганами.

— Как он? — спросил у женщины одними губами.

— Плох. Крови потерял много, — ответили ему и расступились, чтобы пропустить к постели.

Он подошел, взглянул на лицо, лишенное красок, взял руку Невского, потом нагнулся к уху его:

— Слышишь меня, Петр Семенович?.. Наша взята!

Невский не ответил и, казалось, даже не услышал слов этих. Но вот лицо его изжаснилось огромным усилием, глаза широко и быстро открылись, и он зорко и ясно поглядел на Коротеева. И что-то, слагаясь в начало улыбки, красиво легло вокруг губ. Хотелось долго стоять и глядеть в его лицо и обдумывать жизнь и навеки унести в своей памяти эту последнюю улыбку, это последнее торжествующее, умирающей победительницей.

Но нельзя было. Коротеев приложил руку ко лбу Невского, — лоб уже был прохладен. Он крепко пожал еще податливую, но тоже уже холодеющую руку Петра Семеновича и вышел.

У ворот толпились люди.

— Кто такие? — издали спросил Коротеев.

— За Невского мстить вступаем!

Коротеев снял ушанку — голова его была потна — переспросил:

— За Невского?.. Что ж... Только помните — придется отдать все силы.

— Бери!.. Жизнь надо — и жизнь бери.

— Хорошо.

В землянке долго не знали о беде, постигшей отряд. Долго ждали вестей от своих. Много ночей провела Наталья без сна, слушая — не заскрипит ли снег под окном, не раздастся ли знакомый голос.

Никто не являлся.

И до того все сдешнее удумило ее, что решила она уходить с Алексеем, не ожидая отца.

Стоило закрыть глаза, как тотчас же появлялось солнце, горячее, красивое, веселое не по-зимнему, и с ним вся южная жизнь, которую, со слов Алексея, сказкою представляла себе Наталья. И Алексей в горах — сильный, веселый.

В канун Нового года Наталья начала всерьез собираться. Очень уж плох стал Алексей. Мороз сушил его на глазах.

И решила сама сходить на деревню, к жене Чупрова за санями и лошадью.

Только вышла под вечер — услышала далекий осторожный скрип лыж. Притаилась. Издали узнала — Васильков! Окрикнула. Но все же автомат с плеча сняла, приготовилась.

Он тоже стал подходить с автоматом.

— С добром идешь ко мне или как? — спросила одними губами.

— С бедой, Наталья! Петр Семенович погиб.

Дрожащими пальцами легонько коснулась она сосны, как бы проверяя, выдержит ли та, и прислонилась щекой к шершавой коре ствола.

— Коротеев Никита Васильевич налетел на них той же ночью. Ну, на час какой-нибудь опоздал, вот беда. Зато, брат, до единого фрицев порубал, — сказал Васильков, оживляясь. — Из любавинского колхоза восемнадцать человек в тот же час пришли, встали в строй. «За Невского, — говорят, — хотим отомстить!..» Ну, и пошло! Из Егорова — девять человек, из Ольгинского — пятнадцать...

— Говори, Васильков, говори...

— Да что ж тут! Наш народ, ты знаешь, какой: смотрит, смотрит, а как навалится — из-под него ног не вытащишь. В наших деревнях, как узнали о Петре Семеновиче, стоп стоит, все в один голос: «Давай новый отряд!»

— А ты... ты что сказал?

— Подождать, говорю, надо Коротеева. Чем вас вооружать, чем кормить, кто знает? Ты что на меня так смотришь?

— Ничего.

— Когда же ехать располагаешь? — спросил Васильков. — Отвезу тебя с Алексеем, будь спокойна.

Узнав о смерти отца, Наталья не могла себя почувствовать прежней. Теперь и то, что жило в отце ее, и то, что перед гибелью раскрылось в Павле, объединилось в ней. Дрожа от решения, которое уже готовилось в душе, Наталья твердо знала — она другая. В сиянии славы стояла она, последняя из семьи. В сиянии подвига стояла она перед своим завтрашним днем, так же похожим на прошлые.

— Куда? — это спросила Наталья. — Куда ж мне теперь от отца уезжать, куда с родной земли бежать?

— Да что ж... отца не вернешь, а у тебя свое счастье в руках.

— Молчи. Чем жить будете, если уйду? В моих руках ведь все запасенное.

— Это точно.

— Ни одного дня нельзя терять. Иди, сзывай народ на Березовый заказ. На четверг. Навстречу Никите Васильевичу надо посылать.

— Созвать недолго. Вооружить-то чем?

— Это есть.

— А питание?

— И это есть.

— Ты не торопись, подумай. Если ехать, так я отвезу. Как же это, а?.. Твердо?

— Разговоры мы будем тут с тобой разговаривать! — и по-отцовски размашисто ударила ладонью по стволу.

— Твердо! — и пошла назад к землянке.

— Значит, на четверг?

— На четверг.

— К полудню собираться?

— К полудню.

...Поднималась метель, и лес задымился шуршащею снежною пылью. Снежинки были колючи, и лицо больно горело от них, точно кожу прокалывали тупыми иглами. Но кровь текла не по лицу — по сердцу. Валами валила вьюга, крепчая, как волна в океанском шторме.

«Ну, что ж, подождем... Как он шел про бурю-то? — и вспомнился ей пред-октябрьский вечер и Коростев... «Ты поеду, поеду, ветер-балюшка!..» Нет, не то... А хорошо шел... «Мети, метель, заметай тепло, выноси меня на вольную волюшку...» Ах, опять не то... Но придет же мой день! Все тогда вспомню!..»

Проваливаясь в снег, натыкаясь на погребенные в сугробах заросли мелкого ельника, Наталья с трудом добралась до землянки. У входа в нору стоял Алексей.

— Ты все слышал? — робко спросила она.

Не отпуская, он взял своей горячей, воспаленной рукой ее застывшую на морозе руку.

— Я так тебя знаю, Наталья! — волнуясь, сказал он. — Сто человек тепло бы, и ты среди них, — сразу узнал бы твой голос. Сто человек шло бы, — твой шаг узнал бы. Знаю я, что ты так поступишь.

— Ведь нельзя, Алешенька, иначе, — сказала Наталья, оправдываясь и словно прося прощения за то, что одна она так быстро решила их общую судьбу. — Прости меня, родной, нельзя иначе. Одна из семьи осталась я...

Алексей остановил ее взглядом.

— Морозно, не остыл бы ты, — просто сказала тогда Наталья. — Входи-ка в нору, входи.

И прежде чем войти самой, взглянула округ. Стремительно неслась метель, деревья, бурно шумя, тоже точно неслись за нею, а вверх, в черно-вороненом небе, все напряженнее, все краснее, мерцали крупные, сильные, багровые звезды. Они были трезно-страшны. И она подняла вверх руки, ш к ним, к звездам родины, направила и свое — как звезда в метель — обгащенное кровью, но все победившее сердце.

П. АНТОКОЛЬСКИЙ

БАЛЛАДА О ТРЕХ БРАТЬЯХ

Три брата, три сверстника жизни:
Железо, мороз и огонь.
Встречай их ладонью в ладонь —
И будешь прославлен в отчизне.

Железо — ни много, ни мало —
Столетия дремало, пока
Святая людская рука
Темницу его не сломала.

И стало железо мечом,
Свистящим с размаха и мстящим,
И соколом, в небо летящим, —
А пламя — ему ниючем.

Мороз, обрывая дыханье,
Посвистывал, тряс бородой.
И смолоду злился, седой,
При вишнях, при Чингис-хане.

И вот он зардел кумачом
На лицах бойцов наших славных
И шутит, как правый меж равных,
А шуля — ему ниючем.

Огонь полыханием молний
В лесные ударил стволы
И дебри полуночной мглы
Пирами пожаров наполнил.

Но заперто пламя ключом,
И теломбы висят на запорах,

Чтоб свято хранил его порох,
А спуска — ему ниючем.

Три сверстника жизни, три брата:
Железо, огонь и мороз.
Кто с ними сроднился и рос,
Да будет прославлен трикраты.

Но трижды и трижды сластей,
Хозяин по силе и праву,
Кто вышкочит эту ораву
Металлов, и вьюг, и огней.

Он снайпер, танкист или химик,
Татарин или великоросс,
Но с ними сроднился и рос, —
С приятелями неплохими.

И полчища вражьи гоня
С завьюженных горьких пожарищ,
Пойдет он вперед как товарищ
Железа, мороза, огня.

Да здравствует добрая сила
Во всю ее ширь и длину,
Что немцев на Чуды косила
И половцев жгла на Дону.

Огнем, и железом, и стужой
Должны мы сегодня сберечь
Все ту же Россию, все ту же
От сердца гремющую речь.



Ю. ЛИБЕДИНСКИЙ

ГВАРДЕЙЦЫ

П о в е с т ь

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Керосиновый чад, красноватый неровный свет, жар розовой от накала железной печурки, длиннорукие тени, мелькающие по досчатым стенам блиндажа. Но политруку Дементьеву было здесь хорошо. Вода, которой насыщен был его ватник, нагрелась — еще часок, другой, и возможно, что ватник даже совсем высохнет. Дементьеву нравились люди, которые собрались сейчас на командном пункте полка, и очень было интересно то, о чем здесь громко говорили по телефонам, о чем быстро и дружно сговаривались между собой или же шумно спорили над картой.

Все это относилось к бою, которым управляли отсюда и который давал себя знать глухими ударами, заставлявшими прыгать красноватый огонек керосиновой лампы. Политрук Дементьев пришел сюда впервые. Москва в 70 километрах. Оттуда в политуправление фронта было направлено 48 политработников, и тут же их разослали по армиям. В армиях распределили по дивизиям. В этот полк пришел он один. Комиссар приказал ему обождать, — вот он и ждет. Через час, а может быть через полчаса им займутся, дадут назначение, и то, о чем здесь говорят начальники, превратится для него в тяжелый, кровавый и благородный труд, который с начала войны стал больше чем его призванием, — ничего для него не существовало в жизни, кроме этой войны. Оттого он весь поглощен был тем, что происходило в землянке, хотя многого не понимал, точно со середины попала ему в руки книга, тем более для него важная, что с какой-то страницы он сам должен был действовать в этой книге.

Особенно интересно стало с тех пор, как в землянку вошел капитан Стахеев. Этот капитан с артиллерийским трафаретом на зеленых петлицах был сильно простужен. Его слабый голос то и дело застигала хрипота, и он откашливался, деликатно прикладывая руку ко рту.

— Ну, ну... Давай-ка! Давай,— говорил тогда комиссар стрелкового полка Изев. Было в его зеленых быстрых глазах, во всей игре его чисто выбранного округлого лица, в легких движениях широкой фигуры что-то, делавшее его похожим на озорного мальчишку, из тех, которые не могут пройти мимо голубиной, пасущейся на дороге, стаи, чтобы не пустить в нее камнем. Долговязый, большерукий командир артиллерийского полка майор Воловик, слушая капитана Стахеева, порой с торжеством оглядывал всех выпуклыми ясными глазами, словно именно он и выдумал это самое чудо, этого капитана Стахеева...

А Стахеев, откашлявшись, говорил своим слабым, но внятным голосом:

— Продолжать обычную артподготовку, которой мы безуспешно занимались последние сутки, применяя обычный метод артиллерийского огня, я считаю бессмысленной тратой снарядов. Враг глубоко зарылся, и даже при попадании в его линии вред, ему причиненный, очень относителен. Что же нам делать?— Капитан Стахеев своими маленькими и очень блестящими глазами обвел всех, кто находился в землянке, включая сюда и политрука Дементьева.— Я думаю, что мы правильно сделаем, если применим навесный огонь...

— Но командирам орудий все время придется пользоваться артиллерийскими таблицами... — громкоподобным голосом перебил его майор Воловик.

— За уровень артиллерийской культуры командиров моего дивизиона я ручаюсь,— ответил капитан Стахеев. Некоторое застенчивое самодовольство слышно было в его голосе. Командир артполка опять, торжествуя, оглядел всех: «Яков-де мой Стахеев-то, а?»

— И ты считаешь, что фашисты так-таки и не вынесут вашего навесного огня? — спросил угрюмого вида полковник, командир стрелкового полка, и положил на карту свою большую темнокрасную обветренную руку, точно все, что было на карте, принадлежало лишь ему.

Капитан Стахеев пожал плечами и с кротким сожалением взглянул на полковника. За капитана ответил майор Воловик:

— Тут все бесспорно, Алеша,— сказал он, — немец, как тебе известно, забился под землю, навесный огонь гарантирует нам неизмеримо большую разрушительную силу. Будем отдельно корректировать каждый выстрел. Это не будет тот метод огневого налета, который мы все время практиковали, и не беглый огонь по площади. Это будет стрельба на разрушение целей. Я гарантирую, что после четырех часов подобной работы от их оборонительной системы ничего не останется и вы можете притти и брать фрицев голенькими.

Майор Воловик замолчал, наступила тишина, особенно ощутительная после того, как смолк его громкий голос, и в этой тишине Дементьев вдруг услышал, как слабенький, хриповатый, но очень приятный голос пропел:

Не по-гражданскому в карете,
Не по-пехотному пешком —
К венцу поедem на лафете,
Орудье-гаубицу возьмем...

Это пел капитан Стахеев, и всем, что он говорил, и тем, как он себя вел, и особенно этой забавной песенкой он очень понравился политруку Дементьеву. Но кроме политрука никто не обратил внимания на эту песенку, которая

была так лукаво-весело пропета. Полковник даже нахмурил в сторону Стахеева свои темнорыжие густые подстриженные брови и требовательно обратился к майору Воловику:

— Давай точно. Сколькими часами мы располагаем?

— Нужно сообщить на... — начал майор, вопросительно глядя на капитана Стахеева, который в это время закуривал от жаркой розовой печной стенки, и Дементьев близко видел желтоватую, усталую кожу на его виске.

Он закурил и сказал:

— А я уже перевел батареи. Промедление, как известно, смерти подобно, я и решил использовать эту ночь, чтобы не откладывать на следующую. Уверен был, что мой вариант будет принят. — Он встал и вытянулся перед майором Володиным. — Второй дивизион ждет вашего приказа, товарищ командир, — сказал он с шутливостью. Очень он весь понравился Дементьеву.

— Я всегда знал, что ты настоящий командир, Юра, — горячо ответил ему майор Воловик.

— Служим Советскому Союзу, — сказал Стахеев. — Не более, как через пятнадцать минут фрицы на своей шкуре почувствуют, что не случайно гений русского народа носит славную артиллерийскую фамилию. Пушкин! — воскликнул он. — Пушкин — пароль и лозунг второго дивизиона!

Потом вдруг вздохнул и добавил:

— Тепло здесь у вас, уходить неохота... — Но он тут же крепко затянул свой пояс поверх шинели и, нахлобучив мохнатенькую дымно-серую шапку-ушанку (такие шапки повсюду лежали в землянке), ушел, выпустив в блиндаж струю того сырого воздуха, который напоминал Дементьеву сегодняшнюю ночь... Но все хорошо. Ему сразу повезло попасть в самый центр событий. Из-за досчатой перегородки слышен звук пишущей машинки, и молодой, но чрезвычайно назидательный голос диктует: «Дофиле между высотками В. и Д. также простреливается пулеметами...» Майор Воловик кричал в телефон и в такт своим словам торжественно махал рукой, а политрук Дементьев, завороченно глядя, как по досчатому потолку летает тень его руки, вдруг вспомнил: «Артиллерия — бог войны». Что-то чудесное было в этом большеруком, долговязом, с большим торбатым носом и ясными, яростными и добрыми глазами майора Володиным.

— «Вихрь»! «Вихрь»! «Вихрь»! — кричал Воловик. — Ты слышишь меня, «Вихрь»? Шли письма по новому адресу. Марки клейте те же...

Дементьев вдруг вспомнил еще в начале сентября полученное — последнее, августовское — письмо сестры Шуры из Днепропетровска... не нужно об этом думать... Сестра Шура — это боль. Маленькие Сережа и Вова — это тоже боль. И Днепропетровск — нет, не нужно об этом думать сейчас...

— Шу-ка, товарищ политрук, шагайте сюда. Что, разморило? Уснули?

Дементьев не сразу отнес к себе этот оклик. Но, очнувшись, понял, что, правда, вздремнул; во сне видел все то же, что происходило наяву, но как-то чудеснее. Он вскочил, обдергивая на себе потевший, но еще не вполне высохший ватник, оправил ремни, шапнул и очутился у стола. Командир и комиссар полка оба взглянули на него и переглянулись между собой. Дементьев вдруг понял эту быструю перегадку: они жалели его, как люди постарше жалеют молодых. Но это были начальники, и он, вытянувшись, стоял перед ними.

Что-то настороженное и гордое, оленье было в его большеруком, опущенном мягким волосом, лице. Рот маленький, твердый, нос с горбинкой, крупно-

кудрявые русые волосы. На левом плече, на ремне, — автомат необычного вида, немецкий.

— Садитесь, товарищ политрук, — сказал командир, — рассказывайте о себе. Вы давно в армии?

— С тысяча девятьсот тридцать девятого, — ответил Дементьев, — остался на сверхсрочную и был командирован...

— В военных действиях участвовал? — перебил командир.

— Первый раз этим летом. Я кончил весной военно-политическую школу и получил назначение — принял роту. Наша дивизия в начале сентября пришла на Западный фронт, была в боях и попала в окружение.

— Покажи партбилет, — коротко приказал комиссар.

От торопливого волнения Дементьев завожился с пуговицей. Командир укоризненно покачал головой, точно не одобряя действий комиссара. Серые глаза командира казались добрыми, и Дементьев подумал о нем с благодарностью. Но против придирчивой настороженности комиссара тоже нельзя было возражать...

Комиссар посмотрел партбилет.

— Молодец, — сказал он, возвращая партбилет Дементьеву, — даже партийный взнос успел уплатить.

— А побриться не успел, — усмехнулся командир, — или, может, ты нарочно, чтобы постарше выглядеть?

Дементьев улыбнулся, но ничего не ответил. Серые, внимательные и добрые глаза командира и темные, озорные глаза комиссара оглядывали его, и Дементьеву вдруг захотелось сказать: «Меня Гриша зовут... Вот еще глупость какая лезет в голову», — рассердился он на себя.

— Много вас вышло? — спросил командир.

— Нет, мы с товарищем вдвоем.

— Как же ты отбился? — спросил опять командир.

— Я не отбился, у нас был приказ разойтись и выходить маленькими группами.

— Приказ? — насмешливо протянул комиссар. — А кто его вам отдал? Уж не немцы ли?

— У нас командира дивизии убили, приказ отдал его заместитель.

— А сам-то он вышел из окружения, этот заместитель? — насмешливо спрашивал комиссар.

— Не знаю.

— Разбегаются в разные стороны, а потом пропадают поодиночке, — сказал комиссар, ни к кому не обращаясь, и никто ему не ответил. Но по тому, как шуршала одежда, Дементьев подумал, что он, наверное, согласен с комиссаром. Да ведь и сам он, скитаясь чужаком по родной земле в этом проклятом окружении, сколько раз думал о том, что не надо было расходиться. Шли бы вместе, вместе бы и пробились...

* * *

— «Буря»!.. «Буря»!.. «Буря»!.. — настойчиво звал связист.

Майор Воловик нахмуренный стоит около связиста.

— «Буря» молчит, — сказал связист, виновато моргая покрасневшими, воспаленными веками. — «Смерч» отозвался, «Вихрь» отозвался, а «Буря» молчит.

— Надо к «Буре» послать разведку, — сказал Воловик, обращаясь к командиру и комиссару. — Я сейчас был на воле, «Смерч» и «Вихрь» гремят всю, а «Буря» бьет как-то неравномерно, оттуда слышна перестрелка.

— Что же, поплем разведку,— сказал командир. Но в этот момент в землянку вбежал младший лейтенант. У него были по-детски пухлые щекольно-багровые щеки.

— Товарищ полковник, разрешите обратиться к товарищу майору! — отчаянно крикнул он. И только полковник кивнул головой, как младший лейтенант, с усилием двигая бледнозолотистыми бровями, прокричал: — Товарищ майор, на вторую батарею напали фашистские автоматчики! Батарея отбивается прямой наводкой!

Свирило выругавшись, Воловик сначала схватил из рук телефониста трубку, но тут же отбросил ее и другой рукой схватил из угла коротенький автомат ПШМ. Все это он проделал, не сходя с места, его длинные руки доставали повсюду. Он уже ринулся к выходу, но командир стрелкового полка удержал его за локоть и, привлекая к себе, сказал:

— Артиллерия, больше спокойствия. Слово имеет пехота. Петруша!

Старший лейтенант, всклокоченный и кудрявый, выглянул из-за досчатой перегородки. Пишущая машинка прекратила стрекот...

— Петруша, Закоморный принял новую роту?

— Принять-то он принял, товарищ полковник. Но в ней не комплект, я задержал отправку.

— Придется тебя за это похвалить. Она здесь, рядом, в третьем блиндаже?

— Точно,— ответил Петруша.

— Мы когда блиндаж тот брали, так повредили его. («Значит, здесь немцы были», — сразу понял Дементьев.) Но это пополнение — оказались ребята хозяйственные,— продолжал оживленно Петруша.

— Закоморный с ними? — хмурясь на многословие своего адъютанта, спросил полковник.

— Точно.

— Позвать сюда.

— Приказано позвать сюда.

Петруша исчез.

— Когда пехота рядом, артиллерия может спать спокойно...

— Уснешь тут чорта с два,— яростно сказал Воловик.

Петруша вернулся, следом за ним шел молодой командир, такой крупный, что сразу заполнил собой весь блиндаж. На его продолговатом лице, большом, чистом и ровно румянном, было открытое выражение силы и трезвой отваги.

— Лейтенант Закоморный, нужно выручать артиллеристов, третью батарею второго дивизиона. Вот младший лейтенант...

— Пушико, — подсказал тот младший лейтенант, который принес плохую весть об артиллеристах.

— Так вот, младший лейтенант Пушико расскажет вам обстановку.

— Товарищ старший батальонный комиссар! — взволнованно начал Дементьев, но увидел, что комиссар сам хочет что-то сказать ему, и с выражением просьбы на лице замолчал. Комиссар засмеялся.

— Значит, судьба, — сказал он, обращаясь к Закоморному. — Вот это будет политрук вашей роты. Любите друг друга, живите в мире и согласии. Вы об этом хотели просить меня, товарищ Дементьев?

— Об этом, — ответил Дементьев.

Они вместе вышли из землянки.

После керосинового чада и неравномерного жара железной печурки, после сдкого багрово-дымного, неестественного освещения землянки, просторным и светло-пригожим было это ненастное осеннее утро, затопленное грохотом канонады. Выстрелы вспыхивали то ближе, то дальше, и все время слышалось, как, сотрясая воздух, стремительно летят прозные тяжести снарядов... Этот гул, накатывающийся волнами, этот треск разрывов, которые следовали один за другим, торопливо нагоняя друг друга и порой сливаясь вместе, — только это происходило в мире. Перед этим все видимое точно оцепенело: пасмурные осенние холмы, кое-где испещренные снегом перелески и бурые скнзья. С левой руки — ряды темных домиков, за ними высокие, голые деревья... «Наверное, там парк был», — подумал Дементьев, как будто сейчас, когда там немцы, нельзя сказать о том, что там парк. А за деревьями и сквозь них видны были большие кирпичные красные здания текстильной фабрики.

На востоке, в далеких оренбургских степях, комсомолец Гриша Дементьев (ему казалось, что это было давно, а это было всего пять лет назад) изучал историю партии, и даже само название этой фабрики было для него священно. Здесь начинались первые забастовки, здесь возникло то богатырское движение русских рабочих, мощь которого Гриша с гордостью ощущал в себе... И — прибить к этому священному месту, чтобы знать: здесь фашисты. Но ведь они также в Новгороде, там, где завязалась древняя Русь, и в Киеве, где она расцвела; они грязнят ту дорогую орловскую землю, где охотился Тургенев и где он вел драгоценные свои «Записки». Немцы в Ясной Поляне, и они там, где родился Пушкин. Пушкин! «Мы им покажем, что неслучайно гений русского народа носил артиллерийскую фамилию! И чего мы медлим?» — тревожился Дементьев.

Он стоял на пороге землянки, врытой в бок оврата. Это была очень вмести- тельная землянка, но в ней набилось так много людей, что только комиссар полка и командир роты смогли туда втиснуться. Дементьеву места уже не нашлось. Он остался стоять на пороге и выглядывался в тлубь землянки: сосредоточенные лица выступали из темноты.

Это были люди, которых за минуту до этого он не знал, а сейчас не было у него на свете ближе этих людей, товарищей, с которыми он вместе пойдет в бой. Кто они? Что они? Он готов был каждого любить, за каждого отдать свою жизнь, но кто они? В той роте, которую Дементьев два месяца готовил к будущим боям, знал он каждого человека, в семью каждого бойца мог бы явиться, как родной. Но едва начался бой, как у него сначала забрали один взвод, потом другой. Потом то, что осталось от его роты, вошло в другую роту, где был убит политрук. Как только Дементьев принял эту новую роту, обнаружилось, что в тыл их дивизии зашла немецкая танковая дивизия, и был передан этот приказ расходиться группами, приказ, которому он тогда так неохотно подчинился.

И вот ему нужно все начинать сначала. Накануне боя получает он этих людей, среди которых (у него был уже горький опыт войны!) могли быть и трусы. Хоть бы немножко познакомиться! Но нельзя. Артиллеристы отбиваются от немцев, решается судьба сражения... «Когда же он кончит?» — волновался Гриша Дементьев, слушая, как комиссар раздельно («точно в школе на уроке», — сердился Гриша) объяснял:

— Немцу стало жарко от работы нашей артиллерии, и он произвел нападение на батарею. Нужно выручить артиллеристов, товарищи! Командира вы зна-

ете, а политрук ваш — товарищ Дементьев Григорий Григорьевич, — комиссар, не оглядываясь, повел рукой на Дементьева, — он молодой, но уже испытанный боевой товарищ. С таким не пропадете. Но если кто струсит, тому он пощады давать не будет, — отчетливо договаривал комиссар мысли самого Дементьева. — От трусости до измены нет даже шага. Тот, кто уклоняется от боя, тот ослабляет силу всей роты, а это и есть измена. Труса уничтожать, как врага. По уверен, что трусов среди вас не окажется.

Комиссар кончил. Закоморный скомадовал. Рота стала выходить из землянки. Дементьев оглядывал людей. Он заметил, что в составе роты немало людей пожилых, и сказал об этом комиссару.

— С этими людьми ты не пропадеешь. Это москвичи-добровольцы, — и неожиданная мечтательность появилась в трезво-насмешливом голосе Язева. Мимо них проходил круглолицый, крупный человек. Он из-под каски оглядел их обоих ярко-кариими внимательными и смеющимися глазами и поздоровался. Комиссар задержал его, ухватив за рукав.

— Вот, товарищ политрук, это знаешь, какой товарищ... Это золотой товарищ, — с той же мечтательностью говорил комиссар. — Завод имени Латышева, может, слышал? С начала войны на заводе только одни девушки остались. Пол-завода пошло в ополчение. Оказались они в тылу у немцев, однако не сробели, дрались, напали на немецкий штаб, притащили трофеи. В твоей роте их пятнадцать человек. Шестерых мы поставили на отделения, а товарища Ивашина назначили помощником командира взвода. Присвоили звание старшего сержанта, — говорил комиссар, одновременно и шутливо и значительно. — Товарищ Ивашин воевал в империалистическую войну, он московский красногвардеец и старый коммунист...

— Який старый... левинского призыву, — перебил Ивашин, переловно двинув густо разросшимися, очень черными бровями. Потом вдруг весело мигнул Дементьеву, приложил руку к каске и побежал вперед, обгоняя вереницу людей и стараясь твердо ступать по скользкой тропинке своими очень большими сапогами.

Сейчас совсем по-иному глядел Дементьев на этих людей. В их лицах он видел сдерживаемое оживление, трепет, почти неуловимый, но выразительный. Все они были одеты однообразно, в шинели и зеленых касках, но что-то вольное, волонтерское видел он в том, как держат они винтовки, в том, как шагают они...

Командир полка в шинели, накинутой на плечи, вышел из землянки, и сразу перед ним вытянулся разбуржавшийся Закоморный. То оживление, которое Дементьев видел у всех, на лице Закоморного и в голосе его достигало даже какой-то торжественной праздничности, и командир полка своими светлыми, внимательными глазами взглянул на Закоморного: «Не слишком ли ты веселишься, парень...»

— Разведку выслал? — спросил он Закоморного.

— Выслана, товарищ полковник, и вперед и по бокам — во все стороны. — Закоморный показывал на карте, командир полка одобрительно кивал головой и доставал из порыжневшего футляра бинокль. Истопорившая спорость движений его крупных пальцев вдруг как-то разом успокоилась Дементьева... К тому же на гимнастерке полковника заметил он беленький кружок медали «XX лет РККА». И то, что Дементьеву ранее казалось медлительностью, сейчас обернулось совсем по-другому. Это была обстоятельность человека, уверенного в своем деле: как определенны все указания, которыми полковник перебивал Закомор-

ного! Похоже, что он видел каждый поворот лесной тропинки, каждую лесную поляну.

— Первые два взвода поведу я сам, третий будет в резерве...—сказал Закоморный и обратился к Дементьеву:— Хорошо бы вам, товарищ политрук, находиться именно при третьем взводе...

— Нет, я не пойду в резерве,—вспыхнув, сказал Дементьев.— Мы вместе пойдем впереди.

Командир полка, отведя бинокль от глаз, удивленно взглянул на Дементьева.

— Э-э-э,—морщась и мотая головой, словно слыша неверную ноту, закричал Язев.— Не то говоришь, товарищ политрук. Спорить тут не о чем. Обязательно пойдешь позади и в случае, если кто будет отставать, вразумишь, объяснишь или заставишь. Понятно?

— Понятно, товарищ комиссар,—вздыхнув, ответил Дементьев.

Они быстро шли по скользкой, обхоженной тропе вслед за вереницей бойцов. Из-за гула артиллерии выступила знакомая Дементьеву трескотня немецких автоматических ружей. Фашисты! Это была ненависть, но совсем не та ненависть, которую не случайно называют то «выпящей», то «бурливой». Это была ненависть, ставшая привычкой, ненависть холодная, хладнокровная, ненависть, обостряющая все душевные силы — внимание, наблюдательность, сообразительность, — дисциплинированная ненависть, которая рождается в боях и для боев необходима...

— Мы с командирами и политработниками о храбрости даже и не разговариваем...— продолжал комиссар.— Чего там храбрость — у нас Москва за спиной. Но мы у тебя сверх всякой храбрости требуем другого: вот мы дали тебе роту, и ты ведешь ее в первый бой. Так сумей же сплотить ее воедино, сплести неразрывно. Превратить в единый боевой организм. Понял задачу? — настойчиво спрашивал Язев.

— Понял, товарищ старший батальонный комиссар,—сдержанно сказал Дементьев. Как было ему не понять, почему Язев привел в пример старика Иванина и чему сейчас так настойчиво учил его...

«Ладно, я на деле тебе докажу», — с обидой подумал Дементьев. Конечно, он не станет о себе рассказывать, а было о чем рассказать. Хотя бы о том, как добыл он свой немецкий автомат. Можно было бы рассказать и о тех восемнадцати отметках, которые сделаны ножом на поясном ремне. За каждой отметкой — пересеченная жизнь фашиста. Но это — только для себя, для своей гордости... И, может быть, для той, что полюбит его. «Что это за отметки на ремне у тебя?» — спросит она. И он расскажет. Будет тогда тишина, будут встать кругом лиловые и белые, до кружения головы душистые и большие кавказские цветы... И рука ее будет на его плече...

— Слушай, товарищ политрук, а шинели-то у тебя нет?

— Не успел получить, товарищ старший батальонный комиссар.

И молодая мечта Дементьева исчезла, забываясь: канонада, непрерывно колеблющая воздух, близкий треск перестрелки, люди, вереницей идущие по тропинке,— его рота, его люди, его забота...

— Когда обед нам привезут? — спросил Дементьев.

— Ах ты чорт,—сказал комиссар, нахмурясь,—правильный вопрос... Но можешь быть спокоен, придем на батарею. Ты молодец, что вспомнил.— И Язев крепко пожал ему руку.— Не горячись, без нужды не выскатывай. Помни: жизнь — последний козырь. Бросай его на этот стол,—Язев показал на широкие бурные поля вокруг,—тогда, когда видишь, что ценой этого ко-

звля покупается действительный выигрыв в ходе сражения... Да чего там говорить! Я уверен, ты будешь достоин наименования гвардейца, — сказал он мечтательно и непонятно и ушел.

«Гвардеец? Что это значит, гвардеец? — подумал Дементьев. — Да что бы ни значило! Я понял, чего он от меня добивается!»

Первый взвод дошел уже до опушки леса, который точно поглощал людей. (Они, может быть, передвигались дальше ползком или прятались в кустарниках?) Но стрельба там стала учащенной, торопливей, и среди монотонно-злых, ненавистных звуков немецких автоматов сильнее стали слышны коротенькие и четкие очереди наших автоматических ружей.

Дементьев глядел вслед своей быстро идущей вперед роте. Он видел спины, хлясткие шинелей, и вид этих спин пробудил у него чувство опасности: точно что-то грозило всем этим людям. И вдруг чутье, выработавшееся на всем кровавом опыте этой войны, подсказало Дементьеву, что нужно сделать. Он ускори́л шаг, обгоняя бойцов. Он спрашивал, где командир взвода, и, обгоняя его, вперед передавали по цепи: «Командира взвода к политруку».

Командир взвода, очень тоненький, высокий и несколько гнувшийся, как это бывает с людьми подобного сложения, поджидал уже Дементьева, и все его широкое курносое и бледное лицо улыбалось ласково и заинтересованно. Они поздоровались и назвались друг другу. Засышкин Александр Ильич — звали командира взвода.

— Я поговорить с вами хочу, товарищ младший лейтенант, — сказал Дементьев. — Наши вошли уже в бой. Не лучше ли будет вашему взводу оставаться здесь и прикрывать тыл... Ведь кто их знает, могут танки выскочить.

— Это точно, — хмурясь и в задумчивости покачиваясь, сказал Засышкин. — Точно, — добавил он оживленно.

— Взвод, стой! — отрывисто командовал он. Он подал одну за другой несколько команд, и бойцы стали окапываться, кто опустившись на колени, кто присев на корточки. Своими маленькими пальцевыми лопаточками тревожили они холодную, спящую землю. Далеко и близко вокруг гудел бой, и это подгоняло людей, придавало их движениям лихорадочную поспешность.

Засышкин, который ненадолго уходил, снова вернулся.

— Вот, товарищ политрук, — сказал он возбужденно и весело, — на этой стороне оврата пройдет рубеж моего взвода. К командиру роты я связаного послал — он будет знать, где мы... Когда наши потонят немца, он будет бежать этим оврагом. Я ставлю здесь два наших пулемета, и мы всех их здесь уложим.

— Воздух, воздух! — протяжно крикнул кто-то, и, подняв голову, Дементьев увидел проступающие сквозь низкий, ненастный туман, на высоте не менее 500 метров, быстро летящие черные самолеты. Пулеметные очереди гудко стучали отсюда.

— Огонь! Огонь по фашистским стервятникам! — крикнул Дементьев. Сразу же с земли рявкнул прохот залпа, и Дементьев обрадовался: залп сам собой получался дружный. Самолеты промчались в сторону леса, и тут же из-за леса, совсем близко, с лопалющимся звуком ударили зенитки: одна, другая...

— Падает, падает! — оживленно, наперебой кричали по цепи. Один самолет, действительно, накренился, взлетел как-то вкось и скрылся за деревьями. Другие самолеты вдруг исчезли. Их гудение, зудящее, как кровь в ушах при лихорадке, еще слышалось, но оно становилось все глуше: самолеты поднялись над низкой облачной пеленой.

Зенитки продолжали стучать, и Дементьев видел, как люди его роты, то один, то другой, на несколько секунд перестали окапываться и вопросительно, весело и нетерпеливо взглядывали вверх: ждали падения еще одного вражеского самолета. Наивность этих взглядов порождала у Дементьева заботливую тревогу.

— Что-то они еще готовят,— вырвалось у него.

— Пускай готовят,— задорно ответил Засыпкин,— мы тоже подготовились. У меня бутылки и противотанковые гранаты еще с вечера припасены. Сержант есть у нас молоденький, подобрал отделение истребителей танков — все комсомольцы. А сержант наш — это мальчик — ежик, товарищ политрук...

— Значит, займись, а я пойду туда,— показал Дементьев в сторону леса, где перестрелка все усиливалась.

Он быстро шел вдоль по цепи. Люди молча взглядывали на него и продолжали торопливо окапываться. Не все делали это одинаково. Видно было, что некоторым лопата в новинку. Дементьев любит каждого из этих людей, так внимательно, то строго, то весело, взглядывавших на него. Он поговорил бы с каждым, но говорить было некогда.

Один коротенький человек совсем не умел окапываться. Он очень старался, но лопатка у него то и дело срывалась. И еще очень встревожило Дементьева то, что этот коротышка вздрагивал при каждом близком оружейном выстреле. А так как они раздавались все время, то получалось, что бедняга непрерывно дрожал всем телом. В таком состоянии копать трудно, но воевать совсем нельзя.

— Как ваша фамилия? — спросил Дементьев.

Светлоголубые глаза страдальчески поднялись на него. Узнав политрука, коротышка торопливо вскочил.

— Новодережкин Василий Васильевич, — ответил он торопливо.

— Вы первый раз в строю? — спросил Дементьев, одергивая складки шинели, сбившейся на животе Новодережкина. Из-за этих складок шинель выглядела на нем, как юбка на животе неряшливой женщины.

— Да, товарищ политрук, — с готовностью ответил Новодережкин и тут же вздрогнул: близко раздался пушечный выстрел. Покраснев, он виновато-жалобно поглядел на Дементьева. У Новодережкина было мятое лицо, с толстым носом и маленьким подбородком.

«А парень-то стоящий, мы поладим», — подумал Дементьев и сказал:

— Когда я первый раз пошел в бой, мне казалось, что весь этот грохот направлен прямо на меня.

— Вы думаете, я боюсь? — покраснев до того, что слезы застилали его голубые глаза, спросил Новодережкин, самолюбиво оглядываясь: оказывается, к их разговору прислушивались соседи. — Я пошел добровольцем.

— Дело не в том, Василий Васильевич, боитесь вы или нет, — сказал Дементьев успокоительно, — все дело в том, чтобы не побежать в первом бою. А потом героем станете.

— Вы, товарищ политрук, умница, — горячо перебил его Новодережкин, — то есть, вы простите, что я так с вами обращаюсь, но я, действительно, штатский человек... Ух, как она грохнула! — сказал он, вздрогнув и коротко отмахнувшись своей круглой, багрово-красной рукой. — Конечно, вы угадали: я боюсь, но разве могу я побежать! Я, коммунист?.. Ух! как опять ударила!

— Да это наша пушка ударила, — засмеялся Дементьев.

— «Грамматика боя, язык батарей...» сказал поэт, — сокрушенно бормотнул Новодережкин. — В отношении войны я неграмотный...

— Ничего, обтерпишься! — сказал вдруг сосед Новодережкина, молодой, со впалыми щеками и светлыми упрямыми глазами. Голос его, как то всегда бывает после долгого молчания, прозвучал хриплого. Но, может, потому товарищеское участие так выразительно слышалось в его голосе, и Дементьеву было приятно, что к Новодережкину хорошо относятся, как будто стал ему близок этот смешной, коротенький человечек.

— Вы военное обучение проходили? — заботливо спросил Дементьев.

Новодережкин, видимо колеблясь, помолчал, испытующе взглянув на него.

— Не совсем, — сказал он, снижая голос.

— Как же вы сюда попали?

Новодережкин еще подумал и сказал кряхтящим шепотом:

— Я сам написал удостоверение от месткома училища, где преподаю, — он быстро взглянул в нахмурившееся лицо Дементьева и вздохнул.

— Что мне делать с вами? Не знаю! — с досадой сказал Дементьев.

Новодережкин с отчаянием развел руками.

— Да ладно, пойте пока, — сказал Дементьев.

— Имейте в виду, товарищ политрук, я обратно не поеду! — крикнул вдруг Новодережкин. Очевидно увидев, что Дементьев неодобрительно хмурится, Новодережкин прервал сам себя. — Эх, зачем я сказал об этом, вот характер дурацкий! — Он горестно махнул рукой и стал рыть землю свирепо и бестолково. Худощавый сосед сочувственно поглядел на него и многозначительно мигнул Дементьеву.

Все поведение Новодережкина, его манера держаться в корне противоречили не только уставу, но и тому обычаю военной службы, который за годы пребывания в армии стал привычен и мил Дементьеву. Этого чудака уже следовало посадить на таутивахту за неумение разговаривать с начальником, а может быть, отдать под суд Военного трибунала за легкомысленное обращение с военными документами. Но в то же время о нем хотелось заботиться. Конечно, он вздрагивал при каждом выстреле — и все-таки пошел на фронт в самые тяжелые дни. Ну, а как же быть с документом, который он сам написал? «Ладно, после разберусь», — сказал себе Дементьев. Но, вместо того чтобы продолжать свой путь в сторону леса, он вернулся обратно к Засыпкину, который о чем-то оживленно беседовал со скуластым старшим сержантом. В щетинке, скудно пробивавшейся на щеках и подбородке старшего сержанта, проступала проседь, но глаза были молодые и веселые.

— Касымов Касым, — с едва заметным твердым татарским акцентом сказал он.

— Вот какое дело, друзья. У нас кое-кто юкапывается плохо, — почему-то смущаясь, говорил Дементьев. — Особенно один товарищ. При этом партийный...

— Новодережкин? — насмешливо-ласково по отношению к Новодережкину спросил Касымов. — Чудачок! Он ночью советовался со мной, — Касымов круто остановился, и Дементьев сразу понял, о чем у них ночью шла речь. Конечно, об истории с документом.

— Иди, товарищ политрук, спокойно. Меня вчера старшиной роты назначили, так я уж возьму над ним шефство, — сказал Касымов.

Дементьев быстро шел в сторону леса. «В роте, наверное, есть замечательные люди, примерные бойцы, может быть даже герои. Они станут замечательными только в бою, сейчас каждый из этих людей делает свое дело, и мимо них можно пройти. Но как пройти мимо такого чудака, который же

окапываться не умеет?...» Из лесу одна за другой со свистом, вкрадчивым и ленивым, пролетали пули, и Дементьев сразу забыл о Новодережкине.

Сначала он шел пригнувшись. Но это мешало ему двигаться быстро. К тому же пули летели над самой землей, — пригнувшись, он скорее мог получить тяжелую рану. Он выпрямился и во всю силу своих резвых ног побежал по осеннему побуревшему живую.

Он добежал до леса и сразу упал в кустарник. Из лесу слышны были противно чуждые голоса, все приближающиеся. Немцы! Вот они. И не в зеленых шинелях, как он ожидал, а в черных куртках (эсэсовцы! фашисты!). Они мелькали между деревьев, то показываясь, то исчезая.

— Обратно, обратно! Слышите вы, швайнкунде! — кричал коренастый немец. Он крутился на месте, угрожающе поводя вокруг себя автоматом, и Дементьев близко видел его густые черные брови и одутловатое лицо. Он подпрыгивал на коротких ногах, обутых в наши («наши») сапоги. Как сквозь неизмеримо далекое и чуждое пространство, доносились слова, которые Дементьев понимал, так как еще до войны изучал немецкий язык. Он грязно ругал своих солдат этот коренастый, весь точно налитый злой силой, подпрыгивающий на месте офицерский чин: «Собаачьи свиньи! висельники! приплот обезьяны!» И тут же, не переводя дыхания, вдруг стал мурлыкать об отечестве и о возлюбленных, оставленных дома. И снова сменил это мурлыканье, славское и клезливое, на угрозы пристрелить каждого, кто сделает хоть шаг вперед.

А крупом стояли спокойные, темные русские ели.

Офицер добился своего. Черные куртки стали возвращаться в глубь леса. Токот немецких автоматов уплотнился.

— Обер-ефрейтор Шниттельбаух! Ко мне! — крикнул офицер.

Щупленький, с рыжими бачками, франтоватый молодчик подскочил к офицеру. Вытянувшись, он пнул на него свои белесые глаза.

— На мне ничего не нарисовано, мальчик! — со смешком сказал офицер, дружески ударяя обер-ефрейтора по руке, поднесенной к козырьку, и опуская ее. — Сморщите-ка сюда! — Он показывал обер-ефрейтору что-то, чего Дементьев не видел и что, очевидно, было картой. — Возьмите всех своих и еще отделение бедняги Вальтера. Пройдите-ка вот сюда и сюда. — Офицер рассказывал обстоятельно, но Гриша многого не понимал: это были топографические термины, пересыщенные цифрами.

— Отсюда и подойдете к их батарее. Внезапно... К этой чертовой батарее, и мы залкнем ее проклятую плотку! Нет, откуда только у этих свиней такая дьявольская меткость, и сколько драчливости! — воскликнул он бешено, и как трещина в металле, трещина очень тонкая и несомненная, звучал в этом бешонстве страх. «Силу, всю нашу силу — на их силу...» — бессвязно, но ярко думал Гриша, крепко сжимая свой уже взведенный автомат. Одна из тех случайностей, которые стали особенностью этой страшной войны, открыла перед ним незащищенный тыл противника и дала ему крупнейшее преимущество. В руках его — немецкий автомат. Это тоже преимущество! Нужно дожидаться момента и эти преимущества использовать. И Гриша лежал, весь прикипнув к влажно-холодной земле.

Щупленький обер-ефрейтор Шниттельбаух, прихрамывая, пробежал туда, где между деревьев чернели куртки эсэсовцев. Он мгновенно и, по оценке Гриши, очень толково отделил некоторое количество немцев и повел их в сторону. Наведя свой автомат на просвет между деревьями, в котором должна была показаться вся группа Шниттельбауха, Дементьев ждал. Вот они: первый

немца, второй, еще два и — сразу кучей. Дементьев наскочил кучок, Мерный и злой толкот его автомата влился в общий ровный гул немецкой стрельбы. Поводя этим вздрагивающим, послушным, точно превратившимся в часть его существа, оружием, Гриша продолжал свой грозный счет, но скоро сбился. Одни немцы падали, другие бегали, кричали блеющими голосами, махали руками. Они не понимали, кто и откуда бьет по ним... Они боялись — это все сильнее звучала трещина... Но, ведя стрельбу, Гриша продолжал следить за главным врагом — за офицером, который был обозлен, удивлен, но отнюдь не растерян.

Он оглядывался, и вдруг Гриша встретил взгляд этих враждебных, ненавидящих глаз... Офицер рванулся, но Гриша держал его под прицелом. Три быстрых выстрела, — рывкнув и в последний раз подпрыгнув, офицер упал. Гриша быстро подполз к нему. Всклипы, захлебывания, судорожные движения рук и ног, еще крепких, но уже освободившихся от власти погасяющего мозга... Вырвав пистолет из рук офицера, еще горячих, Дементьев вскочил, пробежал несколько шагов в сторону цепи черных курток. На глаза ему попался хороший буторок с камнем, выступившим из-под земли. Гриша лег за камень и стал укладываться, обминаться, чтобы удобней было снова открыть огонь по черным курткам.

На него вдруг упала шинка... Вторая, третья. Нет, они не падали, кто-то швырялся ими. Дементьев оглянулся. Из-за близкого дерева улыбался ему какой-то свой, в шинели и каске. Мгновение — и этот парень ужжом прополз к Грише между шпех и заустов.

— Я с дерева на дерево скакал, разведку вел, товарищ политрук, — шептал он торопливо. — Вдруг, вижу, кто-то по шим из их же автомата, чешет... Откуда такое? Ну, и поглядел я на вашу чистую работу... Гарнесенько, — добавил он по-украински, хотя, судя по говору, был русский. Толкнув Гришу игриво в бок, он уполз, прополз между деревьями.

Это мгновенное свидание, эти родные слова среди беспорядочного и чужого немецкого гама — все это было неожиданным отдыхом. Вдохнув облегченно и успокоенно, Гриша прилажился стрелять. Вдруг совсем близко, откуда-то сбоку, откуда он совсем не ожидал, поднялась волна победоносного крика. Это было «ура»; и тут все стало происходить очень быстро. Немцы отходили, продолжали отстреливаться... Они отходили в ту сторону, где залег Гриша, и, подпустив их на расстояние, наиболее выгодное, он опять открыл прицельный огонь по этим черным курткам, так что каждая короткая очередь его автомата валяла на землю то троих, то четверых... Немцы испуганно оглядывались, встревоженно перекликались; они убыстрили свое отступление, они, видимо, были испуганы этим непонятным и страшным истреблением, которое в их ряды вносил гришин автомат, звук этого автомата был неотделим от звуков прочих немецких автоматов. К тому же, ими шпехо не командовал, и они как-то сразу растерялись.

И гришино существо заполнила радость, мстительная и блаженная. «Натека, натека», — шептал он, быстро меняя вместительные обоймы автомата. Скидания по лесам, обходы горящих, стонущих, воющих деревьев, унижительные перешагивания через дороги, свои, советские шоссе, дороги, которые уже охранялись немецкими патрулями...

Среди деревьев вдруг появились серые шинели. Раскрасневшиеся, с открытыми ртами лица, грозные и родные. Штыки, грозные штыки надеревес. Немцы теперь просто бежали прочь, и многие бросали автоматы и скидывали гранаты.

Их догоняли. Страшный хрюск и смертный вой шел по лесу; их догоняли и закалывали. Гришу особенно поразил один из бойцов. Округлый в груди и широкоплечий, он пробежал мимо Гриши. Только на секунду сверкнули из-под каски его серые выкаченные глаза, нос был наморщен, белые зубы оскалены, — да, Гриша чувствовал то же!.. Страшным и точным движением выбрасывал этот богатырь вперед ювой штык... Приостановившись на секунду, ловко выдергивал его из стонущего, теряющего себя тела врага и опять преследовал. Так заколол он одного немца, другого. Третий упал на колени, отбросил автомат и поднял руки. Богатырь пробежал мимо и не тронул немца, который тут же схватил автомат и направил его вслед тому, кто оставил ему жизнь. Но тут набежал Гриша и разнес немцу череп тяжелым прикладом своего автомата.

— Здорово, товарищ политрук!

Дементьев увидел Закоморного. «Ура» продолжало греметь по лесу, и как бы из этой победоносной волны возник Закоморный. В руках его была самозарядка; ее штык, светлый и плоский, был окрашен неяркой розовой жидкостью, очевидно кровью, смешавшейся с водой.

— От батареи мы их отогнали, — рассказывал Закоморный. — Теперь надо гнать, не давая зацепиться. Пройди, политрук, по лесу, собери раненых, погляди, не отстал ли кто из наших, и всех иди вперед... А я туда... — он указал в ту сторону, где лес редел и куда уходила схватка, и размахистым бегом кинулся туда.

Дементьев, приходя в себя, оглянулся. Неподалеку увидел он застреленного им офицера и подошел к нему: его надо было обыскать. Взяв тяжесть этого тела, которое совсем недавно прыгало, шалитое бешеной силой, поразила Дементьева. Документы — Гриша просмотрел их тут же: приказы, карты — это важно! На глянцево-белых фотооткрытках запечатлено скучное немецкое похвальство — изодрать! Гриша успокоился и мысленно перебирал все происшедшее. «И совсем не нужно было действовать прикладом, — думал он, переводя дыхание и вытирая пот с лица. — Отскадай я на секунду, и убили бы нашего богатыря. У меня в руках был автомат, можно было просто пристрелить». Но бить прикладом было лучше, разряжалась энергия ненависти.

Вдруг все в мире содрогнулось. Это близко затрехотало оружие. И Гриша, точно его позвал кто-то, пошел в ту сторону, откуда слышен был этот грохот. Он увидел длинный, несколько необычно приподнятый вверх хобот орудия; все тело орудия было замаскировано разлапистыми ветвями ели, под которой оно стояло. Видно было, что здесь совсем недавно шла жестокая схватка. Люди лежали выовалку, некоторые еще шевелились и стонали. Но появились женщины, которые казались маленькими в своих больших мешковатых шинелях. Женщины раздвигали эти напроломзданные тел, и то ли, чтобы дать о себе знать, то ли потому, что женщины, раздвигая мертвых, задевали раны живых, но стоны и жалобные проклятия усиливались. Это были совсем молодые девушки. Они осторожно помогали вставать, они ободряли, они говорили те ласковые, бессмысленно-нежные слова, которые сказали бы впервые своим возлюбленным или детям... С тенью смерти на осунувшихся лицах, тенью тем более выразительной, что она лежала на лицах людей, которые еще, может быть, будут жить, в шинелях, залитых жидкостью, заперкшейся крови, поднимались раненые, и их уводили или уносили на посылках.

Но тут же рядом слышен был веселый смех... Дементьев опять увидел Закоморного. Ему жали руки, его дружески ударяли по плечам и по груди артиллеристы. Их лица были задымлены, у одного голова была перевязана и сквозь марлю розовела кровь, но по всему лесу разлетался этот веселый, ничего не признающий хохот, сверкал блеск молодых зубов, точно не было рядом мертвых и раненых, точно беспорядочная стрельба и выкрики не доносились оттуда, куда ушла схватка.

А лес стоял спокойный, важный, и над ним плыло низкое белесое небо. День природы шел сам по себе, как всегда равнодушный к тому, что происходит у людей.

С досадой мотнув головой, отгоняя от себя эти, сейчас совсем ненужные, мысли, Дементьев пошел к девушкам-санитаркам, чтобы узнать о раненых своей роты. Вдруг: — Воздух, воздух! — закричали с поля. Дементьев кинулся туда. Самолеты, множество самолетов летело над деревьями, и снова близко ударили зенитки. Земля взревела и дрогнула, где-то близко упали бомбы. Дементьев увидел, что некоторые бойцы его роты, залепшие по краю лощины, в которой скрылись немцы, совсем прекратили стрельбу, другие то вскакивали, то опять падали на землю и жались к ней, третьи беспорядочно метались, прячась в кустарниках, а один, очень рослый парень, отбросил винтовку. Немцы, уже заткнутые в лощину, видимо, ободрились, и треск их автоматов стал опять ожесточеннее.

Но среди рева и сотрясения взрывов попрежнему были слышны легкие, лопающиеся выстрелы зениток. Артиллеристы также добавили во все это свою долю прохота.

— Возьми оружие, сейчас же подними винтовку, — угрожающе говорил Дементьев. Рослый парень жалобно оглянулся и с таким усилием, что руки и ноги у него стали валить, нагнулся и поднял винтовку. Командир взвода уже командовал: «Огонь! Огонь!»

Вдруг наверху в белесом сверкнуло голубое и еще что-то затрепело, но по-новому. Рыжий огонь мелькнул между деревьями.

— Самолет упал! Наши второй самолет сбили! — крикнул Дементьев.

— Ура, ура, зенитчики! — воодушевленно грохотало по цепи, которая стала опять обстреливать лощинку, занятую немцами, и тут же два орудия, ближее и дальнее, почти одновременно дали еще по выстрелу в направлении вражеских окопов. И Дементьев вдруг представил себе капитана Стахеева (как давно было сегодняшнее утро!), который откуда-то направляет всю сокрушительную работу артиллерии. Он подумал о зенитчиках, которые только что обновили работу артиллеристов, и о своей роте, которая отогнала фашистских автоматчиков от орудий. И на мгновение все происходящее — стоны, крики, раны, кровь, смерть и эти, все сотрясающие, разнообразно страшные гулы и грохоты, — все слилось вдруг в одно, прекрасное и величественное, отчего сердцу в груди сделалось вдруг тесно. «Мы боремся, мы дружно боремся, и мы победим!» — так можно было бы выразить языком слов это чувство, но были эти слова слишком бледны в отношении того восторга, который испытывал Гриша.

Восторг этот продолжался несколько мгновений. Через секунду Гриша озабоченно думал о том, что нужно найти скорей Закоморного и поговорить с ним о дальнейших действиях. Но отзвук этого восторга продолжал храниться в его душе.

Когда Гриша опять подошел к артиллеристам, гудение вражеских самолетов уже затихло, зенитки замолчали. Артиллеристы говорили о том, что произошло.

— Ну, молодцы зенитчики! Звездный налет отбили.

— Им не впервой...

— Большое испытание нервов. Ведь это жуткое дело — звездный налет. На тебя одновременно со всех сторон устремляется несколько самолетов. Бросают бомбы, бьют из пулеметов... — говорил выделявшийся книжным складом речи артиллерист; у него рука была направлена в рубашку, и рукав болтался пустой.

— При звездном налете главное, что общей команды быть не может. Командиру каждого орудия приходится принимать самостоятельные решения и их осуществлять... — сказал младший лейтенант, высокий, со скуластым, непоколебимо спокойным и ласковым лицом. Все замолчали, слушая его. А он обернулся к Закоморному:

— Знаешь, Филя, подослал бы ты кого к зенитчикам, как они там?

— Я сам схожу, — ответил Закоморный. — Да кстати и лес прочтем. Может, кто из фрицев на парашюте спрыгнул.

— На место падения самолета сходить нужно, — добавил смуглый артиллерист с пустым рукавом.

— Вы останетесь при роте, товарищ политрук? — сказал Закоморный.

— Да, — ответил Дементьев, хотя ему самому очень хотелось пойти поглядеть на упавший самолет и принять участие в ловле фрицев. С завистью поглядывал он вслед Закоморному, который в сопровождении нескольких бойцов быстро ушел в глубь леса. Но Дементьев знал, что ему нужно находиться при роте, которую он за время этих, быстро одно за другим следующих событий, привык уже считать своей. Он уже знал что-то об этих людях, и знал о них хорошее. Беспокоил Новодерезкин и, конечно, следовало запомнить того, который бросил винтовку. Звездный налет многих ошеломил. Но фашисты от батарей все-таки отогнаны, задание командования выполняется. Нужно скорее сообщить на КП полка и переслать туда документы немецкого офицера. Потом — надо, чтобы людей накормили...

Командир орудия, тот самый рослый, скуластый младший лейтенант, который выделялся своей особенно подчеркнутой воинской выдержкой и спокойным и ласковым благообразием, проводил Дементьева в тесную землянку. Там у котла сидел связист.

— Я — «Буря»... Я — «Буря». Это «Елка»? «Елка»? Слушайте, «Елка», — певуче и монотонно, точно заклинание, выговаривал он. — КП вашего полка слушает, — сказал он, подняв на Дементьева уставое бледное мальчишеское лицо с мазком глины на щеке. — Вам кто нужен? — спросил он Дементьева, который взял уже трубку. — Если нужен командир, спросите директора, если нужен комиссар — спросите главного садовника. — Он зевнул и со вздохом облегчения свалился на земляные, покрытые соломой, нары и тут же уснул. Дементьев узнал голос адъютанта Петруши и сразу перенесся в уютную землянку, где на столе расстелена карта.

— Ни директора, ни главного садовника нет. Кто говорит? — не приветливо отвечал Петруша.

— Я новый, я был у вас в конторе, — волнуясь, говорил Дементьев. — Мне дано было поручение.

— Не понимаю, — сухо ответил Петруша.

— Ну и не понимайте, — рассердился Дементьев, — только передайте директору или главному садовнику: во-первых, поручение ваше мы выполняем. Во-вторых, мне необходимо переслать вам кое-какие бумаги, а в-третьих, самое главное, обед.

— Обед отправлен, но в обед, — совсем другим, добрым голосом сказал Петруша. — Теперь я вас вспомнил, вы новый садовник на участке.

— Точно! — развеселившись, сказал Дементьев.

Растолкав связиста, который спал, как мертвый, Дементьев выскочил из землянки. Ему нравилось, что комиссар — главный садовник, а он — один из многих садовников этого боевого, прохочущего хозяйства. Улыбаясь и сам с собой говоря, Дементьев быстро шел к расположению первого и второго взводов, где продолжалась перестрелка с немцами, загнанными в ложбинку. Третьего взвода, вместе с которым он шел с утра, отсюда не было видно. Но с той стороны то и дело слышались короткие, в два-три выстрела, очереди пулемета. Выход из ложбины для фашистов был закрыт. Фашисты отвечали то вяло, то вдруг, точно взбесившись, открывали сильный огонь, вели его несколько минут и опять затихали. Батареи Стасеева продолжали свою размеренно прохочущую работу. После каждого выстрела видны были взлетающие к небу столбы земли: да, то, о чем говорили в землянке на КП полка, упрямо осуществлялось.

Вдруг все исчезло для Дементьева. Ничего не осталось от его разгоряченного благодушия. В мире было только одно: слева из-за холма, ломая изгороди, по грядам огородов быстро выполняли огромные черные жуки. Это были немецкие танки. Вот такие во множестве показались они тогда в тылу их полка. И горечь нестоимченного унижения опять доверху заполнила душу Дементьева... «Не уйду!» — сказал он решительно. Только этому гордому чувству под силу было одолеть то унижение.

К нему подбежал Касымов.

— Танки, товарищ политрук, фашистские танки, — задыхаясь, говорил оп. Видно, танки ему были в новинку.

— Противотанковое отделение выделено? — холодно спросил Дементьев, и Касымов смутился.

— Выделено, товарищ политрук, — быстро сказал он. — И позицию уже заняли. Зарылись. Взвод наш держится молодцом.

«Как же, молодцом. Сам-то в панике прибежал», — подумал Дементьев, но вслух сказал:

— Нужно уничтожить автоматчиков, не дать им соединиться с танками.

— Будет исполнено, товарищ политрук.

Дементьев второй раз бежал через санившие. Из танков его заметили, по нему сыпали пулеметными очередями. Он ложился, вскакивал и снова бежал: то, что сейчас проиходило, грозило участи всего сражения, и Дементьев думал только об этом.

Он добежал до расположения третьего взвода. Здесь все было в порядке гораздо большем, чем он ожидал. В этих окопчиках, только что открытых, можно было лежать, и они были даже замаскированы дерном. Мелькнуло скакбное, заинтересованное лицо Новодержкина. «Не до него», — подумал Дементьев. Засышкин издали отчаянно махал Дементьеву и кричал:

— Ложись, ложись!

— Зачем, товарищ политрук, жизнью рискуешь, — укоризненно сказал Засышкин, когда Дементьев добежал до него и лег рядом с ним. — К чему было так торопиться. У нас здесь, как на Красной площади 7 ноября.

Он старался говорить спокойно, даже весело и шутливо, но струйки крови стекали у него с угла рта. Он сам не замечал, что до крови прикусил губу.

Шли средние танки, вооруженные каждый несколькими пулеметами и одной пушкой. Пушки били торопливо, точно захлебывались злым грохотом, снаряды с визгом один за другим пролетали над цепью, тяжело и глухо пнялись в мокрую землю скатого поля. Одновременно с танков били пулеметными очередями. В цепи то и дело раздавались стоны, ругательства. Вот кто-то ахнул, вскочил и упал, кто-то жалобно крикнул: «Ай-ай-ай... Шмырева заберите, ранен! Петрушкевич убит».

— Они нас раздают к черту! — крикнул вдруг кто-то, и столько страха было в этом крике, что Дементьева всего передернуло. Он видел, как взлед за этим криком злое щего содержание прошло по цепи.

— Товарищи! Москва! — крикнул он звонко. — За нами Москва! — Он кричал так, как кричит мать, требующая спасения своего ребенка. Кричал, ни о чем не помня. Да и среди грохота боя вряд ли было слышно, о чем он кричал. Но все поняли слово «Москва» и все видели лицо Дементьева. Кто-то схватил его за руку и с силой потянул вниз. Это был старик Ивашин.

— Никто не побегит, товарищ политрук, — сказал он. — А если найдется трус, мы его тут же кончим.

Один из танков задымился, подпрыгнул, и язык голубого воющего пламени поднялся над ним...

— На мину палетол...

Танки замешкались и стали боком обходить минное поле. Позади цепи появилась наша противотанковая батарея. Грохоту еще прибавилось. За короткое время подбила она два танка: один стоял неподвижно и горел, другой, как изуродованное насекомое, крутился на месте.

Но передние четыре танка уже опускались до положому краю лощины, с минуты на минуту должна была вступить в действие цепь наших истребителей. Дементьев взглядывался и никак не мог их разглядеть, хотя они были не более как в двадцати шагах. Забыв о пулях, которые продолжали свистеть вокруг, забыв о своей жизни и смерти, Дементьев и Засыпкин возбужденно переговаривались. Дементьеву ясна была та причина, которая вынудила немцев кинуться в эту танковую атаку. Они во что бы то ни стало хотели прорваться к батареям Стахеева, чтобы смять их и приостановить губительный огонь.

— Это навесный огонь действует, — горячо говорил Дементьев. Засыпкин, приоткрыв свой большой рот и подняв брови, как замороженный, слушал его.

Но танки уже перебирались на эту сторону лощины, и Дементьев замолчал, напряженно выглядываясь: истребителей не было видно. Дементьев чувствовал, что настал тот момент, когда они должны были войти в общий ход сражения. Эти неизвестные ему парни-комсомолы были сейчас все равно, что он сам. Ведь эта задача — не дать фашистским танкам помешать уничтожающей работе стахеевских батарей, — это его задача, он должен выполнить ее...

— Я перейду к ним, — сказал Дементьев. Схватив связку противотанковых гранат и вплотную припадая к земле, он пополз по-пластунски, перебрасываясь с руки на руку и помогая себе ногами, вплотную прижатый к земле.

Иногда для ориентировки он поднимал голову, но никак не мог сосчитать, сколько всего танков участвует в нападении. Досчитывал до пятнадцати и

сбивался... Во всяком случае, не больше двадцати, и три уже выведены из строя. Передние пять были совсем близко. А еще ближе, в нескольких шагах от себя, Дементьев вдруг увидел возвышающиеся над землей зеленые каски. Это были истребители. Они сидели в ямках, вырытых попарно.

Дементьев свистнул. К нему обернулось несколько молодых лиц. Только в детстве, во время мальчишеских игр, видел он такие лица: страстно серьезные и увлеченные. Один, с татарскими черными, длинно прорезанными глазами, улыбнулся Дементьеву, мигнул ему, вскочил, одним прыжком переметнулся прямо к переднему танку. Раздался оглушающий взрыв. Передняя часть танка поднялась и загорелась. «Погиб вместе с танком», — подумал Дементьев о черноглазом. Но тут же раздался второй взрыв, та же мальчишеская фигура, освещенная пламенем, снова поднялась с земли и тут же ушла под землю. Второй танк взорвался...

Мир состоял из прохота и серо-розового удушливого дыма, из яростного восторга: три танка были уже подняты... Фашистские танкисты, полуодетые (в танках было очень жарко), выскакивали — одни с голыми плечами и руками, другие в нижних рубашках. У некоторых в руках были автоматы. Дементьев пристрелил двоих. Он не верил своим глазам, но это было так: фашисты выбежали из четвертого танка, хотя он был в целости. «Да, да, они нас боятся», — с восторгом подумал Гриша, подхватывая ту свою мысль, которая не раз волновала его в течение этого дня, длящегося и длящегося точно целую жизнь.

У него уже горячо и мокро было на боку, и он знал, — почему, но старался не думать об этом, чтобы не отвлекаться от той мучительной и счастливой жизни, которая билась в нем вместе с биением его воспаленной крови. Его наблюдательность, его сообразительность обострились, и, стреляя по танкистам, он одновременно видел все, что происходит вокруг, и первый заметил, что еще одна группа немецких танков появилась сбоку, а на смену тем, которые были уже уничтожены, лезли еще шесть. Рядом с собой Гриша видел сейчас только четырех истребителей. Среди них был и тот первый смелый с татарскими глазами. На его щеках были два треугольника...

— Как зовут тебя? — спросил Дементьев внимательно, чтобы навеки запомнить, глядя в это молодое, румяно-смуглое лицо, отмеченное опасным, недавно зарубцевавшимся, но еще багровым шрамом. Шрам пересекал щеку и уходил под воротник.

— Аркадий Забалуев, товарищ политрук. А тебя как звать?

— Григорий Дементьев...

— Владлен Бассовский.

— Александр Гудзь.

— Дмитрий Фетисов.

Сбившись между черных бревен какого-то разрушенного строения, они наперебой, торжественно называли себя. Это были только фамилии, но каждому казалось, что они говорят друг другу и узнают друг о друге все, что можно сказать словами.

Аркадий Забалуев держал в руках бутылку и зорко оглядывался. Танки приближались...

— Начинай, друзья! — крикнул Забалуев, и опять все было застлано дымом и чадом... На какие-то мельчайшие доли секунды Дементьев вдруг забывался, ему казалось, что происходит чудовищная игра в городки. Розовая от заката пыль, вздымающаяся по улице станицы, пыль, жаркая, обжигаю-

ная, пыль вместе с дымом и удушливой тракторной вонью... Синее небо и сияющее солнце, беспредельные хлеба, урожай...

— Бей, ребята!

— Бей, ребята, фашистов!

Еще три танка горели, и еще шесть немецких танкистов пристрелил политрук Дементьев. Но вдруг тяжелый удар по голове свалил его с ног... «Я живой», — думал Гриша и отползал, но танк надвигался на него, и Гриша близко видел шершаво-жаркую броню, какую-то чужую, не русскую клешку, чужие рогатые цифры и буквы... От танка веяло жаром и смертью. Вдруг раздался прохот, танк дрогнул и накренился набок... «Мы бьем их, — подумал Дементьев и перестал ползти, позволяя себе терять себя... — Мы бьем их, и значит все хорошо».

III

Боль была последним его ощущением, и она была первым, что он почувствовал, когда стал приходить в себя. Грудь теснило, дыхание было затруднено. «Я перевязан», — догадался он. Попробовал разжать веки, тысячи искр заиграли в его глазах... Они изнутри жгли его голову... Он тронул ее и, вместо волос, ощутил марлю.

Вдруг его руку отвела рука, женская рука, и во всем воющем, рычащем, скрежещущем мире эта рука была тишиной, отдыхом и выздоровлением. Он задержал эту руку в своей, почувствовал, что в голове его яснее, и вспомнил обо всем. «Где мой автомат?» — подумал он беспокойно.

— Сестра, — сказал он хрипло.

— Что вы хотите, товарищ политрук? — спросила она.

— Где мой автомат?

— Здесь, — ответила она, не удивляясь. Не впервые ей было отвечать на этот вопрос, который раненные бойцы задавали почти в беспамятстве.

— Что происходит? Я не могу раскрыть глаз. Мне глаза больно... Где танки? Где Забалуев?

Она молча выслушала эти вопросы, отрывистые и невнятные, и ответила на самый главный:

— Одиннадцать танков подбито, остальные отходят.

— Отходят! — воскликнул он. Она положила руку на лоб его и не дала ему поднять головы.

— Да, отходят. Мы стали их бить прямой наводкой. Мы, то есть это зенитчики. Я при четвертой батарее. Вас притащили к нам на медпункт.

— Где Забалуев? — спросил Дементьев.

Среди красных вспышек, которые были у него под веками, он все время видел эти черные брови, эти длинно прорезанные глаза... Взмах руки, курявые, розово-серые облака дыма, ослепительные всплески пламени, и среди всего этого толкала в пояс, широкая в плечах фигура, прямая мальчишеская шея и броское, точно при игре в городки, движение руки, страшное движение руки, рожающее пламя, прохот и дым.

— Где Забалуев? — спросил он еще раз.

— А он кто?

— Комсомолец. Командир истребителей. Сержант...

Она помолчала.

— Не знаю, — ответила она и вздохнула. — У нас там большие потери. Мне рассказал, что вас из-под танка немецкого вытащили... Вы — отчаянный... — сказала она и опять вздохнула.

— Потери? — он сразу отпустил ее руку, опершись на локти, поднялся и с усилием открыл глаза: чувство вины заставило его подняться. Сквозь молнии, летевшие искрами мимо его глаз, видел он над собой это лицо, прямые русые волосы, выбежавшие из-под пилотки со звездочкой, бледные, точно подпухшие, раскрытые губы, остренький подбородок и смелый остренький нос. Она старалась уложить его, осторожно прикасаясь к его плечам и к голове...

— Товарищ политрук, лежите спокойно и вы скоро поправитесь. Ну, послушайте меня, ложитесь. Я опасался, что у вас легкое сотрясение мозга, а оно проходит, если отлежаться. И вы поправитесь и скорей вернетесь в роту... где вы нужны...

Но с первым раненым она имела дело и знала, что нужно говорить этим смелым людям. Он послушался ее, лег, и ему сразу стало легче.

— Сестра, поплите за командиром роты, — сказал он.

— Какой роты?

— Нашей, стрелковой...

— А как его фамилия? — спросила сестра.

— Фамилия... — и вдруг Дементьев почувствовал, что фамилии он не помнит. Он точно ввзвев видел перед собой это чистое, прозное, ровно-румяное лицо, но фамилии не мог вспомнить. Множество лиц представилось ему. Это были лица людей его роты, но фамилий он не помнил. Аркадий Забалуев — это единственно было точно вырезано перед глазами — и как раз его эта девушка не знает. Ничего она не знает, а ведь он, Дементьев, отвечает за все, за всех... Чтоб не разошлись, не рассыпались. Забалуев, он, может, погиб?.. Нет, она не знает. Она только и может держать руку. Но это хорошо.

Он снова потерял сознание, но сейчас это было совсем по-другому.

Он заснул, но так внезапно и глубоко, что сестра, чтобы понять, дышит ли он, наклонилась к самому его лицу, и ее губ коснулось слабое, но спокойное его дыхание.

Он проснулся оттого, что его пошевелили и сделали ему больно. Не очень больно и пошевелили его очень осторожно, но он все-таки проснулся... Голова у него болела, лежать было мягко, тело отдыхало, и только был потревоженный бок.

— Тридцать шесть и семь, — сказал женский, милый, уже знакомый голос.

И не успел он сделать усилие и вспомнить, откуда знает этот голос, как сразу же заговорило несколько человек. — Ну, видишь... — Я и говорю, отлежится... — Конечно! — Никуда мы его не отдадим. Отдашь в санбат и обратно не получишь, дивизия велика! А у нас он отлежится...

Все эти голоса были ему знакомы. Здесь был командир, старшина, еще какие-то люди: он не помнил, откуда знает, но он знал их. Женский голос — это была сестра — возразил:

— Вот как вы рассуждаете... Это эгоизм. Разве можем мы предоставить ему настоящую медицинскую помощь? — Но ее перебили.

— Э-э, товарищ сестра, фальшиво говорите. Сами сказали, поставим температуру, а температура нормальная. Насчет эгоизма — это уж, простите меня, ерунда. Именно не о себе забота, а о пользе дела. — Это говорил Закоморный, напористо и настойчиво. — Рота новая, нужен боевой политрук. Именно такой. Вчера наткнулся он на немцев. Другой бы сразу: ах, окружение... А он залег, подкараулил и открыл огонь. Убил офицера, положил их несколько десятков и

создал среди фашистов панику. Это все разведчик один наш видел... Оттого немцы так быстро из леса драпанули.

Дементьев слушал с закрытыми глазами. Он проснулся, сердце его билось тяжело и болезненно, и он, не открывая глаз, слушал, как его хвалили.

— Да, парень стоящий. Ты, Филипп, держись за него! — сказал приятный, несколько медлительный и тоже знакомый голос. — Крутом еще куперьма была, а он уже звонит в штаб полка: давай обед! Настоящий политрук... — Это говорил тот самый артиллерист, командир орудия, из землянки которого Дементьев звонил на КП полка.

— Где опасное место — там он, — поддерживал голос, в котором по твердому акценту Дементьев признал старшину Касымова. — Понимает военное дело. Ведь это он сказал лейтенанту Засыпкину выделить противотанковое отделение...

«Противотанковое отделение... Аркадий Забалуев». Дементьев вспомнил все. «Где Аркадий Забалуев?» — хотел он спросить, но получился хрип. Все замолчали, он закашлялся, открыл глаза и поднял голову...

Он был в комнате, ярко освещенной электрической лампой. Стены комнаты были оклеены светленькими обоями, висели какие-то картины... Множество людей было в этой комнате, и все они глядели на него: — Где Аркадий Забалуев? — спросил Дементьев, опалываясь. «Неужели убил?» — думал он, видя, что все переглядываются. Он чувствовал, что смерть Забалуева, которого он видел только раз, будет для него тяжелым горем.

— Он в своем взводе, товарищ политрук, — наконец ответил Касымов. — Идет дождь, строем шалаша, обгораем людей. Обед прислали, хороший, горячий, подвезли к самому переднему краю.

«Значит, жив и, наверно, даже не ранен», — подумал Дементьев. Он вдруг вспомнил: окруженные немецкими танками, быстро, наперебой называли они друг другу свои фамилии.

— Что с отделением Забалуева? — спросил он.

— Мало осталось от его отделения, — твердо и трепло ответил Закоморный. — Не считая самого Забалуева, еще четыре человека. Да двое раненых. А тебя, товарищ политрук, решили мы по собственному почину оставить здесь. Это блиндаж друга моего, командира зенитной батареи, лейтенанта Самоварова. Он согласился взять тебя на излечение. А то отдам тебя и не увидишь...

«Зенитная батарея...» — Дементьев вдруг вспомнил то, что говорила сестра. Их выручили зенитчики, открыли огонь по танкам. А что после произошло?

— Расскажи, товарищ командир, как дела на нашем участке?

— Давай... — с готовностью сказал Закоморный. Раскрыв планшетку, он вынул карту. Большой, широкоплечий, он сел на диван, на котором лежал Дементьев, диван затрещал, кто-то пошутит над этим... То и дело хлопала входная дверь, и рядом все время слышался голос связиста: «Береза»... «Береза»... Говорит «Смородина»... «Смородина»... Не обращая внимания на все это и все заглушая, Закоморный рассказывал, водя карандашом по карте, и Дементьев чувствовал, как с каждым словом Закоморного здоровье возвращается. Оказывается, что за время, пока он спал, система оборонительных укреплений, созданных немцами вокруг захваченного города, была разрушена навесным огнем артиллерийского дивизиона капитана Стахеева и стрелковые полки дивизии перешли в наступление. Задача, которая дана была роте, — не позволить фашистам прорвать центр расположения дивизии, — эта задача с честью выполнена.

— Всего подбито одиннадцать танков. А из двух фашисты сами выбежали, а танки целехонькие нам достались, — рассказывал Закоморный.

— Так-так... — тихо проговорил Дементьев. Сейчас он не мог бы словами выразить, почему фашисты бросили танки. Но он помнит, что тогда, когда это происходило, он думал об этом. Мысль эта была очень важная, но трудно было сделать усилие и вспомнить ее сейчас...

— Какие у нас в роте потери? — спросил Дементьев, откинувшись на подушку.

— Восемнадцать убитых, двадцать два раненых, — ответил Закоморный.

— Надо бы парпийно-камсомольское собрание провести, — сказал Дементьев.

— Никаких собраний! — оборвал его вдруг сердитый голос. Сестра только что вошла, в ее руках была большая дымящаяся кружка. Только по голосу мог он признать эту девушку, сейчас она была совсем другая.

— Я под свою ответственность согласилась вас оставить здесь, товарищ политрук... — не только строго, но даже резко сказала она, — и никаких собраний! — Ее лицо, худенькое, с острым носиком и подбородком и припухлым ртом, победнело и стало уродливым, и все в комнате замолчали. — Выпейте, — буркнула она. Неужели это она была так ласкова? Так возилась с ним?... — Выпейте это, — сказала она сурово. Он ожидал, что ему придется испытать какого-то горького лекарства, но это было гораздо сладкое какао. Он сидит под сердитым взглядом ее синих очень темных глаз. «Вот бы она Гришей меня назвала», — подумал он, поднял на нее взгляд, но ее не было в комнате. Хотел подумать о ней, но заснул.

Он просыпался и опять засыпал... Какие-то события врывались в землянку, доносились до него в разговорах, возбужденных и тремких. Люди приносили с собой запах земли, порохового дыма и сырых шинелей и снова уходили, снова хлопала дверь — они уходили в бой. Ему казалось, что он пробуждается бесчисленное количество раз.

Вдруг, проснувшись, увидел он, что комната пуста. Только свисток кричал по телефону: «Восемнадцать самолетов! Один сбили! Нападение продолжается». «Опять нападение», — тревожно подумал Гриша и стал подниматься. Но в это время вошла сестра, за ней санитары вносили носилки.

— Ставьте вот сюда... осторожней ставьте, — говорила она. На носилках лежал молоденький боец, его брови были сведены, губы закушены. — Осторожней, осторожней, — говорила она и вдруг увидела, что Дементьев сидит на диване.

— Я уже ничего себя чувствую, — виновато ответил Дементьев на ее строгий взгляд, но тут же быстро вст. Эта испуганная быстрота, очевидно, ей понравилась. Не уменшка, только пень уменшки мелькнула по ее лицу, острейшему, с полными бледными губами, странному и чем-то привлекательному лицу. И вот она склонилась уже к бойцу на носилках.

— Ну, как, Фочка, что у тебя? — спрашивала она раненого. Заботливость и нежность ее голоса были обидно знакомы Грише... Она что-то делала с ногой паренька, по движениям ее локтей видно было, как осторожны ее касания. Боец вдруг взвизгнул и свирело обматерился, — у него был итепушливый, ломающийся голос.

— Фочка, — сказала сестра, — перелом кости есть, сейчас тебя унесут в санбат.

— Гришка, послушай, ты не думай, что я на тебя ругаюсь.

— Потеря, Фокин, — деловито говорила она, записывая что-то в блокнот. — Как твое имя, отчество? А то мы все — Фочка, Фочка...

— Послушай, Ирина...

— Нечего слушать, Фокин. Я командирский блиндаж в санбат превращать не буду. Давай твое имя, отчество.

— А вот не скажу. Чужого-то дяденьку здесь оставила, — сказал Фочка, намекая лукаво и злобно.

— Ах, ты вот как... Товарищи, унесите Фокина без имени-отчества..

Санитары, посмеиваясь, подхватили носилки.

— Иринушка, прости... Ой! — Он сделал резкое движение и опять выругался. В голову его слышны были слезы.

— Прощаю. Все прощаю. До свиданья.

Носилки унесли. Слышно было, как сестра моет руки, звеня рубцовой иголкой. Вот она пошла к выходу. Она высокого роста и очень легка в движениях. Сейчас она уйдет.

— Сестра, расскажите обстановку.

Она взглянула на него своими темными глазами.

— Они опять налетели. Этот паренек Фокин сбил самолет. В сорока метрах от его орудия гуляла фугаска. Ему перебило ногу осколком. Но он не ушел. Отказался уйти. Пока не сбил самолет, — говорила она медленно, точно раздумывая. Потом помолчала. — Настоящий твардец... — сказала она протяжно. — Да что это за разговоры! — прервала она себя. — Спать, — приказала она, уже чувствуя свою власть над ним, забавляясь ею. Он послушно закрыл глаза. Слышно было, как она хлопнула дверью.

«Твардец, — опять это слово! Им отмечают здесь лучших, им поощряют на подвиги... Донесено! Гвардия — это отборные, самые надежные войска... В гвардии служил дед Васенька в Преображенском полку». И дед Васенька, высокий, костлявый, в блекло-голубой от многих спирок, ситцевой чистой рубашке и с такими же, как рубаха, блекло-голубыми глазами возник как живой, и Припа засмеялся от радости: как в далеком детстве, голосом тихим, глуховатым, тихо издали, вел старик любимую свою песню: «Было дело под Полтавой, дело славное, друзья!..»

Прозрачен и лоск был сон Дементьева, и все, что происходило в землянке, входило в этот сон, и не всегда мог Дементьев отличать, что происходит во сне и что наяву.

При молодых командирах сидели за столом. Они пили пиво, подносили ко рту эти большие стеклянные грациозные бокалы, и рыжие ливневые опни играли в пранях... Пиво пахло на всю землянку. Дементьеву очень хотелось пива, но он смиренно лежал на диване и не просил: в детстве самые интересные сны пугливо рассеивались, когда он желал вмешаться в их причудливый ход, и сейчас он тоже боялся, что, как только подаст голос, сразу все очарование происходящего рассеется.

С одного края стола сидел лейтенант Закоморный. Он снял шлем со своей коротко остриженной головы, и продолговатое раздумавшееся лицо сейчас походило на большой розовый боб. Второго командира Припа Дементьев видел с полуоборота: вялый нос, полная щека и упрямый молодой затылок. Когда кружки опоражнивались, он, вкряхтя, исчезал под столом — оттуда слышен был звук льющейся жидкости, в землянке сильнее начинало пахнуть пивом. Под столом, наверное, стоял боченок, а этот с вялыми усами лейтенант был, конечно, хозяин землянки, командир зенитной батареи Самоваров. Третий коман-

дир был без пиннели, и на зеленой гимнастерке его была та большая красная звезда, которой отмечают храбрецов, — очень шла она к этим широко и без напряжения развернутым плечам, к этому скуластому лицу, устойчивую ласковость которого колебали то раздумье, то грусть, то гордость, то веселье. Он рассказывал — говорил по-украински. Гриша Дементьев любил этот родственно близкий, певучий язык, и с яркостью очевидения рисовалось ему все, о чем рассказывал командир.

Звездная строгая ночь, пылающий за рекой, вчера еще мирный, советский город; около старого булыжного шоссе, в глубоком, поспешно расширенном придорожном рву — одно орудие, и при нем оружейный расчет... Дивизия прибыла на фронт прямо из Москвы. При отъезде на вокзале был митинг, там сказаны были обещания. Женщины плакали и дарили цветы, поезд тронулся под звуки духового оркестра — и вот он, фронт. Зарево пожара, шепелявые ракеты и кучка бойцов, которым предстоит кровью скрепить свои обещания...

«А нужко сказать, хлопцы, что у меня, командира орудия, с расчетом моим не все тогда было ладно...

...Нет, я не могу сказать, что они меня не слушали. Слушали, и все, как полагаются по уставу, по форме и навязываю. Москвичи. Все среднего и выше среднего образования. Но не заморыши какие городские, а физкультурники, звячкисты. Между собой у них смех, волюнтерский разговор, а как я подойду, сразу замолчат. «Товарищ командир, товарищ младший лейтенант...» На лицах уважение... Но кто их знает, может, я по-деревенскому, по-хохлацкому слова выворачиваю, может, они надо мной сейчас смеялись. И я думаю: мальчишки! Каждое утро начинаем мы боевой зорей. В любой час на нас могут напасть. А вы с утра до вечера резвитесь, забалованные, залащанные советской властью! Я их тянул, беспощадно, жестоко тянул. Бому трудно, над тем еще посмеешься, а кто хорошо выдерживал, так верите, хлопцы, против того еще сильнее растревался и тянул — с каждым днем тянул все свирелей.

...А результат получился такой, что на весенних маневрах, за месяц до войны, наше орудие показало себя на «отлично». Добился я того, что каждый номер стал деталью своей части операции с отчётливостью и точностью автомата, что по стрельбе из винтовки в нашем расчете стало несколько сверхметких стрелков — снайперов. Но я не удовлетворялся этим. Вокруг все мирно цвело и сияло, а у меня в голове была война, только о ней я мог думать. Вот мое орудие вступит в бой. Ранят одного, убьют другого из моих номеров, нужна замена! И в училище я ставлю задачу, чтобы любой из моих людей мог любого заменить. Моему расчету очень приплась по душе эта самая взаимозаменяемость, какое слово трудное, чтобы его выговорить, придется глотку шивом смочить: бувайте здоровеньки, товарищи! Взаимозаменяемость... Когда еще совсем молоденьким работал на Сталинградском тракторном заводе, был у нас в тяжелой кузнице волшебный бригадир на двенадцатипятичном молоте. Звали его Ваня Кубасов. В его бригаде любой мог стоять на любой операции, оттого люди работали с особым интересом и воодушевлением.

...Так же пошло и у меня. На орудии добился и я взаимозаменяемости. Командир нашей батареи Стахеев, Юрий Иванович, всегда нас предупреждал, что главное в бою — это выручка товарища. Держись дружнее. За друга — соседа — глаза вырви. Я старался своему расчету это понимание передать. Они слушают, повторяют, но по-своему, повторяют более богатыми, красиво-книжными словами, точно меня поправляют. И тогда я злюсь, придираюсь, требую повторять так, как я сказал. Раз приказано, они повторяют. Но переглядыва-

ются. И опять приходит мысль, что они между собой или со своими бойкими городскими девушками надо мной смеются. «Есть-де у нас командир батареи товарищ Вештур. Чушка с глазами. Так вот он как по-хохлацки слова выворачивает и нас же еще поправляет...» И я придумал им ответ: как бы я слова ни выворачивал, но то, что я требую, ты будешь выполнять, иначе противник разнесет нас в дым в первом бою.

...И вот оно настало: противник, первый бой. Юрий Иванович указал нам огневую позицию и уехал к другим орудиям. Мы окапываемся, готовим боеприпасы. Ребята мои все делают бодро, весело. Не намного они моложе меня, кто на два, кто на три года, и все меня образованнее. Но дурее они меня лет на десять. Глазку я на них, досада берет, и точно они сыновья мне: «Эх, ребята, сколько из вас недостигают в эту ночь». И тут у нас произошел дружественный разговор, такой, какого у нас никогда раньше не бывало. — Товарищи! — сказал я. — Приказывало зарядить винтовки. Наверное, придется нам действовать не только снарядом, но также штыком, прикладом и пулей. Только позавчера на митинге поклялись жизнь отдать за родину. Слово это серьезное, потому что помирать, может, сегодня придется. — Тут взял слово самый младший из нас — чемпион-конькобежец Смагин Алеша, чернявый такой. Его ранили сегодня в руку. Отец его — знаменитый профессор математики. Алексей — комсомолец, как и я. Но никто у нас в батарее не был дальше от меня, чем он. Болтун, прытун, всегда веселый... Я нас скотину, а он бегал в школу. Я добрался до трактора, а он кончил среднюю школу. Он учился в университете, а я работал на тяжелых молотах, у жарких печей. «Баловень ты», — так я думаю о нем. И как раз именно это он о себе сказал. Как он сказал?..

Вештур замолчал и даже глаза прикрыл, точно вслушиваясь в эти давно отзвучавшие слова. «Сад, — так сказал тогда Алеша, — ...мы жили, как дети в саду...» Так говорил он, и часто приходилось ему повторять одни и те же слова, оттого что стрельба заглушала... И он сказал мне: «Товарищ младший лейтенант. Я знаю, вы смотрите на меня отрицательно за то, что я иногда дую, но я очень вас уважаю, товарищ младший лейтенант. И все мы гордимся вами. Я был на собрании, когда вы рассказали свою биографию: поддосок, обучившийся грамоте с шестнадцати лет, в двадцать пять уже стал командиром и таким командиром, как вы. Слова ваши о дружбе в бою, которые вы так настойчиво нам твердили, мы запомнили их навсегда». Вот, примерно, он так сказал. И после его слов я к каждому подошел и пожал руку, а с ним поцеловался, как комсомолец с комсомольцем.

...В это время, примерно, слышим — тарарахтит что-то по шоссе... Наш часовой окликнул, задержал: легкой тазик, и выходит из него сам командир дивизии. Тогда-то мы еще не так были знакомы, как сейчас. Я к нему с рапортом. Сам он маленький и на меня снизу, как на колокольную, шурится. По лицу его видно: забот у него, забот... И стараюсь докладывать ясно:

— Батарея старшего лейтенанта Стахеева, готовим стрельбу на дальнейшее расстояние, наблюдатель выслан.

— Не так все будет, — прервал меня полковник. — Немец прет с фланга большими танковыми массами, следом движется его мотопехота. Под утро будут здесь. Сумеете встретить? — И опять на меня снизу вверх, как на колокольную. Я к своим, спросил тихо: как сумеем встретить, товарищи?

...И они все в разноречивую и не по-военному, а по-штатски, по-городскому: об чем речь! Конечно! Что за вопрос... Мы, товарищ командир дивизии, все ляжем.

... — Нет, — сказал полковник, — зачем ложиться! Ложиться не нужно. — И обращается ко мне: — Товарищ лейтенант, командуй и следуй за мной.

...Я командовал. Мои работали прямо как акробаты в цирке, и вижу, полковник заулыбался, даже забота, видать, отошла... — Какие у тебя молоты, — задумчиво так и друстно сказал он. Я знал, что друсть у него о том, о чем у меня: кто из них лучше! Особенно обрадовал полковника наш водитель трактора — Валя Фскидов, впоследствии мой верный друг, которому я жизнью обязан. Двух минут не прошло — и орудие готово к движению... — С таким не пропадешь, — весело сказал полковник и тут же перешел на строгость. — Следовать за мной! — И он сел в машину.

...Едем не назад, как я думал, а вперед, к самому городу. Едем без оней. Вот черные затопившиеся долины городской окраины и совсем близко, по ту и по другую сторону шоссе. Вокруг чистое ровное место и многое множество звезд.

...А ночь страшная, в городе крики, пожары. Крупная стрельба, взрывы то близко, то далеко, — бедная, бедная наша земля. И эти проклятые пометки ракеты, то зеленые, то желтые, то красные.

...Прошло немного времени, и нас стали обстреливать с чердаков, из-за заборов. Помощника моего звали Зяма. Еврей, но по-русски говорит хорошо, только быстро так, крупно... Маленький, рыжий, курявый, что-то он сейчас, жив ли... Посоветовались и приняли решение — пушку скроем. До утра в дело входить не будем. Поставим пулемет на оплывую позицию, расставим посты снайперов и подавим опневые точки врага, не тратя снарядов...

...Так сделали. Как вспышка с чердака, сразу снайпер по вспышке посылает свою пулю. Не затихает, — подбираемся поближе и залпом. Она стали бить по нас пулеметом, а у нас тоже был наш «ДП», мы им тоже опевляли пулеметом.

...Стало потише. Ребята опять стали шутить и смеяться.

...Вдруг часовой наш снова кричит: «Стой!» Гляжу, на шоссе при начальнике, судя по кожаному обмундированию, — танкисты. Один капитан и два лейтенанта. Капитан строго спрашивает меня: — Какой части, сколько вас здесь? — И не успел я ответить, как Зяма вдруг ответил за меня: — Сколько нужно, столько и есть. Ну, думаю, сейчас покажет ему этот капитан. Но нет, ничего. Капитан промолчал. Только взглянул на Зяму: недобрый такой взгляд... Висячий нос, усы такие толстые. Вдруг один из подошедших лейтенантов хочет закуриуть. Я сразу отвел его руку с папирсой. — Демаскируете, — говорю ему. Он так вежливо руку к козырьку, но ничего не ответил. Мне это стало странно. Получается все время так, что капитан говорит, а эти лейтенанты даже голоса не дают: к кому ни обратишься, отвечает он один. Капитан рассказывает, что они из танковой бригады, что танки их разбиты и они еле спаслись. Я знал, что танковая бригада на той стороне реки. — Вам пришлось вброд пройти через реку? — спрашиваю я.

... — Да, нам крестьяне брод указали, — отвечает он. У меня в руках была папирса. Я, будто невзначай, уронил ее, нагнувшись поднимать и тронул сапоги капитана: сухие. Как же они вброд переходили? Обман! Немцы! Я толкнул под локоток Алешу Сматина, а сам завел длинный рассказ о реке Березине. Тут болото, там заводь, здесь омут. Все вру. Они ушли развесили, слушают, ждут: вдруг важное что скажу! Тут их еще двое подошло, и тогда Алеша Сматин: — Руки вверх, кончай базар! — Со всех сторон на них направлены винтовки... Один, оборотясь в сторону немецкого расположения хотел что-то крикнуть —

его по баншке прикладом... остальные руки подпоятали... Капитан нам: да что вы, да как вы... а сам глазами во все стороны. Но Алеша вынимает из его кармана немецкий пистолет и ракетницу.

...— Это трофей, — сказал капитан.

...— Наши трофей, — ответил я ему. — Тут он осердился и крикнул: — Дураки! Вы окружены! И если бы мы знали, сколько вас... — Но Зяма ему сразу кляп в горло. Он только глаза выкатил. Связали мы их, как баранов, свалили в углубок и приставили часового.

...Окружены... Зачем он сказал это? Чтобы мы напутались и посторее бежали отсюда? Или разозлился, что попал впросак со своей плохо проведенной разведкой, и не сдержал своей злобы? По нашему винтовочному и пулеметному огню они, верно, решили, что здесь стоит стрелковая часть, и послали разведку, чтобы узнать, много ли нас. Да, нас мало и кругом нас враги, но мы под своим небом и на своей земле...

...Посоветовавшись с Зямой, выслано разведку. В одну сторону — Алешу Смагина, в другую пошел Валентин, молодой художник. Сначала с той стороны, куда ушел Алеша, началась стрельба и ударили минометы. Через минуту такая же дуперьма поднялась там, куда ушел Валентин.

...Алеша прибежал, Валентина мы больше не видели. Алеша рассказал, что немцы скопились вдоль заборов, установили пулеметы и минометы. Очевидно, окружают нас с флангов. Понятно. Выслали они разведку, разведка не вернулась. Вот они ждут... Но мы ждать не будем. Скоро рассвет. Увидят они нашу пушку и нас при пей. Мы с Зямой отложили аварийный запас снарядов и сразу открыли огонь из оружия.

...Дадим несколько выстрелов и сразу отъезжаем метров на сорок... Неплохо учил я своих ребят! С первых же выстрелов мы подожгли сарай с сеном! Немцев стало видно. Они переполошились, кричат, перекликаются. Тут-то и поработали наш «ДШ» и снайперы.

...Однако и немцы скоро пришли в себя и стали отвечать нам отчаянным минометным огнем. Убило у нас двух, а ранены были все мы, и многие по несколько раз...

...Стало светать. Нет-нет да и погляжу налево, туда, где уже зарумянилась чистая зорька. Пожары полыхают во всю, они много ярче ее, но она все разгорается, оттуда встает наше солнце... Солнечный, солнце, московское солнце... Светает, вижу лица ребят, осунувшиеся и закопченные. Никто не дрейфил, никто не шобскал. Я доволен ими, доволен собой. Строго учил, крепко выучил.

...Вдруг слышу, кто-то скачет верхом. Звонко так по мостовой слышится. Соскочил с коня, прямо ко мне. Молодой сержант, конник: — Где здесь младший лейтенант артиллерист, командир орудия?

...— Я.

...Передает мне пакет, в пакете записка».

Велигур бережно вынул из бокового кармана листочек и прочел:

«Испытавшись твоего пожара, немецкие танки свернули. Твоя настойчивость и стойкость позволили нам быстро сосредоточиться. Выходи из боя. Тот, кто вручит тебе этот пакет, будет провожатым. Услов: мы в тылу у немцев, потому действовать придется осторожно, решительно и дерзко, так, как действовал ты. Представляю тебя к правительственной награде. Когда будешь жать руку Калинин, скажи ему привет от меня. Он мне тоже ее вручал. Полковник Н. Горюшков».

Велигур замолчал. Слушатели тоже молчали.

— Передал привет Каплину? — спросил лейтенант Самоваров.

— Какое там... застеснялся. ~~Абым~~, как папу-маму звать — огней крутом, шароу... Михаил Ивалович Масковский, невозможно выдержать, — говорил Велитур. Его широкоплечее ~~с~~ широкого склада лицо поразило Дементьева выражением сдержанной нежности.

— Нет, я ~~бы~~ передал, — задумчиво говорил лейтенант Самоваров, — я был непременно ~~сказал~~: кланялся полковник Геродков, Николай Ильич. — И видно было, что приятно ему произносить это имя.

— Да разве ж он всерьез, — засмеялся Закоморный, — он всегда так. Думаешь, всерьез, а он шутит. Думаешь, он шутит, а он всерьез. Николай Ильич! Когда ту ночь ты отбился на левом фланге, я был на правом... Нам передали его приказание: отходить, но в час не более чем на сто метров. И вот я держу часы в руках, и мы отходим — а немцев раз в десять больше. Мне торочили был фланг; у меня четыре пулемета и одиннадцать автоматов, и мы ползали по сопки фрицев. Десять часов отходили и юмор выдержали, отошли на километр. Не ели, не спали — в чем только душа держалась... И вдруг к вечеру сам Николай Ильич. Прямо ко мне в передовую линию: «Львы! — говорит. — Суворовцы!» Как он сказал, мы сразу точно живой воды испили. Крутом рвутся немецкие мины, а он хоть бы что. Боишься за него, чтобы не убило, и являются тупые мысли: нет, не может его убить!

— Он душа наша, — после некоторого молчания сказал Велитур. — Мы дрались неплохо. Но были ведь героические ребята и в других дивизиях? Почему же наша дивизия не только сохранила себя, но еще в этих боях собирала разрозненные части других дивизий? Потому, что он наша душа с того страшного первого боя, он себя не падал, о себе не помнил, только одно знал, одно помнил, чтобы нас скреплять единой, чтобы были мы попросту боевой частью Красной Армии и наносили удары врагу. Даже тогда, когда немцам удавалось нас обходить и вклиниваться в наши боевые порядки, все равно мы чувствовали его руку...

С той ясностью мысли, которая бывает при ночном пробуждении, слушал Дементьев этот разговор, и весь смысл сегодняшнего трудного, наполненного смертельными и кровавыми событиями дня с предельной отчетливостью выступал перед ним. Да, эти молодые командиры говорили сейчас о дивизии примерно то же, что полковой комиссар Язев говорил о роте, когда передавал ее — собирать, сколачивать, чтобы был единый боевой организм. И снова Гриша вспомнил те торюккие дни, когда он шел по своей земле, но шел как чужой, прячась в западной, неубранной ржи, укрываясь по ясам и болотам. А немцы оскорбительно господствовали в селах и на шоссе. Они утащивали там свои порядки, и надо было их опасаться так же, как зверь опасается охотника. Нет, Гриша не падал тогда духом. Они вместе с товарищем забросали гранатами штабную немецкую машину — в ней оказались ценные документы. Там добыл он свой автомат, который с тех пор ему верно служил. Да, он шел тогда вооруженный, и все-таки как нехватало ему главного оружия — оружия всех оружий, своего места в роте, в полку, дивизии, во всей боевой армейской машине. И он счастлив был сейчас и гордился тем, что находится здесь, в землянке, вместе с товарищами, которые, как и он, проверены и отобраны в боях... Николай Ильич. Полковник Геродков, Николай Ильич. Гриша знал и до этого имя командира дивизии, но доселе это было для него только имя. А сейчас разговор молодых командиров сразу сблизил его с командиром дивизии. «Наша душа...» Да, именно так.

— И, Филька, никогда не верил, что тебе конец, — говорил Велигур. — Из нашей газеты меня попросили: ты был другом лейтенанта Закоморного, напиши о нем, о его подвиге и героической смерти. И о тебе и о подвиге твоём я написал. О героической смерти писать отказался. Кто его видел убитым? Велигур тряхнул головой, взял кружку со стола и поднял ее. — Так выпьем же, ребята, за дружбу, за боевое наше товарищество. — И это получилось у него красиво, как все, что он делал. Кружки стукнулись одна о другую. Самоваров был в одном носке и одном сапоге: он укладывался спать.

Допил, отставил кружку и сказал:

— Война тратит людей. Прислали нам в августе трех таких вот голубчиков на батарею: добровольцы. Я еще взбунтовался, но не возразишь, рождения 1923 года. А сегодня из них последнего уволокли. Фокина. И я очень скучаю. А ведь сначала у меня голова от них пухла. Чего, кажется, три мальчика, а бесшумности, как будто их три десятка... Голоса крикливые. Все время пересмешки и дерзости. Но вот в первый раз испытали мы звездный налет — это все в том же бою, о котором речь... Конечно, я не убеждал, но я думал — скорей бы разорвало меня к черту. Гляжу на парней... Они были на одном оружии: Фокин, Ласточкин, Сублик. Фашист вокруг них то вверх, то вниз и пулеметом и бомбами, а они вертят пушку вокруг него и садят, садят по нему снаряд за снарядом. И фашист отлетел — нервы не выдержали. Ребята визг подняли, кричат, пилотками машут: поправилось.

«У Ласточкина законченное среднее, его взяли в школу младших лейтенантов — герой, командир будет! Сублик — до сих пор ужасно мне вспомнить — на руках моих умер, все маму звал. Орлен пришел к нему после смерти; два самолета сбил парень. Остался Фочка. Это был гвардеец...

«Гвардеец!» — и Дементьев не выдержал:

— Друзья, — спросил он, и командиры, изогнувшись, обернулись к нему. — Я слышу все время, как вы говорите это слово «гвардеец»: в образец, похвалу. Никогда я не слышал, чтобы его где говорили так, как у вас...

Закоморный встал и почему-то на цыпочках, смешно раскачиваясь, подошел к дивану, где лежал Дементьев:

— Грыпъ, — спросил он, — как головушка твоя? — И в его мужественном голосе смешно звучала какая-то особенная, бабья пезность, наверно, с ним самим в детстве разговаривали так мать или бабушка.

— Так ведь папа дивизия гвардейская. — сказал Велигур. — Или ты этого не знал?

— Гвардейская? — переспросил Дементьев недоуменно. — Вас так называют за доблесть?

— погоди, — перебил Закоморный, садясь возле него и положив на его плечо свою большую теплую руку, — разве ты приказ Сталина не знаешь?

— Какой приказ?

— О гвардейских дивизиях. Не знаешь?

— Наверно, этот приказ вышел, когда я бродил по немецким тылам, — вслух подумал Дементьев. Он вдруг вспомнил, что их, политработников, направленных именно в эту дивизию, особенно тщательно отбирали. С ними должен был о чем-то беседовать начпоарм. Наверно об этом!.. Но беседа не состоялась, их срочно направили в дивизию. В политотделе дивизии была горячка, кругом грохотала артиллерийская канонада, весь политотдел был на передовых позициях, молоденький секретарь политотдела с перевязанной головой (он был

ранен и только потому, наверно, был в тылу) быстро посмотрел его документы и тут же послал его в полк. Разговор с комиссаром полка оборвался нападением фашистов на батарею... «Язев, очевидно, не предполагал, что я не знаю, куда прислал, — думал Дементьев. — Приказ Сталина нужно достать, нужно прочесть».

— Выходит, ты дрался вчера весь день и не знал, что гвардеец, — говорил Закоморный.

— Доказал, что гвардеец, — сказал Велигур. Он твердо и ласково, точно досказывая взглядом, что не сказал словами, взглянул на Дементьева, неторопливо достал часы, посмотрел на них, покачал головой, усмехнулся и стал надевать шинель.

— Который час? — спросил Дементьев.

— Пять сорок две, — ответил Велигур, — в шесть ноль, ноль я должен быть у орудия. До свиданья, Филя, будь здоров. — Он ударил Закоморного по плечу, взглянул на него долго, пристально, точно чтобы запомнить, и ушел.

В двери мелькнул бледный дневной свет, сутки прошли, настало второе утро, второй день.

Гриша давно не чувствовал себя таким выпавшимся и отдохнувшим, как сейчас. Хотелось встать и пойти к своей роте.

Но рота сама пришла к нему. Это был старшина Басымов, чисто выбритый, весь свежий, даже морщинки его смуглого коричневого лица казались молодыми. За ночь рота получила вомер, стала второй ротой первого батальона. Прошла утренняя поверка, подвезли горячий завтрак. Выделена походная кухня и обоз — шесть подвод. «Лошадка подходящий, а один кобылка есть белоногая, клетка «Фронтха», может под седло идти...» Басымов, видно, любил лошадей, волновался и немного, как это иногда бывает у самых обрусевших татар, в речи сбивался с женского на мужской род. Он торопился, нужно было принять и проверить обрúю и тут же съездить за боеприпасами; от него веяло тем будничным, деловым оживлением, которое так любил Дементьев. В десять ноль, ноль, Дементьев назначал партийное собрание, в двенадцать ноль, ноль — партийно-комсомольское собрание, в четырнадцать ноль, ноль командир роты созывал командиров взводов — все это должно было происходить здесь, около постели политрука.

Старшина быстро ушел... — Деловой дядька, — одобрительно сказал о нем Закоморный. Дементьев ничего не ответил. Сегодня старшина ему правился, но нельзя было забыть, что он вчера растерялся при появлении танков. Не надолго растерялся, а все-таки нужно присматриваться... Говорили о вчерашнем бое. Дементьев настойчиво спрашивал о случаях трусости. Закоморный склонен был в людях видеть только хорошее и говорил об этих случаях с неохотой и мрачным отвращением, но Дементьев настаивал. — Одного гада пришлось пристрелить, — с тем же мрачным отвращением и так же неохотно сказал Закоморный. — Да что тут рассказывать. Как только сблизилсь с фашистами, он сразу бежать. Вижу: глядя на него, еще кое-кто заколебался. Тут и пришлось его хлопнуть.

— А еще случаи были? — настаивал Дементьев.

— Когда в штыковую атаку пошли, тоже была заминка. Но тут ничего. Пригрозил, пристыдил, пошли.

— Ты фамилии этих людей знаешь?

— Да они ничего ребята. Двух я потом в бою видел. Хорошо дрались.

— Все равно. Нужно знать фамилии, — настаивал Дементьев. — Мне тоже

пришлось одного приободрить: при воздушном налете винтовку бросил. Фамилии я не знаю, но самого запомнил — верзила такой. Имей в виду, командир, с этого сорта людьми придется нам вести особую работу, чтобы не подвели нас в трудный момент. — Дементьев вспомнил о Новодережкине, но не назвал его: нет, Новодережкина нельзя было причислить к трусам. Но это был растапа, который тоже может подвести в боевой обстановке.

Вот когда разговор перешел на отличившихся в бою, Закоморный сразу затворил охотно, весело. У него, оказывается, были не только записаны фамилии лучших людей роты, но он даже успел кое-что узнать о каждом. Богатыря, которого Дементьев спас вчера от прелательской пули немца, звали Гаркун, Афанасий Матвеевич. Рабочий-стахановец завода имени Латышева, добровольцем пошел в ополчение. Беспартийный. Закоморный назвал еще с десяток фамилий... Здесь были колхозники из подмосковья, рыбаки с Нижнего Поволжья, двое армян-пастухов. В числе этих людей назван был также Забалуев; сибиряк по происхождению, прислан в полк после госпиталя.

— Он уже представлен раз к правительственной награде, но я хочу и его и всех комсомольцев его отделения опять представить, — говорил взволнованно Закоморный. — Одни герои.

— Сколько их уцелело?

— Вместе с теми, кто ранен, шесть человек... Но награды достойны также убитые. Тебя, товарищ политрук, я тоже хочу представить...

Во время этого разговора в комнате была сестра. Она появилась уже раньше. Поставила Грише градусник подмышку и ушла, вернулась, посмотрела на градусник и снова ушла. Принесла горячего какао, подала его Грише и теперь стояла за спиной Закоморного и слушала... Закоморный не видел ее, Дементьев видел, и потому последние слова Закоморного особенно смущали его.

— Я политрук, — сказал он смущенно. — Интересно, где бы мне было находиться во время атаки танков, как не с истребителями... — Он быстро взглянул на нее. Что-то дрогнуло в ее глазах, и она быстро ушла.

Разговор продолжался. Закоморный сказал, что одного из истребителей-комсомольцев он назначает командиром отделения разведчиков в первом взводе. «Фетисов, Дмитрий Михайлович, 22-го года рождения, комсомолец с завода имени Латышева, доброволец», — прочел он из своей записной книжки.

Коммунисты на собрание пришли все сразу: восемь человек. Разговор с командиром так и не кончился. Но разве может иметь конец подобного рода разговор командира и политрука? Он продолжается все время, пока они вместе работают...

Новодережкин застенчиво поглядывал на политрука, записывал собравшихся. Дементьев прислушивался к скудным анкетным данным, и они оживали — лица людей, их повадка и движения досказывали то, о чем скупо намекали анкеты.

Вчера в роте было одиннадцать коммунистов, а сегодня на собрание пришло только восемь.

Ивашин встал, снял шилотку со своей круглой ершистой головы, предложил почтить память погибших товарищей и среди них троих коммунистов... Вслед за Ивашиным все сняли пилотки, только молодой лейтенант, командир первого взвода Груздев — курносенький, румяный, с орденом Красной звезды на груди — стоял, лихо вытянувшись и приложив руку к козырьку своей фуражки.

— На место убитых придут новые товарищи, — сказал Ивашин и тут же, не надевая пилотки, назвал несколько фамилий. Дементьев ждал, что он на-

зовет Афанасия Гаркуна, того богатыря, стахановца с завода имени Латышева, мастера штыкового боя. Но Иваншин не назвал этой фамилии, и это удивило и заинтересовало Дементьева. Однако Гаркуна назвал его взводный командир Груздев, и опять ничего не сказали о нем другие два коммуниста с завода имени Латышева... Девять человек записал Новодережкин, девять людей, достойных стать в ряды партии. Секретарем партколлектива Дементьев назвал Рекстыня — белесого, с темносерыми добродушными глазами большого латыша, члена партии с девятнадцатого года. Коммунисты одобрительно закивали головами. Все внушало доверие к этому человеку, в нем чувствовалась доброта и мужество, сила и скромность.

— Продумай, как расставить коммунистов по взводам, и доложи мне, — сказал Дементьев.

— Есть продумать, — ответил латыш, несколько подчеркивая военную отчетливость своего ответа и этим внося в нее малую шутливость.

Еще не кончилось партийное собрание, как стали подходить комсомольцы. Пришел, наконец, и Забалуев, чисто выбритый и веселый. Дементьев так обрадовался ему, что смутился, когда тот встал навытяжку перед его постелью и приветствовал его. Комсомольцев было человек двадцать, и Гриша многих из них узнавал. Они со смехом и шутками рассаживались на полу, и в землянке сразу стало точно светлее от этих молодых лиц.

Трудно было говорить лежа. Но Дементьев говорил, и его слушали в полном молчании. Он сказал, что рота выдержала вчера боевое крещение, не разошлась, не разбежалась, но успокаиваться на этом нельзя. Главные боевые трудности впереди.

— Позади нас Москва, перед нами захваченное фашистами старое рабочее гнездо, которое нам нужно отбить. Коммунисту нужно в совершенстве владеть боевым оружием. Но этого мало. Коммунисту нужно быть первым в бою. Но этого тоже мало. Коммунисту и комсомольцу нужно быть организаторами масс, а в армии это значит быть креплением боевой части, тем, что ее вяжет воедино и неразрывно. Хороши наши винтовки, беспощадны штыки, страшны пулеметы, испепеляющи гранаты, крепки наши руки, бесстрашны сердца... Но есть еще оружие, оружие всех оружий — это боевая наша машина, наша рота, которая скрепляется сплоченностью, единством, спайкой, дружбой. Дружба! — Он говорил и сам радовался своим словам; только сегодня, во время ночной беседы молодых командиров, понял он в полной мере то, о чем говорил. — Вспомним, товарищи, старое русское слово «дружина», — так в старину князь, военачальник, называл свое отборное войско, свою гвардию... Мы скреплены дружбой, мы — сталинская гвардия, сталинская дружина... Хотелось ему подыять голос, произнося эти слова, но с каждой секундой уменьшались его силы, накопленные за ночь, и закончил он почти шепотом, но все его слышали. Тишина была в землянке. Дементьев замолчал, а тишина еще продолжалась, хотелось еще его слушать.

Первым заговорил Рекстыня.

— Вот что, хлопцы, — сказал он, — на этом надо кончать. Ты, товарищ политрук, еще слабый, тебе нужно отдыхать. Одыхай спокойно, то, что ты сказал, мы поняли. Мы видели тебя вчера в бою, мы знаем, что слова твои подкреплены делами. Набирайся сил, дорогой товарищ... Как сквозь гул морского прибоя, все нарастающего, слышал Дементьев этот голос и не понимал, как перестал его слышать, как впал в сон, свищовый сон без сновидений.

Проснулся он от грохота и сразу подумал, что это, наверное, вблизи развалилась фугаска.

— Какой вы неловкий, право. И так ему, больному, сегодня покоя не давали, — с упрёком сказала сестра.

«Это кто-то из роты ко мне, наверное, пришел», — подумал Дементьев. Он хотел уже отодвинуть стул, спинкой которого был заботливо прикрыт от света, хотел подать голос, как вдруг сестра, совсем по-иному, изумленно ахнула и очень ласково сказала:

— Васенька, это вы?

— Я, Ириночка, — ответил голос Новодережкина. — Я вас на собрании признал. А вы меня — нет. Вот я и зашел, мы ведь тут рядом стоим.

— Как же, признаешь вас... Господи, как все на вас мешковато сидит... Ведь вы освобождены были от армии.

— Так уж я устроил, — важно сказал Новодережкин. Он усаживался, стуча сапогами и грохоча винтовкой; ее-то он, наверное, и уронил, когда вошел в землянку. — Ваш пример, Ириночка, на меня очень подействовал. Это было в один из самых страшных московских дней. Я зашел к вам и узнал, что вы на фронте...

— Вам кто сказал?

— Мама ваша. Андрей ведь эвакуировал.

— Да.

— Ну, как он? Что он пишет? Они где? Во Фрунзе? Удалось развернуть театр?

— Не знаю, я не получаю от него писем.

Наступило молчание. Дементьев слышал, как недоуменно пошаривает Новодережкин. В свои слова Ирина никакого живого выражения не вложила, точно они были не сказаны, а напечатаны.

— Андрей, наверное, пишет на городскую квартиру, — сказал, наконец, Новодережкин, — потому что, пока к нему дойдет адрес полевой почты...

— Я не дала ему адреса полевой почты, и я... — она замолчала, вздохнула. Грише была уже знакома присущая ей особенность, этот посредине речи выразительный вздох. Они молчали, слышно было только, как недоуменно побрякивает Новодережкин.

— Я его ни в чем не обвиняю, — злым голосом сказала она. — Да и что произошло? Группа театральной молодежи, а в том числе актриса Ирина Владимирова, не захотела эвакуироваться вместе со своим театром. Пошли в разбег батальоны, в агитбригады, в санчасть. Правы те, кто уехал, правы те, кто остались. И я бы, конечно, молчала, если бы вы не возникли тут неожиданно, такой милый и нелепый. Андрей, конечно, старше вас. Но ведь он куда здоровее вас. Гимнаст, фехтовальщик. А у вас и сердце плохое, и плоскоступие, и зрение...

— Ш-ш-ш, — испуганно зашипел Новодережкин, — я снял очки и, представьте, все вижу.

— То-то вы и сверзились в землянку.

— Прочка, вы так громко говорите, а тут наш политрук...

— Ваш политрук в обморочном сне, он не проснулся, когда вы тут прохотали, значит, сейчас не проснется. Читала я о Николае Островском и никак раньше не могла себе представить, что это за чудо. А здесь я все время вижу таких людей. Ведь головы поднять не может. Но вы слышали, как он гово-

рил? И латыш после него очень просто и прямо сказал, в чем красота этих слов. В том, что каждое из этих слов скреплено делом. Ах, Васенька! Я завидую вашей Леле: ее муж настоящий гражданин и мужчина. Не машите руками, это так. И радуюсь за ваших маленьких Андриюшу, Иру, что у них такой отец, и радуюсь, что у меня и Андрея Николаевича нет детей.

— В ваших словах, Протка, есть что-то неправильное и, простите меня, даже изуверское. Вот я, друг Андриюши, не только не чувствую к нему никакого отвращения, но попрежнему люблю его и даже радуюсь, что такого замечательного художника, как он, вывели...

— Именно вывели. Лучше не скажете. Хватит, Вася. Я не хочу, чтобы моего мужа вывозили. Пусть вывозят всех, но не его. В любви всегда есть тайна... Я скажу вам, о чем никому не говорила. Когда я увидела Андрея первый раз на сцене в пьесе «Декабристы», он всем — ростом, поведением, даже цветом лица — казался мне схож с Андреем Болконским, любимым героем моим. У него даже имя и отчество с ним одно... Видите, глупости какие, но ничего не поделаешь, так я полюбила и так любила... Но помните, что Кутузов сказал Андрею: я знаю, твоя дорога — это дорога чести. Я ошиблась, Васенька. Мой муж честный, добрый, благородный, но оказывается, — я это только во время войны узнала, — оказывается, я хочу, чтобы мой муж был героем... Сумасбродство? Но что мне с собой делать!..

— Вы к политруку Дементьеву? — вдруг сказала она совсем по-другому, спокойно, точно не она сейчас говорила так неустойчиво. — Он спит, и, право, его не нужно будить.

— Так я подожду.

Дементьев узнал голос Забалуева.

— Я не сплю, — сказал Дементьев, отодвигая стул. Она взглянула изумленно. Поводержки уже успел ускользнуть из землянки.

— Извините, товарищ политрук, что я пришел, — сказал Забалуев. — Но есть у меня предложение, может, через вас удобнее будет довести до командира. Митя Фетисов из моего отделения принял сейчас отделение разведчиков первого взвода. Парень он ловкий, неустранимый, да и ум у него для разведки достаточно хитрый. Но на расставании вышел у нас один разговор, и вот какое отсюда вытекает последствие. Он, эдакит, будет командиром разведывательного отделения первого взвода. Так. А я командиром истребительного отделения третьего взвода. А может, лучше нам сделать, чтобы в каждом взводе у нас было одно отделение разведывательно-истребительное? А то как ему поручил командир роты подбирать разведчиков, и сразу мне стало завидно, хочется тоже подбирать разведчиков. А он мне говорит: «Эх, Аркаша, я мечтал, что ты меня обучишь своему методу уничтожения танков».

— А у тебя есть свой метод? — спросил Дементьев, разглядывая Забалуева и любуясь им. Он чувствовал себя старше Забалуева, это было приятное чувство.

— Есть, товарищ политрук, — серьезно, с достоинством ответил Забалуев. — Ведь я двенадцать четыре танка уже подорвал. Это опыт. Вот! — и он вдруг достал из своей сумки тирю и деревянный обруч. — Этот снаряд выдумал я, когда после первого ранения лежал в госпитале. Попросил — мне его и приготовили. Когда стал выздоравливать, приступил к тренировке. Сегодня я уже показывал им: колечко подвешивается на сучок дерева, и нужно бросать в него эту гирику с разных дистанций так, чтобы она пролетала через колечко. Я попадаю с любой дистанции из десяти десятых. Это и значит, что боец, который

так натренирован, будет попадать именно в ту часть танка, в какую наметит попасть. В шутку я назвал это упражнение «игра в колечко».

— Вот если бы фрицы уразумели, в какие игры играет сейчас наша молодежь! — воскликнула Ирина. — Вот у них поджилки бы затряслись! — Глаза ее блеснули, она разругивалась; с восхищением смотрела она на черноволосого, всего точно искрящегося Забалуева. «Так вот почему имя Забалуева было первым, которое произнес он, этот политрук!» — Простите, товарищ политрук, я не выдержала, вмешалась в ваш разговор. Право, я бы сама не прочь так поиграть.

— А что, — живо сказал Забалуев, — приходите, сестрица, сегодня вечером. Я вам покажу. На фронте это может всегда стодиться. Но это — самое простое упражнение, товарищ политрук. Я имею еще ценный опыт. Я ведь так делаю: подорвав немецкий танк, обязательно, если горячка боя позволяет, в него залезаю и рассматриваю, как он устроен. Ничего, я свои шестьдесят танков возьму!

— Почему же именно шестьдесят? — спросил Дементьев.

Как будто проговорившись, Забалуев сконфузился, оглянулся, но Дементьев и Ирина выжидалательно-ласково глядели на него, и он решился.

— Дедушка есть у нас в селе, — сказал он. — За свою жизнь один-на-один шестьдесят мелведей положил... Конечно, он и других зверей стрелял — волков, рысей и росомх, но на них он счета не вел. Маленький такой старичок. Мне еще с детства глядеть на него было завидно: вот так старичок! И все я думал: ладно, вырасту — своих шестьдесят я возьму. Когда началась война, я был уже в армии. И вот как полез на нас фашист со своими танками, тут я подумал: что мелведь! Танк — это солиднее. И я себе сказал: шестьдесят танков или я к себе домой в Усть-Покровское не вернусь.

— Попятно, — ответил Дементьев, не себе, а мыслям своим. Он вдруг вспомнил, как вчера фашистские танкисты выскочили из танка, еще не подбитого. Испугались. Чего они испугались? Конечно, им стало страшно, когда против них пышущего огнем и смертью чудовища, вооруженного пушкой и пулеметам, вышел такой вот мальчик, Аркадий Забалуев... Да, этого можно испугаться. Три разведывательно-истребительных отделения, по одному в каждом взводе, — это нужно подготовить! Мы будем бить их, мы смелее их!

— С командиром я поговорю, — сказал Дементьев. — Вижу, что с истребительным делом у нас пойдет... А разведка? Ты отдаешь себе отчет, что такое разведка? Ходил ты в разведку?

— Ходил! — живо ответил Забалуев. — Я без данных никогда из разведки не возвращался.

— Молодец! — с некоторой насмешливостью сказал Дементьев. — А если бы пришлось без данных вернуться, тогда что?

Недоумение и даже некоторый испуг появились на лице Забалуева, он чувствовал в вопросе Дементьева какой-то подвох, но в чем?..

— Ты не понимаешь моего вопроса? — ласково спросил Дементьев. — Ну вот, например, ты ушел в разведку, пробыл в ней несколько часов, а может быть дней, подвергался опасности, лазил, лазил и ничего не узнал. А в штабе тебя ждут, каждого слова твоего ждут! Ты вернулся, и появляется соблазн сказать то, чего ты не видел. Не то, чтобы решил: «дай-ка я обману». Нет, но ведь пока ходил, ты думал, предполагал... И вот тебе кажется, что твои мысли и предположения есть факты. Ты сочиняешь, ты рисуешь картину, какой не было, ты сам уже веришь в нее... Но товарищи твой по твоим указа-

ниями попали в бой и попали в плен. Из-за твоего сочинения погибли десятки и сотни твоих товарищей. Бывают такие случаи? К сожалению, бывают.

...Чтобы этого не было, нужна не только боевая смелость, которая у тебя есть, нужна другая смелость, я называю ее смелостью совести. Встань перед начальником и бесстрашными словами скажи ему правду. Начальник — живой человек. Он ждал тебя сутки, а ты принес ему шип. Он рассердится, он может сказать: ты, Забалуев, ни к чорту не годный разведчик. Выгнать Забалуева из разведки! Что ж, иди на это. Но если не знаешь, говори: не знаю. Помни, что каждое твое слово может стоить сотен и даже тысяч жизней. Понял?

— Понял, товарищ политрук! — сказал Забалуев. — Вот так все понял!

— Все, что разведчик говорит, он должен говорить ясно: да — значит да, нет — значит нет. Знаю — это значит знаю. Не знаю — значит не знаю.

...Второе, что требуется от разведчика, — это преданность нашему делу до конца. До конца, дорогой, — это серьезное слово. Вот попал ты к фашистам. Ты будешь просить скорей этого конца, а его тебе не дадут. Тебя пытать будут, тебя замучают до того, что с ума сойдешь, но если ты предан до конца, ты тайны не выдашь. Вот таких людей надо подбирать в разведку.

...Ты пошел с энтузиазмом в армию, и сразу перед тобой оказался ясный выбор: жизнь или смерть. Здесь начинается то, что я называю разговор по прямым проводам со своей собственной душой. Вот ты попал к врагам, и тебе предстоит умереть одному, далеко от своих, в мучениях. И, может быть, даже тела твоего, истерзанного фашистами, не найдут, и мы никогда не узнаем, как ты бесстрашно держался и умер непобежденным. Но ты идешь и на это. Значит — прямой провод в твоей душе работает, ты годишься для разведки. В мирное время мы об этих проводах не думаем; работает обычная гражданская связь. Но вот настал бой. Гражданская связь прекратилась, и тут пришло время разговаривать по этому самому страшному, самому серьезному прямому проводу. А вдруг в душе человека этот прямой провод не работает? Ведь он, может, сам не знал, что у него в душе этого прямого провода нет и обнаружил это только перед лицом смерти. И вот ради своей презренной жизни он рубит тысячи жизней, он продает нашу великую борьбу... Приглядывайся внимательно к тем, кого берешь в разведку. В разведке должны быть сильные, прямые, преданные натуры. Ты годишься в разведку, если идешь победить или умереть. Потому в разведку можно идти только добровольно. Разведчик должен ясно отдавать себе отчет, на что он идет.

И еще. Есть у нас в роте товарищ один, коммунист и, по всему судя, хороший человек. Но он близорукий, неловкий. Он, может, от души хотел бы в разведку, но мы такого не возьмем. Сам не желая того, подведет. У него вот винтовка из рук валится, — сказал Дементьев и краем глаза взглянул на Ирину. Он видел, как вспыхнула она, рассердилась и смутилась. Забалуев ничего не ответил на все, что сказал ему Дементьев. Он только взглянул своими черными блестящими глазами. Помолчал, вытянулся, безмолвно поклонился, поднял руку к пилотке и ушел.

— Значит, он все-таки разбудил вас, когда уронил винтовку? — спросила Ирина, подходя к дивану и становясь перед Дементьевым.

— Еще бы не разбудил! Я думал, что фуфуска упала.

— Значит, вы слышали наш разговор?..

— Слышал, — сказал, краснея и не отводя своих глаз от ее темных, настойчиво вопросительных и пасмурных глаз.

— Скажите... О прямых проводах в душе, то, что вы здесь говорили, — это вы из книжки взяли? — требовательно спросила она.

— Из книжки? — удивился он. — Нет... А разве вы это читали где?

— Нет, нет. Но это мне знакомо. Точно я думала так сама... Когда я об этом думала? — спрашивала она себя, некрасиво сморщив лицо. — И то, что Забалуев говорил об этой игре в колечко...

Дементьев молча слушал. Очень ему нравилось, как она вслух думает, строго, правдиво и неожиданно: причем здесь Забалуев? Он хотел уже спросить ее, но она вдруг снова рассердилась, нахмурилась, вспомнила...

— А это нехорошо так потихоньку затаиваться и подслушивать чужие тайны, — сказала она.

«Нехорошо? Конечно, нехорошо, — подумал Дементьев. — Но мне несколько не стыдно, точно так быть должно». Он продолжал глядеть в ее пасмурные глаза до тех пор, пока в них опять точно что-то дрогнуло. Она отвернулась и ушла, с такой силой хлопнув дверью, что некоторое время слышно было, как где-то осыпается земля.

«Ведь если бы я не подслушал, я не знал бы, какая вы». Такой ответ придумал он, но ее уже не было.

Конец первой части



Рис. художника А. ПАРАМОНОВА

Н. СИМОНОВ

ПЕХОТА

Три стихотворения

АТАКА

Когда ты по свистку, по знаку,
Встав на растоптанном снегу,
Был должен броситься в атаку,
Винтовку вскинув на бегу,
Какой уютной показалась
Тебе холодная земля!
Как все на ней запомнилось:
Промёрзший стебель ковыля,
Едва заметные пригорки,
Разрывов дымные следы,
Щепоть просыпанной махорки
И льдинки пролитой воды.
Базалось, чтобы оторваться,
Рук мало — надо два крыла.
Базалось, если лечь остаться, —
Земля бы крепостью была.

Да, этим мыслям, ты им верил
Секунду с четвертью, пока
Ты сам длину им не отмерил
Длиною ротного свистка.
Когда осекся звук короткий,
Ты в тот неуловимый миг
Уже тяжёлою походкой
Бежал по снегу напрямик.
Осталась только сила ветра
И грузный шаг по целине,
И те последних тридцать метров,
Где жизнь со смертью наравне.
Но до немецкого окопа
Тебя довел и в этот раз
Твой штык, которому Европа
Давно завидует у нас.

ПЕХОТИНЕЦ

Уже темнеет. Наступление,
Время, прошло свой путь дневной,
И в нами занятом селении
Снег смешан с кровью и золой.

У журавля, где, как топтинец,
Нам всем студеная вода,
Ты сед, усталый пехотинец,
И все глядишь назад, туда,

Где в полверсте от крайней хаты
Мы, оторвавшись от земли,
Под орудийные раскаты,
Уже не прячась, в рост пошли.

И ты уверен в эту пору,
Что раз такие полверсты
Ты смог пройти, то, значит, скоро
Пройти всю землю сможешь ты.

СЛАВА

За пять минут уж снегом талым
Шинель запылилась вся.
Он на земле лежит, усталым
Движеньем руки занеся.

Он мертв. Никто его не знает.
Но мы еще на полпути,

И слава мертвых открывает
Тех, кто вперед решил идти.

В нас есть суровая свобода:
На слезы обрекая мать,
Бессмертье своего народа
Своею смертью покупать.

А. СУРКОВ ДРУЗЬЯМ

М. Слободскому, О. Верейскому

В полях ревет, по-волчьи зла,
Седой пурги труба.
Под кровлю братства нас свела
Солдатская судьба.

Морщины не сотрешь с лица,
И не солгут глаза.
Стибала волю, жгла сердца
Железная гроза.

Но на войне, как на войне.
В жестоком, злом году
Плечо к плечу, спина к спине
Встречали мы беду.

Мы все делили на троих —
Сомнения, горечь, труд,

Едва созревший в сердце стих,
Блиндажный наш уют.

Мы ночью верили в рассвет,
Встающий на крови.
Мы знали, что без гнева нет
Ни счастья, ни любви.

И в редкий час, когда вина
Добыть нам довелось,
Мы пили залпом и до дна
За ненависть и злость.

Тяжелый путь нам веком дан,
Но песню впрок готовь.
Придет пора поднять стакан
За братство и любовь.

ЗИМА

В огне заводы, села, полустанки,
Дрожит земля — идет жестокий бой...
Вам Гитлер дал орудия и танки,
И вы пришли в Россию на разбой.

Но вам не возвратиться из похода,
Насильники, сошедшие с ума!
Дотла сожжет вас ненависть народа,
Замеденит безжалостно зима.

Метаться вам в отчаянии и страхе, —
Все ближе, ближе ваш последний час!
Уже давно смерётные рубахи
Ткачиха-вьюга выткала для вас;

Уже отходную зашел вам ветер
На тысячи различных голосов,
Уже мороз выходит на рассвете
Командовать парадом мертвецов...

Нет, вам добром не кончить поединка,
Не вырваться живыми из страны,
Где весь народ, где каждая былинка
Встают на поджигателей войны;

Где гибель ждет вас у любого дома,
Грозится пулей каждое окно...
Пишите ж письма близким и знакомым,
Что вам назад пути не суждено.

Декабрь 1941 г.

ЛЕОНИД СОБОЛЕВ

ЧЕРНАЯ ТУЧА

Бой ушел вперед. Он гремел теперь далеко от окопов, и сюда доносилось лишь притглушенное ворчание разрывающихся мин и снарядов: на восемь километров отогнал врага стремительный и яростный удар морских полков.

Сейчас здесь было тихо и пусто. Над безлюдными окопами, где две недели держались моряки, легкий ветерок чуть шевелил деревья — вернее, огрызки деревьев: посеченные, расщепленные стволы, обгрызанные ветви, пробитые и надорванные листья, засохшие и преждевременно пожелтевшие. По этой уничтоженной и изуродованной зелени можно было судить, чем была эта посадка. Две недели подряд свистел в этой рощице металлический вихрь, две недели рвались здесь мины, снаряды, авиабомбы, густыми роями летели пули из автоматов и пулеметов — и когда-то высокие, пышные акации превратились в низкий, жалкий кустарник.

Общипанные кусты свидетельствовали о том, что делалось тут эти две недели, когда под ними отсиживались в неглубоких своих окопах черноморские моряки, вышедшие на берег для смертного боя. Спереди, сзади, справа и слева были румыны, и только высокая кукуруза, протянувшаяся к железнодорожному полотну, где оборонялась остальная часть полка, была единственной дорогой, по которой ночами подтаскивали ящики с патронами, пищу и воду. Посадку пужно было удерживать во что бы то ни стало: отсюда с подходом подкреплений должен был начаться удар по осаждающим Одессу румынам.

Это было окружением. По об окружении не раз беседовал со своими бойцами их командир, полковник Осипов, в прошлом матрос с «Рюрика» и «Гангута», боец первого кронштадтского матросского полка гражданской войны, командир отряда моряков на Волге, затем полковник и командир одесского военного порта.

— Окружением маленьких пугают, — говорил он глуховатым голосом, пережидая взрывы мин и снарядов, ибо беседа велась в этой самой посадке: полковник не раз пробирался туда по кукурузе, чтобы подбодрить моряков, побеседовать по душам и распорядиться насчет очередной атаки. — Поглядите, как вы тут ладно устроились: посадочка-то ваша углом идет... Полезут румыны внутрь угла — будете бить с двух сторон, полезут справа — левая посадка флажковый огонь по ним даст, а слева пойдут — правая так же с фланга будет косить. На самый угол полезут — у вас полная мощь огня. За такую посадку денежки платить можно... А что касается окружения, не все ли равно, где врага бить: сзади, с боков или спереди? Только не зевайте, выматривайте, откуда лезет. Крепче держитесь, товарищи, по-флотски держитесь!.. Скоро эту посадочку оставим, вперед пойдем, не на мертвом якоре тут стоим!..

Румыны знали, что эту посадку держат два батальона морского полка, — того полка, который, появившись на боевом участке, сразу же отбросил их от подступов к городу. И на эти два батальона моряков противник бросил почти целую дивизию — два пехотных и один артиллерийский полк. Румынам удалось просочиться между посадкой и остальными силами моряков. Ежедневными атаками враг пытался сломить сопротивление моряков, закрывших доступ к позиции, выгодной для обстрела Одессы. Две недели подряд на эту посадку одна за другой накатывались волны атакующих румын (в иную атаку, до восьми волн!) — накатывались и разбивались о твердость и выдержку советских моряков, как о скалу.

Эти волны застыли у окопов безобразными горами тел, наваленных друг на друга. Тут были и давние трупы, уже высохшие и съезжавшиеся за две недели, были и вчерашние. И одинаково у всех пули были во лбу, в сердце, в груди, — точные прицельные пули спокойного морского огня, — и одинаково у всех не было с собой тех автоматов и пулеметов, с которыми они лезли на горсточку храбрецов, обреченных на гибель: оружие их давно попало в руки моряков, и тела, лежавшие вверх, были срезаны пулями из тех автоматов, которые принесли сюда плахи.

Только полсотни шагов отделяло убитых от окопов: моряки подпускали к себе атакующих вплотную, чтобы бить их наверняка — в лоб или в сердце. Так учил своих бойцов полковник Осипов.

— Подпускай ближе, не нервничай. Они идут, орут, поливают из автоматов, на психику берут... вон вчера с музыкой и флагами пошли в восемь рядов: нам, мол, все пинючем!.. А ты его тоже на психику бери: молчи и жди... Топай, мол, топай, а я обожду, когда у тебя гайки начнут отпадать... Они лезут, а ты присаживай, посматривай, выбирай цель, — и тогда только бей, когда его проклятую рожу разглядишь, а на ней — страх... Такого и бить веселей: одного свалишь, десять назад побегут...

И сидели моряки под обгрызанными своими акациями, под срезанными пистисто ветками, часами выдерживая бешеный минометный и артиллерийский огонь, предвестник атаки. Сидели и при самой атаке под диким ливнем автоматического огня наступающих цепей, сидели, «не нервничая», поджидая команды и разглядывая лица врагов. С каждым шагом мимо наваленных штабелями трупов (а ведь накануне те так же шли на эти окопы) неврагые, презренные лица атакующих, уже перекошенные страхом подневольной атаки, и впрямь искажались ужасом перед этим грозным молчанием окопов, таящим смерть, перед выдержкой и мужеством «черных комиссаров».

«Черные комиссары», «черная туча», «черные дьяволы» — так прозвали румыны краснофлотцев — бойцов морских полков. Моряки пришли с кораблей в окопы как были — в черных брюках и бушлатах, в черных бескозырках, — такими они и запомнились румынам при первых встречах, когда оказался все качества моряков: боевое упорство, смелость, сплоченность и пренебрежение к смерти. Такими узнали их впервые румыны, когда моряки, подпустив вплотную к окопам и покосив их ряды яростным огнем, ринулись в контратаку, когда черные высокие фигуры замелькали в зелени посадки и в желтых зарослях клыурузы, когда острые штыки достигали бегущих румын могучим ударом в спину. С первой этой встречи многое изменилось во внешнем виде моряков: теперь они были в защитной пехотной форме, в шилотках, в плащ-палатках. Но часто, быстрым морским прыжком взлетая для контратаки на брусья, словно на мостик, моряки вытаскивали откуда-то из-за пазухи флотские

белые шарфы — и флотские ленточки развеваются на бегу, и черные фуражки опять мелькают в шелестящей кукурузе, и вот оно наводящее ужас видение «черной тучи» — нетерпеливой, грозной, целеустремленной силы, направленной лишь к одному: разбить и уничтожить врага.

Такими увидели моряков румыны. Нам же, кто повидал и помнит прежние бои за революцию, нам эти бескозырки в зелени посадок, эти ленточки, развевавшиеся на бегу, напоминают другое. Как будто из боевых своих братских могил встали матросы гражданской войны, те матросы, которые дрались и в степи, и в лесах, и на конях, и на бронепоездах, — везде, куда посылал их в бой революционный народ и партия. Как будто воскресло орлиное племя матросов революции: тот же дух, то же боевое упорство, натиск, смелость, игра со смертью, веселость в бою и ненависть к врагам. Пусть эти новые молодые, но это одна кровь, одна родная семья моряков, какие бы имена кораблей ни сверкали на их ленточках, с какого бы моря ни сошли они на сушу бить врага — с Черного ли, с Балтийского ли, с Тихого, или с Ледовитого океанов.

В своих полках и батальонах они сохраняют на берегу ту сплоченность и боевую дружбу, которая рождается только кораблем, — кораблем, где люди живут, учатся, спят, бьются в бою и гибнут рядом, локоть к локтю, сердце с сердцем. Корабль создает из них монолитный коллектив, единый в мыслях и чувствах.

И это свойство моряка — быть не одному, а в коллективе, тордиться именем своего батальона, как именем корабля, — сказывается и в окопе, и в атаке, и в разведке. Разные люди с разных кораблей сошлись в роте, в батальоне, но, глядяшь, через день — два этот окоп или блиндаж напоминает шутки: уже появились тасково-грубоватые шутливые прозвища, уже известно, что Васильев с «Червоной Украины» — спец по ночной разведке, а Петров с «Беспощадного» — отличный снайпер, что старшина роты, командир — человек очень горячий, что в атаке надо за ним присматривать и от него не отрываться, — того и гляди залезет один в самую гущу и погибнет дулом. Уже известно, что нет во всем полку лучшего минометчика, чем Иванов с тральщика, — не тот Иванов с авиабригады, который при высадке пристрелил мотоциклетчика и рванул дальше на его машине, и не тот Иванов с каподки, который пошел ночью в кукурузу оправиться, а вернулся с двумя румынами: натеролся на разведчиков, одного стукнул по голове, а другой сам — ланки кверху, — а тот Иванов, у которого усы и который играет на баяне... И каждый из моряков расскажет вам о своем полковнике, о его легендарной машине, пробитой осколками снарядов и прибитой пулеметами, в которой он подлетает к окопам, словно на катере. Вам расскажут и о военном полке Владимире Митракове, о том, как в самых опасных местах обучал он моряков стрельбе из тут же добытых профейных пулеметов, первый овладев этим оружием, как пробирался он к окруженным подразделениям, неся с собой волю к победе, уверенность, веселую шутку и дружеское теплое слово, и как провожали его, раненого, в тыл и как ждут его обратно — всем полком — и какую встречу ему готовят... Посидите с моряками вечером в посадке или в окопе, — и вся жизнь нового коллектива станет перед вами во всей ее суровой и веселой простоте, в шутках и подначках, в уважительных отзывах о храбрейших, в мужественной скорби по погибшим товарищам, с которыми так и не успели сдружиться.

Дух крепкого флотского товарищества, корабельная твердая дружба расцветает в степи или в лесу, — и морская часть на суше становится **к о р а б л е м**,

то есть сплоченным боевым коллективом смелых советских людей, готовых до последнего вдоха драться за родину, за счастье советских народов, за их и свою свободу.

И если в такой коллектив попадает молодой человек, не видавший ранее ни корабля, ни моря, он впитывает в себя этот великолепный дух, эти традиции, эти боевые навыки, это ~~желание~~ сделать свой корабль или батальон первым, лучшим, красивейшим и храбрейшим. Его мучает и смущает, что не может он, подобно товарищам, надеть в бой драгоценную ленточку с именем своего корабля, что в беседах между атаками не может вспомнить тех, с кем плавал, тех, кто командовал его кораблем, кто был на нем комиссаром. Но тем более хочется ему доказать этим особенным людям, понимающим друг друга с полуслова, что и он достоин войны в их тесную и смелую семью, что и его можно назвать высоким именем советского моряка.

И он идет в бой впереди других, уходит в опасную разведку, бьется один на десятки врагов, — все это для того, чтобы перед самим собой завоевать право не опускать глаза перед этими мужественными, простыми и веселыми друзьями моряками.

Так было и с молодым севастопольским пареньком Юрком Меем. Он пришел в морской полк добровольцем, не служив во флоте. Вместе с остальными он прыгнул с баркаса в холодную воду по грудь, высоко подняв винтовку и пранаты, и так же, как для остальных, для него не был опутим холод осеннего моря (моряки потом говорили: «Холодная вода, понятно, но очень тогда азартно было, не замечали»). Вместе с остальными он ворвался в темноте в прибрежную деревню, напоролся на тяжелые орудия, — те, которые стреляли по порту и городу, перестреляли и переколот с товарищами немецких артиллеристов, вытаскивал из орудий и прятал замки, потому что было ясно, что кучке моряков, заскочившей в деревню, этой позиции никак нельзя было удержаться. Так провел он ночь, день и еще ночь в яростном бою — в первом своем бою.

Удар десантного отряда во фланг румынам в сочетании с лобовой атакой батальонов морского полка (покинутыми, наконец, для этого свою знаменитую посадку) отбросил румын на несколько километров. Моряки заняли новые позиции, расположившись в таежных румынских окопах и повернув их фронт к врагу. Напор моряков освободил Одессу от обстрела тяжелой немецкой батареи, орудия были отправлены в город, и каждую пушку провезли по улицам с выразительной надписью, выведенной белой краской на черном длинном стволе: «Она стреляла по Одессе, больше не будет».

Румыны решили вернуть потерянные ими выгодные позиции. Удар за ударом, атака за атакой, тысячи мин и снарядов посылались на наш полк. Враг попытался подавить его количеством: 29 сентября до полуторы тысяч румын двинулись на окопы, где был только третий батальон морского полка. Автоматчики заранее, в темноте, подкрались по кукурузе на семьдесят метров к окопам и держали моряков в земле, не давая поднять головы. Потом пошли волны атаки — одна за другой. Моряки толпами атакующих вплотную, как обычно, и скосили первые их ряды. Краснофлотцы Дмитренко, Вчерашний и Лисев выскочили из окопов, закололи автоматчиков в кукурузе и их же оружием начали бить во фланг следующей цепи румын.

Выскочил из окопа и Мей, залег с винтовкой в кукурузе. На него, прячась за копнами, пошло до шестидесяти врагов со станковым пулеметом. Мей поднялся во весь рост, швырнул две пранаты, рванулся к пулемету, повернул его и погнал его огнем все шесть десятков румын. Увлеченный, он перетаскивал

приобретенный пулемет все дальше и дальше, кося им отходящих румын... И хорошо, что командир роты Пулькевич заметил это и выслал к Мелю еще семерых моряков, иначе тот был бы отрезан от своих. С этой поддержкой пулемет, затопленный Меем далеко вперед, очень помог бою, ведя губительный фланговый огонь. Так доброволец Юрий Мей вошел в боевую семью морского полка как равный, и никто уже не спрашивал его с дружеской насмешкой, с какого он корабля и какой специальности.

В этом же бою произошло то, что командир батальона, смеясь, называл «стихийной атакой».

Девятая рота отражала одну атаку за другой. Бешеный автоматический огонь сменялся минометным, потом снова надвигались цепи румын. Понять людей в контратаку под этим огнем, прижимающим к земле, командиру батальона казалось безумием, и он медлил с приказанием. Но в девятой роте, далеко от командного пункта, командир отделения Вялов, пригнбая голову под роем свистящих пуль, повернувшись к командиру роты Степанову, лейтенанту с торпедного катера:

— А что, товарищ лейтенант, не пойти ли самим в атаку?... Прямо терпения никакого нет, до чего хлещет... Может, ударить — драпанут.

И из окопа на бруствер, под огонь, которого, казалось бы, не могли выдержать человеческие нервы, выскочило во весь рост сразу трое: Вялов, Степанов и услышавший этот разговор пулеметчик с канюдки Соболев. За ними, как один человек, встала вся девятая рота... Увидев это, тотчас поднималась и соседняя, седьмая. За ней — первая. Боевой порыв шквалом поднял моряков из окопов, и в соседнем батальоне «черная туча» ринулась на атакующих румын и через труды вражеских тел, наваленных перед окопами, покатилась неудержимой страшной лавиной. Румыны дрогнули и побежали назад...

— Ну и дали они ходу — узлов на тридцать, — рассказывают Степанов. — Сперва они в свои окопы попытались, а мы обогнали, налетели сбоку и порядком их там переколотили, что не посмел выскочить. А тех — гнали, гнали, пока краснофлотцы не притомились. Главное дело — пить очень хотелось, а воды — ни у нас, ни у них... Так и отогнали за восемь километров, тут и сидим теперь.

Этот бой дал огромное количество трофеев: две тяжелых батареи, которые держали порт под обстрелом, автоматы, пулеметы, винтовки, минометы, танки, зенитки... В новых окопах возле каждого моряка первого и третьего полков лежал теперь заработанный в бою автомат или пулемет, выставив из зелени посадки свой длинный черный ствол и ожидая бывших хозяев.

Так показал себя в первом же восьмисуточном бою третий морской полк, только что сформированный из моряков, впервые сошедших с кораблей в десант. В непривычной обстановке, не умея еще применяться к местности, оккупываться, вести разведку, держать связь, моряки показали образцы боевого напора, смелости, инициативы. Вперед, только вперед — вот с чем ринулись с кораблей на берег третий морской полк.

И моряки шли вперед «черной тучей», сметавшей сопротивление, сеющей ужас и панику, шли, сшибая мотоциклетчиков и мчась дальше на их же машинах, сшибая кавалеристов и промоздая на трофейных конях.

Дело порой доходило до курьезов. Разведчик товарищ Казмир, оторвавшись от своих, встретил румынского кавалериста, рассчитался с ним и пошел в разведку на его коне. В свете раннего утра он заметил на опушке рощицы кучку румын. Какими-то непонятными жестами румыны стали манить к себе одного моряка.

— Я, признаться, подумал, может, они, увидев матроса, желают без лишнего шума сдаться... Но мне же сдаваться предлагают.

Он поскакал к ним. В эти метрах румыны встретили его огнем. Он клубарем слетел с коня, залет в ямку и повел бой — один против двух десятков. Человек шесть-семь положил, шонал, что пора выбираться... Оглянувшись, — а лошадь давно ушла назад.

— Надо было ее на якорь возле поставить, да не догадался... Пришлось по ямкам, по воронкам подаваться назад... Ничего, оторвался от боя, еще двоих положил...

Дважды, трижды раненные, моряки не бросали оружия. Так, до конца первого боя оставался в строю командир батальона старший лейтенант Матвеевко, так, силой пришлось оторвать от пулемета старшину группы Родионова... К упавшим подбегали санитары и поближе под огнем вытаскивали раненых. Оставшиеся на ногах шли вперед, в туму, в неизвестные и непонятные рощицы, в сожженные и разграбленные деревни, шли окруженные врагами, в самую гущу которых ворвалась с моря эта «черная туча».

Так две ночи и день шел через расположение врага морской полк, пока не вышел на соединение с армейскими павшим частями и с первым морским полком. Советские пехотинцы встрестили показавшиеся из кукурузы черные фигуры моряков, запыхавших и обожженных боем, радостными криками: «Ура! моряки!»

Так крепнут и закаляются в жестоких боях с немецкими бандитами, с пиллеровскими разбойниками советские военные моряки, краснофлотцы, сыны и внуки матросов революции, доказывая всю правоту сталинского утверждения: «В огне Отечественной войны куются и уже выковались новые советские бойцы и командиры, летчики, артиллеристы, минометчики, танкисты, пехотинцы, моряки, которые завтра превратятся в грозу для немецкой армии». Морские полки, державшие историческую оборону Одессы, где на каждого советского воина приходилось по меньшей мере шесть врагов, показывают сейчас на других участках фронта, что моряки на суше действительно стали грозой для врага.

А. МАЛЫШКО

ЦИКЛ СТИХОВ

МОЯ УКРАИНА

Запылала огни в небесах, над безмолвной долиной.
Самолеты гудят над степями, там много фронтов.
Ничего мне на свете не надо, моя Украина,
Только нежность твою сохранить, только слушать твой зов.

Как мы в детство росли? Колыбель в темной хате скрипела;
То лампадка трещит иль горит восковая свеча.
Ты нам путь осветила зарницею огненно-белой,
И сиянию луча нам казалось сверканьем меча.

«Баю-бай, мой сыночек!» — так мать малышам напевала.
«Время — бавицько, бай!» Колыхались от ветра сады.
Мы же ночью на пыльную тропку выходим, бывало,
И сестра наша, доля, веда от звезды до звезды.

Паровоз прогудел: не вернулись ли с фронта солдаты?
Звон косы ли во ржи? На отаву ль зовет суховей?
Возвращались отцы на минуту в родимые хаты,
Как ручки зарядить, обучали своих сыновей.

Журавли пролетели. Быть может, есть письма от брата
Из карпатских долин, с тминых меж, стертых в прах сапогом?
Раскололась страна, и пришла роковая расплата.
Занимались тихонько пожары кругом за лужком.

Это шла Революция, в жесткой и серой шинели,
Из-под пуль, из траншей выходя на ромашковый путь.
Бунтовали солдаты: «Наелись довольно шпашнели!
Пусть едят ее немцы, а нам уж пора отдохнуть!..»

Минували года. Расцветала Шевченкова круча.
Домны плавят металл, и плывут по Днепру корабли.
Украина моя! Налетает свинцовая туча,
И стервятники злые из чуждой враждебной земли.

На их крыльях не звезды веселые, сердцу родные.
На подкрыльях — бомбы, черпеют научьи кресты.
И видал я, как гневом пылают глаза голубые,
Как под маршем полков задрожали стальные мосты.

И стервятники падали. Пламень окутал их белый.
Трупы танков железных устлали тропу близ реки.
И светящихся пуль разлетались цветистые стрелы.
Смерть за смерть! Заклевали стервятников злых ястребы.

Я спросил у Днепра:
«Седовласый! Ты видывал виды...
Ты отведал ли града стального по темным ночам?»
Днепр седой заревел:
«И старинные живы обиды,
Поруганий же новых я ввек не прощу палачам!...»

Закурчавился, мощный и вольный, год вспомнил Батыев,
Восемнадцатый год и немецкую погань в бою.
Здравствуй, Киев любимый! Ответил с улыбкою Киев:
«Застыгнул я шишел, шлем надел и, как воин, стою».

Украина моя! Даль, омытая бурей. Безбрезжность.
Ты, страна, моя девушка! Солнце на капле с весла.
Я до капли отдам свою кровь, свою силу и нежность,
Чтоб из пепла ты встала и тополем в небо вросла.

Те же пылают огни в небесах над безмолвной долиной.
Самолеты гудят над степями, там много фронтов.
Ничего мне на свете не надо, моя Украина!
Только нежность твою сохранить, только слушать твой зов!

ТРУБАЧ

Багряно-вишневый вечер вещает ясный рассвет.
Ты, верно, меня забыла, — не видела столько лет.

Немало мы воевали, стоптали рыжих сапог.
Как только вспомню о мертвых — сердце полно тревог.

Но чуть о живых я вспомню — дай пересилить плач:
Друзья ведь идут полками, и я среди них — трубач!

Трублю, что страну родную мы защитим от бед,
Что ал-вишневый вечер вещает ясный рассвет.

И не подумай, что забыл тебя я
(Смех, ежевика в поле и гудок...)
И небо вновь плывет, тихонько тая
Над пылью седоватую дорог.

Вновь прозные выходят эскадроны.
Звонят уздочки. Ковыли вдоль нив.
За нами вечер стынет утомленный,
Свой мед из золотых ковшей пролив.

Бери ж подруг и выйди в час прощанья.
Чтобы расцвел смех юный, как заря,
Чтоб ощутил апрельское дыхание
Я в грозовые ночи сентября.

ПРОЩАНЬЕ

Не горюй одна.
Не тоскуй одна,
Милая моя девка,
Ты нежна, красна.

Напой коня!
Очи краше дня.
Сизокрылая голубка,
Вспоминай меня!

Вышла, стала ты чуть свет—
Годы — самый цвет —
За околицу до броду
Передать привет.

И махнул рукав:
— Ну, прощай пока!
За лугами ходит слава
Про большевика.

Полям след ведет,
За лугами — в брод.
Звездочка на серой кепке
Повела в поход.

..Напой ж коня!
Очи краше дня,
Сизокрылая голубка,
Вспоминай меня!

Перевел с украинского М. ТАЛОВ

Генерал-майор А. САМОХИН

КРАСНАЯ АРМИЯ В ОЦЕНКЕ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

Германская стратегия «молниеносной войны» покоится на принципе изоляции противников друг от друга и разрыва их порознь.

Методы тотальной войны с изолированным государством предполагают в свою очередь полную парализацию политической и хозяйственной жизни подвергающейся нападению страны, призванную обеспечить глубокое вторжение армии на территорию противника и ее свободное маневрирование на стратегических просторах.

Эта задача одновременного воздействия на всю стратегическую глубину противника достигается внезапностью вооруженного нападения, сокрушающим ударом крупных механизированных и воздушных армий и вооруженным выступлением пятой колонны внутри подвергнувшейся нападению страны.

Внезапностью вооруженного нападения достигается разгром первой линии армий противника, прикрывающих пограничный район; удар мотомеханизированных и воздушных армий срывает развертывание и сосредоточение армий противника второй линии, то есть разгром главных сил; вооруженное выступление пятой колонны призвано дезорганизовать политико-экономическую жизнь государства, сорвать мобилизацию резервов, внести общее замешательство, подавить волю всего народа к сопротивлению.

Все это в конечном счете преследует одну цель — в кратчайшие сроки создать невыносимые условия для сопротивления и принудить противника к капитуляции.

Эта стратегия, имевшая своим результатом головокружительные успехи в войнах против буржуазной Польши, Франции, Бельгии, Голландии и других стран, создала миф о «непобедимости» немецкой армии.

Охваченные психозом «неотвратимости судьбы», падали одна за другой страны. Многие из них спешили сыграть роль кролика и сами лезли в пасть фашистскому удаву, а немецкая армия все шла по автострадам Европы, не слезая с машин, с открытыми люками танков.

В войне против социалистического государства, против СССР, не оказалось в наличии многих элементов, составляющих сущность германской стратегии. Вероломное вооруженное нападение Германии на СССР не отдалило нас от демократических стран, а сблизило с ними — на базе союза с Англией и дружеских отношений с Соединенными Штатами Америки. Таким образом Германия оказалась перед объединенными силами антифашистских стран.

Обнаружилось отсутствие почвы в советской действительности и для вооруженного выступления пятой колонны. Советский народ с готовностью де-

вой трагедия свое морально-политическое значение и сплоченность вокруг партии Ленина — Сталина и советского правительства.

Внезапное нападение было встречено упорным сопротивлением войск Красной Армии, которые активной обороной изматывали врага и сохраняли свои силы путем искусного маневрирования.

Это последнее не позволило в свою очередь немецким мотомеханизированным и воздушным армиям прорваться в стратегические просторы, не позволило им сорвать сосредоточение и развертывание армий второй линии.

Таким образом, нарушение общей концепции германской стратегии разрушило и взаимодействие ее элементов. План молниеносного разгрома СССР потерпел полный крах.

В войнах против Польши, Франции и других стран тактические формы растворились в оперативном результате, так как при непрерывно быстром темпе развертывания операций задачи отдельных боев решались мимоходом, как эпизод. Иначе обстоит дело в войне против СССР. Единоборство на поле боя стало здесь необходимостью как условие успешного развития операций. Тактика пришлось взять на себя основную тяжесть борьбы.

Немецкой армии пришлось слезть с награбленных в Европе машин. Стремительное продвижение ее танковых и моторизованных частей, имевшее место в Западной Европе, натолкнулось на активнейшее сопротивление Красной Армии. Начались кровопролитные бои, стоившие «непобедимой» немецкой армии невиданных потерь — более шести миллионов человек убитыми и ранеными за семь месяцев войны.

Массовый ввод немцами мотомеханизированных и воздушных сил в целом не компенсировал отсутствия других элементов германской стратегии, а при равных ответных мерах советского командования лишь придал

войне чрезвычайно маневренный характер, вызвал колоссальную подвижность линий фронта, сложность и многообразие тактических форм борьбы.

Крупные мотомеханизированные соединения обеих сторон при поддержке массовой авиации ведут кровопролитную битву одновременно на большой глубине, в необозримом масштабе. Эта битва распадается на крупные сражения по отдельным направлениям, а последние разбиваются на множество очагов борьбы, на отдельные бои.

Противники, наступая в различных направлениях, стремятся сблизиться, охватить, обойти, окружить и разгромить друг друга.

В этих условиях Красная Армия во главе со своим руководством, имея перед собой чудовищную военную машину германского фашизма, повергшую в прах первоклассную французскую армию и армии всех европейских держав, получила возможность проявить все качества, присущие армии нового типа, советской армии.

Красная Армия, вооруженная первоклассной военной техникой, передовой тактикой и стратегией, под руководством своего гениальнейшего полководца и стратега — товарища Сталина, вначале обескровила, измотала и остановила наступление врага, затем вырвала инициативу из его рук и перешла сама в наступление, нанеся врагу поражение за поражением. Зреет сокрушающий удар, предотвратить который врагу никогда не удастся.

Действия Красной Армии в борьбе с германским фашизмом подняли национальную гордость народов Советского Союза. Советский народ восхищается героизмом своих сынов — патриотов социалистической родины и превосходством советской военной науки над тактикой фашистско-германских гангстеров.

Упорство Красной Армии, ее умение вести борьбу вызывают восхи-

щение и надежды в закабаленных, поработанных немецким фашизмом народах Европы. Борьба Красной Армии служит образцом и примером для наших союзников.

Швейцарская газета «Национальпейтунг» от 11 августа 1941 года в статье «Неожиданности русской войны» пишет:

«Упорство и умение, с которыми русские войска противостоят германскому натиску, вызвали изумление во всем мире. Пока русская армия, состоящая из различных народностей, сражается, как один человек. Она ведет войну не примитивным, дедовским способом, что вряд ли спасло бы Советский Союз от разгрома, несмотря на неисчерпаемые людские резервы, а новым методом и под мудрым руководством, при котором порох не расходуется скупно и экономно и которое подготовило, повидимому, еще новые неожиданности для противника. Неожиданности начинаются с простого солдата. На этот раз солдат, сохраняя свою репутацию несравненного бойца в обороне, проявил наступательный дух, ловкость и такую хитрость, какую не ожидали от русских. Второй, не менее сильной, неожиданностью в русской войне было то, что красный офицерский корпус вполне соответствует большим требованиям этой войны. Молодые сталинские офицеры, получившие подготовку ускоренным темпом, казалось, не обладали достаточными знаниями для борьбы с германским генштабом и германскими офицерами.

Швейцарский журнал «Журналь де Женев» от 17 и 18 августа 1941 года в статье «Сражение на Украине» пишет:

«Упорное сопротивление русских явилось неожиданным элементом. Молодые большевистские поколения с самого рождения были воспитаны в духе борьбы и в презрении к смерти. Это — спартанцы XX столетия. До сих пор немцы имели дело с «афин-

скими» народами, по их интеллектуальной и моральной структуре; но оказалось совершенно иное положение, когда они очутились перед лицом последователей Сталина. Их изумление и даже их возмущение нашли свое выражение в берлинских комментариях по поводу первого периода кампании. «Бельгийцы и французы, — писали они, — по существу правильно поступали: когда они видят, что полностью окружены, они понимают, что их судьба решена, и капитулируют; русские, наоборот, продолжают сражаться до последнего солдата».

Шведская газета «Гетеборге постен» от 2 января 1942 года в передовой статье «Германские неудачи на востоке» даст следующую оценку экипировки Красной Армии:

«В свое время интендантство русской царской армии пользовалось печальной славой. Его лозунгом было беззаботное «ничего». Солдаты добывали винтовки из рук убитых товарищей, снимали с них сапоги, а генерал Решенкампф безуспешно грозил в начале войны армейским поставщикам, что их повесят за воровство. Тем более разительна теперь организация прекрасной зимней экипировки русских солдат, что показывает крайнюю предусмотрительность интендантского управления. Это особенно заметно на фоне недавнего воззвания Гейбельса о сборе теплых вещей, где каждое слово кричит о том, что армейское командование поставлено перед большими и непредвиденными затруднениями».

Военный обозреватель газеты «Нью-Йорк геральд трибюн», майор Леснер, указывает, что наступление русских свидетельствует о превосходстве Красной Армии в полевой и тяжелой артиллерии. Леснер пишет: «Превосходство русской артиллерии все больше и больше дает себя чувствовать, в то время как немцы, не будучи в состоянии поразить русскую артиллерию своими минометами, должны перво-

дней, минометные батареи в резерв или рисковать уничтожением большого количества их».

Во всех английских и американских газетах, журналах, радиопередачах дается высокая оценка действий Красной Армии, отмечаются отличная экипировка, высокая оснащенность армии военной техникой, умелая тактика борьбы, высокие боевые качества советского воина, умелое руководство, благодаря которым Красной Армии удалось не только сдержать немецкое продвижение на восток и нанести крупнейшие поражения фашистам под Ростовом, Тихвином, Москвой, Калинин, Изюмом и в Крыму, но и закрепить за собой отнятую у врага инициативу благодаря отличному сочетанию высокого мужества бойца с умелой тактикой.

Американская газета «Нью-Йорк таймс» в номере от 6 января 1942 года пишет об успехах Красной Армии:

«Совершенно очевидно, что германское отступление является не «стратегическим отходом», а болезненной и дорого обходившейся операцией. Русские вырвали инициативу у Гитлера и используют эту инициативу с мастерством».

Американский журнал «Тайм» от 13 февраля 1942 года характеризует боевые действия артиллерии Красной Армии следующим образом:

«Командир артиллерии Красной Армии настолько искусен, что часто попадает в цель без постепенной артиллерии. Некоторые советские артиллеристы до такой степени математически точны, что могут рассчитать траекторию, не пользуясь прицельными приспособлениями. Осенью русские показали свое искусство в артиллерии, огромную бдительность и способность отразить германскую молниеносную войну. Затем они показали свое мастерство ведения войны зимой. Сейчас русские используют теперешние преимущества для того, чтобы не по-

зволить немцам захватить инициативу в свои руки весной».

Английская газета «Таймс», комментируя в передовой от 2 января 1942 года успехи Красной Армии в Крыму, пишет:

«Все последние события показывают силу и дисциплину русской армии и русского народа. После многих поражений, после пятимесячного отступления под давлением врага русские успешно и методично наступают на всех участках обширного фронта, а армия, которая два месяца тому назад казалась непобедимой, отступает. История войны не знает более ярких примеров силы духа и столь быстрого восстановления после первоначальных поражений и потерь. Страна достойна своих воинов. В русском тылу не было никакой паники. В германском тылу советские граждане продолжают сопротивление».

Турецкий журнал «Журнал д'Орне» в статье от 17 августа 1941 года дает обзор военных действий на советско-германском фронте, в котором указывает, что «тактика русских напоминает тактику боксера, который ловко маневрирует, всегда ускользает от сокрушительных ударов своего противника и заставляет последнего терять свою наступательную силу».

Даже враг, в бешеной злобе изрыгая блевотину, вынужден, вместе с тем, после предметных уроков, преподаваемых ему Красной Армией, признать ее сильные стороны.

Все трофейные документы, захваченные нашими войсками у немцев, характеризуют высокий уровень техники, боевую стойкость Красной Армии и умелое руководство. Большинство из захваченных документов является секретными приказами или отчетами высшего германского командования о боевых действиях, и потому им нельзя не верить.

В памятке об особенностях русского военного командования генштаб 4-й немецкой армии в начале войны сле-

дующим образом характеризовал Красную Армию: «Пункт 3. Рода войск: а) пехота противника подготовлена к длительным переходам (от 60 до 70 километров с тяжелой амуницией). К ночным наступлениям с ограниченной целью части подготовлены в составе батальона и изредка до полка и дивизии. В составе пехоты имеются многочисленные снайперы. В любой момент, когда затихает бой и после каждого захвата новой территории, русская пехота оказывается в очень короткое время, чем и затрудняет контрудары; б) кавалерия крупными соединениями используется в больших операциях вместе с мотомехчастями; в) артиллерия пытается возместить недостающую гибкость огневой тактики благодаря введению массовой и продолжительного огня; г) танки употребляются для поддержки наступающей пехоты и тесно взаимодействуют с ней. Танки используются также в крупных подразделениях для оперативных целей; д) авиация часто вмешивается в сухопутные бои, даже во время незначительных боевых операций. В техническом отношении она показывает хорошие результаты».

Памятка заканчивается следующими выводами: «Сила русского военного командования—это масса войск и военных средств всех видов, это бесприязнательность, стойкость и храбрость человеческого материала, а также огромное пространства страны».

В сентябрьском докладе командования 4-й танковой группы немцев имеется следующая оценка русского руководства, тактики и боеспособности войск:

«Пехота. Под хорошим руководством и под влиянием хороших комиссаров пехотинцы наступают, презирая смерть, и защищаются до последнего патрона. Мастерство по использованию местности и хорошая маскировка, большая подвижность на непроходимой, с немецкой точки зрения, местности, а также почти всегда хорошие результа-

ты стрельбы характеризуют красную пехоту. Артиллерия. Русская артиллерия подвижна в смысле огневых позиций. В оборонительном бою применяется массированный огонь. Часто наблюдаемый в начале войны «клекер огонь» постепенно уменьшался. Красная артиллерия применяла огневые палеты обычно без пристрелки. Поразительна была всегда стрельба на высоких точках разрыва, которую можно оценивать как выстрелы для ориентировки. Орудий всех калибров, особенно средних, было с избытком. Материальная часть—современная и хорошая. Танки. В оборонительных боях зарытые в землю танки использовались неоднократно как ДОУты. Экипажи танков составляют отборные люди, с отличным боевым духом. Тяжелые танки своей броней превосходят немецкие и должны быть охарактеризованы как хорошее современное оружие.

Борьба в особой обстановке. В этой хитрой борьбе русские являются особыми мастерами. В качестве примеров могут быть названы: засады, отбрасывание оружия, чтобы взять его снова при сближении и открыть огонь на ближайшую дистанцию, применение «кукушек», которые, пропустив большое соединение противника, открывают затем огонь по выгодным отдельным целям».

В октябрьском обзоре операций 4-й танковой группы командование довольно подробно останавливается на отдельных атаках упорной борьбы на ленинградском направлении.

По поводу боев за овладение т. Лутой оно замечает:

«Противник, используя благоприятную местность, мог каждый раз даже слабыми силами загораживать единственный возможный путь продвижения. Наш же корпус не мог развернуться, ввести в действие соответствующие роды оружия и даже провести охват.

Эти бои на выигрыш времени соответствовали восточному упорству рус-

онид. К этому добавлялась активная деятельность авиации противника, с которой трудно было бороться».

Далее, обосновывая невозможность развития успеха от Луи на Ленинград, командование 4-й танковой группы пишет:

«Таким образом противник, проявляя активность на правом фланге группы, создал серьезную угрозу. Для частей у передовых укреплений наступило время упорной борьбы, связанной с большими потерями. Противник начал непрерывно атаковать их. Почти четыре недели солдаты танковых дивизий, призывавшие к стремительным атакам и прорывам, вели здесь, глубоко зарывшись в землю, позиционную войну».

И, наконец, вот как характеризуются бои последующего периода:

«Противник защищался в лабиринте своих оборонительных сооружений упорно и с озлоблением. Каждый ДОТ, каждую позицию приходилось подавлять в упорном рукопашном бою. Наконец после семидневных тяжелых боев 14 августа удалось пробиться к дороге Красногвардейск — Нарва. Командование намеревалось использовать этот успех, однако бог войны не был благожелателен настроен и к танковой группе. Контрудары советских войск почти непрерывно следовали за нашими атаками. В эти решающие часы, которые, казалось, приносили завершение с таким трудом вырванной победы, известие о том, что противник большими силами вторгся в разрыв между нами и 16-й армией на участке Холм — Старая Русса, произвело впечатление разорвавшейся бомбы».

Небезызвестный генерал Гудериан, бывший командующий 2-й танковой немецкой армией, кренко битый под Ельней в августе и разгромленный до конца в декабре 1941 года под Тулой, докладывает в ноябре 1941 года германскому генеральному штабу об опыте боевых действий. В этом докладе Гудериан пишет о советской армии:

«Высшее командование показывает себя весьма энергичным, в отношении личных качеств всегда храброе. Среднее командование большей частью хорошо обучено, в отношении личных качеств храброе. Низшее командование всецело отдается борьбе. В общем высшее и среднее командование все время пытается вырвать инициативу и взять ее в свои руки.

Русская тактика. Оборона осуществляется с упорством, глубоко эшелонирована. Русские являются мастерами в использовании местности при исключительно умелой маскировке. В наступлении часто применяются ночные атаки. При глубоких расчлененных маршах войска показывают хорошую маневренность на бездорожной местности.

Боеспособность русской армии. Пехота. Всегда упорная в обороне, искусная в ночных и лесных боях, обученная коварным приемам борьбы, очень умелая в отношении использования местности, маскировки и постройки полевых укреплений; неприхотлива и закалена; имеет в своем составе много снайперов. Артиллерия. Материально хорошо снабжена. Маневренна при смене позиций. Стреляет метко. Саперы показывают хорошие результаты при использовании вспомогательных средств. Они являются мастерами в использовании саперно-технических оборонительных средств. Танковые войска. Снабжены хорошей материальной частью и имеют хороший личный состав. Располагают многочисленными танками с отличной броней и вооружением. Авиация. Примечательным является все время проявляющийся наступательный порыв авиации. Бронированные штурмовики неприятно воспринимаются нашими войсками».

Этот же Гудериан в другом документе, делая обзор ноябрьской операции 2-й танковой армии под Тулой, в заключительной части пишет:

«2-я танковая армия наступала до 4.XII—1941 года в условиях исключительно тяжелых, против непрерывно усиливающегося противника, наступающего из Тулы и с севера, и достигла почти города. Когда в ночь с 5 на 6.XII выступала 31 п. д., ударил неслыханный мороз — 35°. Люди и оружие вследствие этого попали в исключительно тяжелые условия. Вместе с этим одновременно выступил новый, неожиданный по силе враг. Все это привело к таким тяжелым потерям людей и материалов, что мы не могли дальше закрепить возможный успех. Армия вынуждена была прервать операции и отвести войска на исходное положение».

Немецкое командование обходным движением крупной бронетанковой армии генерала Клейста ценой колоссальных потерь захватило Ростов-на-Дону. В составе этой армии были самые лучшие дивизии немецкой армии: дивизии СС, танковые и моторизованные дивизии. Искусство высшего руководства Красной Армии обеспечило окружение и разгром армии Клейста, остатки которой бежали за р. Миус. Уличные бои в Ростове и других населенных пунктах на пути бегства врага показали, чьи тактические принципы выше и каково качество советского бойца.

Штылась образоваться второе кольцо вокруг Ленинграда, армия Шмидта прорвалась и захватила Тихвин, стремясь развить успех и соединиться с войсками, действующими на р. Свирь. Части Красной Армии окружили и уничтожили врага, отбросив его остатки более чем на 100 километров к юго-западу. Операция протекала в чрезвычайно тяжелых условиях, на лесистой и бездорожной местности. В этих условиях победа могла быть обеспечена только совершенным оперативным руководством и безусловным тактическим превосходством частей Красной Армии над врагом.

Триумфом высшего руководства Крас-

ной Армии над немецким и тактики Красной Армии над тактикой немецкой армии явилось сражение за Москву. Историкам потребуется много труда, чтобы воспроизвести эту героическую эпопею. В это сражение вложены весь гений военного руководства, вся воля советского народа, колоссальные материальные средства, высшая тактическая и оперативная организация.

Немцы делали последнюю ставку. Они ввели в действие до восьмидесяти лучших немецких дивизий, из них около трети танковых и моторизованных.

По идею немецкого командования, ударные силы при фронтальном прорыве со стороны Волоколамска и Малоярославца должны были создать внутреннее «клевещи», в которых предполагалось «стиснуть» советские армии, защищающие дальние подступы к Москве, и уничтожить их. Одновременно с этим ударные армии должны были создать со стороны Клина и Тулы внешние «клевещи», которые при замыкании их к востоку от линии Дмитров — Башира должны были обеспечить захват Москвы и открыть свободный путь на восток, к Волге.

Эту титаническую битву выиграла Красная Армия. Коварный враг оставил на полях сражений только 300 тысяч убитыми, около 2 тысяч танков, около 3 тысяч орудий, около 17 тысяч автомашин, а также огромное количество другого военного имущества. Двойные железные «клевещи» были сломлены, враг отброшен далеко от Москвы и зажат в двойные клещи Красной Армии.

Победить в такой битве могла только высшая организация.

Далее следуют Калинин, Андреаполь, Торопец, Керчь, Лозовая — свидетели того, что инициатива вырвана у врага и крепко держится в руках Красной Армии.

Славная красная пехота — царица полей, советские казаки, стальные рыцари — танкисты, сталинские школы —

летчики, артиллеристы идут на запад, в боях и сражениях приумножая славу советской родины.

Каждый день рождает сотни и тысячи героев отечественной войны. Это они, сыны великого советского народа, своим телом закрывают амбразуры ДЗОТов, в штыковых пешинках выступают один против 8, 10 и 17, идут в бой со словами: «За родину, за Сталина», и побеждают, таранят в воздухе вражеские самолеты, взрывают себя вместе с самолетом, чтобы не досталась врагу материальная часть, штурмуют в колонны врага подбитым самолетом. Нет, не счесть их, титанов

борьбы, слава о которых не померкнет в веках.

Красная Армия наступает, германская армия, обороняясь, пытается сдерживать натиск Красной Армии. Для усиления сопротивления немецкое командование отобрало у каждого солдата расписку в том, что он не будет без приказа оставлять боевой позиции. Это — тактика обреченных.

Война вступила в решающую фазу. Красная Армия вошла в нее сильной, оснащенной передовой военной техникой, вооруженной передовой стратегией и тактикой, с наличием громадных людских и материальных резервов.

РАЛЬФ АРТУР ПАРКЕР
Специальный корреспондент газеты „Таймс“

КРАСНАЯ АРМИЯ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦА

Перед тем как уехать из Англии в Советский Союз, я решил посоветоваться с полковником Пембертоном, старым другом нашей страны: в первый раз полковник посетил Москву в 1881 году и с тех пор ездил в Россию почти ежегодно. Из Лондона, в воздухе которого еще носилась пыль разрушенных бомбами домов, я поехал на запад Англии, в город, известный в мирное время своим спокойствием и изобилием, расположенный в центре богатой сельскохозяйственной области. В дни войны он превратился в военную базу: на рыночной площади стояли ряды замаскированных трузовиков, по узким улицам с треском проносились мотоциклисты в стальных шлемах.

Полковник Пембертон живет в большом особняке, стоящем в типичном английском парке; этот дом, вероятно, станет англо-советским институтом при каком-нибудь английском университете. В кабинете, стены которого увешаны старинными картинами с изображением Красной площади и заставлены полками с книгами о России, начиная с отчета Ченслора о посещении двора Ивана Грозного и кончая последним английским изданием книги Сталина «Вопросы ленинизма», полковник рассказал мне о России, которую он знал с дней убийства Александра II и до своего последнего посещения в 1937 году, когда он встретил свое восьмидесятилетие на Днепротрассе. Я получил от него много практических советов, касающихся путешествия в зимнее время. Сам полковник шестдесят лет тому назад ездил из Москвы в Пекин, причем переезжал Байкал на санях. Я расспрашивал его о русских, спрашивал, что они, по его мнению, думают о войне и о вторжении немцев.

— Раз вы сами туда едете, все мои рассказы бесполезны. Каждый воспринимает Советский Союз согласно своим принципам и предрассудкам. Вам предстоит увидеть новый мир, в котором древний народ живет по-новому. Когда вы попадете туда, то поймете, что я хочу сказать.

Эти слова вспомнились мне в февральские дни 1942 года, когда праздновалась годовщина той армии, которая сейчас защищает этот новый мир. Я сравнил свои впечатления о Красной Армии с впечатлениями о других армиях, накопившимися в моей памяти за годы моей работы в Европе.

Впервые я почувствовал, что в воздухе пахнет войной, летом 1938 года. В мае, когда Прага праздновала сокольский слет и тысячи славных патриотов — молодых женщин и мужчин — выступали на большом стадионе имени Массарика в столице Чехословакии, чехословацкое верховное командование получило сообщение о том, что Германия стягивает свои войска угрожающе

близко к границе. Приказ о мобилизации был дан немедленно и проведен с образцовой дисциплиной: из всей армии на призыв не явилось всего семнадцать человек. Юноши и женщины спокойно стали на места мобилизованных заводских и транспортных рабочих. В туманное майское утро я наблюдал, как чехи прощаются на порогах своих домов с женами и невестами, как они уходят сначала немного понурые, но потом, присоединившись к товарищам, выпрямляются и ускоряют шаг.

Эта чрезвычайно поразившая немцев блицмобилизация сопровождалась проявлениями величайшего энтузиазма. Свойственный чехам трезвый взгляд на вещи, центральное положение, занимаемое ими в Европе, не позволяли им сомневаться в том, что рано или поздно в Европе должна вспыхнуть война. Майская мобилизация принесла чувство облегчения: наконец наступил день, когда военную мощь Германии можно будет испытать на деле. И когда великолепно снаряженные чехословацкие солдаты располагались вдоль границы, их не смущала мысль о том, какой ценой Чехословакия заплатит за победу. Разрабатывались планы возможной эвакуации столицы. В Моравии концентрировались колоссальные запасы — пропитание для армии на два года. На подземных заводах в Белых Карпатах и долинах Словакии днем и ночью производилось оружие, а другие заводы готовились к тому, чтобы принять заводское оборудование, эвакуируемое с запада. В Праге женщины и дети готовили крепкую обувь, верхнюю одежду, припасы на случай эвакуации в глубь страны.

Быстрые действия чехословацкого правительства и блестящее выполнение приказов армии предупредили возможные замыслы Германии о нападении в начале лета. Сокольский слет продолжал свои выступления в общей атмосфере уверенности и гордости. Весь чешский народ и его превосходная армия подготовились к испытанию, которое скоро должно было наступить.

Кто провел лето 1939 года в чешской столице, тот никогда не забудет того подъема и суровой решимости, которые владели народом.

Многие из нас следили за событиями с глубоким волнением. Мы отдавали себе отчет в неподготовленности Англии, в нерешительности Франции. Прибытие миссии Ренсимэна не предвещало ничего хорошего. Наглая самоуверенность судетских немцев, поощряемая той наивностью, с какой широкие и ответственные круги английского общественного мнения верили немцам на слово, казалась пах злобещей. Я, вместе с большинством моих коллег-журналистов в Праге, делал все возможное, чтобы предостеречь чехов о готовящемся предательстве. Сентябрьская мобилизация не удивила их и не поколебала их решимости. Правда, не было того восторженного подъема, как в мае, но решимость оставалась та же. Колонны двигались к границе молча, сурово. Мне кажется, большинство предчувствовало, что должно было произойти, но все же надеялось, что удастся сразиться с врагом. Они чувствовали, что надвигающаяся война есть не только патриотическая война, но и борьба не на жизнь, а на смерть между фашизмом и демократией. Они знали, что после первых же выстрелов весь антифашистский фронт встанет против общего врага, и именно потому, что были убеждены в этом, готовы были биться с немцами хотя бы один, пока не образуется этот фронт.

Я видел, как эта армия людей, готовых умереть, занимала боевые посты, — это была молодежь, еще не достигшая 21 года, — и видел, как они возвращались, озлобленные, павшие духом, но сохраняя военную выправку с величайшим достоинством. Однако тот трезвый оптимизм, который президент страны Массарик внедрил в характер народа, на мгновение пошатнулся. Было

не ясно, останутся ли чехи, обманутые странами Запада, несмотря ни на что, верны своим принципам или придут к соглашению с фашистами и, по примеру своих соседей, присоединятся к державам оси. Как англичанин я не решился строить предположений, но в глубине души не сомневался в выборе: воля нации есть сумма ее традиций и основных политических принципов; Чехословакия же была и продолжает быть антифашистской до мозга костей.

В период между мюнхенскими событиями и объявлением войны я провел много времени в Праге и в провинции, и у меня было много приятелей в чехословацкой армии, которая в это время постепенно расформировывалась. После 15 марта 1939 года, когда немцы оккупировали Прагу, все почувствовали, что война близка, и чешские патриоты организовали по всей стране целый ряд антифашистских выступлений. Я знал этот народ, знал, что он полон решимости в благоприятный момент поразить врага и поработить его тем оружием, которое нанесет ему наибольший вред. Это были непримиримые люди, с большим опытом в подпольной работе, никогда не теряющие скрытого, едкого чувства юмора, сомневающиеся во всех, кроме самых испытанных друзей, полагающиеся только на свою собственную силу, скептически относящиеся к обещаниям со стороны, — люди с большим самообладанием и твердыми принципами, самые жестокие и опасные враги немцев в оккупированной Европе.

В их страну я впервые близко соприкоснулся с германской армией, так как был единственным из английских и американских журналистов, оставшимся в Чехословакии после немецкой оккупации. Самое сильное впечатление, сохранившееся у меня от германской армии, после того как мне пришлось наблюдать ее шесть месяцев, — это впечатление, что она морально разлагалась, и потому поведение немцев на русской земле меня уже не удивило.

Оккупационные войска, сформированные из опридов рейхсвера, эсэсовцев, полицейских и множества жандармов в литатском, наполняли себе брюхо красными тортами и великодушным кофе, поглощали прибалтийское пиво, презали табакками в чехословацких музеях, сопровождаемые гидами из судетских немцев, которые объясняли им, что лучшая чешская архитектура и чешские живописцы — «в действительности немецкие», были искренне убеждены, что пришли в Чехословакию, чтобы «воздворить порядок» и подавлять коммунистические выступления, а также, чтобы дать хлеб и заработок «голодающим безработным». Вероятно, многие из них были потрясены, когда обнаружали, что обмануты своими вождями, но цинизм, лежащий в основе фашизма, не позволил им обнаруживать свое разочарование, наоборот, поощрял их к тому, чтобы использовать все преимущества положения. Найдя пищу там, где не рассчитывали ее найти, они стали делать запасы; найдя мир и спокойствие там, где ожидали встретить беспорядки, они провоцировали мятежи; чтобы удовлетворить свою жажду крови, они убивали безоружных студентов и дробили руки молодым рабочим ружейными прикладами.

Чтобы убедить немецкий народ, что занятие Чехословакии вызвано гуманитарными соображениями, немецкая армия привела с собой вереницу грузовиков и объявила, что с этих грузовиков «голодающим чехам» будет бесплатно раздаваться пища. Их сопровождал отряд фотографов, которые засняли разношерстную компанию судетских немцев, солдат, переодетых в штатское, и горсточку чешских фашистов, пожелавшую воспользоваться бесплатным

успокоением, и эти снимки были для пропаганды показаны доверчивым немцам в Германии. В то же время по всей стране тянулись составы, дружелюбно чешскими припасами, переправляемыми в Третью империю.

Я видел чешских детей, которых тестасовцы останавливали по дороге в школу, заставляли становиться на колени и фотографировали в тот момент, когда «добрые немцы» «угощали» их яблоками. Я видел счет, предъявленный немецкими властями мэру города Табора, пьяне убитому, чтобы муниципалитет уплатил за раздаваемую немцами «бесплатную» пищу. Я видел, как в Кладно хоронили немецкого часового Клейста, убитого в кабаке, в пьяной драке с другим немецким солдатом, на гроб которого Гитлер прислал венок. Начальник эсэсовцев в Праге, Карл Герман Фрайк, «доказал», что Клейста убили чехи, и этот предлог был использован для ареста городского совета и роспуска профсоюзной организации, самого политически передового промышленного города Чехословакии и центра ее тяжелой промышленности, «красного» Кладно. Я видел, как пьяные немецкие унтер-офицеры шатались по улицам Жилиavy, как они жгли синагоги в Нахове и провоцировали демонстрации в Брно. За шесть месяцев моего пребывания в Чехословакии при немецкой оккупации меня больше всего поразили цинизм и продажность германской армии и администрации. Вежливо-наглые молодые эсэсовские балдыты не только крали автомобили и меха у богатых евреев, но таскали бумажки в сто крон из копилочек престарелых чешских вдов; то уважение, которое я, как большинство англичан, питал к пресловутой германской честности, исчезло, когда я увидел, как действуют фашисты, — цинично, низко, грубо. В этом сказывается моральное состояние слабого человека, приговоренного к ранней смерти, который наслаждается кратковременной властью и пытается убедить самого себя в том, что он становится сильнее, угнетая беззащитных. Я уехал из Чехословакии накануне объявления войны убежденный в том, что германская армия — самая деморализованная, продажная и грубая, какую только знала история. Разнообразие мундиров, которое я перевидал за первые два года войны, могло бы служить красочной иллюстрацией размаха борьбы. Мои путешествия также дали мне возможность получить представление о моральном духе войск в разных частях света, который, как говорит у Толстого князь Андрей Болконский накануне Бородинского боя, влияет на исход сражения больше, чем количество орудий или численность и расположение армии. Из Югославии, где я провел первый год войны, я унес воспоминание о храбрых солдатах и доблестных офицерах; многие из них горели патриотизмом, который сейчас приносит свои плоды в народной армии, сражающейся в горах Сербии, Черногории и Боснии.

Передо мной проносятся другие картины. Любезные и уверенные в себе турецкие офицеры во Фракии, терпеливые, дисциплинированные солдаты в центральной Анатолии — материал для боеспособной, крепкой армии, с твердой верой в национальные принципы и врожденной готовностью жертвовать собою в бою; деморализованные французские офицеры, приказывающие наемным индо-китайским войскам стрелять по арабскому населению, интересы которого они якобы защищают; чешские и польские отряды на Ближнем Востоке, сформированные преимущественно из людей, которые, рискуя жизнью, пробрались из оккупированной Европы, чтобы принять участие в борьбе, — суровые, непримиримые люди, которым нечего терять и которые рвутся в бой; подвижные австралийцы на улицах Каира, вносящие ощущение силы и здоровья в душную атмосферу Нильской долины, с удовольствием рассказывающие о своих сражениях с итальянцами в пустыне; ан-

глийские гарнизоны Суэца, Момбассо, острова св. Елены и Вознесения, западно-африканского порта Фритаун и Гибралтара; крепкие отряды из Наталя и Южной Африки; бельгийцы, голландцы и свободные французы, поодиночке уезжающие из Африки для того, чтобы присоединиться к своим армиям в Англии. И, наконец, Англия,—Англия, сильно изменившаяся по сравнению с той, довоенной, которую я покинул, Англия, которую война поразила самым неожиданным образом, почти не затронув армии, но взяв огромную дань с мирного населения,—Англия, в которой основные военные объекты уцелели от воздушных налетов, разрушивших музеи, церкви и нарядные пригородные дома.

Я застал английских солдат проходящими усиленное обучение. Та мирная сельская местность, где я на некоторое время остановился, была совершенно наводнена ими, но, несмотря на военную суету, деревенская жизнь на первый взгляд осталась как будто все той же. И только взглядевшись пристальнее и глубже, можно было обнаружить вызванные войной перемены. Иначе работали фермеры: они уже не решали сами, что им сеять, сколько вырастить скота, где продавать сельскохозяйственные продукты. Я узнал, что право найма сельскохозяйственных рабочих ограничено и что эти рабочие после долгой борьбы добились, наконец, заработной платы, приближенной их жизненный уровень к уровню заводских рабочих. Нажили и спекуляция презекались, хотя, по общему мнению, недостаточно сурово; государство все в большей и большей мере принимало на себя заботу о благополучии своих подданных.

На фоне такой обстановки готовился английский солдат. Он упорно шел сквозь ночь, тренируясь в быстрой переоборудке войсковыми массами через поля и леса; в воздухе, над излюбленными местами летнего отдыха, стоял непрерывный гул учебных самолетов; в центре Лондона среди развалин солдаты проводили занятия по борьбе с парашютными десантами, пугая солидных деловых джентльменов ружьями и гранатами; на спокойных озерах шотландского побережья отважные молодые люди учились совершать воздушные налеты на материк.

И увидел, что английские солдаты полны нетерпения, что они рвутся в бой с немцами, готовы ко всем опасностям и горько сетуют на недостаток снаряжения, мешающий тотчас приступить к делу. Героическая борьба Красной Армии наполняла их восхищением и завистью,—нет ничего более чуждого духу английского солдата, чем утверждение германской пропаганды, будто он любит, чтобы за него дрались другие. Наоборот, английский солдат убежден, что он как боец выше любого иностранца и впадает в уныние, когда ему не позволяют доказать это на деле.

Я вынес впечатление об армии Англии, что она состоит из хорошо подготовленных людей, полных нетерпения, готовых к бою, раздраженных вынужденным промедлением.

И вот, полный всех этих противоречивых впечатлений об армиях неиспользуемых, армиях обманутых, армиях, охваченных нетерпением, и о вражеской армии, разложившейся и предвещающей нависшую над ней угрозу, я впервые встретился с Красной Армией. Для меня, как и для большинства иностранцев, она представляла полную тайну. Ее боеспособность, качество ее снаряжения, мощь ее резервов, искусство ее командиров были тайной, хранимой лучше, чем где бы то ни было в мире, в те роковые годы, когда западные державы готовились к войне. Нужно ли говорить о том, сколько

политических и военных расчетов рухнуло, когда Красная Армия явила миру свою мощь? Ответ на этот вопрос можно найти в защите Москвы, в славном подвиге 28 героев, в заводах глубокого тыла, в Белоруссии и Украине, куда Красная Армия несет сейчас своим братьям свободу, хлеб и работу.

Мне кажется, для того, чтобы измерить силу Красной Армии, надо понять, какими чувствами полны бойцы этой Армии, каковы их убеждения, за что, но не зачем, они воюют. Много можно узнать из наблюдений за бойцами и здесь, в Москве, где еще сохранилась фронтовая атмосфера, несмотря на то, что фронт отодвинулся далеко, и где можно видеть Красную Армию в разных ее стадиях: тут и юные рекруты, которые выстраиваются еще неровными рядами на площадях окраин или усердно тренируются в глубоком снегу в Сокольниках; и юнцы, уже успевшие стать ветеранами,— они ходят по городу группами, и их запавшие глаза хранят воспоминания о фронте; и молодые командиры, которые сидят в театре, зажав винтовку между колен и аплодируя актрисам прима-балерины; и политруки с открытыми, дружелюбными лицами, вырвавшиеся на несколько дней, чтобы прослушать несколько лекций в промежутке между двумя сражениями; и раненые в госпитале, рвущиеся обратно на фронт.

Я пытаюсь представить себе те образы, которые оставила в сознании этих людей война с ее величием и ужасами. Один не может забыть, как свежий снег заносит лица убитых мирных граждан, когда часть входила в Ростов-на-Дону; чудовищный разгром на дорогах, где в лужах лежали разбитые вражеские танки и гитаные машины, принадлежавшие уничтоженным остаткам германских частей; нечистые трубы, как призраки, протягивающие к небу скрюченные пальцы над обугленными развалинами сожженных домов. Другой помнит знаменосца, который пронесся перед строем с развевающимся красным знаменем, когда его полк был произведен в гвардейский; жен и детей партизан, которые сбегались приветствовать уставших героев, возвращающихся из лесов в освобожденные села. Есть много впечатлений о войне, которые трудно представить людям не военным, но которые неизгладимо запечатлелись в мозгу фронтовиков,— воспоминания о деревнях, сметенных с лица земли отступающим врагом, о дружбе в дни невзгод, об упоении победой... У каждого свой опыт войны—от скалистых берегов Рыбачьего острова, где часовые в белых халатах высматривают вражеские суда, пытающиеся проникнуть в Петсамо, до холмов Севастополя,—по всему фронту протяжением в три тысячи километров. По всей ланой линии этого фронта можно видеть красноармейцев, которые проводят полевые телефоны в тундре Северного фронта, стреляют из орудий, сделанных на ленинградских заводах, с укреплений этого героического города, переходят на лыжах суровые, болотистые области Северо-западного фронта, штурмуют немецкие укрепления в районе Калинин, выбивают немцев из лесов Белоруссии, несутся на выполдывых оренбургских конях в авангарде армии маршала Тимошенко по утоптанному снегу украинских степей, выгружают припасы на берегах Крыма, стоя по пояс в воде лимана.

Иностранца сначала поражает, что при всем этом разнообразии боец Красной Армии, где бы он ни сражался, откуда бы ни был родом, воюет с одной общей целью, держится тех же взглядов, что и его товарищи. Понимание приходит к иностранному наблюдателю только тогда, когда он троникнется сознанием, что красноармеец есть не что иное, как обычный, типичный советский гражданин. Я убежден в том, что бойцы Красной Армии создаются советским гражданским воспитанием, военным обучением и традициями.

По сравнению с праздниками других стран от красноармейца можно ожидать более ясного понимания тех ценностей, которые он защищает в бою, более четкого представления о том, что означает эта война. И так как в его военной подготовке проводится тот принцип, что доблесть есть единственный критерий для присуждения ранга, то от него можно ожидать большего уважения к своим командирам. От него можно ожидать преданности тем традициям, которым были преданы такие великие патриоты, как Александр Невский, Минин и Пожарский, Суворов и Кутузов, такие поборники социальной справедливости, как Пугачев и Разин, и более близкие нам по времени герои гражданской войны.

Основными чертами советской жизни, влияющими на формирование боевых качеств Красной Армии, являются, по-моему, плановая экономика и политическое воспитание граждан как в армии, так и вне ее. В условиях современной войны армия воюет тем успешнее, чем более она убеждена в том, что тыл делает все возможное для снабжения ее всем необходимым. Современная цивилизованная жизнь с ее возможностями, развлечениями, гигиеной и комфортом так далека от той жизни, которую боец ведет на фронте, что малейшее сомнение в том, как тыл выполняет свои обязанности в общем деле войны, может сказать сильное деморализующее действие. Благодаря плановой экономике Советского Союза вся страна переключилась на военное положение без проволочек, неизбежных в странах, все еще опутанных более или менее «свободной» экономической системой.

Боец Красной Армии не сомневается в том, что на заводах и в мастерских, в угольных копях и учреждениях его товарищи являются такими же участниками войны, как и он сам. Чувство того, что вся страна участвует в общем деле и что никому не разрешается от него уклоняться или извлекать из него личную выгоду, безусловно действует стимулирующе, точно так же, как мужество и доблесть бойцов побуждают рабочих к еще большим жертвам.

Есть еще беспокойство, которое может возникнуть у фронтовиков: это забота о семье. Но оно облекается доверием к правительству. Боец, будучи советским гражданином, привык считать совершенно естественным, что государство заботится о каждом отдельном человеке, тем более в такое время, как война. И даже когда огромные массы населения переселялись согласно плану эвакуации, сознание того, что переселение это происходит по плану, а не есть дезорганизованное, повальное бегство, успокаивало естественное волнение за судьбу семьи и друзей. Политическое воспитание, получаемое красноармейцем на фронте, как и повсюду, кажется мне чрезвычайно ценной особенностью советской системы. Вполне понятно, что боец желает знать, что происходит на разных участках огромного фронта той войны, в которой он участвует, и, разумеется, он, более чем кто-либо, имеет право знать, в какой мере его участие в борьбе способствует общему успеху. Каждая знапия, характерная для всех советских граждан, ненасытная любознательность, которую отмечают все иностранцы, путешествовавшие по России, начиная с XVII столетия, поражает и нас, когда мы видим, как красноармеец проводит свой досуг. Его глубокий интерес к техническим вопросам находит отражение в полковых газетах. Я видел эти газеты: занимательному материалу в них отводится гораздо меньше места, чем в таких же английских газетах, читаемых в армии. Когда я спросил раненого советского танкиста, каково его мнение о британских танках, то вместо краткого вежливого ответа, которого я ожидал, я услышал длинный, интереснейший разбор достоинств и недостатков этих танков; а раненые, которых я навещал в госпитале, оживленно

рассказывали не о своих личных переживаниях, но об операциях, в которых участвовали их части, проявляя при этом тонкое понимание тактики, целей и задач этих действий.

Боевой дух красноармейца поддерживается также сознанием, что командование дорожит его жизнью. От пленных немцев часто можно слышать мнение, что их жизнь расходуется бесполезно. В те моменты независимого суждения, которые бывают в бою, когда человек находится между жизнью и смертью, сознание того, что твоя жизнь погибает зря, оказывает на солдата самое деморализующее влияние. А красноармеец знает: все меры принимаются к тому, чтобы избежать потери живой силы. Семь лет тому назад Сталин сказал выпускникам военных академий, что «кадры решают все». Сложная машина современной войны требует квалифицированных людей, и разумное верховное командование не будет расходовать их безрассудно.

Люди, ведающие действиями, воспитанием, снабжением и общим состоянием Красной Армии, обладающие ясным умом и не падающие своих сил, — эти люди, проникнутые благородным сознанием высокой цели, вправе гордиться силой, созданной ими из того великолепного человеческого материала, которым в изобилии снабжает их Советский Союз. Многие из этих людей за последние двадцать пять лет тесно соприкасались с Красной Армией. Сам Сталин, столько сделавший для создания Красной Армии, известен сейчас миру не только как великий вождь народов, но и как искусный стратег.

Вот какое впечатление осталось у меня от красноармейца: это человек с серыми глазами и нахмуренным лбом, который улыбается, глядя, как перепуганная курица убегает от его танка; огорчается до слез, когда военный долг не позволяет ему захватить с собой женщину с детьми, цепляющимися за ее юбку, которая стоит у околицы села, занимаемого немцами; хладнокровно, сосредоточенно считает с пути врага; загорается неумолимой ненавистью при виде оставленных немецкими оккупантами зловещих следов. Это человек, который любит поэзию, знает наизусть стихи Пушкина, помнит песенку из последнего виденного им фильма, чувства которого кристаллизуются вокруг простых вещей, как береза, белка, ребенок, восход солнца... Он метко судит о людях, восхищается проявлением личной доблести, полон любознательности и оптимизма. Он доверяет своим вождям, убежден в правильности суждений своих командиров, спокоен за свой домашний фронт и верит в то, что его дело правое. Вот тот солдат, на которого сейчас устремлены взгляды всего мира, которым восхищаются союзники и перед которым трепещут враги!

А. ЕРУСАЛИМСКИЙ

МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК ГИТЛЕРОВСКОГО ОФИЦЕРА

Офицерский корпус занимал особое место и играл значительную роль в политической жизни Германии. Так было в прошлом, так обстоит дело и в настоящем. «Будущее лежит в руках вооруженных сил, которые в свою очередь воплощаются в офицерском корпусе», — писал руководящий военный орган фашистской Германии «Дойче Вер» в статье «Положение и обязанности офицера в национал-социалистской армии». В офицерском корпусе правящие классы Германии всегда видели воплощение «пруссского духа».

1. ПРУССКИЙ ДУХ.

Ни в одном государстве грубая сила не была издавна столь возвеличена, как в Германии. По выражению Мирабо, война всегда являлась главной индустрией немцев. Со времен прусского короля Фридриха II правящими кругами здесь насаждался культ армейской и полицейской сабли. Этот король мечтал превратить Пруссию в большую казарму, а Фридрих Вильгельм I серьезно считал, что «все жители» страны обязаны подчиняться команде. Его преемники немало потрудились в этом отношении.

Грубая апология войны усиленно пропагандировалась в Германии. «Мы познаем моральное величие войны как раз в том, что поверхностным наблюдателям кажется грубым и бесчеловечным», — писал Трейчке, патентованный властитель дум германского буржуазно-юнкерского империализма. Он считал, что захватническая война исцеляет род человеческий от всех недугов и даже нашел этой войне своего рода философское оправдание. «Политический идеализм, —

писал он, — как раз и требует войны». Генерал фон Беригарди, известный немецкий военный публицист, еще накануне первой мировой войны изложил эту милитаристическую философию в простой формуле: «Война — отец всего». В этих словах нашли свое воплощение исторически сложившиеся взгляды немецких милитаристов, мечтавших огнем и мечом покорить весь мир.

Представление о том, что насилие превыше всего, сложилось еще в старой Пруссии, и Германия после своего воссоединения переняла идеи этого необузданного милитаризма. Ее армия всегда являлась своего рода государством в государстве. Грубость, чванливость, привычка к тупой бессмысленной субординации, царившие среди немецкого офицерства, были поистине беспримерны. Офицерский корпус являлся в Германии не то орденом, не то кастой. Здесь насаждался культ грубой силы, неразрывный с тем, что называлось «пруссским духом».

Фашизм, который возвел кровавую расправу и насилие в ранг государственной доктрины, по праву считает себя носителем или наследником этого пресловутого «духа» прусской солдатчины. Фридрих II не удалось превратить страну в большую казарму. Это сделали гитлеровцы. Превратить каждого немца в солдата, а все народы мира — в немецких рабов, — в этом гитлеровцы видят полное воплощение «пруссского духа». Более того, гитлеровцы усугубили наиболее отвратительные черты этого «духа». В самом деле, разве фашистские правители не старались в течение ряда лет вытравить из сознания немецкого солдата и офицера последние проблески человеческой мысли и послед-

или признаки человеческой совести? Разве они не считали, что и солдат и офицер германской армии должны быть наделены только одним свойством — рефлексом слепого подчинения «фюреру»? Разве они не превратили каждого солдата и офицера в бездушный автомат?

Но должны же были они чем-то восполнить страшную, ими же созданную моральную опустошенность германской армии. И вот они создают эрзац «идеи»: они разжигают не только среди солдат, но и среди офицеров самые низменные зоологические инстинкты. С того момента, как фашистские правители захватили власть, они создавали армию по разбойничьему образцу и каннибальскому подобию своему. А становой хребтом этой армии они сделали офицерский корпус.

2. «ОФИЦЕРСКАЯ КАСТА»

Пруско-германское офицерство всегда представляло собою замкнутую касту. От каждого, кто хотел приобщиться к ней, требовались, согласно старой министерской инструкции, «благоприятный образ мыслей, почитное положение родителей, обеспеченные материальные условия». Словом, в офицерскую касту могли поступать только сыновья дворян, помещиков, представители землевладельческой аристократии, по преимуществу прусской. И только во время первой мировой войны в офицерский корпус получили доступ буржуазные и буржуазно-интеллигентские элементы.

Но война окончилась, и десятки тысяч германских офицеров остались не у дел. Недовольные новыми, республиканскими порядками, они вступали в различные контрреволюционные отряды, активно участвовали в разгроме рабочих организаций и охотно поставляли кадры для всякого рода тайных террористических банд. Многие из них сближались в мюнхенских тинькушках с темными элементами уголовного мира. Именно там и произошло, между прочим, сближение Гитлера с Ремом — типичным продуктом разложения германского офицерства. Руководитель контрразведки рейхсвера в Мюнхене Рем обратил тогда внимание на демагогические повадки одного из своих мелких шников. Это и был Гитлер.

Тотчас же после захвата фашистами власти, еще при жизни генерала Гинденбурга, началась гитлеризация германской армии и в частности офицерского корпуса. Гитлер начал наводнять

армию своими молодчиками — героями погромов, бандитских налетов и прочим сбродом. Это, разумеется, не могло не вызвать глухой внутренней борьбы в среде офицерского корпуса. Представители старого офицерства потребовали гарантии против наводнения армии всяким сбродом. Они требовали, чтобы туда допускались только «лица, пользующиеся значительным влиянием в государстве, в хозяйственной и в политической жизни»; но и это все же означало, что многие фашистские бонзы, успевшие захватить выгодные должности в гитлеровском государственном аппарате и приумножить свои капиталы, получили доступ в офицерскую касту.

Одновременно Гитлер всячески поддерживает кастовый дух офицерского корпуса. Он воскрешает там ритуал средневековых кондотьеров; заставляет офицеров выполнять так называемый «кодекс чести», который сводится, главным образом, к дуэлям и поножовщине, — пусть привыкают к запаху крови! Он поддерживает там «пруский дух», насаждая еще более отвратительные фашистские порядки и нравы.

Фашистским нововведением явился «расовый» отбор для лиц, допускаемых в офицерскую касту. Специально созданное бюро в течение полугода проверяет «арийскую» родословную; благополучное прохождение через это «чистилище» стало одним из условий приобщения к офицерскому корпусу даже тогда, когда речь шла о производстве в чин лейтенанта запаса. Это «чистилище» фашистского отбора должны были пройти и старые офицерские кадры. По показаниям задержанного нацистами частями в плен подполковника Гаушльда, командира немецкого 165 пехотного полка, подавляющее большинство германских офицеров — от командиров полков и выше — являются участниками войны 1914—1918 гг., и вместе с тем около 60 процентов командиров батальонов являются людьми нового поколения: в большинстве своем это фашистские выкормыши. Но и среди офицеров старшего поколения немало задымленных гитлеровцев. Фашисты усердно потрудились над тем, чтобы развратить политическое сознание офицеров германской армии. Они стремились превратить весь офицерский корпус в свою опору. По выражению «Дойче Вер», «оплотом новой Германии являются национал-социалистская партия и национал-социалистская армия», «национал-социализм и армия — одно и то же», «только тогда, когда армия станет ме-

чом национал-социализма, Германия сможет рассчитывать завоевать твердое положение в мире», и т. д.

Формально офицер германской армии не состоит членом фашистской организации. Фактически же Гитлер наводнил офицерский корпус своими людьми и — более того — каждому офицеру предписал стать фашистом «из внутренней убежденности». Иначе офицер, по выражению «Дойче Вер», «совершает предательство»; следовательно, он «не будет офицером и должен исчезнуть». Коротко и ясно!

3. ИХ НРАВЫ

Но что же требуется от офицера фашистской армии? Прежде всего, чтобы он воплощал в себе «дух германского солдатства». «Дойче Вер» разъясняет, что этот дух проявляется не только в усвоении профессиональных знаний и навыков. От офицера требуется еще и нечто иное: «Скрытный человек и педант не годится в офицеры». Такому гитлеровская шайка не доверяет. Офицер должен уметь раскрывать в свое полное удовольствие «приятные и прекрасные стороны жизни». Так фашисты насаждают кохдотьерские нравы.

К советам этой фашистской проповеди немецкие офицеры оказались настолько восприимчивыми, что «Дойче Вер» считает себя вынужденной осторожно напомнить господам офицерам об «опасности алкоголя и ведения развратного образа жизни». Но все эти благочестивые призывы остались на бумаге. Тут же появлялись красноречивые увещания не превращать офицерские квартиры в места попойек и разврата: господа офицеры могут предаваться «приятным и прекрасным сторонам жизни» в других местах. Очевидно, фашистское командование не может уже сдерживать те инстинкты, которые оно же в течение ряда лет разжигало. Еще в самом начале войны, в декабре 1939 года, генерал Кейтель вынужден был издать секретный приказ (№ 6650/39) «О воспитательных мероприятиях в отношении офицерского корпуса». Кейтель отмечает в приказе недостаточную дисциплину, распушенность, злоупотребление алкоголем, а также и то, что старшие офицеры спаивают младших и даже развращают их. Кейтель в «приложении» перечисляет многочисленные факты, послужившие поводом для приказа. Так, например, один капитан германской армии в Польше ежедневно по-скотски напивался до потери сознания,

устраивал дебоши. Его поведение было обычным, по понятиям немецких офицеров. Другой скот, тоже в чине капитана, дошел до того, что вступил в интимные отношения с женщиной в присутствии своих подчиненных. Офицеры занимаются грабежом сообща со своими подчиненными. Мародерством занимаются и строевые офицеры, и штабные, и интенданты — каждый по-своему. Некоторые специализировались на том, что отнимают драгоценности у женщин, другие вместе с уголовным элементом организуют грабежи магазинов. Офицеры, совершая преступления, прикрывают друг друга. Так, один лейтенант скрыл преступление одного из начальников подразделения, а затем использовал его в гнусных целях.

Все это — далеко не единичные случаи. Скорее наоборот. В документе, озаглавленном «секретные дела командования» (приказ генерала Браухича от 31 августа 1940 г.), такое положение отмечалось достаточно откровенно: «В гостиницы, конфискованные германской армией для расквартирования офицеров, приводятся женщины, устраиваются оргии... Военнослужащие подъезжают к домам терпимости и заставляют офицеров и машины ожидать перед этими домами. Однажды в доме терпимости был найден без памяти пьяный пожилой офицер, которого напоили его подчиненные». Таковы их нравы!

Пьяные оргии, мародерство и разврат свили себе прочное гнездо в офицерском корпусе гитлеровской армии. Да иначе и быть не могло! Товарищ Сталин отметил, что «идея захвата и ограбления чужой страны, во имя чего собственно и ведут войну немцы, должна породить и действительно порождает в немецкой армии профессиональных грабителей, лишенных каких-либо моральных оценок и разлагающих немецкую армию».

Не приходится удивляться тому, что культурный уровень гитлеровского офицера крайне низок. Он не был высок и у офицера старой прусско-германской армии. Генерал-фельдмаршал фон Гинденбург, типичный представитель старых кадров офицерского корпуса германской армии, не без гордости заявлял, что со времени поступления на военную службу он не прочел ни одной книги и не видел для себя в этом нужды.

Немецкая офицерская каста всегда имела весьма отдаленное представление о том, что такое культура. Еще более 30 лет тому назад представители этой касты проявляли себя как ничтожества,

которые, своевольничая в захваченных областях, насильственно германизировали и вгоняли всяческим приемом жизнь людей в королевско-прусскую фельдфебельскую, чиновническую дисциплину, называемую «германской культурой». Но тогда прусский офицер, дворянин с моноклем в глазу, имел хотя бы внешний лоск. Большинство же гитлеровских офицеров, в особенности из числа фашистских молодчиков, лишено даже и этих черт. Зато невежество возведено ими в степень офицерской заслуги. «Дойче Вер» (от 28 февраля 1941 г.) сообщает, что «офицер, отдающий свои свободные часы занятиям, часто получает клички «книжный червь», «теоретик» и т. д. Считается, что это не приличествует офицеру-«фронтовику».

Но невежды нашли высокое оправдание своему невежеству: они утверждают, что «при учебе офицер познамствует чужие идеи и будет жить, так сказать, духовным воровством». Давно известно, что у воров и бандитов сложилось свое особое представление о честности. Но это еще не все. «Другой причиной недостаточной умственной работы, — отвечает «Дойче Вер», — является мнение, что в связи с ней... офицер не сможет тратить все свое свободное время на развлечения, удовольствия, посещения кафе и картежную игру».

И вот результат. Захваченный в плен старший лейтенант Монвиц, командир самолета «Ю-88», из современных немецких писателей назвал... Розенберга! Он не мог назвать ни одного немецкого классика. Лейтенант авиации Миллер рассказывает: «Читаю вообще мало... Имею, конечно, книгу Гитлера «Моя борьба». Впрочем теорисей я не занимаюсь». Лейтенант Гейнц Нефген проводит свой досуг так: «В воскресенье встаю обычно в 10 часов, занимаюсь гимнастикой..., затем иду с товарищами в ресторан пить вино». Нефген никак не мог вспомнить название какой-нибудь прочтенной им книги. Затем с большим трудом он вспомнил какую-то брошюру, напечатанную фашистской пропагандой, на тему: «Народ без пространства».

Подавляющее большинство немецких офицеров, захваченных в плен, признаются, что читать не любят да и не видят в том необходимости. В этом они почти ничем не отличаются от младших командиров гитлеровской армии, которые, например, ничего даже не слышали о немецких классиках. Так, унтер-

офицер Розе показал, что никогда не читал ни книг, ни газет. Унтер-офицер Герман Фрич заявил: «Свободное время употребляю на гулянки и девочек». Обер-ефрейтор Генрих Гиблер книг не читал, так как, по его словам, «и сам может наврать сколько угодно». Все они любят смотреть фильмы из жизни уловников. Таков их культурный облик.

И офицеры, и унтер-офицеры гитлеровской армии поражают своим крайне ограниченным кругозором. Они лишены каких бы то ни было интеллектуальных интересов. Им прививаются лишь профессиональные навыки убийц. Зато в этом деле они мастера. Эти люди лишены того, что отличает человека от животных, — они лишены мысли. Так фашизм взращивает диких зверей.

4. ГИТЛЕРОВСКИЕ ИЩЕЙКИ

Каждого офицера фашизм стремится превратить в свое послушное орудие. «Офицер, конечно, не должен заниматься политикой и политиканствовать, — поучает «Дойче Вер», — но в качестве учителя, воспитателя и руководителя германской национал-социалистской военно-обязанной молодежи он должен не отрываться от политики». Это означает, что наряду с выполнением своих профессиональных обязанностей офицер должен выполнять в армии и другие функции весьма специфического свойства.

«Офицер, — инструктирует «Дойче Вер», — должен проникнуть в душу подчиненных». Это означает, что он должен стать гитлеровской ищейкой. От него требуют, чтобы он «сближался» с солдатами. Это значит, что он должен втереться к ним в доверие. От него требуют, чтобы он всегда был готов выполнять задания гитлеровцев. Это значит, что он должен выискивать среди солдат малейшее проявление политического недовольства. Террористический режим Гитлера усматривает «крамолу» во всем. Солдат сообщает на родину, что его жалования не хватает даже на покупку ваксы. Это — «крамола». С родины пишут солдату, что дела «руководителя предприятия», то есть хозяина, во время войны пошли в гору. Это тоже «крамола». Фашистская разведка квалифицирует подобные сообщения в письмах не более и не менее как акт шпионажа. Она инструктирует офицера, как заниматься перехватыванием корреспонденции подчиненных ему солдат. Так гитлеровский офицер превращается в агента гестапо. Он ведет сле-

яжку за своими солдатами и доносит об их настроениях. Он следит, чтобы в перешлих солдат не просачивались «опасные мысли» и упадочные настроения. С этой целью верховное командование издало для сведения офицеров специальную инструкцию: «Что должен солдат писать домой». Инструкция предписывает готовые рецепты, как надо вводить в заблуждение родных и знакомых. Так, в разделе «Что хочет знать о тебе родина?» рекомендуется «сообщать, что ты здоров, что ты получаешь пищу в достаточном количестве; что ты ежедневно убеждаешься в проявлениях товарищества со стороны всех солдат; что все солдаты смелы; что ты гордишься собственными успехами». В разделе «О чем ты не должен писать на родину» настойчиво требуется, чтобы солдаты умалчивали о странном физическом напряжении, а главное — об огромных потерях германской армии. За всем этим должен следить гитлеровский офицер: он становится как бы перлюстратором солдатской переписки.

Но прежде всего офицер должен быть агентом лживой геббельсовской пропаганды. Эту роль выполняет главным образом ротный командир. Он должен уметь обманывать своих солдат. Как это делать, этому его обучают специальные издания германского командования: «Сообщения для войск», «Новости верховного командования вооруженных сил» и др. Офицер получает издание под названием «Вопросы и ответы, которые теперь актуальны». Они очень знаменательны, эти стандарты армейской пропаганды. Вот некоторые из этих «вопросов», свидетельствующих о том, что теперь беспокоит солдатскую массу и население.

«1) Как часто в эти дни в Германии возбуждается вопрос, действительно ли война против России была непредотвратима? В течение почти двух лет удавалось придерживаться пакта с Россией; разве нельзя было поступать так же и впредь?» «2) Если усиление русской военной мощи изображается для нас столь опасным, почему мы с этим раньше мирились?» «3) Выдержим ли мы эту колоссальную борьбу против России, Англии и, в последнем счете, также против Америки?» («Сообщения для войск», июнь 1941 г.)

Ясно, что вся система политической информации для офицеров строится совершенно по-иному, чем для солдат. В информационно-пропагандистском листке специально отмечены те факты и события, которые офицер должен скрывать от солдат.

Офицерский контроль над политической информацией для солдат стал особенно строгим после нападения гитлеровской армии на Советский Союз. Потери германской армии далеко превосходят потери ее противников, и вот гитлеровскому офицеру вменяется в обязанность скрыть этот факт от солдат. Весь мир облетела речь Черчилля, в которой Гитлер по достоинству квалифицирован как «извращенное чудовище, ненасытное в своей фанатической жажде крови и разбоя». Гитлеровского офицера информируют об этой речи, но солдаты о ней знать ничего не должны. Офицеру рекомендуется скрыть от солдат все факты, характеризующие мощь английского военно-морского флота, так же как и факты о новой военно-морской судостроительной программе США, ибо это может подорвать веру германского солдата в победу. Офицера информируют о том, что советская печать систематически разоблачает легенду о непобедимости германской армии. Но он обязан скрывать это от своих солдат. Ему вменяется в обязанность глушить всякие сомнения в том, сможет ли гитлеровская Германия выдержать борьбу против могущественной коалиции демократических держав. Выступления товарища Сталина, как правду, производят в Германии настолько сильное впечатление, что германское командование вынуждено в связи с этим обратиться к офицерам с требованием усилить пропагандистскую работу среди солдат.

Все это, однако, оказывается не так просто. Повидимому, не только солдатам, но и многим офицерам наскутила трескотня геббельсовской пропаганды. Германское командование в своем бюллетене (№ 284) констатирует: «В результате опыта нынешней войны нередко наблюдаются случаи, когда оружие пропаганды в офицерском корпусе недооценивается и встречается со сдержанными замечаниями: «Ах, все это одна пропаганда! Тот, кто и теперь будет ее расценивать таким образом, тем самым обнаружит, что он не понял сущности тотальной войны». Обращение к офицерам заключается следующими словами: «Каждый офицер обязан в рамках предоставленной ему возможности оказывать поддержку пропаганде среди вооруженных сил».

Почему такая настойчивость? К чему эти указания офицерам о роли пропаганды? Где пресловутый, расщепленный на утрашение Европы «воинственный дух» гитлеровской армии? Под ударами бесстрашных бойцов Красной Армии он,

этот «дух», стал довольно быстро улетучиваться. Во всяком случае, германское командование, обеспокоенное могучим духом сопротивления, охватившим Красную Армию, уже 10 июля сочло нужным напечатать в бюллетене специальную статью для офицеров: «Борьба оружием, борьба мировоззрений». Здесь подчеркиваются высокие моральные качества и политическая стойкость Красной Армии. Вместе с тем отмечается, что именно поэтому необходимо снова вприсунуть большую дозу националистической пропаганды как основы идеологической обработки армии. «Без соответствующей твердой основы германская армия едва ли сможет победоносно противостоять в такой борьбе мирового масштаба одного мировоззрения против другого». Тут же офицерам предложено было провести ряд мероприятий пропагандистского характера.

Но, повидимому, подобные мероприятия все же не пользуются большим успехом, и прежде всего среди самих офицеров. Это вызывает прямое недовольство высокого начальства: «В офицерском корпусе все еще распространено мнение, что в духовном воспитании уже сделано достаточно и на эту область можно обращать меньше внимания; это является принципиальной недооценкой задач тотальной войны именно в теперешней ситуации». Высокое начальство грозно предлагает офицерам обсудить этот вопрос и сделать соответствующие выводы. Фашистские ищейки должны иметь более тонкий политический нюх,— вот чего требует от офицеров Гитлер.

Но и это еще не все и даже не главное. Офицер обладает неограниченными правами кровавой расправы с подчиненными ему солдатами и унтер-офицерами. Офицерский террор — одна из главных основ солдатской дисциплины. Захваченная нашими частями «памятка командира батареи» красноречиво об этом свидетельствует.

Офицеру позволяется по своему произволу расстреливать подчиненных. Его палаческие функции этим не ограничиваются. «Партизан нужно расстреливать»,— инструктирует «Памятка». Офицер выступает в роли следователя, обвинителя, судьи и палача одновременно. Он должен держать своих подчиненных в постоянном страхе. На этом зиждется их повиновение. Ему вменяется также и обязанность «проинструктировать... о больших наказаниях, которые предусмотрены военными законами. За дезертирство из действующей армии—смертная казнь, также и за преступное нару-

шение дисциплины или за нарушение заповеди о храбрости солдата».

Офицер должен объяснить своим подчиненным, «что лишенные свободы по приговору военного полевого суда помещаются в военные лагеря, где они должны выполнять трудную, изнуряющую и опасную работу и получают уменьшенные порции. Срок заключения они отбывают после окончания войны».

В германской армии имеется так называемый офицер-следователь, призванный прикрывать всякого рода юридическими тонкостями палачный, террористический режим, царящий в гитлеровской армии. Его функции весьма ограничены. «Пока прибудет офицер-следователь или советник военного суда,— гласит «Памятка командира» гитлеровской армии,— начальник, имеющий дисциплинарные права, должен разобрать все дела, произвести обыски, конфискации, а в нужном случае и физическую расправу».

Безудержная националистическая демагогия и грубая физическая расправа— вот главные методы укрепления влияния гитлеровского офицера.

5. «СС»

И все же Гитлер не может полностью доверять офицерскому корпусу. Созданные Гитлером специальные войсковые части «СС» стоят рядом с армией и даже над нею. Отъявленные мерзавцы и убийцы, состоящие в этих войсковых частях, призваны выполнять палаческие функции не только в отношении всего народа, но и в отношении армии. Войска «СС» как ударные части бросаются в бой тогда, когда дело принимает критический оборот и нужно спасать положение. Чаще всего они идут второй линией и гонят на убой немецких солдат, а также солдат, поставляемых гитлеровскими вассалами. Особо привилегированная каста «СС» снискала к себе ненависть даже среди многих офицеров германской армии.

Это отчетливо сказалось еще в 1938 году, когда генерал Фрич, руководитель рейхсвера, начал оказывать сопротивление продвижению погромщиков-штурмовиков и головорезов из отрядов «СС» на командирские посты в армию. Фрич явно не доверял этим элементам. Он пытался помешать их проникновению в офицерский корпус. Он хотел поднять роль офицерства, в особенности высшего офицерства, усилить влияние генерального штаба на политическое руководство фашистской Германии. Ему удалось в этом снискать себе поддержку среди многих представителей старо-

го офицерства и генералитета. В частности его, очевидно, поддержал и генерал-фельдмаршал Бломберг, занимавший тогда пост военного министра. Но Гитлер, Гиммлер и другие резко выступили против требований Фрича. Они обрушились на всех, кто поддерживал Фрича. Прежде всего они произвели «чистку» среди офицерства и в особенности среди генералитета. Генерал Бломберг был отставлен с поста военного министра. Получил отставку и генерал Фрич. В 1939 году, когда германская армия вторглась в Польшу, Фрич добился согласия Гитлера на командование... полком. Это был демонстративный жест. Фрич дорого заплатил за это: он был убит на фронте агентом Гиммлера, руководителя гестапо и войск «СС».

Войска «СС» — это государственная полиция над армией и ее офицерским корпусом; именно так характеризовал Гитлер задачи «СС». («Высказывания фюрера о будущих отрядах государственной полиции». «Всерховное командование армии», 21.3.1941 г., № 137/3 — 41 г.)

«Великая германская империя, — по мнению Гитлера, — в будущем охватит своими границами не только народ Германии, но и другие народы. Для действия вне основного ядра Германии крайне необходимо содержать такую государственную полицию, которая была бы способна представить и провести авторитет империи при любой ситуации. Эта задача может быть выполнена только такой государственной полицией, которая в своих рядах объединяет людей лучшей германской крови... Такая монолитная часть сможет противостоять даже в критический момент всякому разлагающему влиянию».

Банда убийц и разбойников, составляющая части «СС», должна, по мнению Гитлера, стать особо привилегированной кастой, отграниченной от народа. В особенности она не должна иметь никакого соприкосновения с трудящимся людом: она, — заявляет Гитлер, — «никогда не должна браться за пролетариатом». Она должна представлять собой полицейский отряд, устрашающий всех немцев. Она должна иметь военную организацию. Она должна быть вымуштрована по-солдатски.

В захватнической войне, по мысли Гитлера, «СС» должны участвовать в боях в рядах армии, но вместе с тем не растворяясь в ней. Тогда, считает Гитлер, части «СС» будут пользоваться таким авторитетом, что они в состоянии будут выполнять задачи государственной полиции.

Ясно, что Гитлер не считает возможным положить на свою армию в случае внутренних осложнений. Своей главной опорой он считает войска «СС», которые противопоставляются армии и ее офицерскому корпусу. Ясно также и то, что офицерский корпус, привыкший в Германии играть самостоятельную роль, не может примириться с доминирующим значением частей «СС». Между офицерами армии и офицерами «СС» идет глухая внутренняя борьба за приоритет. Эта борьба еще не приняла резкого оборота, но в критический момент она, несомненно, развернется и может иметь в будущем немалые последствия.

6. ПЕРВЫЕ ТРЕЩИНЫ

Едва ли приходится сомневаться в том, что в кажущемся единстве германского офицерского корпуса скрываются трещины. В социальном отношении германское офицерство далеко не однородно. В этом оно, пожалуй, уступает даже старому офицерству времен Вильгельма II. В самом деле, наряду с представителями старых офицерских кадров в офицерский корпус влилось довольно много буржуазных и даже мелкобуржуазных элементов. Техническое оснащение современной армии повлекло за собой прилив многочисленных представителей технической интеллигенции. Все они пришли в армию со своими собственными надеждами и стремлениями.

Гитлеру не удалось окончательно унифицировать эти различные прослойки офицерского корпуса. Многие офицеры окончательно гитлеризированы, другие находятся в гитлеровской армии, но пытаются сохранить свое собственное лицо. Они обеспокоены безумными планами Гитлера — завоевать весь мир огнем и мечом. Одни смутно, другие более отчетливо понимают, что германская военная машина не в состоянии решить задачи такого масштаба. Некоторые из них, в особенности те, которые находятся под влиянием бисмарковских традиций, начинают понимать обреченность Германии в ее борьбе против могущественной коалиции. Многие из них исполнены недоверия к политическому руководству, осуществляемому Гитлером и его приспешниками. Еще весной 1940 года потребовался специальный секретный приказ главного командования (от 8 мая 1940 года, № 3350/40), призывающий офицерский корпус идти вместе с гитлеровской партией при решении основных политических и военно-стратегических задач. Генералу Браухичу приходилось тогда

опираться на свой личный авторитет: «Там, где идет речь о принципиальных вопросах,—гласит его приказ,—офицер может быть убежден в том, что я буду оберегать интересы армии».

Недовольство политическим руководством гитлеровской Германии, наблюдавшееся среди некоторой части офицерства, не может проявляться открыто, особенно в условиях войны. Оно таится где-то в глубине. Различные слухи передаются поэтому из уст в уста. И потребовался специальный приказ германского командования, предостерегающий офицеров не поддаваться различного рода политическим слухам, а тем более не распространять их.

Никогда еще протезирование, взаимное подсиживание и рознь между отдельными группами пестрой офицерской касты не были так сильны, как теперь. Гитлеровское командование умело скрывает от постороннего взгляда все то, что творится за кулисами жизни офицерства. Геббельсовская пропаганда воспевает офицерский быт. На самом деле взаимоотношения между офицерами гитлеровской армии выглядят довольно неприглядно. Захваченные нашими войсками письмо старшего лейтенанта Фашинга (полевая почта № 14145) проливает свет на некоторые стороны этих взаимоотношений.

«Кто работает и многого достигает, того не повышают в звании и не награждают,—пишет Фашинг.—Всем моим друзьям из первого дивизиона, находящимся дома, вот уже полгода как присвоено звание ротмистра. Этим стратегам за чашкой кофе живется хорошо. Они не подвергаются опасностям и не терпят лишений. А между тем им уже давно присвоены более высокие звания, в то время как фронтовики ждет этого, как «собака побоев». Это несправедливо. То же самое с награждениями! У нас, кроме одного отъявленного лентяя, уваливающегося от работы, никто из заслуженных офицеров наград не получал... Это возмутительно...

Я считаю, что начало разложения уже налицо. С этим дело обстоит скверно. Необходимо было поступать более справедливо и не вызывать столько недовольства... Никогда еще не было столько несправедливостей, сколько теперь! Устно мы еще поговорим более откровенно!»

«Начало разложения уже налицо»,—знаменательное признание! Бесперспективная война, которую Гитлер затеял против всего мира, начинает беспокоить не только солдат, но и офицеров. Плен-

ный лейтенант Август Гиллесс показал: «В начале войны с Россией говорили, что она быстро окончится и мы пойдем на Лондон. Но теперь я вижу, что война для Германии бесперспективна. Среди офицеров все чаще и чаще приходится слышать ропот на фашистский режим и на затяжку войны. Несмотря на продвижение на восточном фронте, среди немецкого офицерства отмечается возрастающий пессимизм относительно исхода кампании».

Одним из источников этого пессимизма являются огромные потери среди командного состава германской армии. Как видно из приказа командира 95-й дивизии Зигста фон Армина (от 16 августа 1941 года), в германской армии, действующей на восточном фронте, «острее всего ощущается потеря командного состава». Эти потери настолько велики и недостаток, главным образом в младших офицерах, настолько значителен, что немецкое командование должно изыскивать специальные меры для восполнения офицерских кадров. При этом приходится прибегать и к мерам, весьма рискованным. Как передает стоковский корреспондент газеты «Чикаго трибюн», немцы решили призвать на действительную военную службу офицеров, ранее служивших в старой австро-венгерской, чехословацкой, польской, бельгийской и других армиях.

Разумеется, такие мероприятия, если они действительно осуществляются, чреваты серьезными последствиями: офицерство захваченных немцами стран едва ли будет послушным оружием в руках у гитлеровской Германии. В будущем неизбежны серьезные политические трения, и, в конце концов, это оружие может повернуться против гитлеровских захватчиков.

В огромной военной машине гитлеровской Германии уже летом и осенью слышались первые скрипы.

Эти скрипы усилились в еще большей степени с того момента, когда Красная Армия, измотав и истощив противника в длительных оборонительных боях, перешла в наступление и начала наносить гитлеровским полчищам удар за ударом. Куда девалась хваленая выправка немецких офицеров?! Грязные, заросшие, вшивые гитлеровские офицеры забыли об элементарных гигиенических навыках. Они и морально опустились до крайних пределов. Обозленные военными неудачами, они пытаются выместить свою злобу, расстреливая мирных жителей, детей и женщин, бесчин-

ствуя, организуя поджоги. Никогда мир не забудет, что немецкие вандалы в офицерских мундирах оставили после себя в Ясной Поляне, в домике Чайковского в Клину, в тургеневских местах. Они еще пытаются упорно сопротивляться наступающим частям Красной Армии, но, попадая в плен, они уже далеко не столь заносчивы, какими были в начале советско-германской войны. Многие из них признают безнадежность войны, а некоторые — эти случаи учащаются — вместе с небольшими отрядами солдат складывают оружие и сами сдаются в плен частям Красной Армии.

Трещины, ранее существовавшие между старым офицерством и гитлеровцами, начали расширяться. В конце концов это привело к своеобразному кризису военного руководства германской армии. Поражение германской армии на фронтах советско-германской войны усилило взаимное недоверие между большей частью генералитета и офицерств, с одной стороны, и гитлеровцами — с другой стороны. Ряд признаков свидетельствует о том, что гитлеровцы пытались превратить генералитет в «козла отпущения» за неудачи на фронтах. Среди гитлеровских кругов начало возрастать явное беспокойство по поводу того, какую позицию займет генералитет, а также офицерство, примкнувшее к Гитлеру лишь в последнее время, в случае возможных осложнений в стране. Явно не доверяя представителям старого генералитета, а также той части офицерства, которая «в последний час» заявила о своей приверженности Гитлеру, руководящая фашистская клика начала проводить ряд мероприятий, в совокупности означавших продвижение гитлеровских элементов на крупные посты как в армии, так и в воздушном флоте.

Стремления Гитлера осуществить полный контроль над вооруженными силами Германии обнаружили уже давно. Еще в 1938 году Гитлер реорганизовал высшее командование таким образом, чтобы по существу сосредоточить в своих руках всю полноту военной власти. Устранив генерала Бломберга с поста военного министра, Гитлер вообще уничтожил эту должность. Функции, которые раньше принадлежали военному министру, были поделены между главнокомандующим всеми вооруженными силами, главнокомандующим сухопутной армией и главнокомандующим военно-воздушным флотом. На пост главнокомандующего германской армии претендовал тогда генерал Рей-

хенау, который уже давно превратился в гитлеровского приверженца. В течение нескольких предшествующих лет Рейхенау много потрудился над тем, чтобы популяризировать Гитлера среди офицерского корпуса и привлечь представителей старого офицерства на сторону гитлеризма. В офицерских кругах генерала Рейхенау считали vysokочкой и соответственно к нему относились. Учитывая это, Гитлер назначил на пост главнокомандующего германской армией генерала Браухича. Это назначение не устранило известного недоверия, существовавшего между гитлеровским руководством и старым офицерством.

Гитлер пользовался постоянной консультацией двух генералов — Йодля и Варлимонта, ранее служивших в полицейском аппарате. Он постоянно вмешивался в дела военного руководства и тем самым раздражал генералов и высших офицеров армии. В особенности они были возмущены тем, что «этот ефрейтор» все успехи приписывает себе, а все неудачи обычно взваливает на старых генералов и офицеров. В дальнейшем эти разногласия еще более усилились, особенно тогда, когда стало ясно, что Гитлер своей агрессивной политикой и угрозами по адресу всех держав не смог осуществить принципа — бить противников поодиночке. Они увидели, что Гитлер не только повторил, но еще более усугубил роковые политические ошибки кайзера Вильгельма II: он восстановил против себя могущественные державы всего мира и способствовал тому, что эти державы объединились в мощную коалицию с целью разгрома германского империализма и его армии. В частности некоторые представители офицерства считают, что нападение на Советский Союз является крупнейшей ошибкой Гитлера. Разногласия усилились особенно тогда, когда в полной мере обнаружился провал гитлеровского плана наступления на Москву. По сообщениям иностранной печати, Браухич и другие представители германского генералитета считали наступление на Москву делом нецелесообразным и неосуществимым. Браухич, при поддержке генералов Рунштадта, Шмидта, Леба, Бека и других, предлагал приостановить наступление и подготовить отход германских войск от Москвы. Гитлер отклонил это требование. Он рвался к Москве, где собирался созвать «все-европейскую конференцию» и провозгласить на ней «декларацию победоносной Европы». Он также опасался, что отказ

от наступления на Москву подорвет его престиж как в армии, так и в стране.

Разгром немецкой армии под Москвой опрокинул расчеты Гитлера. В свою очередь Гитлер ответственность за этот разгром взвалил на германских генералов. Без объяснения причин он отстранил Браухича от поста главнокомандующего германской армией и назначил на этот пост самого себя. Он отстранил и некоторых других генералов. Одни вынуждены были уйти, а другие срочно «заболели».

Все это не могло не сказаться и на морально-политическом состоянии офицерства. По показаниям старшего лейтенанта германской армии Эрнеста Гартунга (298-я пехотная дивизия), немецкие офицеры не верят официальной версии об отставке Браухича. «Они предполагают,— заявил Гартунг,— что отставка произошла в результате разногласий о способах окончания войны. Самоназначение Гитлера вызвало удивление у офицеров, которые не верят в его военный талант. Среди офицеров чувствуется напряженное и мучительное ожидание будущего. Большие опасения вызывает союз СССР, Англии и Америки. Так как активные действия германской армии прекратились до весны и неизвестно, пойдем ли мы весной вперед, среди офицеров появились сомнения в благополучном исходе этой войны».

Письма, захваченные у пленных немецких офицеров, свидетельствуют о том, что среди некоторой части офицерства самоназначение Гитлера вызвало брожение. Среди офицеров, взятых нашими войсками в плен, замечаются признаки отрезвления. Так, группа военнопленных офицеров обратилась с воззванием к офицерам германской армии, в котором призывает к решительной борьбе с Гитлером.

«Мысль, что наша германская армия находится целиком в руках этого самовлюбленного и невежественного «штатского»,— пишут в своем обращении эти военнопленные офицеры,— просто внушает страх. Бисмарк никогда не вмешивался в юфру Мольтке, но ведь это же был великий государственный человек, блестяще руководивший политической «юфрой». Он никогда не ставил армию в такое положение, которое требовало бы от нее невозможного. Правда, мы, как рядовые солдаты, не берем на себя смелость давать политикам советы, но что политика, ввергнувшая нас в войну против Англии, России и Амери-

ки, является катастрофической, об этом можем судить и мы. До сих пор армия своими военными успехами возмещала ошибки политиков и дипломатов. Но если теперь дилетантство из сферы политической распространится и на военную, тогда пусть смилуетсЯ бог над германским солдатом и нашей несчастной родиной». Обращение заканчивается следующими словами:

«Время не терпит. Начинайте борьбу, пока не поздно, пока Гитлер не прижал вас к стенке. Выступайте против креатур нацистской партии и гестапо в рядах армии. Помните, что в ваших руках оружие. Не забывайте — на фронте есть много возможностей, чтобы покончить со всякой мразью и нацистскими шпионами. Как один человек, станете за вами вся часть, если вы начнете борьбу против врага в тылу, против «СС» и гестапо, пятнающих честь Германии... Начинайте борьбу за спасение Германии, и вся нация последует за вами».

Имеются сведения о том, что в Германии активизировали свою деятельность сторонники давно распущенной «немецко-национальной партии» и боевого националистического союза «Стальной шлем». Обе эти организации пользовались большим влиянием среди офицерства. По сведениям иностранной печати, Гиммлер запугивает Гитлера тем, что генералитет в случае серьезных осложнений на фронте и в стране сможет при поддержке значительной части старого офицерства выступить против него и сосредоточить власть в своих руках. Поэтому Гитлер пытается, с одной стороны, укрепить свое пошатнувшееся влияние среди офицерства, с другой стороны — несколько сгладить натянутость их взаимоотношений.

В середине марта в иностранной печати появилось сообщение, что снова вернут в армию многих генералов, ранее уволенных в связи с их неудачами на фронте советско-германской войны.

Не следует переоценивать значение разногласий между гитлеровцами и офицерами германской армии. Но все же надо признать, что дальнейшие поражения германской армии должны усилить эти уже ныне обнаружившиеся разногласия. А когда настанет час окончательного развала гитлеровской военной машины, — ни офицерство, ни «СС» не смогут ее спасти. Тогда Европа свободно вздохнет, освобожденная от милитаристического «пруского духа» в его современном, наиболее отвратительном, гитлеровском обличии.

Генерал-майор А. А. ИГНАТЬЕВ

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ В СТРОЮ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

ЗАГРАНИЦА

Париж! С этим городом связаны многие годы моей жизни!

В первый раз я попал в столицу Франции, когда мне было всего полтора года, но узнал я об этом только через двадцать пять лет. Прогуливаясь как-то по Тюильрийскому саду и остановившись у фонтана, расположенного напротив Луврского дворца, я задержался, любуясь детьми, кормившими голубей, слезавшихся сюда сотнями. В эту минуту мне показалось, что и фонтан, и низенькие решетки сада, и скамейки я где-то и когда-то видел. Об этом я упомянул случайно в письме к родным, а они мне объясняли, что, будучи ребенком, я не раз играл у этого самого фонтана. Отец был тогда командирован на маневры французской кавалерии.

В следующий раз я попал в этот город в 1902 году, по окончании академии, когда отец, как бы в награду, подарил мне несколько сот рублей и сам посоветовал использовать месячный отпуск для ознакомления с Европой.

Еще в ранней молодости, когда я вращался в скучном кругу высшего петербургского общества, меня тянуло за границу.

Мне казалось, что там жизнь интереснее, чем в России. Хотелось взглянуть на все то, о чем я столько читал в книгах. В Петербурге иностранцев приходить встречать очень редко: ни один из них, например, не перешагнул порога рождельского дома. Заграница представлялась загадкой.

Верным спутником туриста по всему земному шару был в ту пору небольшой красный помник путешественника «Бедекера», издававшегося на всех европейских языках, кроме русского, хотя в нем можно было найти подробнейшее описание не только петербургского Эрмитажа, но и московского Кремля. Россия в руках составителей этого путеводителя, вероятно, представлялась какой-то любопытной колонией, а русские, ехавшие за границу, для пользования этим справочником обязаны были знать один из европейских языков.

Для русского военного главным затруднением при поездке за границу являлось переодевание в штатскую одежду и особенно завязывание галстука. Снимать военную форму в ту пору в России было строго запрещено даже в отпуску. Никогда не забуду, как, приехав в Вену, я потратил пять часов на одевание впервые фрака, измучился, вспотел, порвал несколько белых галстуков и все же опоздал в театр.

Кроме советов о штатской одежде, петербургские друзья и особенно родственники буквально запугали меня рассказами о всех могущих со мной приключиться за границей несчастиях; я уже наперед знал, что подобных наставлений ни одному европейцу получать не приходилось.

— Но выходи из вагона! Там звонков не дают, и поезд уйдет без тебя...

— Остерегайся людей, предлагающих тебе опиуму. Они там с опиумом, тебя могут усыпить и ограбить.

— Опасайся незнакомых мужчин, они там все шпионы, а уж от женщин бегти на сто верст: оберут, завлекут и погубят мальчика...

В действительности все оказалось не таким страшным и сложным. На Певском в агентстве Кук можно было выбрать любой маршрут, причем служащие сами производили за тебя расчет билетов и прожитка, в зависимости от твоего кошелька: в России, например, можно было ехать достаточно удобно и во 2-м классе, в Германии и особенно в Швейцарии для экономии — брать даже 3-й класс, зато в Италии из-за грязи в вагонах было предпочтительно ехать в 1-м классе и т. д.

В ту пору я был холостым и очень молодым, а потому маршрут избрал такой: Варшава, — хоть и русский город, но все же полуграничный, Будапешт, — в этот город никто из русских не заезжал, но я слышал о его живописном расположении, венгерской музыке и красавицах-венгерках. Потом Вена, где уже, кроме самого города, хотелось осмотреть все поля сражения 1809 года, — Асперн, Эссlingen, Ваграм, — путь Наполеона вдоль Дуная, все то, на чем зиждилось наше академическое военное образование. В Мюнхен меня заставила захватить моя мать, чтобы ознакомиться с картинными галереями Пинакотеки и Глиноттеки. Потом военная любознательность потянула в Цюрих. Хотелось увидеть своими глазами следы, оставленные суворовскими чудо-богатырями, а для этого спуститься через Сен-Готард в Милан. Город, построенный на воде, — Венецию, нельзя было тоже объехать, как было бы преступным не ознакомиться с лучшими образцами живописи и ваяния, что создала древняя Флоренция. И, наконец, Ривьера и притягивающий, как магнит, модный в ту пору Монте-Карло. Но конечной и заветной целью моего путешествия я наметил «город-светоч» — Париж...

И когда я вышел из поезда на парижском вокзале, то самый воздух шумевшего вокруг города мне уже показался родным. Стояла осень, моросил мелкий дождик. Я сидел в маленькой карете, обитой внутри малиновым плюшем, и она показалась мне такой уютной после наших узких открытых извозничьих пролеток. На высоких колесах восседал извозчик в белом кожаном цилиндре. Из-за промокшей от дождя пелерны даже коня не было видно. Каретка не спеша громыхала по брусчатой мостовой улицы Лафайета. Ее обгоняли шикарные пары собственных экипажей на резинах, по тротуарам спешила толпа, в которой не было заметно ни одного военного, ни одного чиновника, и я сразу почувствовал, что в этой возможности жить среди людей, не будучи замеченным, и заключалась главная прелесть Парижа.

«Да, это город для меня, — подумал я. — Как все здесь отлично от Петербурга! Здесь можно жить, никому не мешая, и тебе никто не мешает жить, как вздумается».

Из-за светлосерых решетчатых ставней, постепенно закрывавшихся в этот осенний холодный вечер, уже светились лампы, и казалось, что каждый дом скрывал в себе какие-то таинственные романы. Мне было тогда всего двадцать пять лет.

Путешествовал я на самых скромных началах, но денег, взятых из дому, все же не хватило, и пришлось провести первые дни в Париже с одним золотым двадцатифранковиком. Я остался благодарен этой неприятности на всю жизнь: никогда не удосужился бы я иначе осмотреть все достопримечательности, все музеи. До получения денег из России приходилось посещать только такие места, куда вход был бесплатный. В эти места не торопишься заглянуть, располагая большими средствами, и многие иностранные годы проводили в Париже, так и не увидев самого интересного в этом древнем городе.

Мое безденежное положение облегчалось также и тем, что все приезжающие с багажом, даже с небольшим чемоданом, могли прожить в Париже в кредит целую неделю. В счет за комнату входила оплата так называемого «маленького завтрака»: громадная чашка очень скверного кофе с молоком, булочки, слоеный рогалик «круассан» и три, свернутых завитком, кусочка масла. Этого хватало на утро, но всему миру известно, что когда во Франции стрелка часов показывает полдень, все музеи, магазины, заводы закрываются и все бегут завтракать. Не последовать этому примеру попросту невозможно. Обычаи Парижа заразительны. Едва приехав, ты уже становишься парижанином.

С моим тощим кошельком пришлось долго искать по незнакомым улицам места, где можно было бы закусить за пару франков, и, в конце концов, я остановил свой выбор на одном из многочисленных «бистро». Через распахнутые настежь двери серебрилась высокая стойка — так называемый «цинк», у которой толпились люди в кепках, в поношенных котелках и извозничьих кожаных цилиндрах. Слышался оживленный гомон голосов, звон стаканов, выкрики гарсонов; «Deux cafés! Deux!» означало два бокала кофе, «Un Pernod! Un!» означало один стакан анисовой водки желтовато-зеленого цвета, разбавленной содовой водой. Заказы гарсонов мгновенно выполнялись толстым хозяином с красным лицом, стоявшим за «цинком» в рубашке с засученными рукавами, кепке на затылке и яркими цветными подтяжками на плечах. В его обязанности входило также время от времени выпивать и чокаться с зазевающими «бистро».

В глубине, за низенькой застекленной перегородкой, я заметил четыре мраморных столика без скатертей; за одним жадно ели два французских солдата в красных штанах и синих длинных шинелях с подстежнутыми к поясу фалдамп, другой столик был занят каким-то старичком с козлиной бородкой в поношенном, но хорошо вычищенном скюртуке, а за третьим сидела веселая компания, распивая дешевое красное вино в бутылках без этикеток. Я сел в темный уголок за свободный столик и заказал гарсону, как мне казалось, самый дешевый завтрак: кусок ветчины и «бок» (бокал) пива. Не успел гарсон мне это подать, как в комнату впрорхнула совсем молоденькая тоненькая девушка с громадной картонкой в руках, огляделась и, не спрашивая разрешения, подошла к моему столику. Она заказала себе дюжину устриц, вкусный на вид домашний паштет, полбутылки белого вина и чашку черного кофе. Мне все это показалось таким деликатесом, о котором я и мечтать не мог, но вышло, что мой завтрак обошелся не дешевле: в каждой стране надо уметь жить.

Свою картонку девушка бережно поставила на стул подле меня и посмаковывала, как бы я ее не столкнул.

— А что в ней такое? — заинтересовался я.

— Это платье, — ответила девушка. — Несу его по поручению дома Ворт (самый шикарный в то время модный магазин на rue de la Paix) одной графине.

За «графа» я, конечно, выдавать себя не посмел и назвался коммивояже-

ром, закупавшим мыло для Малой Азии. Это, казалось мне, объясняет непри-
вычное для парижского уха произношение буквы «р», выдававшее мое русское
происхождение. Выдуманное мною для себя социальное положение, повидимому,
удовлетворило черноглазую кокетку с кошной кудряшек на голове, и мы усло-
вились встретиться в тот же вечер на балу «Табарен» на Монмартре.

— Вход туда бесплатный, — щебетала моя собеседница, — надо только
заплатить за бок пива, зато бутерброды там во какие большие!

Моя новая знакомая меня не обманула и вечером, встретив меня после ра-
боты, увлекла за собой на шумный, веселый и ярко освещенный Монмартр.
Первый тур вальса мне было как-то неловко танцевать: что подумали бы
петербургские танцоры и особенно светские дамы, увидев меня среди этой
веселой, но такой не аристократической молодежи. Чувство свободы, чувство
независимости от всяких предрассудков меня попросту ослепило.

Я еще был новичком в Париже. Я не знал, что таких веселых и только
на вид беззаботных девушек очень много, что они составляют среди парижан
особую прослойку — «мидинеток», что без них Париж не был бы Парижем, что
уличный карнавал без их участия не был бы тем веселым праздником, кото-
рый увлекает самых разочарованных пессимистов, что у «мидинеток» суще-
ствует даже свой праздник — «св. Екатерины», считающейся с древних вре-
мен покровительницей женского труда.

После первых часов работы в набитых до отказа душевных мастерских,
с низкими закопченными от времени потолками, перенеся грубые окрики
и пинки старших мастериц, они — парижские «мидинетки» — не надолго вы-
бегают ровно в полдень на «элегантную» рю де ла Пэ, где их уже ждут
«amis» (возлюбленные), чтобы проводить в ближайшее «бистро». Это час
короткого отдыха, когда улицы Парижа заполнены спешащими завтракать
девушками из магазинов и швейных мастерских, — midi (полдень). Отсюда
и идет прозвище «мидинетки».

★ ★ ★

После встречи с «девушкой от Ворта» прошло несколько дней. Я получил
деньги, сменил дорожный пиджак на фрак и в тот же вечер очутился в самом
модном, только что открытом веселом ресторане «Максим». Дамы «от Максима»
с роскошными откровенными декольте, кавалеры во фраках пили уже не пиво,
а шампанское. После наводящих скуку петербургских ресторанов меня пора-
зило, как могли эти незнакомые между собой люди, подхватывая хором мо-
дные песенки, которые играл оркестр, так легко заводить знакомства. Не успел
я заговорить с красивой блондинкой, моей соседкой, как сидевший рядом с ней
стройный молодой человек во фраке спросил меня:

— Мне кажется, вы — офицер?! Я тоже, лейтенант 5-го кирасирского
полка, Бланшар.

— Как, вы тоже кирасир? Выпьем за наш род оружия!

Но и пили окружающие как-то в меру, не по-русски. Пьяных не было
видно. Не было тех скандалов, после которых мне приходилось в Петербурге
развозить по домам офицеров-буянов, не было пьяных излияний дружеских
чувств и «выяснения взаимоотношений».

Бланшар позволил себе только одну неосторожность: уговорил меня по-
ехать на следующий день в знаменитую кавалерийскую школу Сомюр, где он
проходил курс усовершенствования. Мы оба не сообразили, что на посещение
школы требовалось разрешение, получаемое через военного атташе и фран-
цузское военное министерство. Но я все же сдержал слово и, не думая о рас-

стоянии, сел в поезд, помчавший меня чуть ли не через всю Францию далеко на запад. Я ошибочно предполагал, что военные учреждения находятся здесь, как и в России, рядом со столицей, «под рукой у начальства».

Поздно ночью на маленькой, еле освещенной станции Сомюр меня встретил мой новый друг, уже в пелерине, накинутаой на кирасирскую шинель, в каске с большим конским хвостом, спускавшимся на спину (в наполеоновские времена конский волос предохранял от сабельных ударов по шее).

Кто бы мог подумать, что тридцать пять лет спустя после первого знакомства я встречу в газетах имя Бланшара как одного из командующих армиями, сражавшимися против Гитлера!

Из уважения к русской союзной армии начальник школы простил Бланшару его выходку. Бланшар был первоклассный кавалерист, и его успехи в учении позволяли рассчитывать на некоторые поблажки.

Для осмотра школы ко мне приставили инструктора из «Кадр Нуар»¹, капитана Фелина, и я смог вволю налюбоваться этой «французской лондонской академией». Пришлось и самому пройти на опытном, старом скакуне головокружильные препятствия, во много раз более серьезные, чем в нашей кавалерийской школе.

К вечеру я очутился в небольшой квартире моего чичероне. В изящно убранном и блиставшем чистотой крохотном салоне Фелин представил меня своей жене, красавице-блондинке в воздушном белом платье. На маленьком столике был сервирован чай, торт, печенье, сэндвичи. Как мне ни хотелось есть, воспитание не позволило наброситься на эти яства. Хозяйка, видимо заметив мое смущение, попросила не церемониться.

— У нас прислуги нет! Все, что вы видите, я ведь сама приготовила!

Так вот каковы француженки! Как они непохожи на наших полковых дам! Умеют и кастрюлю и метлу в руках держать, умеют и предстать перед мужем и гостем во всем обаянии женской красоты. Быт офицера устроен не по-русски. Денщик Фелина детей в колясочке не возит и обязан только ухаживать за конем и чистить сапоги офицера; но он их только чистит, а не снимает и в морду не получает. После русской армии все это казалось странным, даже непонятным.

Сомюр был последним видением моего первого знакомства с Францией и заграницей. Отпуск кончился, и через пару дней я очутился на русской границе. Жандармы, паспорта, унылые, еле освещенные вокзалы. Поезд тихо и бесшумно плетется через безбрежные пустыни Полесья, мимо черных покосившихся избышек редких деревень.

В Петербурге я, правда, встречу богачей, но они не будут знать, где и как убить время; найду я также и скромных тружеников, но они не будут знать, где отдохнуть и развлечься.

Заграница на самом деле «испортила» беззаботного кавалергарда: она заставила его призадуматься над окружавшей его безотрадной русской действительностью.

¹ Кадр Нуар — «Черные кадры» — прозвище инструкторов Сомюрской кавалерийской школы, носивших черные мундиры.

Глава вторая

С МАНЧЖУРСКИХ НА ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ

Заграничная командировка 1906 года явилась для меня единственным выходом из того тяжелого нравственного состояния, в котором я оказался по возвращении со злосчастной манчжурской войны, из связанного с ней крушения тех старых идеалов, на которых я был с детства воспитан и которыми продолжал жить окружавший меня и не желавший ничего понять Петербург.

Отрывочные впечатления от первого путешествия за границу и, в особенности, от нескольких дней, проведенных во Франции, вселяли надежду свободно вздохнуть и скинуть хоть на время с плеч тяжелый груз светских условностей и чуждых предрассудков.

Только там, казалось, и можно было отдохнуть.

Восстановив свои права на премию за окончание первым академии генерального штаба (восьмимесячная заграничная командировка с сохранением содержания и пособие в 1000 рублей), я мечтал по совету отца поехать в Америку.

— Лишь тот, кто там побывал, — говорил Алексей Павлович, — сможет внести что-нибудь новое и полезное в российскую действительность.

К сожалению, мне не было суждено осуществить этот план. Начальник генерального штаба, Федя Палицын, которому я изложил свой проект, заявил, что теперь уже не время выбирать тему для командировки, а требуется прежде всего выполнить задачи, поставленные перед армией проигранной войной. Он считал недостаток в организации связи одной из главных причин наших поражений, а потому предложил объехать главные европейские армии и ознакомиться с имеющимися у них средствами связи и сообщения в самом широком смысле слова. Работу эту я должен был выполнить вместе с моим манчжурским коллегой капитаном Половцевым, получившим такую же премию, как и я, но двумя годами позже. Изучение следовало начать с Франции как союзной страны, где легче было получить нужные сведения.

Итак, судьба снова направляла меня в Париж; с манчжурских полей я прямо переселялся на Елисейские. В Питере стояла февральская оттепель, Нева была еще закована в посеребренный лед, а в Париже, вдоль Елисейских полей, уже цвели рододендроны.

В посольстве, на улице де Гренелль, нас принял пали посол, Александр Иванович Нелидов, высокий представительный старик с большими бакенбардами. Он считался опытным дипломатом и отнесся ко мне особенно ласково, так как начал службу молодым секретарем еще при моем дяде, Николае Павловиче, в Коммунальном.

— Ради бога будьте осторожны с французами; не задавайте им слишком много вопросов. Тут теперь «*mot d'ordre*» (лозунг) такой: «*La Russie ne compte plus*» (с Россией больше не считаются).

«Вот до чего докатилась Россия!» — подумал я.

С возможностью европейской войны во Франции тоже не считались.

Армия была временно не в фаворе; антимилиитаристические напостения в палате депутатов привели к сокращению военной службы до двух лет. Военный бюджет дошел до того минимума, при котором могут жить только экономные французы. Подобное положение не облегчало нашей задачи.

Изучение всех существовавших тогда средств связи и сообщений мы разделили между собой. Я взял на себя железные дороги, телеграф и радио. Половцев — автомобили, велосипеды, почтовых голубей и полицейских собак. Все осмотры условились производить вместе, причем тот, кто изучал данную тему, только слушал и запоминал ответы местных работников, а другой задавал им заранее подготовленные вопросы. Это давало возможность не запугивать собеседника сосредоточенным видом, записыванием, переспросом, а слушающий мог глубже вникать в сущность получаемых объяснений и лучше их запоминать.

Разрешение на посещение различных военных учреждений мы получали через военного агента, полковника Владимира Петровича Лазарева.

Лазарев был типичным кабинетным генштабистом, имел вид профессора — в очках, маленького роста, с жиденькой бородкой; говорил он тихо и вразумительно, но не увлекательно. В Париже он не был популярен, и во французских военных кругах к нему относились без большого доверия.

Быть может, это и послужило причиной того невнимания, с которым французский генеральный штаб отнесся к выработанному Лазаревым плану действий против возможного наступления германских армий по левому берегу Мааса. Владимир Петрович много потрудился над этим планом, но только история воздала должное его пророчливости: как в 1914, так и в 1940 году германские армии вторглись во Францию вдоль левого берега Мааса, через Бельгию. Уже за это одно можно было бы простить Лазареву его недостатки. Трудно ведь сосредоточить в одном человеке все качества, необходимые для военного атташе: он должен быть образован и вдумчив, чтобы давать правильную оценку положения, усидчив в работе, иначе он не сможет изучить все нужные материалы, и, наконец, общителен и приятен в обращении, чтобы завоевывать с первого взгляда симпатии и доверие не только мужчин, но подчас и женщин...

В отношении нашей командировки Лазарев ограничился передачей нам письменных разрешений французского военного министерства, но никаких директив или советов мы от него не получили. Военные атташе часто не учитывают, насколько командированные могут быть полезны как их собственные осведомители.

Важнейшим для нас с Половцевым был вопрос организации железнодорожного транспорта, с него мы и начали нашу работу. Мы рассчитывали, что найдем во Франции обширную организацию для постройки и обслуживания железных дорог в военное время, подобную нашим железнодорожным батальонам. На деле же оказалось, что хотя железные дороги находились в руках пяти частных компаний, однако правительство, в случае войны, рассчитывало исключительно на работу этих обществ.

Несмотря на то, что в мировую войну железные дороги стали играть роль не только стратегическую, но и тактическую в военных операциях, французские железнодорожные общества блестяще выполняли задачи по переброске войск и вполне оправдали оказанное им доверие. Это отсутствие китайской ста-

ны, воздвигнутой в России между военным и гражданским ведомствами, между казенным и частным делом, открыло мне в ту пору глаза на многое: царский бюрократический режим, не сумевший установить контакт даже с имущими классами, сам создавал себе затруднения там, где их могло и не быть.

Для изучения техники железнодорожного дела нам было предложено посетить офицерскую школу в Фонтенблэ, этом историческом месте опречения от престола Наполеона и его прощания со старой гвардией.

В назначенный час, в полной парадной форме, привлекавшей внимание всех пассажиров, мы вышли на вокзал этой станции. Но никто нас не встретил, извозчиков не было, и пришлось добираться до школы пешком, по страшной жаре.

Начальник школы, седой, стройный генерал в черной венгерке и красных галифе, был преисполнен официальнойности и предложил немедленно отправиться на лекцию. К великому нашему изумлению, никто за весь день не пригласил нас к столу, и прием ограничился «*vin d'honneur*», т. е. бокалом плохого старого шампанского, в зале для заседаний.

— А у нас-то, — говорили мы между собой, — уж наверно приезд подобных гостей послужил бы поводом к беспорядочной пьянке!

Зато в отношении выполнения нашего задания жаловаться на французов не пришлось. В школе Фонтенблэ проходили курсы усовершенствования артиллерийские инженерные лейтенанты, окончившие уже ранее высшую политехническую школу, имевшую репутацию первой среди всех высших технических учебных заведений.

В громадной аудитории читал лекцию по эксплуатации железных дорог какой-то артиллерийский майор. Учебников не было, и все слушатели что-то быстро записывали. Заглянув к соседу в тетрадку, я увидел неведомые мне до тех пор крючки и палочки и только тогда догадался, что это стенографическая запись (во Франции стенографии обучаются дети еще в начальных школах). Профессора, как мне объяснили, обязаны ежегодно готовить запово свой курс, чтобы вносить в него все новинки науки и техники. Я не мог, конечно, судить, насколько это выполнялось, но зато навсегда уложил в своей памяти понятие о французских железных дорогах. Взамен скучных учебников профессора Машпеева, которыми нас пичкали в академии, нам четко и наглядно были объяснены все элементы, которые необходимы для командира. Каждая лекция закреплялась на следующий день посещением железнодорожной станции, и после этого визита мне уже никогда не приходилось во Франции задавать вопросов о прибытии поезда: я навсегда запомнил расположение белых и красных квадратов на самофорных столбах французских станций.

Там же, в Фонтенблэ, мне выдали постоянный билет для проезда на паровозах по всем железнодорожным линиям. Меня удивило, что всякий министр или депутат считал своим долгом при приезде подойти к паровозу, чтобы позвать руку машинисту. У нас в России правящие классы и на это не были способны, считая, что позвать замасленную руку человека, от которого минуту тому назад зависела твоя жизнь, — дело не барское. Мне же посчастливилось на деле убедиться, какая ответственность лежит на машинисте, когда, плавно отойдя от Северного вокзала в Париже, мы неслись со скоростью 100 километров в час безостановочно прямо до Брюсселя. Прильнув к стеклу паровозной будки, я скоро, правда, привык к пролетающим мимо поездам вокзалам и платформам, но становилось жутко на стрелках и крестовинах, на которых невольно хотелось, чтобы поезд шел тише. Машинист только поглядывал на висев-

шие перед ним часы, не выпуская из рук рычага, и не обращал внимания на вихрь и свист, поднимавшиеся встречными поездами.

Разочарование нас ждало при ознакомлении с радиосвязью, представлявшей тогда новинку. В конце манчжурской войны паш конный отряд уже был снабжен выпущенной из Германии полевой радиостанцией, работавшей на десятки верст, тогда как во Франции радиосвязь была едва налажена между парижскими фортами. Главная станция находилась еще не под башней Эйфеля, а на горе Сен-Валериен и приводилась в действие ветхим бензиновым мотором, стучавшим и шумевшим, как старая кастрюля в руках жестянщика.

— Ничего, — объясняли французы, — пока работает, а для замены у нас денег нет!

Так, в богатой стране никогда не было денег для технических новинок.

Едва мы с Половцевым успели окунуться в парижскую жизнь, как к нам нагрянуло высокое начальство. Вернувшись однажды в свою холостую квартиру — «гарсоньерку», — я застал за своим письменным столом самого Палицына, начальника генерального штаба.

— Вот, приехал навестить своих мальчиков! — сказал Федор Федорович и начал подробный допрос о наших парижских похождениях.

Оказалось, однако, что «мальчики» были ни при чем, а что Палицын приехал пронохачить про более серьезное дело: первое франко-английское военное соглашение. Англичане будто бы обязывались, в случае войны, послать во Францию экспедиционный корпус. Многим это казалось столь невероятным, что мнения о реальности подобных проектов разделялись, и Палицын собрал совещание, вызвав в Париж военного агента в Лондоне — дальневосточного авантюриста свиты «его величества», генерала Вотака, и из Брюсселя — серьезного кабинетного работника Кузьмина-Караваева. Мы тоже присутствовали на этом совете, после чего получили приказ — Половцеву временно исполнять должность военного агента в Лондоне, а мне — в Париже. Вотака и Лазарев уезжали в продолжительный отпуск на стажировку в Россию. Началась новая жизнь — первое ознакомление с моей будущей долголетней деятельностью.

* * *

Никто и никогда нас не знакомил со службой военных агентов: существовала только, как всегда у нас водилось, широковещательная программа, выполнить которую никому, конечно, не могло прийти в голову, до того в ней было много заданий. Каждый действовал, как бог на душу положит, стараясь, главным образом, восполнить недочеты в работе предшественника.

Помню, как лестно было заказать первые визитные карточки «attaché militaire de Russie p. i» (русский военный атташе); последние буквы означали «временно». Мне, однако, казалось, что одно упоминание о том, что я являюсь представителем своей родины, палагает на меня какие-то священные обязанности. Как ответственно казалось запереть в первый раз в железный сейф секретный шифр, переступить в качестве официального лица порог французского генерального штаба, явиться в штатском сюргуте и цилиндре к военному министру.

Проехав через Париж туристом и не встречая русских чиновничьих фуражек с кокардами, я по наивности объяснял себе этот феномен отсутствием бюрократического духа, замененного в «свободной», как мне тогда казалось, республике уважением к личности, а не к форме и связанному с нею социаль-

ному положению. Но как только я завел собственную визитную карточку и стал получать в ответ на мои визиты чужие карточки, то сразу постиг все их значение в этой «демократической» стране. Обозначенные на них звания, чины, род занятий, а особенно положение в торговом и промышленном мире с лихвой заменили нашу табель о рангах и скромные чиновничьи кокарды. Не по «одежке» здесь встречали, а по визитной карточке, и не «по уму» провожали, а также по карточке, сопровождав гостя, в зависимости от его положения, или до края письменного стола, или до дверей кабинета, а подчас и до передней.

Визитные карточки выполняют за границей самые разнообразные функции: хочешь получить приглашение на обед, забрось визитную карточку, и если ты сделал это лично, а не через посыльного, загни один угол, если твой знакомый женат, загни два угла, если хочешь получить место или работу, заручись визитной карточкой если не министра, так хотя бы депутата. А уж под новый год запасись по крайней мере сотней карточек для рассылки поздравлений. Без визитной карточки ты не человек.

С первых же шагов я почувствовал, насколько был прав наш посол, говоря, что с Россией мало считаются. Начальником 2-го французского разведывательного бюро (ведавшего иностранными военными агентами) состоял в ту пору полковник; у нас на этом посту уже наверное сидел бы генерал. Никакими преимуществами русский военный агент в союзном штабе не пользовался и ожидал приема раз в неделю вместе со всеми другими коллегами. Они заранее меня предупредили, что полковник «немой». В ответ на малейшие вопросы он только издавал какие-то непонятные звуки и усердно пожимал плечами. Таким образом, мне скоро пришлось убедиться, что, кроме закупок выходящих в специальном военном издательстве «Лавоазель» книг и уставов, я никаких сведений о французской армии получить не могу.

Из иностранных коллег, которым я нанес визиты, самым расположенным ко мне, естественно, оказался болгарин, капитан Луков¹. С ним-то я и решил посоветоваться о создавшемся для всех военных атташе положении.

— Единственный, кто здесь хорошо осведомлен, — объяснил мне мой коллега, — так это итальянский полковник. Попробуйте с ним поговорить. Он ежедневно обедает в скромном рестораничке «Ducas» на Плас де ла Мадлен: вы его там сразу найдете с вечной сигарой во рту.

В ответ на полученные от меня сведения о минувшей войне итальянец предложил в тот же вечер ознакомить меня со своей системой работы.

— От французов никогда ничего не добьешься, — заявил мне этот полковник с жетым, плохо выбритым лицом, одетый в грязный поношенный пиджак. — Идем ко мне на квартиру, и там я открою вам мой секрет.

В двух небольших полутемных комнатах стояли полки с зелеными картонными ящиками, на которых были обозначены номера.

— Хотите, вот номер пятый? — сказал полковник. — Это мобилизация артиллерии.

В ящике оказались аккуратно наклеенные на листах бумаги газетные вырезки.

«Сегодня состоялся банкет по случаю проводов резервистов такого-то полка», — гласила вырезка из какой-то провинциальной газеты.

¹ Болгары в ту пору не забывали, кому они были обязаны своею независимостью.

«Особенно отличились артиллеристы такого-то полка», — описывала другая газета какие-то местные маневры и т. д.

— Столичных газет я не читаю, — объяснял полковник, — их изучают только дипломаты. Вырезки, на первый взгляд, ничего не говорят, но когда вы изо дня в день и из года в год сопоставляете, делаете выборы, то шорядом пополнения резервистами выясняется. Французы так болтливы!

Итальянский коллега представлял действительно исключение своей работоспособностью, так как остальные мои коллеги смотрели на парижский пост как на приятнейшую синекуру.

С первых же дней вступления моего в должность я только и слышал о предстоящих осенних маневрах, которые представляли для них как бы единственное заслуживающее внимания событие в году. Правда, это был единственный случай увидеть воочию войска, и оценка иностранцами всех европейских армий производилась в ту пору почти исключительно по их впечатлениям от больших маневров.

Во Франции большие маневры обставлялись, кроме того, особой торжественностью, и армии всех стран считали необходимым командировать на них своих представителей. Приятно было прокатиться в Париж, да и еще с таким «ответственным» поручением.

В 1906 году это событие приобретало даже особое политическое значение, так как демонстративно подчеркивало только что заключенное военное франко-английское соглашение. На сохранившейся у меня фотографической группе иностранных представителей на больших маневрах в первом ряду сидит генерал Френч, будущий главнокомандующий британской армией в мировую войну, прибывший во Францию во главе целой миссии. В одном ряду с ним сидят генералы, начальник штаба бельгийской армии, начальник штаба швейцарской армии и другие, во втором ряду — полковники и подполковники, в третьем — майоры, а совсем наверху, в четвертом ряду — капитаны, среди которых виднеется маленькая барашковая шапка набекрень русского представителя, капитана Игнатьева.

Чувство ни с чем не сравнимой гордости переполняло меня — представлять среди всего этого военного мира русскую армию. Как бы ни были велики манчжурские поражения, а все же Россия оставалась Россией, и никто не мог не считаться с нею. Мне раз навсегда стало ясно, что всем своим положением за границей я обязан не себе, а своей родине. Это чувство, зародившееся в самом начале моей заграничной службы, предохранило меня от всех колебаний в дни великих революционных потрясений.

К сожалению, участие в пресловутых больших маневрах свелось всего только к представительству, в поле с войсками мы проводили лишь короткие часы, а остальное время были заняты всем чем угодно, но только не военным делом. То прием у президента республики, то обед в городской ратуше, заданный «отцами города» — ярыми монархистами Компьена, в окрестностях которого происходили маневры, то скачки, то «чай» с местными великосветскими дамами. С трудом удавалось уловить характерные черты военной подготовки союзной армии. Маневрами руководил генерал Мишель, командовавший 2-м корпусом и считавшийся одним из лучших военных авторитетов.

Прежде всего мне понравилось, что пехота была пополнена запасными и роты были доведены до штатов военного времени. Это приближало обстановку к действительности, чего никогда я не видел в Красном Селе, где на маневры выводились не роты, а их подобие, численностью в 60—70 человек.

Войска были разведены на большие расстояния и действительно маневрировали, совершая сорокаверстные марши с длительными боями; в Красном Селе тавно был бы уже дан отбой. Жара стояла ужасающая, летней одежды не было, и пехота в мундирах и шинелях, правда с расстегнутыми воротниками, совершала переходы без малейшей растяжки, без одного отсталого. На малых привалах колонны останавливались по обочинам шоссе, и люди, опершись на ружья, отдыхали стоя. Глазам не верилось, сколько сил и выносливости скрывалось в этих маленьких, невзрачных на вид пехотинцах в красных штанах. Видно, они хорошо были смолоту кормлены и поены.

Однако никакие материальные условия, казавшиеся настолько выше наших русских, не могли служить препятствием проникновению в ряды этой армии революционного духа — отзвука русской революции 1905 года.

Возвращаясь в толпе военных агентов верхом, я услышал доносившийся с пехотного бивака незнакомый мне тогда мотив «Интернационала». Его громко и не очень складно пели истомленные тяжелыми переходами французские запасные.

— Что это они поют? — спросил какой-то любопытный иностранец.

— Да это революционная песня! — объяснил несколько сконфуженно сопровождавший нас французский генштабист.

Военные представители малых европейских держав и южноамериканских республик продолжали, однако, возмущаться недостатком дисциплины во французской армии. Громче всех ораторствовал толстый полковник, весь расшитый золотыми галунами, наденный мундир по случаю маневров: в обычное время он был ярчайшим в Париже поставщиком бразильского кофе. Отдельно от этой пестро разодетой толпы ехали по обочине дороги только три военных атташе: германский — майор Мучиус, австрийский — капитан Шептицкий и я — исполнявший тогда временную должность русского военного атташе.

— Вы можете рассуждать как вам угодно, но не забывайте, что деды этих маленьких солдат были тоже революционерами, что им не помешало всех нас хорошо высечь. Не правда ли, дорогие коллеги? — сказал капитан Шептицкий и взглянул вопросительно на меня и на Мучиуса.

Непобедимых армий на свете нет, и при воспоминании об Иене, Аустерлице и Ватраме протестовать не пришлось.

— Да, — продолжал Шептицкий, — я, впрочем, изверился в так называемых народных армиях после всего, что пришлось наблюдать в Манчжурии. Лучшие русские полки теряли свои боевые качества из-за пополнения их старыми людьми из запаса. При современном развитии техники лучше иметь армии поменьше, но повыше качеством.

После подобного парадокса наступила минута всеобщего молчания; не выдержал только германский майор и на прекрасном французском языке резко отчеканил:

— Ну, вы все имеете право изменять, как вам вздумается, существующий порядок вещей, но мы, немцы, от всеобщей воинской повинности никогда не откажемся. Армия — это школа для немецкого народа. Без армии — нет Германии!

Военные атташе обязаны давать беспристрастную оценку иностранных армий, по почему-то они в большинстве случаев склонны искать только недостатки, а для старых манчжурцев, как я и Шептицкий (он проделал всю войну в передовом отряде Ренненкампа), особенно сильно бросалась в глаза тактическая отсталость французской армии.

Русско-японская война ломала старые уставы и порядки во всем мире, но не во Франции.

— Посмотрите, Игнатъев, — обратился ко мне Шептицкий, рассматривая в бинокль атаку французской дивизии, — как они наступают змейками по открытому полю. Если бы вы могли так же свободно пересчитывать японские роты под Ляояном, то, наверно, выстрелили бы сражение!

Эти слова моего коллеги напомнили мне впечатление, которое я вынес после собственного доклада во Французской военной академии о главных тактических выводах из минувшей русско-японской войны.

Результат получился тогда для меня не вполне благоприятный: какой-то генерал, свойственным французам авторитетным и в то же время вежливым тоном, заявил, что хотя он и очень благодарен своему молодому союзнику за интересный доклад, но следовать его советам не собирается.

— Никогда, — сказал он, — французская армия не станет рыть окопов, она будет всегда решительно атаковать и никогда не улизнет себя до обороны.

Это было сказано в 1906 году. Бедные бывшие наши союзники, они всегда остаются верными себе, т. е. отстают в своих военных доктринах на десятки лет. За месяц до начала мировой войны один мой приятель, гусарский поручик, был посажен под арест за то, что позволил себе на учении ознакомить свой эскадрон с рытьем окопов!

В конечном результате, вернувшись с больших маневров, я почувствовал, что остался еще очень далеким от союзной армии, и потому решил во что бы то ни стало повидать какую-нибудь часть на повседневной, черной работе, и после долгих настояний мне удалось устроиться на маневры в 4-ю кагалерийскую дивизию.

— Главное, чтобы коллеги ваши про это не пронюхали, — бурчал мне «псомой» полковник, начальник 2-го бюро.

Сменив пиджак на походный китель, я отправился на розыски моей дивизии, собранной в районе Аргонских возвышенностей. Тут все было для меня ново. Вместо наших черных изб, крытых соломой, деревушками, через которые приходилось проезжать, состояли из нескольких двухэтажных, потемневших от времени домов, построенных из камня и крытых черепицей. Камень Франции всю жизнь представлял для меня предмет зависти: он облегчил этой стране, с древних времен, культурное развитие; его не надо было далеко искать и откуда-то привозить; он был тут же, в земле, из него строились дома, памятники, города и, что самое важное, дороги. Благодаря дорогам с каменным плотным деревням во всякое время года могла общаться с городом.

Французская дорога имеет свою историю. Вот узкая длинная магистраль, мощеная громадными плитами, — это «Pavé du Roi» — мостовая времен французских королей. Вот более широкое шоссе времен Наполеона I; великий корсиканец за несколько лет своего владычества успел покрыть Францию целой сетью дорог, и установленная им строгая классификация сохранилась и до наших дней. Сдавая как-то экзамен на право управления автомобилем во Франции, я прежде всего должен был знать, кому следует давать преимущественное право на перекрестке. Едешь по узенькой поссированной дорожке — это коммунальная, которую строят и чинят и содержат сами жители; выезжаешь на более широкую шоссеиную — это департаментская, а уж когда попадешь на блистающую своим черным покровом широкую национальную, обсаженную в большинстве случаев деревьями, то тут уже получаешь преимущество над всеми встречными на перекрестках. Дороги — это первое, что при-

вело меня в восторг во Франции, и сердце сжалось при мысли о нашем российском бездорожье.

Я застал штаб дивизии в небольшой деревушке, затерянной в Аргонских возвышенностях. Чуть свет начальник дивизии, сухонький седой старичок, выехал на чистокровной светлорыжей кобыле. И лошадь и всадник составляли вместе то необыкновенное элегантное целое, которое отличало французов от кавалеристов других наций.

— Мы выезжаем на целый день. Запаслись ли вы завтраком? — спросил меня начальник штаба, молодой подполковник в черном мундире с белым сукожным воротничком — отличием драгун от кирасир, носивших тот же мундир, но с красным воротником. Оказалось, что за завтраком, состоявшим из булки с куском ветчины, надо было поехать самому в соседний переулок и купить эту провизию у хозяйки гостиницы. Вестовых не было; они, подав офицерам коней, поскакали к своим эскадронам. Балансированному русскому гвардейцу, гостю в союзной армии, такие порядки показались суровыми. Не так бывало в Красном Селе. За начальником гвардейской кавалерийской дивизии, гусаром князем Васильчиковым, ездил крытая парная повозочка, и гостеприимный князь, при каждом перерыве учения, говорил, шепелявя, нам, своим ординарцам:

— Гошюда, милости прошим!

На откинутой дверце повозки уже красовались бутылки мадеры и большие банки зернистой икры. Пока мы все закусывали, «противник», как нарочно, выскакивал из какого-то леса, заставлял нас врасплох, и маневр приходилось начинать сызнова.

Учение в Аргонах, как мне показалось, началось с «азов»: нацеливание друг на друга эскадронов. Этим мы занимались на эскадронных и полковых учениях, но французский генерал придавал большое значение отделке деталей боя мелких подразделений. Для меня эти первые конные атаки, не по гладкому полю, как у нас, а по тяжелой, пересеченной местности, открыли, как ни странно, глаза на всю военную историю Франции, на особые, характерные свойства французского бойца. Гусары и конно-егеря в светлоголубых ментиках, на кровных разномастных арабчонках, вонзив громадные шпоры в бока лошадей, мчались со вскинутыми в воздух саблями на черные линии драгун, скакавших навстречу с желтыми бамбуковыми пиками наперевес. В эти мгновения они были действительно настолько возбуждены, что готовы были наброситься, как петухи, друг на друга, и офицерам приходилось, задолго до столкновения, останавливать их пыл, размахивая палашами. Так ходили в атаку кирасиры Латур-Мобура, гусары Мюрата и те французские кавалерийские полки Маргерита, что гибли под Седаном, в последней бесплодной попытке разорвать огненное кольцо германской артиллерии. Стоя вдаль от них и взирая на этот подвиг, престарелый император Вильгельм I прослезился и воскликнул:

— Oh, les braves! (Вот храбрецы!)

Учение постепенно развивалось, переходя от маневров эскадрона до полков и бригад, и вместо двух-трех часов, как бывало у нас, продолжалось чуть ли не целый день. В перерывах генерал, указав на ошибки, делал подчас смелые выводы, после чего, вынимая из кармана устав, неизменно добавлял:

— Это, впрочем, вполне отвечает, хотя и не букве, но духу параграфа такого-то!

Я не заметил, как постепенно влюбился в этого маленького генерала. Он оказался врагом франкмасонов, что в ту пору представляло почти неблагонадежность. Позднее я узнал, что ему не дали командования и уволили от службы «по предельному возрасту».

Тогда же, на маневрах, мне, постороннему зрителю, открылись причины, погубившие в самом начале, в первые же дни мировой войны, этот иссравненный по кровности конский состав французской кавалерии: люди весь день с коней не слезали, и когда я, по русскому уставу, при всякой продолжительной остановке, слезал и держал лошадь в поводу, то офицеры улыбались и объясняли, что французские лошади достаточно сильны, чтобы выдерживать на спине даже такого кирасира, как я. Коней ни разу не поили, и даже при переходе через речки и ручьи никому в голову не приходило обойти мост в брод, чтобы попить их.

В 1914 году большая часть кавалерии генерала Сорда погибла от жажды и переутомления коней. Другая часть оказалась со стертymi спинами из-за нелепой седловки. Вместо потника под седло подкладывалась синяя попона, сбивавшаяся на левую сторону при каждой посадке на коня.

Каждый день мы меняли место ночлега, и я получал свой «*billet de logement*» (билет расквартирования). Сегодня мой хозяин — старик-крестьянин. На пороге меня встречает еще совсем бодрый хозяйка в темном платье и белом чепце. Обстановка отведенной для меня комнаты по своему убранству напоминает квартиру русского чиновника со средним окладом. Старинная мебель обита бумажным красным бархатом, на круглом ореховом столе, покрытом кружевной вязаной салфеткой, какая-то большая нелепая лампа с шелковым абажуром, а над камином — обязательная его принадлежность — старинное, уже совсем потускневшее от времени зеркало. Самая главная роскошь — кровать, широкая, двуспальная, с грубоватыми и громадными полотняными простынями и цветным пуховиком.

Снимая с себя амуницию, замечаю в углу какой-то блестящий предмет и не верю своим глазам, — это высочайший военный барабан, обитый медью, с двуглавым орлом. По форме крыльев убеждаюсь, что это орел эпохи Александра I; чем дольше жила Российская империя, тем орел становился округленнее и безобразнее, обратившись ко времени Николая II в какого-то распыленного и расщипленного пыленка.

— C'est un tambour Russe! Nous le conservons précieusement et nous l'avons placé dans votre chambre avec l'espoir, que cela vous ferait plaisir! ¹

Старый боевой товарищ какого-нибудь русского пехотного полка, прошедшего пешком из Москвы до Парижа, бывший тревогу, бывший сбор, отбивавший дробь при пропуске через строй под шинцрутенами, но бывший и «проход» — церемониальный марш на удивление всей Европы. И вот, потеряв своего хозяина, погибшего или в бою, или от тифа, сразившего столько русских солдат в 1814 году, стоишь ты тут уже сотню лет как военная реликвия, в этой затерянной в Аргонах французской деревушке. Здесь ты никому не мешаешь и даже доставляешь своим блестящим видом радость многим поколениям. На родной земле ты уже давно никому не был бы нужен и никто не давал бы тебе труда чистить по воскресеньям твою медь! Отрадно ныне

¹ Это русский барабан! Мы его сохранили в целости и поместили в вашу комнату в надежде, что это доставит вам удовольствие!

дожить до дней, когда стали цепить старинные вещи, понимать, что в бездушином металле и дереве заложены подчас дорогие воспоминания о подвигах, горестях и радостях, пережитых нашими предками.

Назавтра мой «*billet de logement*» привел меня в небольшой потемневший от времени каменный домишко пехотного капитана в отставке. Одетый по случаю появления войск в опрятный пиджак, с тоненькой красной ленточкой «Почетного легиона» в петлице, мой хозяин начал прием с показа мне своих владений, состоявших из обширного фруктового сада и крохотного, но идеально возделанного огорода, без единого сорняка, без единой ямки. Он снимает ежегодно два-три урожая разных овощей, их ему с женой хватает на целый год. Ценные груши дюшес он посылает на продажу в Нанси, и это, вместе с пенсией, составляет его скромный годовой бюджет. Рабочего с лошадью ему приходится нанимать только на два дня весной для пропашки. Корову он доит сам. Среди односельчан он поддерживает свое капитанское достоинство, восседая по вечерам в кафе. Там, за рюмочкой коньяку и стаканом кофе, он занимается «высокой политикой», будучи сторонником франко-русского союза как держатель двух бумаг последнего нашего займа.

История этого капитана проста. Четверть века назад, выслуживши чин унтер-офицера, он окончил офицерскую школу Сен-Максана, что ставило его ниже офицеров, окончивших Сен-Сирскую школу, куда попадали сыновья богатых родителей. Это же явилось причиной его медленного продвижения по службе, и, прокомандовав ротой свыше десяти лет, он достиг предельного возраста. Вернувшись в родную деревню, он вполне освоился со своим положением, почитывает, как всякий интеллигент, местную газету радикал-социалистов, а по воскресеньям журнал «Меркюр де Франс» в лиловой обложке; на следующий год он рассчитывает стать мэром, а под старость дней даже «*Conseiller général*» (член департаментского совета, выборщик в многочисленных выборах), и как бы ни была мелочна и лишена интереса жизнь этого скромного человека, а все же по сравнению с бытом и с притязаниями русских офицеров она тогда мне представлялась симпатичной. Человек с капитанскими галунами не брезгует своим скромным происхождением, любит свое родное гнездо, своих односельчан, не гнушается черной работой, не опускается на дно, умеет жить на скромные средства не только без долгов, но даже со сбережениями на старость.

В крохотной столовой с блистающими полами, буфетом и столом, натертыми воском, в рамке под стеклом висит его боленыйкий орден «Почетного легиона» на выцветшей от времени красной ленточке. «*Honneur et Patrie*» (честь и родина) — вот надпись, выгравированная на обратной стороне ордена. Тяжко было об этом вспоминать в 1940 году!..

В последний день маневров грузная малокровная лошадь, одолженная мне одним командиром полка, завалилась, как бесчувственная туша, на полном скаку. Падать было мягко на глубокой пахоте, и, обтерев пыль с рейтуз, я скоро нагнал своих. Все сделали вид, что не заметили моего падения, никто даже не поинтересовался спросить, не ушибся ли этот «знатный иностранец», но в этом-то и заключался кавалерийский этикет. На следующее утро, часа за два до выезда на учение, в монастырскую келью, отведенную мне под ночлег, постучался и вошел бравый драгун, вытянулся, взял ладонью наружу под козырек, «по-французски», и доложил:

— Господин генерал прислали узнать, как чувствует себя мой капитан?

Ушиб дает себя чувствовать, как известно, только на следующий день.

Вечером я уже прощался с генералом и чинами его штаба, пленившими меня своей скромностью. Ни академических значков, ни аксельбантов они не носили, так как офицеры генерального штаба явились во Франции козлами отпущения за поражение 1870 года; они попросту были упразднены как корпорация, и окончивавшие высшую военную школу преимущественно службе не имели, возвращались в строй и, получив диплом, привлекались к работе в штабах. На учениях они носили на рукавах шелковую повязку, вроде повязки посредника. Скромность мундира, равенство в правах делали здесь невозможной ту вражду к генштабистам, которая существовала в русской армии.

Я думал, что никогда уже не услышу после этих маневров о моих мимолетных французских друзьях. Но я ошибался: французы оказались очень памятьливыми. Это качество и их вежливость доставили утешение не только мне, но и всей нашей семье в тяжелые дни после трагической потери отца: в продолжение нескольких месяцев мои спутники по маневрам разыскивали через посольство мой адрес и слали в далекий и неведомый им Петербург письма с соболезнованиями.

Вежливость облегчает и украшает человеческие отношения.

Глава третья

БУДНИ ВОЕННОГО АГЕНТА

Возвращаюсь с маневров. Из окна рассекающего почную мглу «rapide» (экспресса) где-то впереди на горизонте виднеется зарево. Это Париж. Там в этот час бесчисленные ресторанички уже опустели, толпы людей, отдыхающих от дневной суеты, наводнили широкие террасы кафе. К полночи Париж уже уснет, и только иностранные туристы будут продолжать платить бешеные деньги за шампанское в монмартрских кабаре. Мэнларпас был еще в ту пору не в моде; только в кафе «Де ла Ротонд» долго засиживались какие-то соотечественники — русские эмигранты, люди таинственные, говорят — революционеры.

Кафе — неотъемлемая и главная часть быта всякого парижанина, и богатого, и бедного, и вот почему кафе не смогли испепелить ни войны, ни революции. Зайти в кафе, в двух шагах от своего дома, канцелярии, завода, встретить там завсегдатаев, давно ставших твоими друзьями, узнать городские и политические новости, перекинуться в карты или сыграть в шахматы, зимой согреться стаканом горячего кофе или рюмкой коньяку, а летом выпить стакан лимонаду, посидеть, наконец, просто в одиночестве, строить планы будущего, вспоминать о прошлом, а главное, забыть невеселое настоящее, — вот в чем прелесть парижского кафе и секрет уличной парижской жизни, той жизни, которая отличала Париж от других столиц мира.

По широким опустевшим ночью городским артериям тихо двигаются в направлении к центру огромные двухколесные колымаги, на которых искусно сложены громадные кубы — красные, белые, зеленые; они так велики, что крупный откормленный першероп с его традиционным высочайшим хомутом кажется малюткой, а возницы так и не видны. Через час-другой сотни тонн моркови, капусты и лука-порей будут сложены ровными штабелями вдоль улиц и площади, окружающей центральный рынок — «халли» (Halles), — жемчужина прожорливого многомиллионного города.

К пяти часам утра все привезенные на рынок товары будут расценены, к семи проданы с торгов по оптовой цене, к восьми часам перепроданы хозяевам ресторанов и магазинов по полуоптовой цене, а к девяти часам остатки их будут уже распроданы по розничным ценам запоздавшим хозяйкам.

Здесь люди отдыхают днем и работают только ночью. Не мог я думать тогда, что на этот самый рынок будут прибывать и мои скромные корзинки с крохотными драгоценными шампانياми, выращенными лично мною в тяжёлые годы нужды и одиночества.

Вокруг этой полутемной таинственной площади с безобразными темно-

серыми галереями приветливо светятся огоньки дешевых ночных ресторанчиков, в которых грузчики, возницы, метельщики подкрепляются луковым супом, запеченным в глиняных горшочках, запивая стаканами красного «пинара». Перед рассветом появится там и дневной рабочий люд в кепках; облокотясь на «цинк», посетители, отправляющиеся на работу, уже потребуют по стакану горячего кофе, дополненного рюмочкой коньяку, и вдруг в этот трудовой мир ворвутся мужчины в черных фраках и накрахмаленных сорочках, под руку с разноцветными дамами, покрытыми блистающими брильянтами: поездка на «халли» входит в программу ночных увеселений пресыщенных Монмартром бездельников; им тоже надо попробовать лукового супа. Подобные поездки парижане называли «la tournée des grands Ducs» (объезд великих князей), что уже само по себе говорит о той печальной славе, которой пользовались члены романовской семьи.

Один изобретательный хозяин кафе-ресторанчика организовал даже специальное зрелище, рассчитанное на таких посетителей, — «танец апашей». Кавалер в костюме и кепке, как у рабочего, что пьет вино за соседним столиком, то страстно сжимает в томном вальсе девушку с растрепанными волосами, с красным шарфом на шее, то в порыве ревности бросает ее на пол, душит, мучает. Дамам страшно: вот-вот подобный апаш возьмет да и сдерет брильянтовую диадему с ее головы или жемчужное кольцо с напудренной шеи.

День не только в рабочих, но и в богатых кварталах начинался рано. Семь часов утра. Сквозь раскрытое окно моей холостой квартиры на Елисейских полях уже доносятся нежные звуки дудки продавца овощей. На улицу вышли уже консьержи, обмывающие из резиновой кишки малолюдные в этот час широчайшие тротуары. Наскоро одеваешься в верховой костюм — черную жакетку в талию и светлосерые бриджи. У подъезда уже ждет светлочалая нервная полукровная нормандская лошадь, и через несколько минут ты уже галопируешь по одной из тенистых мягких дорожек Булонского леса. Легкая дымка, предвещающая жаркий день, смятчает контуры живописных островков и берегов прудов. Дышится свободно и беззаботно. О манчжурских полях забыто, а о тяжелой петербургской атмосфере не хочется думать.

Утренняя верховая прогулка, кроме удовольствия, представляла и единственную возможность завести знакомства с военным миром по той простой причине, что военную форму офицеры надевали только в этот час и что утренняя верховая езда была обязательна для всего парижского гарнизона, от начальника штаба до самого скромного врача или интенданта. К 9 часам утра картина меняется, и вместо черных венгерок генералов, голубых доломанов гусар и красных штанов пехотинцев видишь на дорожках влюбленные пары, чьи костюмы имеют уже совсем не воинственный вид. Старик и молодые то болтают, проезжая шагом со сброшенными поводьями, то галопируют, хвастаясь друг перед другом широким ровным аллюром кровных лошадей. На главной аллее появляются для утренней поездки четверики цугом, впряженные в высочайшие «мель-котчи», напоминающие старинные почтовые омнибусы; видны самые разнообразные упряжки, среди которых выделяются высоким ходом вороные орловские рысаки, вывезенные из России самим их хозяином, парижским бездельником, князем Орловым.

Теперь уже делать в Булонском лесу нечего, надо спешить домой, благо можно ехать рысью по шоссированным авеню; Наполеон III, как известно, из боязни уличных революционных боев, заменил, где возможно, каменную мостовую щебенкой.

Дома меня встретит молодой камердинер-француз. Он приготовил мне ванну и кофе, квартира уже убрана, пыль тщательно вытерта; он будет открывать дверь приходящим, ровно в 12 часов уйдет завтракать, вернется в 2 часа, разнесет по городу визитные карточки, исполнит поручения, приготовит для вечера фрак, но ровно в 8 часов уже поднимется к себе в комнату, считая служебный день оконченным. Когда я вспомнил наших заспанных денщиков, разбуженных ночью, этот порядок показался мне прогрессом.

Работу начинаешь просмотром бесчисленных газет. То ли дело было в России: «Новое время» да «Русский инвалид», казалось, уже обо всем тебе расскажут. С 10 часов начнут появляться посетители. Русских офицеров узнаю уже через окно: даже в теплую погоду они стесняются ходить без пальто, кстати обязательно горохового цвета. По солидной осанке, скуластому лицу и черному чубу нетрудно распознать под штатскими пиджаком донского есаула. Он, ли слова не говорит по-французски и сам не может объяснить, как могла ему притти в голову мысль провести отпуск в Париже. Он считает, что военный агент обязан показать ему город, как будто это его собственная станица.

Случайно в этот день мне было что показать представителю далекого тихого Дона: в 2 часа дня на Больших бульварах должно было состояться карнавальное шествие. По совету знакомых парижан, любоваться этим зрелищем было всего удобнее, заняв столик у окна второго этажа одного из ресторанов в окрестностях Мадлен.

Третья республика не забывала рецептов, заведенных ей древним Римом и первыми годами французской революции. «Хлеба и зрелищ!» — вот все, что считалось необходимым для «толпы», причем народные зрелища вроде карнавала обставлялись чуть ли не как государственное дело, в котором главную роль играл в ту пору префект полиции — очередной кумир парижан — господин Лепин.

Когда со стороны площади Конкорд появилась длинная вереница карнавальных колесниц, казалось непонятным, каким образом она могла продвигаться в веселой шумной толпе, загроможденной к этой минуте не только тротуары, но и мостовую. Никто не наводил порядка, и казалось, что столкновения неизбежны. Больше всего это тревожило моего есаула: как же может обойтись дело без казачков, нагаек или по крайней мере окриков городовых: «Разойдись! Посторонись! Дай дорогу!»

Секрет скоро был открыт. Впереди процессии шел маленький человек с седенькой бородкой клином, в черном сюртуке, с трехцветной республиканской лентой через плечо. В руке он держал блестящий шелковый цилиндр и приветливо раскланивался на все стороны. Это и был Лепин.

За ним шла небольшая группа полицейских агентов в темносиних мундирах и кепи. То и дело от нее отделялись парные дозоры, чтобы удалить тех зрителей, которые не следовали общему примеру и недостаточно быстро расчищали путь перед седеньким старичком.

— Vive Lepin! — слышались возгласы толпы. Публика, повидимому, ценила фокус, которым префект доказывал свое могущество и бесстрашие.

Само зрелище меня разочаровало. Грубо намалеванные макеты резали глаз, привыкший уже ценить чувство меры в изяществе парижских театров и кафе-штанов. Милы были только улыбающиеся молоденькие девушки, оди в белых поварских курточках и колпаках на колеснице рестораторов, другие с венокками из роз на колесницах парижских цветочниц. Было ясно, что церемония карнавала организована синдикатами торговцев в целях нарядной

рекламы. Хорошо грело весеннее солнце, ярко пестрел цветочный рынок Мадлен, и весело щебетали «мидинетки». Никому из пресыщенных жизнью богатых парижан не приходило в голову выходить в подобные дни ша бульвары.

Через несколько дней мне пришлось узнать, что Ленин весьма заинтересовал одного из наших соотечественников, в котором возникло желание поглубже проникнуть в жизнь этого старичка.

В распорядок дня в эту пору стала проникать английская мода приглашать знакомых пить чай в 5 часов, и вот на одном из таких приемов в красном салоне меня вызвали по телефону из посольства и просили отправиться без промедления в префектуру полиции: надо было освободить из-под ареста одного из наших генералов.

Поднявшись по широкой и, как водится во всех французских казенных домах, мрачной и закопченной лестнице, я встретил во втором этаже полицейского чиновника, передавшего мне визитную карточку на французском языке:

Скугаревский
Генерал генерального штаба
Командир 8-го армейского корпуса

Фамилию эту я часто слышал в детстве, когда отец был начальником штаба гвардейского корпуса, а Скугаревский — начальником штаба 1-й гвардейской дивизии. Через минуту в комнату вошел высокий, худой, статный старик довольно сурового вида, с длинными седыми бакенбардами. Я, почтительно сняв цилиндр, вытянулся по-военному и отрапортовал о своем служебном положении. Старик в сером неуклюжем пиджаке тоже автоматически встал «смирно», протянул руку и, насколько мог приветливо, извинился за свою оплошность.

— Простите, — сказал он, — что, будучи в отпуску, я не нанес вам визита как военному агенту.

Подобную военную вежливость молодые поколения русских офицеров давно растеряли.

Из дальнейшего опроса участников этой «мелодрамы» выяснилось, что Скугаревский явился самлично в префектуру полиции и, предъявив визитную карточку, просил показать ему сперва рабочий кабинет префекта, затем его частную квартиру и больше всего интересовался размером получаемого Лениным жалованья и «суточных». Растерявшиеся чиновники, учитывая высокое служебное положение генерала в союзной стране, исполняли его просьбы, но когда наш старик захотел забраться в спальню Ленина, то у них возникло подозрение, и они, вежливо извинившись, просили «обождать» получения указаний от посольства.

— Я ничего плохого не замышлял, — объяснил мне Скугаревский. — Мне просто хотелось убедиться, насколько скромно живет такой человек, как Ленин, дабы отличить наших губернаторов, которые, на мой взгляд, живут слишком роскошно и не заслуживают тех денег, которые на них тратятся.

Инцидент был исчерпан.

★ ★ ★

Исполнение должности военного агента офицером, только что прибывшим с театра войны, не могло пройти незамеченным во французском финансовом

мире. Чуткость и наблюдательность являются главными качествами всякого финансиста, и для этих закулисных правителей Третьей республики интерес к России ослабеть не мог. Под предлогом военного союза против Германии эти господа слишком привыкли «стричь два раза в год на русских займах» покорных овец — подписчиков — и класть в свои карманы львиную часть от внесенных по подписке сумм. Для этого было необходимо всеми мерами создавать России кредит у тысяч мелких держателей займов. Лавочники и рантье должны были верить в кредитоспособность царского правительства.

Руководил этим доходным делом один (с трудом, между прочим, изъяснявшийся по-русски) небезызвестный действительный тайный советник, при каждом торжественном случае носивший через плечо темносинюю ленту «Белого Орла» — один из высших русских орденов. Кто в Париже не знал этого авторитетного финансиста, доктора наук французского университета, русского финансового агента — Артура Рафаловича!

С посольством этот старик мало считался, и я был очень удивлен, получив от него приглашение на обед. За границей приглашения рассылаются заблаговременно, за несколько дней, а иногда и недель, и случайно этот обед совпал с днем роспуска 1-й Государственной думы. Обед был «холостой», т. е. без дам, и я оказался самым молодым и единственным военным среди тузов Парижа. Мне стало ясно, что Рафаловичу хотелось показать своим друзьям участника русско-японской войны. Но о Куронаткине рассказывать не приходилось: за обедом надо было определять размер падения русских бумаг на бирже вследствие первого грубого нарушения новой «русской конституции». Конституцией они называли «Манифест 17 октября».

— А по-моему, — робко заметил я, — ничего от этого у нас не изменится, — и сразу почувствовал, как удивила этих авгуров во фраках с сытими, раскрасневшимися от вина лицами наивность молодого военного. Они оказались, однако, жестоко наказанными: англичане, как всегда, были лучше осведомлены и, использовав резкое падение бумаг в Париже, нажили на следующий день десятки миллионов.

Артур Рафалович имел в финансовом мире немало врагов, среди которых гидной фигурой был барон Жак Гинзбург. Отец Гинзбурга — богатый банкир — получил баронский титул за услугу, оказанную, как это ни странно, самому Александру II. Последний, заведя роман с фрейлиной своей жены, княжной Долгорукой, прижил с нею двух детей, а овдовев, женился на ней морганатическим браком и дал ей титул княгини Юрьевской. Расходы, связанные с этой сложной интригой, оказались так велики, что даже услужливый министр двора, граф Адлерберг, не сумел отнести их непосредственно на государственный бюджет. Тут-то и подвернулся Гинзбург-отец, устроивший первый, так сказать, «французский заем». Сыну его, Жаку Гинзбургу, воспитанному в Петербурге, были привиты вкусы к окружавшей его золотой мишуре, звону шпор и гусарским ментикам. Красивый, статный юноша поступает юнкером в «образцовый» кавалерийский эскадрон, производится в офицеры, участвует в турецкой войне. Интересно было видеть, с какой неподдельной гордостью этот пополевший, но навсегда сохранивший военный лоск банкир являлся на приемы в русское посольство с своим боевым орденом в петлице парижского фрака. Конечно, неуклюжему Рафаловичу нельзя было тягаться с Гинзбургом в светских манерах, открывавших доступ в дипломатические салоны.

Дипломатические связи толкали Гинзбурга на самые рискованные операции. Вероятно, под давлением англичан, а главное, из жадности к наживе, Гинз-

бург в самый разгар манчжурской войны сумел провести заем для Японии. Это дало против него козырь в руки Рафаловича, что, однако, не смогло помешать тому же Гинзбургу в 1906 году с еще большим успехом участвовать в проведении русского займа. Ему надо было нажать все пружины, и, вероятно, не без мысли об этом, Гинзбург, по установленному во Франции обычаю, закрепил знакомство со мной приглашением на следующий день к завтраку у «Буазена» (в русском переводе — «соседа»). Так назывался ресторан, славившийся лучшей в то время кухней, а главное, винным погребом. Интересно, что чем шикарнее был ресторан, тем помещение его было скромнее, уютнее, но и грязнее: большие залы, большие театры французы недолюбливали. Ослепляющая роскошь в таких заведениях по вкусу немцам, а в особенности американцам. Мировая война многое изменила в облике Парижа. Исчез и «Буазен». Не существует больше и «таблицы логарифмов», как я прозвал когда-то карточку вин, подносившуюся клиентам седым лысым «соммелье» (виночерпий). В отличие от лакеев в белых фартуках его фартук был синим, что делало не так заметными следы путешествий в запыленный винный погреб. В вертикальной колонке карточки были проставлены названия бордоских вин, подразделенных по качествам на четыре «крия» — группы, а в горизонтальной — года выхода вин за последние 30 лет; в образованных от пересечения клеточках были указаны цены от 5 до 100 франков за бутылку. Каждый мог выбрать себе вино, ориентируясь на его сорт, год выхода или же цену, как кому было удобнее. Вина года моего рождения особенно ценились (1877 год был одним из самых солнечных, самых благоприятных для виноделия в XIX веке).

— Объясните мне пожалуйста, — спросил я за завтраком Гинзбурга, — что заставляет парижан всех возрастов и состояний с раннего утра стоять в очередях чуть ли не перед каждым маленьким банком или банковской конторой в ожидании права внести в них свои последние гроши? «Русский заем! Русский заем!» — твердят они; но мы же проиграли войну, неужели они стремятся нам помочь?

— Как вы наивны! — ответил мне Гинзбург. — О России они имеют представление, заимствованное в утренней газете. В настоящее время после ликований по поводу русской конституции все «благомыслящие» газеты взялись за ум и по нашим указаниям начинают пугать держателей русских займов русской анархией, от которой может спасти только военная мощь царского правительства. Мы, банкиры, отлично знаем, чего стоит Николай II, но его надо поддержать, он нам нужен для развития наших финансовых связей с вашей страной. Вы не понимаете, какое блестящее будущее ее ожидает. А держателей русских бумаг интересует, в конце концов, только регулярная оплата купонов и получение лишнего процента в год по новой подписке. Если вы сомневаетесь, зайдите в «Креди Аноннэ». Там с утра до ночи вы увидите мужчин и женщин, сидящих в специальном зале за маленькими столиками. У каждого в руках ножницы, принесенные из дому, которыми они совершают священный обряд — отрезку очередных купонов.

— К тому же, — авторитетно добавил Гинзбург, — заем выпускается значительно ниже номинала, и это очень выгодно. Вам, дорогой капитан, остается лишь помочь нам беседами с некоторыми журналистами, чтобы успокоить их в отношении силы русской армии. Я ведь, старый юнкер, тоже могу рассказать о блестящем майском параде на Марсовом поле...

Бароны Гинзбурги искренне привыкли считать французский народ за покорных овец и, подобно страусу, кладущему голову под крыло при виде опасности, закрывали глаза на тот сильнейший отклик, который вызвала русская революция 1905 года во французской рабочей среде.

В самом Париже нетрудно было в этом убедиться, и не надо было ездить для этого, как в России, на окраины и заводы. Дома я только слышал о рабочих, а в Париже, в 1906 году, я, наконец, их увидел собственными глазами, и не раз и не два.

Обычно по субботам, по окончании рабочей недели, незаметно для полиции и постороннего взгляда люди в кепках и синих блузах постепенно наводняли центр города: Авеню де л'Опера и Плас де ла Бурс. Толпа быстро росла, и на широкие ступени здания биржи влезали какие-то ораторы и сильно жестикулировали; слышать их можно было из окон кафе, откуда я наблюдал эти сцены.

— Les ouvriers Russes nous donnent l'exemple! (Русские рабочие нам подают пример!)

Толпа гудела. Эти возгласы были слышны отовсюду, но каждый раз, когда крики усиливались, в гущу людей тихо врзались кирасиры в стальных касках и кирасах на мощных раскормленных конях с подстриженными хвостами. Они двигались шагом, разомкнутыми рядами, но как только кто-нибудь схватывал коня за повод или громко ругался, офицер невозмутимо командовал: «Au trot!» (рысью). Толпа расступалась, кони сшибали людей, и через несколько шагов снова раздавалась команда: «Au pas!» (шагом). Ораторы тем временем продолжали агитировать толпу.

— Они требуют восьмичасового рабочего дня и повышения заработной платы. Это не так страшно! — объяснили мне старожилы.

Обдоренный русской революцией, французский рабочий класс не на шутку, впрочем, напугал в этот год своих хозяев. Только этим можно было объяснить появление в последних числах апреля во внутреннем дворике моего дома целого взвода пехоты, составившего ружья в козлы, совсем как на бивуаке.

— Это они пришли вас охранять по случаю Первого мая, — таинственно объяснил мне консьерж, этот грозный диктатор всякого парижского дома.

Без этого случая я бы долго еще, быть может, не знал о существовании этого дня — праздника трудящихся. Так Париж открывал передо мной новый, неведомый для меня мир.

* * *

Среди многочисленных опасностей, подстерегающих военных агентов, немалой являются изобретатели. Ничто не служит гарантией, что перед тобой может появиться просто неудачник, или мошенник, или даже сумасшедший. Каждый из них одержим своей машиной, и выпроводить его и отвязаться от него бывает нелегко.

— Вот мое изобретение, — говорит мне посетитель с сильным немецким акцентом, вынимая из заднего кармана брюк браунинг. — Смотрите, я взвожу курок, целюсь, а прицел и мушка автоматически освещаются.

— Слушайте, — говорю я ему в шутку, — предупреждаю вас, что в моем присутствии зажигалки для папирос и электрические лампочки никогда не загораются.

К счастью, мое предсказание на этот раз сбылось, и мне не пришлось терять времени, чтобы сообщить энергичному изобретателю о существовании

подобной системы в австрийской полиции. Он вылетел из моего кабинета, как от зачумленного.

После подобных случаев я начал относиться с некоторым недоверием ко всякого рода предложениям, хотя и не сознавал еще в ту пору, что юркие дельцы, узнав о появлении капитана в роли военного атташе, естественно, пытались использовать его неопытность.

Следующий изобретатель жил в Сен-Жермене, небольшом городке в 22 километрах от Парижа. Это был самый знаменитый из пяти Сен-Жерменов, разбросанных в разных концах Франции, уже потому, что в гербе его была изображена детская люлька — колыбель французских королей. С площади перед теперешним вокзалом выступали некогда крестоносцы, в домах, нелепо окружающих реставрированный дворец, жили когда-то придворные и фаворитки французских королей. С террасы парка, раскинутого на возвышенности, открывался вид на Париж и, между прочим, на его предместье Сен-Дени — усыпальницу французских королей. Последнее обстоятельство, по преданию, и послужило причиной создания Людовиком XIV Версаля. Королю не хотелось видеть свою будущую могилу. С этой террасы спускались раньше мраморные лестницы до самой Сены, и по ним поднимался Петр I, посетивший малолетнего Людовика XV. Французская революция впоследствии не оставила и следа от бывшего великолепия, разрушив множество замечательных материальных и художественных ценностей, чем революция в России. Сколько раз, проводя в Сен-Жермене тяжелые годы после мировой войны, вспоминал я о первом посещении этого живописного, но такого заплесневшего от времени уголка!

И вот тут-то, в каком-то старом домишке, скрытом от взоров стеной цветущей сирени, я и обрел одного из самых передовых техников по беспроволочной передаче звуков на расстояние.

Он достиг ко дню моего приезда необыкновенных по тому времени результатов. Усадив меня за письменный стол, он поставил передо мной телефонный аппарат, а за моей спиной расположил деревянную раму с проволоочной обмоткой. В соседнем дворе его помощник сел за такой же аппарат и начал свободно со мной переговариваться. Я повторял этот опыт с разных мест, выносив телефонный аппарат с рамой на улицу и, убедившись в отсутствии какого-либо проволоочного соединения между аппаратами, составил, как мне тогда казалось, блестящий рапорт.

Давно отцвела сирень, пролетел, как миг, парижский сезон, пожелтели листья на Елисейских полях, и только тогда пришел с дипломатическим курьером следующий, совсем не дипломатический, ответ моего начальства:

«Главное инженерное управление, — гласила бумага, — изучив рапорт и т. д. военного агента в Париже, пришло к заключению, что означенный офицер или был грубо введен в заблуждение, или сам находился в ненормальном состоянии. Подобные телефонные передачи невозможны».

С первых дней вступления в должность военного агента мне пришлось познакомиться и с ведомством, представлявшим главную пружину в сложном механизме царского режима — сыскной полицией.

В широких кругах Парижа еще была свежа память о знаменитом Рачковском, начальнике иностранного отдела сыскной полиции, отдела, влиявшего не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику России. Я застал на должности руководителя этого почтенного учреждения Гартинга — человека невзрачного на вид, которому, конечно, было далеко до его блестящего предшественника. Все русские послы по очереди, особенно Извольский, в свое

время возмущались размещением этого таинственного учреждения в одном из флигелей посольского дома. Сыпчики попросту использовали экстерриториальность посольства, послу подчинены не были; изменить этот порядок никто не имел права, и дипломатам оставалось только вздыхать и негодовать, читая нелестные заметки по своему адресу, появлявшиеся время от времени в левых парижских газетах.

«Rue de grenelle — это не посольство, а филиал царской охранки», — писали французские репортеры.

Знакомство с Гартингом помогло мне в первой агентурной работе. Тот же всезнающий итальянский коллега, который объяснял мне методы работы по газетным вырезкам, не без иронии спросил меня, «что я думаю о заказанном японцами на заводах Сен-Шаман осадном парке».

На следующий день я, естественно, задал этот же вопрос «бесмолвному» начальнику 2-го французского бюро, который вынужден был ответить, что хотя он об этом слышал, но объяснить мне ничего не может, так как заказ дан не казенным заводам, а частной промышленности. А я-то, наивный, рассчитывал на содействие союзного генерального штаба, верил нескрепности французских излияний о безграничной дружбе!

Как подобает дипломату, я скрыл свое негодование и любезно распростился с полковником, проводившим меня по обыкновению до двери.

Долго бродил я в этот день по бульварам, раздумывая о том, что необходимо предпринять. Стоял август, Париж опустел, спасаясь от жары, все разбегались по морским курортам, и никто не мог мне помочь даже советом, каким образом получить подтверждение о новых замыслах японцев.

Не хотелось идти к Гартингу, но где же, как не у него, найти негласного агента, способного раскрыть тайну японского заказа! В мемуарах бывших тайных агентов (открывающих, впрочем, только всем известные тайны), вербовка секретных сотрудников обычно изображается как дело, никогда не представляющее затруднений. Выработались даже трафареты использования для этой цели определенных категорий людей — падших женщин, прокутившихся мужчин или карточных игроков. Но я уверен, что если бы кому-нибудь из усердных читателей подобных романов поручить выбор секретного сотрудника для самого незначительного дела, то он сразу бы понял, что безошибочных рецептов здесь нет, что вербовка агентуры — это ремесло, требующее многолетней и тяжелой практики, полной разочарования, провалов, неудач, о которых в романах, конечно, не пишется.

Практики у меня не было, терять времени было нельзя, и поэтому я ухватился за первого рекомендованного мне Гартингом помощника — отставного французского капитана. Передо мной предстал немолодой француз с тонкими усиками, скромно одетый, имевший вид почтенного чиновника; от военной службы у него остались только сухость тренированного кода-то человека и точность в изложении мысли. Никакой вертлявости, проницательности в нем не было, он прямо смотрел в глаза, ходил с высоко поднятой головой и ничем не выделялся из толпы средних французов (français moyen).

Не помню, каким образом мне удалось узнать еще до первого свидания с капитаном Д. одну из немаловажных подробностей о порядке японских заграничных заказов: японцы всегда требовали продажи не только приборов и машин, но и всех решительно деталей, сопровождавших эти предметы. При

заказе орудий они заказывали той же фирме и снаряды к ним, и это мне помогло. Капитан Д. после нескольких дней поисков, казавшихся мне вечностью, предложил мне устроить свидание с одним инженером, готовым продать за крупную сумму образцы снарядов. Необходимыми деньгами я не располагал, получить их из генерального штаба на столь сомнительное дело нечего было и думать, оставалось попытаться залечь в посольстве. На счастье, престарелый осторожный посол был в отпуску, а поверенным в делах оказался экспансивный и талантливый советник посольства Неклюдов. Выслушав мой рассказ, он открыл сейф и выдал без расписки требуемую сумму.

И вот настало утро, когда я должен был впервые забыть свою фамилию, служебное положение и идти на рискованное предприятие без ведома своего петербургского начальства. Мне казалось, что я все предусмотрел, чтобы скрыть от французских властей свой «негласный» набег на их военную промышленность. Один из едва заметных в Париже входов в метро находился в нескольких шагах от моей квартиры, и в тот ранний час, когда я вышел на улицу, я не встретил ни одного прохожего. Через несколько минут, выйдя из поезда подземной железной дороги на Лионском вокзале, я тут же купил билет до Лиона. В 1-м классе пассажиров всегда бывает мало, и мне казалось, что во 2-м классе я буду менее заметен в своем дорожном сером костюмчике. В Лионе, не выходя с вокзала, я занял комнату в отеле «Терминус», составляющем одно целое с вокзалом, и стал ждать, как было условлено, тайного инженера со снарядами. Паспортов в ту пору не требовали, и я отметился в гостинице чужой фамилией: «Брок, коммерсант». Мне все казалось, что вот-вот откроется дверь в мой номер, и французская полиция спросит: «Кто вы такой?» Запутаться в эту минуту не следовало, и потому я «занял» на этот день фамилию у одного из товарищей по корпусу, которую забыть не мог: к тому же фамилия «Брок» лишена резкой национальной окраски — носящий ее может быть и русским, и немцем, и англичанином...

План мой тем временем совершенно созрел. Мне прежде всего хотелось этой первой сделкой завербовать инженера и работать с ним впредь без посредства капитана Д. Заплатить условленную сумму, говорил я себе, могу только в том случае, когда найду на снарядах метку — иероглиф японского приемщика, — пробитую в стальном корпусе снаряда. Забирать и везти в Париж тяжелые снаряды я, конечно, не стану: усвоенные с корпуса знания об отношении длины снаряда к калибру, определяющему род орудия (длинного, гаубицы или мортиры), давали возможность ограничиться точным измерением снарядов. Для этого я запасся и дюймовой линейкой и бечевкой.

Программу удалось выполнить удачно, и вечером мы расстались с незнакомцем, утаившим из моего номера два принесенных им тяжелых чмода, уже старыми друзьями. Ночью я вернулся в Париж, а утром в обычный час, в скюртуке и цилиндре, выбритый и надушенный, вошел как ни в чем не бывало на обычный прием к начальнику 2-го бюро.

— Давно не видел вас, капитан, — сказал мне с улыбкой полковник. — Ну, как вы остались довольны вашим путешествием?

С этого дня я понял, что 2-е бюро французского генерального штаба умеет хорошо работать.

Но в работе нашей заграничной разведки пришлось разочароваться.

Лазарев, вернувшийся в Париж, выслушав мой доклад, жестоко журил меня за неосторожность. Напрасно я доказывал, что, судя по определенным мною

калибром, японский осадный парк предназначается именно против Владивостока, по которому можно вести огонь или с самых дальних дистанций, или же только мортирами. Мой старший коллега заявил, что такими делами он в союзной стране заниматься не намерен.

★ ★ ★

Командировка кончалась, но возвращаться в Петербург не хотелось. За несколько месяцев, проведенных во Франции, я уже сжился с нею; передо мной открывались возможности новой интересной деятельности, встречались новые люди, новые нравы, а главное, какое-то живое, манящее к себе дело.

Неужели я навсегда покидаю Париж?

Глава четвертая

СНОВА НА РОДИНЕ

Конец 1906 года — самые тяжелые и мрачные дни в моей личной жизни, одна из самых темных годин истории моей родины. Военное положение в столицах и больших городах — виселицы, расстрелы, политические жертвы.

Мою семью и меня постигает большое, непоправимое горе — я теряю своего отца и друга, Алексея Павловича. Об его убийстве в Твери меня извещает сам Столыпин: вернувшись со службы и сидя за составлением отчета о французских маневрах, я неожиданно был вызван к телефону каким-то неизвестным мне князем Оболенским, оказавшимся адъютантом председателя совета министров. Он сообщил, что Столыпин вызывает меня к себе в Зимний дворец. Это было столь невероятным, что я сразу почувствовал беду. Такой вызов не предвещал ничего хорошего.

Времена переменились: вместо царя во дворце живет Столыпин. Там, где я когда-то слышал беззаботную болтовню на балах, выносятся суровые решения и приговоры всероссийского диктатора.

Я был взволнован до боли, но взял себя в руки и, насколько мог, спокойно вошел в роскошный кабинет Столыпина.

Меня встретил высокий представительный брюнет с жиденькой бородкой, с глубоко впавшими в орбиты темными глазами. Несмотря на будний день и деловую обстановку, диктатор был одет нарядно — в длинный сюртук с шелковыми отворотами.

Встреча окончилась быстро. После осторожного сообщения об убийстве отца ему оставалось только, в знак сочувствия, подать мне свою сухую, нервную руку. Мне тоже нечего было ему сказать.

Над свежей могилой моего отца разыгрывалась политическая вакханалия. Мне, как сыну и военнослужащему, прекратить ее было не под силу. Пользуясь моим продолжительным отсутствием, вызванным манчжурской войной и парижской командировкой, даже самые близкие люди старались мне доказать, что политические взгляды отца за последние месяцы переменились: например, он будто бы находил вполне нормальным явлением приветственную телеграмму царя Дубровину — главе черносотенного Союза русского народа.

Я знал, что отец никогда не выказывал особых симпатий к стороннику черносотенцев архиерею Антонию Вольнскому. Алексей Павлович, несмотря на всю свою религиозность, умел отдавать «кесарево — кесарю, а божье — богу» и не допускал вмешательства «батюшек» в государственные дела.

Черные монашеские клобуки, черные дни мрачной реакции.

Что ни день — падевай мундир с траурной повязкой и поезжай на панихиду то того, то другого генерала или сановника. Панихиды всегда играли немаловажную роль в жизни светского Петербурга, на них встречались когда-то все знакомые, назначались любовные свидания; в гостиную, где лежал покойник или покойница, никто не входил, и публика с зажженными свечами в руках могла вдоволь наговориться в соседних комнатах и коридорах квартиры. Теперь же грустные православные песнопения только усиливали мрачное настроение правящих кругов, еще не оправившихся от страха, вызванного революцией.

Хочется бросить военную службу. Вспоминаю Париж. Подальше, подальше бы от российского безысходного мрака. Последманчжурские мечты о реформах явно несущественны, а военный мундир с боевыми орденами обязывает оставаться в армии.

После парижской командировки я горько жаловался Феде Палицыну на недоценку Лазаревым сведений о японском заказе осадного парка во Франции. Мой хитрый начальник быстро меня успокоил, закидав вопросами о технических деталях японских орудий. Прервав отношения с моим французским осведомителем, я, разумеется, не смог дать исчерпывающих ответов. Так навсегда и был похоронен этот вопрос.

— А вот почему вы медали за японскую войну не носите? — спросило меня начальство.

Медаль представляла плохую копию медали за отечественную войну 1812 года, бронзовую вместо серебряной; на обратной стороне ее красовалась надпись: «Да вознесет вас господь в свое время».

— В какое время? Когда? — попробовал я спросить своих коллег по генеральному штабу.

— Ну, что ты ко всему придираешься? — отвечали мне одни. Другие, более осведомленные, советовали помалкивать, рассказав «по секрету», до чего могут довести услужливые не по разуму канцеляристы. Мир с японцами еще не был заключен, а главный штаб уже составил доклад на «высочайшее имя» о необходимости создать для участников манчжурской войны особую медаль. Царь, видимо, колебался и против предложенной надписи:

«Да вознесет вас господь» — написал карандашом на полях бумаги:

«В свое время доложить».

Когда потребовалось передать надпись для чеканки, то слова «в свое время», случайно пришедшиеся как раз против строчки с текстом надписи, присоединили к ней.

Ни в одно из прежних царствований не раздавалось, кажется, столько медалей и различных значков, как при Николае II. Начав службу, я носил при парадной и служебной форме только маленькую серебряную медаль на голубой андреевской ленточке «за коронацию». Потом присоединил к боевым орденам манчжурскую медаль. В 1912 году, уже совсем без заслуг с моей стороны, мне прислали медаль с надписью:

«1812. Славный год сей минул, но не пройдут содеянные в нем подвиги».

Напись мне понравилась. Медали, отмечающей трехсотлетие дома Романовых, я не успел купить (ее мне не прислали): я уже служил за границей и был избавлен от необходимости участвовать на торжествах по этому поводу. Становилось ясно, что династия, судя по ее последним представителям, не заслуживает почета.

Флаг империи ознаменовался столетними, двухсотлетними и даже трехстолетними юбилеями; по случаю их каждый полк, каждое учебное заведение выдумывали какой-нибудь значок, лишний раз продвигалась левая сторона мундира. Вышние учебные заведения при этом старались подражать рисунку значка генерального штаба, который когда-то был единственным в русской армии, носившимся не на левой, а на правой стороне груди.

Серию подобных празднеств открыл, кажется, мой кавалергардский полк. В 1899 году отмечалось его столетие. В значке полк не нуждался. Зато ему навязали новый полковой штандарт. С неподдельной грустью расставались не только офицеры, но даже и солдаты с нашим старым полковым штандартом, тяжелым квадратным полотнищем, сплошь затканым игочерновым в пороховом дыму серебром. Он видел Аустерлиц, Бородино, Фер-Шампенуаз и Париж; держась за его край, я приносил офицерскую присягу, а теперь его, как покойника, взвод 2-го эскадрона отвез и «похоронил» в соборе Петропавловской крепости.

Церемония прибавки нового штандарта происходила в Аничковом дворце на Невском, где жила вдовствующая императрица — шеф полка. На столе лежала аляповатая икона, написанная масляной краской на холсте, изображавшая глядевших друг на друга седого старичка и старушку. Это были Захария и Елисавета, в честь которых была построена при императрице Елизавете полковая церковь. День этих святых считался днем полкового праздника. Икона была обрамлена малиновым бархатом. На обратной стороне был вышит вензель Николая II, подчеркивая неразрывную связь войсковой части с личностью монарха. Офицеры один за другим, по старшинству, специальным серебряным молоточком сбивали очередной гвоздик, прикреплявший полотнище к древку. Тяжелую серебряную цепь, на которой развевался наш старый штандарт, заменили хрупкой цепочкой, такой же дешевой, как и вся бутафория, введенная при несчастном царе. Не на полевым галопе, не на лихом карьере, а тут же на Невском, при выезде из дворца цепочка... порвалась, и новый штандарт беспомощно повис, как бы предвещая беды и несчастья.

Для поддержания царского престижа и поднятия духа в армии юбилей оказались недостаточными. Когда-то талантливый генштабист и лихой кавалерист, Сухомлинов, обратившись в низкопоклонного царедворца, решил потешать слабоумного царя все новыми и новыми украшениями полковых форм. Полковники и генералы генерального штаба тешились звонкими саблями, заменившими в мирное время шашки, и отвратительными, в дешевых позументах, копиями старых киверов, введенными вместо барашковых шапок. Все это, как известно, империи не спасло, и не таких реформ ожидали от правительства бывшие манчжурцы.

Во время войны я исполнял в штабе 1-й армии полковничью должность, а в Петербурге мне предоставили в штабе гвардейского корпуса место, которое обычно занимали только что окончившие академию штенцы.

Первое поручение — разбивка новобранцев в Михайловском манеже. Новый главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, опора Витте в революционные дни, уже не решался лично приезжать на разбивку и поручал это «ответственное дело» командиру гвардейского корпуса Данилову, одному из признанных Петербургом манчжурских героев. Бравый генерал хоть и начал службу в гвардейских егерях, но, конечно, не мог знать, как когда-то великий князь Владимир Александрович, всех традиций гвардейских полков и поэтому особенно ценящий мои познания, унаследованные от отца — старого гвардейско-

го служаки. При входе в манеж строился добрый десяток новобранцев «1-го сорта», т. е. ребят ростом в 11 вершков и выше. Как желанное лакомство их разглядывали командиры и адъютанты гвардейских полков. Однако самые высокие и могучие доставались гвардейскому экипажу, чтобы с достоинством представлять флот на весельных катерах царских яхт. Рослые новобранцы видом потрубе попадали в преображенцы, голубоглазые блондины — в семеновцы, брюнеты с бородками — в измайловцы, рыжие — в москвичи. Все они шли на пополнение первых, так называемых «царевых рот», а дальше тянулись бесконечные линии обыкновенных парней в полуштубах и украинских свитках, ошарашенных невиданным блеском мундиров, касок, шалашей и красной подкладкой седого генерала с усами и царскими вензелями на погонах.

Внешне эти застывшие от страха люди, почтительно снимающие шапки, не изменились за те десять лет, что я их не видел, однако, выслушивая просьбы некоторых из них, можно было заметить, что среди этой массы уже появились смельчаки. Раньше Владимиру Александровичу приходилось слышать лишь скромные просьбы о назначении в тот или другой полк из-за прежней службы в нем родного брата или отца. Теперь эти заявления делались самым настойчивым тоном, без ссылок на родственников, а просто так, по вкусу: «Хочу служить в гусарах, прошу назначить в стрелки», — и все как раз в те полки, которых в старое время избегали, зная наперед царящую в них тяжелую муштру. Петербургские штабные служаки мне тут же шепнули, что надо опасаться подобных заявлений, так как они исходят от людей, завербованных революционными организациями, которые должны разлагать наиболее верные полки в царской резиденции — Царском Селе.

В штабе на Дворцовой площади, за составлением ведомостей об очередной разбивке, мне вспомнились манчжурские поля, безграмотные бородачи, тяжелые поражения, скромная французская пехота, мечты «зонтов», беседы с Буропаткиным.

Если все здесь так замерло, если мы будем по старинке тратить время на отбор «рыжих» и «курных», то когда же и кто начнет думать о реформах? В штабе, кроме самого Данилова, манчжурцев нет; к нему-то и надо обратиться, используя как предлог составление плана зимних тактических занятий.

— Бросьте, бросьте эти мысли, Алексей Алексеевич, — объясняет Данилов. — Мы здесь с вами, кроме охраны престола, других задач не имеем. Запомните это раз навсегда.

Ушам не верится! Былшний начальник 6-й сибирской стрелковой дивизии уже забыл Ляоян и мовизан генерал-адъютантскими аксельбантами! Блестящая столица смирилась и других манчжурцев. Я сам на Елисейских полях старался забыть прошлое, и только тяжелое пробуждение в Петербурге снова открыло глаза на трагическую русскую действительность.

Данилов, впрочем, имел основание беспокоиться за целостность престола. В гвардии, в блестящей царской гвардии, были еще свежи воспоминания о «крещенском выстреле» 1-й «его величества» батареи во время салюта настоящим снарядам по Зимнему дворцу.

Не стерлись еще и впечатления о выходе 1-го батальона 1-го полка Петровской бригады. Накануне восшествия на престол Николай II как раз командовал 1-м батальоном преображенцев, а десять лет спустя этот батальон отказался идти его охранять и держать караул в Петергофе. Дело произошло в юнче лагеря в Красном Селе. Солдаты вышли на переднюю линию с криками: «Не пойдем! Не пойдем, а поедем!»

Люди не хотели идти пешком, а требовали поезда.

Батальон был заперт в манеж, обезоружен, с людей были сорваны гвардейские отличия, погоны, и батальон в полном составе был сослан как штрафной в село Медведь Новгородской губернии.

После этого офицеры-преображенцы стали покидать полк, а паж и юнкера отказывались выходить в «опозоренную» войсковую часть. Николай Николаевич рассвирепел и решил перевести в этот полк, без предварительного согласия офицерского собрания, лучших офицеров из манчжурских пехотных полков. Среди них попал в преображенцы и капитан Кутепов, будущий председатель общевойскового союза в Париже.

Однако, как ни старались Даниловы перековать старых манчжурцев в охранителей престола, они не смогли помешать части офицерской молодежи политически извлечь уроки из несчастной войны. Пример активной работы на переосмотром существовавших порядков подали моряки, наиболее тяжело затронутые цусимской катастрофой. «Младотурки», как прозвали тогдашних молодых реформаторов по аналогии с турецкими реформаторами, имели в своих рядах несколько волевых молодых лейтенантов вроде Колчака, принявших за серьезное изучение не только морского, но и военного дела. По их настояниям и проектам был создан впервые морской генеральный штаб, связавшийся с нашим генеральным штабом. «Младотурки» стремились прежде всего засыпать пропасть, которую начальство создало между армией и флотом. Вопрос стоял уже не о далеких военных авантюрах, а об обороне самой столицы. Угроза России со стороны Европы после проигранной войны становилась реальностью, и сам Николай Николаевич открыл залы своего таинственного дворца на Михайловской площади уже не для пьяных оргий, а для военной игры крупных военно-морских соединений. Куда девалась былая неприступность «лукавого»? Пройдя через должность диктатора в те тревожные октябрьские дни, Николай Николаевич любезно пожимал руку даже молодым генштабистам, приглашавшимся на эту игру.

Как всегда у нас бывало, чем лучше было начинание, чем горячее за него брались, тем скорее остывал первый пыл, и дело не получало развития.

Вопросы большой важности дебатировались во вновь созданном обществе ревнителей военных знаний, в военных журналах, но безнадежно тонули в глубине штабных канцелярий.

В Петербурге продолжали задавать тон все же гвардейцы. Даже самые способные из семьи Романовых, вечные интриганы Михайловичи, и те потешались подсчетом числа шагов в минуту на церемониальном марше гвардейских полков. Этим они развлекались на скучных парадах по случаю полковых праздников, для которых царь вызывал войсковые части к себе в Царское Село. Выезжать из своей резиденции он не смел. Он уже был в плену у скрывшейся в подполье революции.

На пасху 1907 года я, наконец, за выслугу лет был произведен в подполковники с назначением в штаб 1-го армейского корпуса, только что вернувшегося в Петербург из Манчжурии. Начальство решило, повидимому, посмотреть, как станет справляться с будничной работой манчжурец, «испорченный» к тому же парижской командировкой. Меня засадили за составление мобилизационного плана корпуса.

Я уже собрался подчиниться судьбе и обратиться в штабную крысу, но неожиданно в конце лета меня вызвал к себе начальник штаба, генерал Брипкен, старый манчжурский знакомый, и заявил, что меня требует к себе

генерал Иванов, бывший командир 3-го сибирского корпуса. Хитрый мужик был Николай Иудович; он в конце войны не раз заходил в нашу столовку в Херсу потолковать с молодежью, подышать штабным воздухом, и нелегко бывало разгадать, что таится за ласковым взором и еще более сладкими речами этого простака с величественной и уже слегка седеющей бородой.

— Почему бы это он именно обо мне вспомнил? — спросил я Бринкена. — И зачем я ему понадобился?

— Растерялся старик, — объяснил мне начальник. — Ему хотят дать в командование Киевский округ, но предварительно он должен для этого «сдать экзамен» на командование на больших маневрах в Красном Селе. Манчжурская война в счет не идет. Вот он и решил просить нашего командира корпуса уступить вас ему на эти дни как старого манчжурского соратника.

Иванов располагал тремя соединениями: двумя гвардейскими дивизиями и одной стрелковой бригадой.

— Одной дивизией поведем наступление с фронта, — предлагал я, — а другую вместе с стрелками направим в глубокий обход. Точь-в-точь как проделывал это над нами Ояма.

— Опасно, — возражал Иванов, — а вдруг противник обрушится на фронте превосходными силами. Что мы тогда будем делать? Посредники ведь начнут подсчитывать батальоны, а государь император уж наверно будет наблюдать за боем не с обходной колонной, а на фронте, и получится конфуз. Слушайте, дорогой, я согласен послать одну дивизию в обход, а уж стрелочков оставим при себе на всякий случай.

Спорили долго, пили чай, писали приказ, вновь переписывали, до того страх перед начальством туманил голову опытного старика с георгиевским крестом за Ляоянский бой.

Для него японцы были куда безопаснее высокого начальства, а тем более государя императора.

Несчастливая война не смогла сломать красносельских порядков, освященных традициями, а страх перед революцией усилил в правящих кругах самое страшное наследие их предков — холопство. Правда, белые кители уступили место цвету «хаки», правда, решено было обратить внимание на физическое развитие солдата, но и это доброе начинание было немедленно подхвачено ловким подхалимом, командиром лейб-гусар Войковым, для собственной карьеры. Не имея понятия о физической культуре, он выписал из Праги профессора сокольской гимнастики и использовал его для новых, невиданных красивых зрелищ на военном поле. Царь мог любоваться с царского валика, как тысячи гвардейских солдат повторяли без команды гимнастические упражнения чешского профессора.

— Я бы предложил построить войска по этому случаю в форме буквы «Н», — докладывал «зонт» Половцев своему начальнику дивизии, генералу Михневичу, бывшему академическому профессору. — Вы же, ваше превосходительство, нас учили, что при Людовике XIV французская армия всегда строилась в виде буквы «А» в его честь...

★ ★ ★

Зимняя работа в скромной квартире, отведенной под штаб 1-го армейского корпуса, оказалась совсем не такой скучной, как я представлял. Впрочем, опыт жизни мне тогда уже показал, что скучных дел на свете нет с той минуты, когда их удастся приблизить к самой жизни. Сперва казалось, что

переписка о сухарных запасах, подковных гвоздях и брезентах мертвое дело, но у меня нашелся советник, так называемый хозяйственный адъютант, подполковник с красным воротником, Иван Иванович.

Он прошел маньчжурскую войну и просидел не один штабной стул. От него я услышал, что приказы составлять, конечно, хорошо, но проверять их исполнение совершенно необходимо, и что доверять вообще никому нельзя. Когда-то, в полку, писарь Неверович посвящал меня в тайны припека. Теперь старший писарь совместно с Иваном Ивановичем обучали меня секретам составления простых, срочных и весьма срочных бумаг. Бумага из штаба округа представлялась священной, «но и ей доверять-то всегда нельзя», учил Иван Иванович, «надо проверить». Взломав пяток сургучных печатей на конверте, подбитом коленкором, я извлек самый важный документ: мобилизационное расписание дней и мест погрузки войсковых частей. Иван Иванович оказался прав: проверив названия станций по железнодорожному расписанию, я не нашел в нем места погрузки, указанного для одного из эшелонов 23-й пехотной дивизии, расквартированной в Новгородской губернии. Конфуз получился большой. Объяснив недоразумение переименованием станций (страсть к переименованиям очень опасна для мобилизаций), штаб округа указал другое место погрузки, а до него, как я донес, расстояние по воздуху превышало 200 верст.

— Такого перехода в один сутки 85-й полк совершить не сможет... — не преминул я донести своему коллеге из штаба округа.

Карты никогда не были в моде в России.

Самым больным местом в мобилизационной готовности корпуса оказались обозы, вернувшиеся из маньчжурских передыг в самом плачевном состоянии. Решено было заново их отремонтировать, заменив новыми все части, пришедшие в негодность. Разбогатевшим на военных поставках подрядчикам открывалось широкое поле деятельности и наживы. Обоз, разумеется, к намеченному сроку не был готов, что позволило Ивану Ивановичу дать мне несколько уроков по приему и веревок, и брезентов, и колес.

Ранним и мрачным декабрьским утром комиссия под моим председательством собралась во дворе одного из наших резервных полков, где уже были построены в образцовом порядке бесчисленные повозки, блиставшие свежей зеленой краской.

— Снимай правое заднее колесо! — командовал я солдатам, присланным в мое распоряжение. — Подымай пламя, подымай выше, выше, по счету «три» брось оземь!

Эффект превзошел предсказания Ивана Ивановича. Ударившись о мерзлую мостовую, втулка, как пробка, выметела из колеса, а спицы фейерверком рассыпались во все стороны. Было ясно, что колесо было старое и его для вида только закрасили.

Мало ли встречалось в военной жизни более интересных фактов, чем случай с этим подкрашенным старым колесом, а между тем он врезался мне в память. Не потому ли, что он символически представил для меня в эту минуту всю картину русской армии, украшавшейся с каждым днем то пуговицами, то блестящими атрибутами, но не лечившей те болезни, которые выявила злосчастная война. Все вокруг рассыпалось, как спицы из колеса.

★ ★ ★

Личная моя жизнь казалась разбитой, и тот высший свет, в котором я провел первые годы службы, потерял для меня после войны и революции

свою последнюю прелесть. Быть может, в этом повинно и первое соприкосновение с заграничной жизнью.

В виде исключения я считал своим долгом принимать по воскресеньям приглашения на завтрак к своему бывшему главнокомандующему, Куропаткину. Опальный старик нанимал скромную квартиру где-то за Таврическим садом, создавая себе иллюзию, будто его бывшим подчиненным будет приятно собираться вокруг него, как когда-то в далеком Херсу. В передней его верный раб, полковник Остен-Сакен, встречал приглашенных, но их, увы, приходило немного. Так впервые познал я всю горечь, которую должны испытывать опальные сановники, принимающие холодеющие чувства за личную к себе привязанность и уважение.

Родная семья, являвшая образец русской дружной, сплоченной традициями семьи, с потерей Алексея Павловича лишилась самого главного — своей души. Его старый верный слуга, управляющий Чертолынем, Григорий Дмитриевич, был замещен каким-то выскочкой, вводившим новые порядки. Наш старый друг детства, кучер Борис, вместо кровной пары рыжих рысаков, погонял кнутиком свою собственную извозчиью клячу. Хотя я был и старшим в семье, но решающего голоса в делах не имел: в отличие от английской аристократии в русских дворянских семьях все дети считались равными.

Мечта создать свою собственную семью привела к женитьбе на очень милой петербургской барышне высшего света, Елене Владимировне Охотниковой, а стремление вырваться из петербургского мрака осуществилось предложением занять пост военного агента в Дании, Швеции и Норвегии.

Глава пятая

ВОЕННЫЙ АГЕНТ В ДАНИИ

Назначение военным агентом в январе 1908 года явилось для меня неожиданностью. За долгие месяцы сидения в штабе корпуса я уже примирился с мыслью не вернуться в Париж, хотя знал, что наш посол просил об этом военного министра. Пост этот был, однако, настолько заманчив, что, конечно, на него могли метить более заслуженные, чем я, полковники и даже генералы. Сознаюсь, что начальник генерального штаба, все тот же Федя Палицын, поступил очень мудро: до посылки на ответственный пост в одну из больших столиц он сперва провел меня через небольшие скандинавские государства.

Назначение военных агентов обставлялось довольно длинной процедурой. Наметив кандидата, генеральный штаб запрашивал его о согласии, так как, кроме различных соображений семейного характера, пост военного агента был связан с денежным вопросом. В отношении окладов военные агенты распределялись на три-четыре категории: высший оклад получали военные агенты в Лондоне и Нью-Йорке, как центрах с наиболее дорогой валютой, меньшие, но все же сравнительно большие оклады предназначались для Парижа, Берлина, Вены, Токио, Шанхая и Константинополя, более низкие для Рима, скандинавских государств, Бельгии, Голландии и, наконец, самые низкие для балканских государств. Все в зависимости не только от валюты и связанной с нею дороговизны жизни, но также и в соответствии с расходами на представительство. Однако, ввиду того, что это самое представительство определить было трудно, оклады русских военных агентов, колебавшиеся вокруг 10 000 рублей золотом в год, были недостаточными, особенно для семейных, и оказывались ниже иностранных. Приходилось добавлять к окладам и собственные средства.

После получения согласия кандидата генеральный штаб представлял его назначению на усмотрение министерства иностранных дел, которое, в свою очередь, испрашивало согласие через своих послов у иностранных правительств. Только тогда следовал высочайший приказ по военному ведомству, и кандидат узнавал об этом из газеты «Русский инвалид».

Явившись по случаю назначения в полной парадной форме на Дворцовую площадь и войдя в кабинет Палицына, я был встречен моим начальником самым радушным образом:

— Ну вот, поздравляю вас. Надеюсь, что вы справитесь с деликатным положением, в которое вы попадаете.

В первую минуту я подумал, что вопрос касается познания мною скандинавских языков, но Палицын успокоил, объяснив, что я их выучу на ходу.

«Деликатное положение» было создано небольшой, по его мнению, неприятностью, произошедшей у моего предшественника, полковника Алексева, со шведскими офицерами. Он имел несчастье прекрасно говорить по-шведски, изучив этот язык в финляндском кадетском корпусе, где он в свое время воспитывался. Говорил он, однако, с финским акцентом, и потому шведские офицеры не поверили его русскому происхождению и выдели в нем изменника своей родины — Финляндии. На одном из приемов они отказались подать ему руку.

— Вам придется это сгладить и с этой целью перенести свою резиденцию из Копенгагена в Стокгольм. Но покинуть Данию тоже нельзя — ведь это родина вдовствующей императрицы, и обидеть ее никак невозможно.

Я почувствовал, что в необходимости разрываться между тремя столицами, как бы малы они ни были, и будет заключаться главная трудность моего нового поста.

— А впрочем, самое главное — это там, — закончил Палицын, указывая с присущим ему невозмутимым спокойствием на северный край висевшей на стене громадной карты Европы.

Заметив мое недоумение, вызванное белыми пятнами, обозначающими малоисследованные в ту пору полярные пространства, мой начальник глубоко-мысленно повторил:

— Да, да. Все будущее там!

Как всякого пророка, я не смог тогда ни оценить Палицына, ни представить себе возможности создания Мурманска, открытия ископаемых богатств Кольского полуострова.

Итак, продолжая глядеть на большую карту в кабинете Палицына, я понял, что мои «владения» обширны, простираясь от Немецкого моря до Северного полюса и охватывая собой театры вековой борьбы России за обладание морем и незамерзающим портом. С чего только начать объезд трех королей, трех королев, трех армий, трех посланников и трех посланниц? Мои предшественники жили всегда в Копенгагене. Не буду ломать традиций и начну с этой столицы, благо она считается одной из древнейших в Европе.

★ ★ ★

Свадебное путешествие по Европе пришлось сократить, чтобы успеть ко дню придворного бала в Копенгагене. Такой бал в каждой из «моих столиц» давался только раз в год, и дипломатическая вежливость требовала присутствия на этих торжествах иностранных посольств в полном составе. Военные агенты входили в состав дипломатического корпуса, занимая второе, по старшинству за посланником, место в посольстве, и даже жены их пользовались дипломатической неприкосновенностью. Посещение придворного бала представляло вместе с тем большое удобство и экономию времени, так как во дворце можно было представиться не только всем членам королевской семьи, но и познакомиться со всеми великими людьми этих маленьких и, как нам тогда казалось, таинственных стран.

Уже само путешествие из Берлина в Копенгаген было непохоже на другие европейские переезды. Крепко заснув под грохот мчавшегося на север германского экспресса, я проснулся от легкого толчка в полной тишине. Приподняв занавеску вагонного окна, я разглядел в темноте какой-то морской канат и спасательный круг. Ясно, что мы на пароходе, но как очутился на нем вагон, я соображаю не сразу. Легкая качка убеждает, что мы плывем по мо-

рю; снова мирный сон, потом грохот поезда и новый морской переезд, на этот раз уже с незнакомым мне до тех пор скрипыванием всего судна. Это переезд с континента через два пролива на главный датский остров. С этого небольшого опыта начались мои постоянные странствования по балтийским волнам. Плохой я от природы моряк, и потому-то, верно, начальство и послало меня в эти столицы, отделенные от родной земли водным простором.

После знакомых мне уже европейских столиц Копенгаген произвел на меня в первую минуту впечатление скромной провинции. Одна из центральных улиц, на которой находились все лучшие магазины, оказалась не шире московского переулка. Автомобили и извозчики двигались по ней только шагом, а многочисленные велосипедисты вели в руках свои машины. Первым из бросившихся в глаза магазинов явилась знаменитая Датская королевская фарфоровая мануфактура; высунувшись из окна автомобиля, жена сразу загляделась на выставленных в витрине перламутровых собачек, серых кошек и зеленых лягушек. Ни одного собственного экипажа, ни одного яркого дамского туалета, ни одного кафе, ни одного ресторана. Вся городская жизнь сосредоточена на двух-трех центральных улицах со старинными, мрачными, обветшалыми домами, и дипломаты были вынуждены довольствоваться большой гостиницей «Отель д'Англетер». Там в пустынном в обычное время зале с четырьмя пальмами, носившем громкое название «Пальмехаген», постоянно можно было встретить скучающих коллег, примирившихся на время со своей невеселой судьбой.

«В какую глушь ты меня завез», — прочел я в глазах молодой жены, избалованной петербургской барышни.

Никто, впрочем, не передал более оригинально первое впечатление от этого старинного мирного города, чем недалекий до наивности генерал-адъютант, князь Белосельский-Белозерский. Он в свое время был послан представителем паря на похороны старого датского короля Христиана X, вернувшись в Петербург, рассказывал, что самым веселым оказался день похорон. Играла музыка, было много народу, а Копенгаген по случаю печального торжества был расцвечен флагами, которые сами по себе действительно очень приветливы: широкий белый крест на красном фоне.

Будет национальных флагов во всех трех скандинавских странах непонятен иностранцам: у одних флаги вызывают снисходительную улыбку: «Теперь-де, мол, бедные маленькие островитяне, вашими национальными цветами», а других спустя некоторое время флаги начинают попросту раздражать. В любом ресторанчике Швеции — бумажный голубой флажок с желтым крестом, на каждом вокзале в Норвегии — красный флаг с синим крестом. Так и остались на всю жизнь в памяти эти страны, как будто окрашенные в соответствующие цвета своих национальных флагов. Приглядевшись, замечаешь, однако, что за этой видимостью скрываются глубокие до болезненности национальные патриотические чувства, с которыми дипломатам континентальных государств надо особенно считаться. Самая невинная критика существующих порядков, вполне допустимая в Париже, Лондоне или Берлине, может нанести тяжелую рану самолюбию датчанина, шведа или норвежца, и наоборот, всякая похвала принимается с чувством гордости за свою страну. Это я почувствовал в первую же минуту в Копенгагене, когда носильщик внес чемоданы в наш номер «Отель д'Англетер». Окна выходили на небольшую площадь с крохотным сквером, которая в эту минуту огласилась военным маршем. Носильщик сейчас же бросился к окну и на ломаном немецком языке

стал выражать свой восторг от происходившего на площади. Впереди шел оркестр из пятидесяти музыкантов, а за ним в исторических высоких медвежьих шапках шагало человек десять солдат-марионеток, окруженных восторженной толпой зевак. Даже уличные продавщицы бананов (недаром же это был приморский город) побросали по этому случаю свои тележки.

Дворцовый караул, смена которого происходила ровно в полдень, представлял важное ежедневное уличное развлечение: оркестр после смены караулов давал концерт на площади, окруженной четырьмя древними дворцами эпохи Людовика XIV с громадными окнами, застекленными мелкими квадратиками. Дворцы давно стояли пустыми, и королевская семья из экономии размещалась в мансардах и небольших пристройках, а один из дворцов оживал только раз в год, в день бала.

Поднявшись с женой по слабо освещенной лестнице, мы, предшествоваемые лакеем в полинялом красном фраке, стали продвигаться среди толпы, переполнившей спозаранку небольшие старинные залы дворца. Приглашенные, показавшиеся мне купцами 2-й гильдии, одетыми в черные плохо пригнанные фраки, расступались перед нами, а их седые супруги и белокурые дочки тарасили глаза на парижский туалет и брильянты моей жены. Ни военных, ни чиновничьих мундиров не было видно. Наконец в последнем узком, длинном зале мы нашли «своих», т. е. членов дипломатического корпуса в расшитых золотом фраках и мундирах (форменной одежды не носили одни американцы). К кучке иностранцев позволяли себе подходить только два-три старца, камергеры в вынутых из нафталина красных фраках, и пять-шесть гвардейских офицеров в светлоголубых доломанах с серебряными бранденбургками. Это были те смельчаки, которые могли объясняться на ломаном французском языке. С остальными приглашенными у дипломатов общего языка не находилось.

Противоположная часть зала была заполнена такими же скромными и уже немолодыми людьми, как и другие залы; это были члены ригсдага, а у дверей во внутренний покой держалась особняком небольшая группа мрачных на вид людей — правительство. Эту группу возглавлял высокий здоровый старик с характерным вздернутым вверх чубом седых волос. Он выделялся из окружающих его сереньких людей орлиным живым взглядом, отражавшим сильный внутренний темперамент. Это был Кристенсен — социалист, почти бессменный глава правительства, совмещавший должность военного министра. Совершенным контрастом ему являлся министр иностранных дел его кабинета, тоже седой, но молодой старик, граф Раабен-Леветцау: мирный, добрый взгляд его глаз обнаруживал довольного всем богатого помещика, занимающегося политикой для времяпрепровождения, разыгрывания роли и получения соответствующих почестей. Он был необходим социалистам для сношений с дипломатами как единственный член правительства, свободно владевший иностранными языками и получивший, в связи со своим происхождением, хорошее домашнее воспитание.

Королевская семья вошла в зал как-то незаметно и смешалась с дипломатами, с которыми, как мне показалось, была давно в близких отношениях. Первый из моих «трех королей» оказался молодым генералом все в той же форме единственного в королевстве гусарского полка. Внешность Фредерика VIII, родного брата русской вдовствующей императрицы, ничего, кроме чрезвычайной любезности, не выражала; этот человек ни о чем, ка-

залось, говорить не мог без вежливой улыбки, и это было для него выгодно, так как по его любезным фразам дипломатам бывало трудно определить, кому из них король выражал на балу особое внимание, а об этом им надлежало написать на следующий день донесение.

Удалось только заметить, с каким пренебрежением взирали на своего «повелителя» его собственные министры, и это сразу дало понять, что королевская власть служит только декорумом и прикрытием для закулисной борьбы политических партий за действительную власть. Для маленького, двухмиллионного народа, из которого чуть не половина жила в столице, политическая борьба представляла главный интерес дня. Дипломаты, читавшие ежедневно газеты, выбивались из сил, чтобы усмотреть в победе той или иной партии рост политического влияния на внутреннюю политику маленькой страны той, то другой державы. Подобный осведомительный материал, приукрашенный хитроумными соображениями и примерами, почерпнутыми из бесед с каким-нибудь коллегой, все же был интереснее, чем донесение посланника о рождении сына или дочери у одного из племянников короля. Малые страны сужают умственный горизонт дипломатов, и я, отчаявшись доказать тогдашним нашим союзникам, французам, значение для нас Балтики, решил подарить на новый год каждой из французских миссий (в малых странах роль посольства выполняют дипломатические миссии, а послы именуются посланниками) небольшой земной глобус. «Это, — объяснил я своим друзьям, молодым секретарям, — напомнит вашим посланникам величие вашей союзницы России и спасет их от составления очередной депеши о встрече на прогулке с какой-нибудь принцессой». Впрочем, не только заправские дипломаты, а и некоторые военные агенты придавали значение всякому слову и жесту коронованных особ. Глазам не хотелось верить, читая как-то донесения нашего военного агента в Вене, серьезного культирного генштабиста, полковника Марченко, с описанием каждого обеда при австрийском дворе; он прилагал к рапортам меню обеда и расположение приглашенных за столом, обозначая крестиком свое собственное место.

— Ну, какое же у тебя впечатление от вчерашнего бала? — спросил меня утром в канцелярии русской миссии мой сверстник, петербургский знакомый, Бибиков, занимавший должность второго секретаря.

— Достойно пера Щедрина или Гоголя, — отвечал я. — Особенно смехотворными показались мне придворные — отживающие свой век старики и старушки, последние обломки дворянства.

— По неужели ты не заметил самой королевской семьи? Ведь это же паша собственная царская семья в миниатюре: тут и скачущий по гатчинскому парку педоучка Михаил Александрович, тут и взбалмошная, маловоспитанная сестра царя Ольга Александровна, — объясняет Бибиков.

— Ты прав, — ответил я. — Недаром грубоватый Александр III сказал как-то моему отцу, представляя ему Николая II, тогда еще подростка: «Смотрите, Алексей Павлович, как породу испортила!» — намекая на свою жену, датчанку Марию Фелоровну.

Эти родственные отношения с датской семьей действительно имели, быть может, влияние на воспитание «Ники» (так называли в семье Николая II), столь мало приспособленного и пригодного к управлению нашей великой страной.

— Да что тут толковать о наших с тобой королях, — вступился в разговор мой будущий друг, наш морской агент, старший лейтенант Алексей Константинович Петров. — Станет господь бог мараться о таких помазанников!

Насмеявшись вдоволь, мы продолжали обмениваться впечатлениями о вчерашних хозяевах бала и все сошлись во мнении, что самой страшной фигурой все же являлась сама королева, женщина-великан, лишенная какой бы то ни было прелести. Бибиков объяснял, что она была единственной дочерью шведского короля Оскара, потомка Бернадотта, и привезла с собой в Данию хорошее приданое. Устроил этот брак, разумеется, тот самый старик, король Христиан, который сумел обеспечить не только обедневшую когда-то датскую королевскую семью, но и все свое государство, выдав замуж одну из своих дочерей за английского короля Эдуарда, а другую за русского императора Александра III. Посло этого германскому императору Вильгельму II оставалось только напосылать королю Христиану очередные визиты и называть себя скромно «*Der kleine Neffe*»¹.

Недоставало только хорошего министра финансов, чтобы извлекать побольше пользы из подобных родственных связей, но и его мудрый Христиан нашел, женив своего второго сына на принцессе Марии Бурбонской. Как «добрая француженка», она любила деньги и стяжала себе репутацию одного из крупных игроков на международной бирже, используя для этого свою хорошую осведомленность о политике великих держав. Ее маленький уютный салон, убранный во французском вкусе, казался оазисом среди неинтересного королевского окружения, жившего маленькими интересами маленькой страны.

Родственные связи датской королевской семьи помогали работе не только биржевых дельцов, но и промышленных ловчил. Через Марию Федоровну, или, как ее продолжали называть в Дании, принцессу Дагмару, датское телеграфное общество получило в свое время концессию на кабельную связь Европы с Владивостоком.

Мне это случайно очень пригодилось, так как моим переводчиком, а в дальнейшем и негласным сотрудником стал отставной чиновник этого общества Гампен. Как для всякого иностранца, прожившего долго в России, наша страна стала для него второй родиной, и он не без гордости щеголял своим чином коллежского советника, переводя его на датский язык и постоянно прибавляя к своей фамилии.

Время от времени мне предписывалось следить и за другим делом, «проведенным» через принцессу Дагмару, — пулеметами Мадсена; датские инженеры много лет безнадежно старались применить их к русскому патрону.

Но настоящим шантажем явился заказ в Дании во время манчжурской войны непроницаемых для пуль стальных кирас для пехоты. Выданный под это, невероятное по своей глупости, дело крупный аванс так и не удалось вернуть.

Бибиков оказался хорошим информатором. Шумный, суетливый, резкий в обращении, он мало кому был симпатичен не только в петербургском высшем свете, но и в накрахмаленном дипломатическом мире. Он был талантлив, начитан, легко владел языками, а главное, «любил Россию». Дипломатическая служба является большим пробным камнем для проверки отношений

¹ Маленький племянник.

каждого к своей стране. Человек отрывается от родины с молодых лет надолго, если не навсегда. Живет он в атмосфере интересов тех стран, куда его бросает судьба, и, охраняя свой личный престиж по всем законам дипломатического этикета, невольно суживает свой кругозор до интересов собственной личности, а в лучшем случае собственного посольства. Его родина представляется ему местом пребывания очень далекого от него начальства и старых друзей. До получения самостоятельного поста секретари посольств являются слепыми канцелярскими работниками, зависящими исключительно от собственного посла.

Не таков оказался Бибилов. Его интересовала не только датская, но и большая европейская политика. Сколь странними показались мне его рассуждения о том, что настоящей причиной всех европейских дипломатических интриг является вражда между Англией и Германией! Такие слова, как «империализм, империалистическая политика», у нас еще не были в ходу. Европа к 1908 году едва оправилась от алжезирасского инцидента, в котором Германия впервые, пользуясь ослаблением России после японской войны, выступила как первоклассная колониальная держава против французских интересов в Африке; Англия создавала тогда сложную, скрытую от глаз постороннего наблюдателя сеть политических взаимоотношений.

Для меня, как и для многих, судьба европейского континента зависела попросту от мощи четырех армий: русской, французской, германской и австро-венгерской.

— Россия и Франция не что иное, как орудия в руках Англии. Пойми ты это, — горячился Бибилов и приводил как самый для меня сильный аргумент умопомрачительную германскую морскую программу. Об англо-германском морском соперничестве я, правда, слышал от наших моряков в Петербурге. Но там казалось, что только они, моряки, и интересовались этим вопросом, причем мнения о качестве каждого из этих флотов были различны. Большинство считало, что, хотя немцам и удалось уже догнать англичан в отношении вооружения и дисциплинированности личного состава, им все же не удастся догнать своих соперников, этих природных моряков, в отношении мореходных качеств судов.

Как большинство русских монархистов, а Бибилов показал себя таковым и после революции, он был в душе германофилом и отнесился, подобно нашему кучеру Борису, с затаенным традиционным недоверием к «коварному Альбиону».

Пробовал Бибилов объяснять мне что-то довольно туманное об англо-германской экономической борьбе, но, в сущности, о значении экономики в политике, даже во время войны, все наше поколение имело тогда самое слабое понятие. Смехотворными и мелочными казались усердия французских дипломатов, стремившихся продвинуть на скандинавские рынки французский коньяк.

Осматривая из любопытства копенгагенский порт, я только увидел, как грузились на английские пароходы, с их пестрым красно-синим флагом, бочки с большим ярлыком, изображавшим корову на зеленом лугу.

— Полюбуйся, это наше родное сибирское масло, — объясняет Бибилов. — Вон видишь под этим навесом бочки в грязных рогожах? Здесь масло перекладывают в датские бочки, что, правда, необходимо из-за встречающихся в нем булыжников, — знаешь, для веса. Сибирское масло превращается в датское и отправляется в этот колоссальный Лондон. Наши купцы умеют

торговать только у себя дома кумачом да скобяным товаром, а Петры Первые рождаются не часто. А не отгородиться ли нам от всей этой Европы надежной китайской стеной? — так рассуждал мой посольский коллега за десять лет до первой мировой войны и революции.

Однако действительность не позволяла отгородиться от Европы китайской стеной. Копенгаген представлял, с моей точки зрения, тот пост, с которого можно было наблюдать за всем тем, что почти всегда скрыто от глаз дипломатических и военных представителей больших государств. Больно уж они там на виду. Это мне хорошо уяснил мой коллега в Берлине, опытный и дельный полковник Александр Александрович Михельсон, который назначал мне свидания не иначе, как в глубине обширного городского парка «Тиргартен».

— Здесь спокойнее поговорить по душам, — объяснял он мне.

Военный атташе — это официальный шпион. Таково ходячее мнение о нашем брате, но это не совсем так.

В ту пору, когда я был назначен в скандинавские государства, в Европе уже появились первые симптомы предвоенной лихорадки: Алжезирас, босногерцеговинский инцидент. Вместе с небывалым ростом вооружений оживали и заснувшие было временно шпионские организации. Некоторые военные атташе, естественно, были в них втянуты, что и создало обобщающее о них мнение. Результаты участия в этой шпионской работе не заставили себя долго ждать — начались дипломатические скандалы, главными героями которых оказались следовавшие один за другим русские военные агенты в Вене. Слишком уж представлялось заманчивым использовать для получения секретных сведений славян, составлявших в то время большинство населения «лоскутной империи», как называли австро-венгерскую монархию.

Драме одного из таких славян — начальника разведывательного отдела австрийского генерального штаба полковника Ределя — посвящена обширная литература. Чех по происхождению, он был уличен в получении крупных сумм, переводившихся ему русским генеральным штабом. Если уж такие высокие лица шли на службу России, то как было не поверить тем предложениям услуг, которые русские военные агенты получали от военнославянских славянского происхождения тотчас по приезде в Вену? Они упускали из виду только небольшую деталь: шпионы засылались к ним самим австрийским генеральным штабом с целью проверки дипломатической лояльности вновь прибывших русских военных представителей.

Да не посетуют на меня мои бывшие коллеги — военные атташе всех стран, но я находил, что если положить на одну чашку весов ценность какого-нибудь подозрительного документа, а на другую — честь и достоинство представителя своей родины, то вторая чашка перевесит. Существует много других способов проникновения в чужую страну, кроме злоупотребления дипломатической неприкосновенностью. Я не отказывался использовать свое пребывание за границей для наиболее полного осведомления своей армии, но перед отправлением к своему посту поставил условием работать негласным путем только в тех странах, где я не был официально аккредитован.

Начальство пробовало было оспаривать мою точку зрения, но предъявить ко мне особых претензий не могло: на негласную разведку мне ассигновалось только 1000 рублей в год. О всякой другой затрате сверх этой суммы требовалось всякий раз запрашивать предварительное согласие в Петербурге.

При подобных условиях разворачивать агентурную деятельность было трудновато.

Судьба, однако, мне улыбнулась.

Нежданно-негаданно в мою служебную комнатку, которую я отвоевал в мизерном помещении посольской канцелярии, явился незнакомый мне старик высокого роста с черной седеющей бородой лопатой и глубоко впавшими в орбиту темными глазами. По фамилии, которую он назвал, было трудно определить его национальность. Он просил меня его выслушать.

— Я близок к военной среде такого-то государства, — начал посетитель, — мне, например, хорошо известна такая-то крепость. Плана ее у меня с собой нет, но если у вас имеется хорошая карта генерального штаба, я все смогу вам объяснить, и вы сумеете, конечно, судить о моей компетенции в подобных вопросах.

Крепость эта мне хорошо была известна, соответственный лист карты я купил в тот же день в книжном магазине и терпеливо стал слушать доклад загадочного старца. Оказалось, что его данные совпадали с нашими и потому, на первый взгляд, интереса не представляли, за исключением, однако, двух-трех батарей дальнего действия, расположение которых нашему генеральному штабу в то время не удалось открыть; мы только могли о них строить предположения.

— Хорошо, — сказал я, — но все эти сведения меня мало интересуют, — хотя в душе решил использовать незнакомца.

— Документов я доставлять вам не могу, а если хотите, то буду писать только о том, что знаю, — продолжал незнакомец. — Если моя работа вас удовлетворит, прошу вас высылать мне ежемесячно...

И тут он назвал мне такую крупную сумму, о которой я тогда и мыслить не смел.

— Никто, кроме моей жены, не будет знать о моих с вами отношениях. Если что со мной случится, она вас известит. Нам едва ли придется еще раз свидеться.

Согласившись на предложение и установив почтовую связь через третьих и четвертых лиц, мы уже совсем подружились, и я решился спросить, что побудило старика приехать в Копенгаген и явиться ко мне с предложением услуг.

— Я родом из провинции III. Глубоко всю жизнь таю месть за свою угнетенную страну. А выбранный мною способ, связанный с денежным вопросом, объясняется желанием еще при жизни обеспечить мою любимую дочь, — закончил старик.

На том мы и расстались.

Мы оба сдержали свои обещания, и союзные армии, не желавшие доверить полностью доставлявшимся стариком сведениям, убедились в их правдоподобности только тогда, когда грянула гроза мировой войны. К тому времени старика уже не было на свете. Не позднее как через два года работы и после довольно продолжительного перерыва я получил, наконец, письмо, извещавшее о смерти моего сотрудника в форме простой газетной вырезки следующего содержания:

«Патриотический союз резервных офицеров такого-то округа европейской столицы с сердечным прискорбием извещает о кончине своего почетного президента, полковника в отставке Н.».

Тайные осведомители, кроме хорошего оправдательного документа, наследства после себя не оставляют.

Этот случай, а впоследствии и многие другие, доказал, что донесения осведомителей нередко более ценны, чем самые на вид «секретные» документы.

Входит как-то раз в рабочий кабинет Николая II в Царскосельском дворце мой отец, Алексей Павлович, и застаёт царя, с лупой в руке рассматривающего громадный лист ватманской бумаги со сложной схемой, озаглавленной «Мобилизационный план германской армии».

— Вот Сухомлинов поручил мне убедиться в подлинности подписи на этом документе самого Вильгельма. Мы заплатили за этот документ один миллион рублей, — жалостливо сказал Николай II.

Документ оказался прекрасно выполненной фальсификацией, одной из тех, на средства от продажи которых работала германская разведка. Только наивные люди, подобные Николаю II, могли подумать, что план мог быть подписан самим императором. Невольно возникала мысль: кто из соотечественников мог поделиться такой богатой добычей?

Говорят, что в мире существует много не объясненных еще наукой явлений. Тайные дела тянут за собой другие подобные же дела, и человек, которому удалось случайно заключить одну сделку по негласной разведке, притягивает к себе, как магнит, шовых, совершенно посторонних людей с подобными же предложениями. Установленный мною принцип не злоупотреблять гостеприимством страны, при которой я аккредитован, помог мне во всей последующей работе: Копенгаген стал для меня столь же безопасным городом, как и Петербург.

В этой незаметной для постороннего глаза деятельности каждый человек должен работать согласно своему темпераменту.

Так, даже общение с подонками человеческого общества, с предателями своей страны, не только не расшатало, а скорей укрепило во мне значение того великого рычага, что представляет собою во всякой человеческой работе доверие!

— Знаете, — сказал мне как-то один из моих иностранных осведомителей. — Когда я в первый раз уезжал от вас с поручением и занял место на пароходе, то подумал: «Зачем я влез во всю эту историю?» Но, вспомнив нашу беседу и почувствовав в кармане выданный вами небольшой аванс, решил: «Нет! Поздно. Я такого человека подвести не могу».

Все налаженное мною дело осведомления, а главное, связи России с заграницей на случай войны, было провалено моим преемником из-за глупейшей неосторожности. Среди визитных карточек, собиравшихся им на подносе в передней, он случайно забыл карточку с адресом своего тайного представителя в другой столице. Нити были открыты. Россия вступила в мировую войну, задушив сама себя закрытием границ без единой отдушины во враждебные государства.

★ ★ ★

Дело негласной разведки в соседних странах для военных агентов было делом побочным. Прямой их обязанностью было держать в курсе свой генеральный штаб о состоянии сил той страны, где они находились, что, кроме очередных донесений о виденных учениях, маневрах, посещениях войсковых частей, заключало в себе, в конечном итоге, пересоставление книги «Вооруженные силы такой-то страны». Книги эти переиздавались Главным управле-

нием генерального штаба как «не подлежащие оглашению». Кроме того, военные агенты должны были доставлять все вновь выходящие уставы и книги военного и технического содержания, а некоторые, более усердные, составляли еще ежемесячные сводки о прессе: это мне казалось особенно важным после уроков, полученных когда-то в Париже от итальянского военного коллеги. Начальство мое не учитывало при этом, что всю эту работу мне приходилось производить из трех стран, т. е., как говорится, «в кубе», и что от увеличения числа дивизий и бригад размеры уставов не изменяются.

Трудно вообще поверить, насколько мало заботился Петербург о своих военных представителях за границей. В отличие от германских военных атташе, которые пользовались услугами не только посольских канцелярий, но имели и по два, по три помощника из перелицованных в гражданские атташе офицеров, русские военные агенты были предоставлены самим себе и переписывали от руки свои донесения. Свой собственный кабинет приходилось обращаться в канцелярию.

Подсаживается как-то к моему письменному столу наш хороший приятель, австро-венгерский посланник граф Сэчен, и вздыхает.

— Слушай, — говорит он, — что ж мы будем делать в этом скучном городе, если наши страны надумают восстать? Подумай только, ведь нам тогда не придется больше встречаться.

А я сижу и думаю: а что может случиться, если вдруг моему приятелю придет мысль приоткрыть ближайший ящик письменного стола? В нем он сможет, пожалуй, найти как раз такой документ, который уже и сейчас швервет нашу дружбу. Страшно встать и отойти от стола.

Пришлось произвести большую революцию в высоких петербургских сферах, и мои коллеги должны были низко мне поклониться за те кредиты, которые были с великим трудом испрошены на заведение нескороаемых сейфов и пишущих машинок. Для печатания бумаг я использовал в каждом городе псаломщиков посольских церквей, благо богослужения в этих церквях совершались не часто.

Впрочем, принцип экономии давно уже проводился царским правительством не только в отношении военных, но и дипломатических представителей. Невольное чувство обиды за Россию охватывало меня при всяком посещении германского посольства в Копенгагене: на первой площадке лестницы висел грандиозный портрет Петра в преображенском мундире. Немцы наняли лучшее помещение в центре города — старинный дворец, где когда-то останавливался Петр и где по традиции размещалось много лет русское посольство. Теперь посланник занимал скромную квартиру в каком-то частном доме.

Свою работу в Копенгагене мне пришлось начать с разбора оставленного моим предшественником наследства в виде тетрадей и бумаг, сваленных без всякого порядка в ящик, хранившийся в посольской канцелярии. Хотя мой недолгий служебный опыт мог бы уже мне доказать, насколько у нас в России не придавали значения одному из важнейших условий работы — преемственности при передаче дел, все же копенгагенский урок заставил меня на всю жизнь уважать этот принцип, в особенности при сдаче заграничных постов. Предшественник не только может в двух словах обрисовать положение каждого вопроса, над которым он работал, но и передать своему преемнику то, что ни за какие деньги и в короткий срок приобрести нельзя: у себя дома — живые характеристики подчиненных, а за границей — связи, знакомства и портреты главных политических и военных деятелей. Можно с уверенностью ска-

зать, что без хорошо обеспеченной преемственности нельзя ожидать от военного агента интересных допущений ранее четырех—шести месяцев.

Собственные коллеги-дипломаты мало могут чем помочь в тех странах, где они языка не понимают, как, например, в скандинавских, знакомство их ограничивается дипломатическим корпусом, а в больших государствах они враждаются среди того общества, которое стоит далеко от военных вопросов.

Единственным и очень ценным осведомителем моим в Копенгагене оказался мой французский коллега, майор Хэпп. К сожалению, он очень не нравился моей жене из-за грязных ногтей и подозрительного цвета воротничка. Но за ним было то главное преимущество, что мать его была норвежкой, и это позволяло ему без словаря переводить тексты любой из скандинавских стран. Сидит, бывало, Хэпп в засаленной пижаме за машинку и начнет без устали печатать:

«Два барабанщика. Три капрала. Один лейтенант. Один капитан. Шесть унтер-офицеров. Десять капралов» и т. д.

— Да кому это интересно, — спросил я своего коллегу, — знать, сколько капралов в датской обозной роте?

Хэпп обиделся.

— Это же самое главное, — объяснял он. — Это кадры, поймите — кадры.

«Так вот с чем недостаточно считались у нас в России», — про себя подумал я, и слово «кадры» приобрело для меня особое значение.

Франко-прусская война была выиграна не только Мольтке, но и германским унтер-офицером, сельским учителем, а американская техника обязана не только Фордам, но и высококвалифицированным, опытным рабочим.

Нет человека без слабостей, и у такого на вид невзрачного человека, как майор Хэпп, была тоже страстишка — болезненное преклонение перед орденами. Посмотрит он, бывало, на мою широкую колодку на груди мундира и сразу напомнит мне, что пора запросить для моего союзника очередного Станислава или Анну.

Он не оставался у нас в долгу. Я встретил его после мировой войны во Франции генералом. Он потерял в бою ногу, и ему было поручено, как инвалиду, приведение в порядок кладбищ на фронте.

— Я о ваших специально позаботился, — доложил мне мой бедный бывший коллега, увешанный орденами, — разрыл могилы и переложил покойников согласно полученным ими при жизни Георгиям первой, второй или третьей степени.

Пример Хэппа побудил меня как можно скорее изучить языки тех стран, в которые я был послан. Первой обязанностью военного атташе является возможность говорить на одном языке с той армией, при которой он состоит. Уставы, книги, журналы — все может быть прочтено в России, но они получают особый смысл для человека, живущего в атмосфере, где составляются эти печатные документы.

В определенную эпоху уставы всех стран похожи друг на друга, но понять, почему именно некоторые слова написаны жирным шрифтом, некоторые объяснения особенно пространны, может только тот, кто ознакомлен с качествами и недостатками той или другой армии, с ее духом, привычками и традициями. Уже поэтому военный атташе, как и всякий иностранец, живущий вне пределов его страны, обязан одухотворять печатное слово живым наблюдением, общением с населением, знакомством с его бытом, нравами и вкусами. Только при этих условиях он способен и видеть и, что еще важнее, предвидеть.

В первый же день моего приезда в Копенгаген я убедился, что даже самая простая фраза, произнесенная по всем правилам разговорника, непонятна для жителя этого города. Выйдя из отеля, я самоуверенно назвал шоферу такси адрес нашей миссии, предусмотрительно заученный в Петербурге.

— Брэдгадэ-сю, — сказал я.

— Ик-кэ ферсто, — ответил мне датчанин.

Пришлось звать на помощь портье гостиницы и выучить наслух новое произношение: вместо Брэдгадэ — Брейгей.

Ничего не поделаешь, глотают датчане последние слоги. Это потомки моряков-парусников и, подобно англичанам и норвежцам, говорят на том языке, на котором их предки умудрялись перекликаться при сильном морском шторме с носы барки до рулевого на корме.

Язык — одно из наиболее ярких отражений истории страны, и при чтении газет моих трех государств я вспомнил, как, например, Дания в свое время была большим государством, распространив свои владения и на Норвегию, и на Швецию, — все три языка имели много общих корней. Я остановился на изучении шведского языка, как языка самой крупной из «моих трех армий» и наиболее близкого к немецкому. Через шесть месяцев я мог читать первые страницы газет и объясняться в поездках и гостиницах, через год читать уставы и объясняться со шведскими офицерами, а через два года выражать по установленному в Швеции обычаю коллективные благодарности гостеприимным хозяевам дома за великолепный обед.

— Неужели вы до сих пор помните шведский язык? — спросила тридцать лет спустя жена шведского военного атташе, встретив меня на Красной площади на первомайском параде.

Несмотря на приложенное усилие по изучению языков, мне пришлось, кроме этого, с первых же дней приезда познакомиться с нравами и обычаями новых для меня стран. Прежде всего надо было в кратчайший срок понять квартиру, соответствующую по размерам, а главное по выгнату, моему служебному положению. Это казалось нетрудно. На той же пустынной площади Мармори-плац, посреди которой возвышалась промоздкая мрачная Марморн кирке с ее заунывным звоном колокола, отбивавшего часы, располагалась и наша канцелярия посольства, а в соседнем доме нашлась обветшалая, но довольно просторная квартира. Ни дворников, ни швейцаров в Копенгагене не существовало, и единственным затруднением было найти хозяина дома. Цена показалась мне очень дешевой, и я сразу попросил заключить договор на три года.

— У нас договоров на квартиры не существует. Нам достаточно вашего слова, — заявил мне старик-датчанин.

Плохо понимая его гортанные звуки, я с трудом поверил его ответу. К такому доверию я в России не был приучен!

Вскоре прибыла из России прислуга: камердинер, он же буфетчик — только что окончивший службу лейб-гусар, горничная и повар. Для обслуживания дома, а главное, для подачи к столу русского персонала не хватало, и пришлось нанять еще молодого, юркого, белобрысого датчанина, у которого оказалось только один недостаток: в поданной им от полиции справке значилось, что больше половины его содержания я обязан удерживать на покрытие «алиментов» трем женщинам. Бедный Фриц, ему было тогда всего 26 лет!

Бибииков приоткрыл мне завесу над той стороной жизни, которая для меня, как для женатого, была недоступна.

— Здесь для женщин закон простой. После шестнадцати лет ни одна девушка не имеет права оставаться без определенного места, работы или службы. Этим, с одной стороны, упраздняется проституция, а вместе с тем женщина уравнивается в правах с мужчиной. А что касается материнства, то датский суд неизменно отдаст преимущество голосу матери, считая, что, как бы ни был низок ее нравственный облик, все же к вопросу о ребенке она будет относиться более правдиво и глубоко, чем мужчина.

Вот тебе и королевство! Насколько же его законы впереди порядков не только царской России, но и республиканской Франции!

Как только квартира была устроена, надо было организовать новоселье — первый дипломатический обед, от успеха которого, по мнению русского посланника, князя Кудашева, зависело чуть ли не все наше положение в Копенгагене. Предшественники Кудашева сделали в последующем блестящую карьеру: Моренгейм, посол в Париже, организовал франко-русский союз. Извольский стал министром иностранных дел. Но Ванечке Кудашеву, как звали его бывшие однополчане-конногвардейцы, мечтать о подобной карьере не приходилось, хотя он и пытался не отстать от своего уже великого в те дни свояка Извольского и считал себя его преемником по изучению вопроса о нейтралитете датских проливов. Нового в этом он, конечно, ничего открыть не мог и приложил все усилия для тщательного ознакомления с дипломатическим этикетом — этой важной и неразрывной частью работы иностранных представителей за границей. Мой первый посланник оказался и моим первым учителем на этом поприще.

Хотя мы с женой и навиделись в домах наших родителей обеды с приглашенными, но, вспоминая парижские приемы, я знал, что заграничные порядки сильно отличаются от русских. Прежде всего нет водки, нет закусок. Гости садятся за стол голодными и не довольствуются двумя-тремя блюдами. Надо составлять меню, для которого существует освещенная традициями всех стран схема. На первое — суп (русских пирожков никто не ест), на второе — рыбное, на третье — основное мясное блюдо — ростбиф или окорок телятины, баранины, ветчины с овощами, на четвертое — куры или дичь с салатом, на пятое — «примёры» — спаржа, артишоки, цветная капуста, трюфеля и, наконец, сладкое, а после него сыр, фрукты, петифуры, конфеты. Основным качеством обеда является скорость подачи: на подобном обеде гости не должны сидеть больше сорока пяти—пятидесяти минут за столом. Кудашев каждый раз проверял это по часам. Если второе блюдо холодное, то третье должно быть горячее, если третье горячее, лучше, чтобы четвертое было холодное, и т. д. Если на второе блюдо соус светлый, то на третье надо подать блюдо с темным соусом. Вкус, цвет, температура — все должно быть разнообразно и заранее предусмотрено. С меню обеда надо согласовать и сорта вин: после супа — мадера, портвейн или херес, после рыбы — белое вино холодное, после мяса — красное «Chambgé», перед сладким — шампанское холодное, после сыра — сладкое десертное. Бутылки с вином, разумеется, на стол ни в каком случае не ставятся: вино или наливается прислугой, или, в крайности, подается в графинах. Церемония обеда на этом не кончается, так как, перейдя в гостиную, гости должны еще получить кофе, ликеры и сигары.

Этот сложный церемониал, унаследованный буржуазией XIX века от эпохи роскошных придворных приемов французских королей XVIII века, составил

часть тех условностей, которыми живет дипломатический мир и до наших дней. Впрочем, приглашение на обед, места за столом — все представляет значение не только в дипломатическом, но и во всяком буржуазном обществе. И вот на этом-то я и не выдержал своего первого экзамена у Кудашева. Пригласив его с супругой на новоселье, мы хотели блеснуть перед ним нашими первыми достижениями — списком приглашенных: английский посланник, чопорный Джонстон с моноклем в глазу, датский гусарский капитан граф Мольтке с женой, австрийский секретарь граф Шенборн и, как свой человек, на самом последнем месте — Бибииков.

На следующее утро, встретив меня в канцелярии, Кудашев не скрыл своей обиды.

— Как это вы умудрились испортить столь прекрасный обед, пригласив этого Джонстона? Вы правильно сделали, посадив его как иностранца по правую руку от вашей супруги, а меня по левую, но для первого обеда ваш собственный посланник должен занять первое место, и для этого надо было приглашать только лиц, стоящих ниже его по положению за столом!

Вот чем жили, да еще, пожалуй, и сейчас живут дипломаты.

Простота отношений, демократический дух датского народа производили на большинство из них удручающее впечатление. Прежде всего для передвижения и прогулок надо было всякому дипломату сделаться велосипедистом.

«Сегодня фонари зажигаются в 6 часов вечера», — прочел я в первый же день моего приезда на первой странице газеты «Политикен» и, расспросив обывателей, узнал, что это касается специально велосипедистов.

«Вчера король на своем велосипеде печально налетел на лоток продавщицы пряников, извинился и заплатил 10 крон. Неужели наш король так беден, что не смог заплатить больше?» — перевел я на уроке чтения той же газеты через несколько дней.

Все репетитивно проезжие дороги имели параллельные бетонированные дорожки, по которым катил и стар и млад, и богат и бедняк, что придавало жизни ту внешнюю прелестную простоту, которой нигде в Европе нельзя было встретить. Помню негодование американского миллионера, катившего в богатом автомобиле и вынужденного остановиться в пути, заочевав в какой-то скромной деревушке. После 10 часов вечера движение автомобилей в стране прекращалось: они не должны беспокоить мирный сон датских крестьян.

Хорошим воспитательным приемом для снобов-дипломатов являлись посещения знаменитого «Тиволи». Почтенные посланники в смокингах и их супруги в парижских туалетах должны были привыкнуть к мысли, что более веселого места во всей Скандинавии не имеется; при свете разноцветных фонариков, катаясь верхом на деревянных карусельных львах, они, в конце концов, находили совершенно нормальным узнавать в соседке, сидящей на спине тигра, свою собственную горничную.

На всем укладе датской жизни лежал отпечаток медленной систематической борьбы «низиных» социальных классов за свои права. Все перегородки между ложами в театрах были давно снесены. Когда я приезжал в гости к графу Раабену в его старинный замок «Ольхольм», мне казалось, что я попадаю в какой-то особый мир. От ближайшего городка Ньестад он был отделен древней высокой решеткой. Семья и приглашенные коротали день в прогулках по буйковым лесам, составлявшим украшение и гордость датских островов. Вековые деревья, сплетаясь ветвями у самых вершин, напоминали легкие своды

готических соборов. По вечерам таинственный громадный замок оглашался нежными звуками органа, на котором играла сама очаровательная хозяйка дома, графиня Нина Раабен.

Но вот воскресное утро. Хозяйка предлагает гостям покинуть замок и переселиться неподалеку в импровизированный палатный лагерь на морском берегу. С двенадцати часов дня старинные ворота решетки замка должны быть открыты, и население имеет право пользоваться весь день парком с его тенистыми уголками.

— Никогда я не пойму этих датских порядков, — возмущался князь Кулашев.

Русскому помещику не приходило в голову, что на таких податках народу только и могли сохранять на Западе свое положение имущие классы.

★ ★ ★

Будничная жизнь русской дипломатической миссии в Копенгагене нарушалась ежегодным приездом в августе вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Для встречи «ее величества» посланник и оба секретаря облачались в расшитые золотыми позументами придворные мундиры и белые штаны, и только я не должен был страдать от жары, являясь на пристань в походной форме при серебряном шарфе и пашке. Вновь установленную парадную форму с кивером и саблей императрица находила столь уродливой, что просила меня никогда в ней не показываться. Реформа Сухомлинова успеха при ней не имела.

Величественно входила в небольшой копенгагенский порт темносиняя красавица-яхта «Полярная звезда», окаймленная по борту массивным золотым канатом. Перед ней бледнела ее соперница, стоявшая тут же на рейде, — яхта английской королевы Александры, сестры Марии Федоровны.

Радостно билось каждый раз сердце при виде родных русских людей — гвардейских матросов, таких могучих, загорелых ребят с обнаженными шеями и лихо заломленными набекрень фуражками с георгиевскими ленточками.

— Здорово, братцы! — И в этом русском приветствии, и в дружном ответе откликалась родная сторона.

Срок службы во флоте был в ту пору семилетним, и потому каждый год встречались те же лица. Быть может, и этим русским ребятам казалось приятным встречать за границей все того же «своего офицера», и я постепенно стал ощущать при встрече с ними те же чувства, что когда-то в своем уланском эскадроне.

Эту идиллию разрушил мой коллега Петров, знавший в совершенстве морские порядки.

— Вот посмотри на этих людей; они к-как будто ве-ерно-по-о-данные (Петров, от природы заика, любил шутливо бросаться установленными монархическими трафаретами), а-а в ду-ше он-и-и уже х-хорошо под-г-о-отовлены к-к революции. Императрица по приходе в Копенгаген отправится, как ты знаешь, со своей сестрицей-королевой на дачу в Видерэ и будет счастлива забыть на время всякие придворные и служебные дела. Но на «Полярной звезде» будет не до отдыха. На нее будут свозиться сотни и тысячи ящиков с заморскими винами и самыми дорогими парижскими консервами, благо на них в Дании пошлины нет. Все эти ценные грузы поставляются крупными датскими торговыми фирмами и оплачиваются банками, в которых открыты текущие счета для всей придворной челяди, до горничных и выездного бородача-казака включительно. Все они являются контрагентами питерских и московских

магазинов Смурова и Елисеева, и мы с тобой подозревать не будем, угощаясь на Морской французским сыром и дорогим ликером, что все эти заморские деликатесы доставила нам «Полярная звезда». Ее экипаж, все эти здоровенные гвардейские молодцы, вернувшись из плавания и пришвартовавшись к набережной в Кронштадте, должны будут на своих спинах проносить контрабанду мимо таможенного чиновника, заявляя, что все эти тысячи тонн консервов предназначены для «ее величества». Они ответят улыбкой на многозначительную улыбку таможенного чиновника — блюстителя интересов нашей русской армии.

— Но ведь это же возмутительно! Что же смотрит начальство на яхте? Я пойду сам с ним объясняться, — заявил я.

Старший офицер на яхте, этот истинный хозяин всякого военного судна, капитан 2-го ранга Заботкин, разделил отчасти мое негодование.

— Таможня-то таможней, — сказал он, — но ведь мы, кроме того, ежегодно рискуем потерять самую яхту на обратном рейсе. Из-за перегрузки она садится в воду чуть ли не до самого золотого каната, и волна гуляет, как хочет, по палубе. Я просил у императрицы разрешения установить хотя бы какую-нибудь норму для всякого пассажира, но получил категорический отказ. «Что это вы вздумали ломать установленный порядок?» — оборвала меня императрица.

— Вот видишь, — злорадствовал Петров, — я был прав. Опять одни, хоть, правда, и небольшой тупиик. Сами ведем революционную пропаганду.

Глава шестая

В ШВЕЦИИ

Выезжать из Копенгагена в Стокгольм приходилось вечером. В порту на пристани было темно и неуютно; там дул вечный ветер, предвещавший хорошую качку в течение двухчасового морского перехода до шведского порта Мальмё. Лучшим местом на пароходе оказывалась пароходная столовая, где можно было пить маленькими глотками коньяк, не обращая внимания на покрякивание ветхого датского суденышка.

Швеция встречала чистотой и порядком, царящими и на вокзале, и в поезде. Везде простой, здоровый и отличный от европейского континента комфорт, без лишней роскоши, без единого лишнего предмета; вместо ковров подозрительной чистоты — морские маты, вместо оконных занавесок, рассадников пыли, — прочные, добротные шторы.

Заснув в грубоватом, но чистом белье, просыпаясь только утром и сразу чувствуешь, что поезд уже далеко увез тебя от берегов дождливой Дании, от серых ландшафтов европейской зимы. Стройные ели, припороженные снегом, напоминают близость родной стороны, а ослепительное февральское солнце переносит мысли в детство, в далекий, но навсегда дорогой Иркутск. Воздух так чист и прозрачен, что, несмотря на мороз, выходишь подышать на открытую площадку вагона, не падевая пальто. Не раз думаю я, путешествуя по Швеции, Норвегии и Финляндии, насколько легко молодежи этих стран побивать мировые рекорды по зимнему спорту; а вот попробовали бы они заняться этим делом в наши трескучие морозы или в промокшую оттепель на нитерских болотах!

При выходе с вокзала в Стокгольме меня озадачила надпись на фонаре с названием площади: «Torg». «Торг», да ведь это же русское слово. Торг — торговля. Не варяги ли занесли его нам, обучая торговле моих тогда еще полудиких предков? На площади Торг скупали лен и хлеб, а для порядка ставили посреди «Столпе» — столб. Не они ли окрестили нашу родину Русью?

Таким быстро помчало нас по очищенным от снега и гладко вымощенным улицам в лучшую в городе гостиницу «Грандотель». В противоположность Копенгагену Стокгольм произвел впечатление столицы хотя и небольшого, но высококультурного государства. Об истории его напоминал не только древний королевский замок на высокой скале, но и бесчисленные памятники, разбросанные по скверам и площадям. Большинство из них во всех шведских городах изображает небольшую щупленькую фигуру Карла XII, и уже это показывает, насколько несправедливо оценивают потомки своих предков. Казалось бы, шведы должны были больше всего прославлять создателей ве-

личия их страны — Густава Вазу и Густава-Адольфа, этого великого полководца, перенесшего войну на континент и павшего смертью героя в последнем выигранном им сражении при Лютцене. Но это были типичные представители своей эпохи и своего государства, тогда как первый до истеричности Карл XII, этот военный авантюрист, растерявшийся под ударами Петра многовековое владычество Швеции на Балтике, повидимому, сильнее воздействовал на воображение своих потомков: он был совсем на них не похож.

В прекрасном номере гостиницы меня уже ждала горячая ванна, которой я поспешил воспользоваться. Но при этом пришлось сразу познакомиться с одной из характерных черт шведского быта: не успел я раздеться и опуститься в воду, как предо мной предстала молодая, цветущая здоровьем горничная и, не спрашивая разрешения, намылила мочалку и усердно стала меня обмывать. Это было сделано так просто и решительно, что я и протестовать не посмел. Роль банщиков в Швеции выполняют исключительно женщины, они же заменяют французских гарсонов в кафе и невинно флиртуют со шведскими офицерами.

Радующие и любезность к иностранцам, объясняемые желанием показать свою страну в наилучшем свете, — все эти шведские качества были нам показаны уже в полдень. В роскошном ресторане «Грандотеля» шведский посланник в Дании Гюнтер, приехавший на побывку в Стокгольм, пригласил нас с женой завтракать с представителями шведского гарнизона. Он познакомился с нами еще в Копенгагене и уже тогда же обещал затмить датские обеды знаменитыми шведскими закусками «Smörgas».

Представители шведской гвардии своей выправкой и воинственным видом невольно воскрешали в памяти то славное сражение, после которого Петр, по выражению поэта, «и славных пленников ласкает и за учителей своих заздравный кубок подымает». Вот прообраз русского преображенца — высокий сухой великан-блондин, капитан 1-го гвардейского полка «Sveagarde», в черном однобортном мундире с желтыми кантами и серебряными пуговицами; вот представитель семеновцев («Gölagarde», в таком же мундире, только с красным окладом, и даже кавалергарды («Lifgarde till Häst» в их вежливой голубых мундирах и медных касках прусского образца. Самым почетным гостем был начальник штаба гарнизона, полковник генерального штаба граф Рюозен, известный спортсмен. (Генеральный штаб в Швеции, как и в Германии, был в почете, и в него стремились вступать представители самых родовитых семейств.)

Разговор велся на французском языке. Говорили на нем шведские офицеры вполне корректно, но в таком замедленном темпе, что невольно хотелось досказать за них каждую фразу. Шведы — люди серьезные и даже в веселой компании никогда не позволяют себе улыбнуться, если не поймут вполне какого-нибудь анекдота, рассказанного на иностранном языке.

Один из кавалеристов, носивший весьма распространенную в шведском дворянстве фамилию графа Гамильтона, прекрасно говорил по-русски. Он был женат на русской и первый предложил мне выпить за «ты». Подобно своему земляку Маннергейму, он считал Россию хорошей дойной коровой, ценил русского солдата, но преклонялся перед германским офицером. В первый же день после начала мировой войны он, как и некоторые другие шведские офицеры, выступил против России в рядах германской армии. Шведская культура дворянских феодальных классов была сродни немецкой.

Новые знакомые показали себя утонченными знатоками французских вин и вообще непревзойденными соперниками по той военной дисциплинированности во хмелю, которая отличала во все времена хороших кавалерийских офицеров.

В высокие окна грандиозного зала стали уже врываться лучи заходящего солнца, и только тогда хозяева наши стали спешить, чтобы в первый же день доставить нам как можно больше развлечений. Как бы по мановению волшебного жезла, у подъезда оказались верховые лошади и крошечные нарты, вернее, спортивные лыжи, скрепленные маленьким сиденьем, на которое предупредительные кавалеры усадили мою жену. Один из стройных лейтенантов стал за ее спиной и, перекинув через ее голову легкие длинные вожжи, уверенно двинул вперед своего кровного строевого коня, запряженного в нарты. Меня посадили на спину другого коня, и кавалькада, спустившись на лед морского залива, понеслась широким галопом. Хорошо, что я оказался кавалеристом. Подобные прогулки были излюбленным развлечением шведского военного мира; занятию бывало обгонять верхом идущий в Россию пароход: он шел по пробитому во льду каналу в десяти шагах от всадника. Лед, покрывающий море, благодаря своей гладкой поверхности и упругости, представляет идеальный грунт для лошадей, подкованных на острые шины, а с наступлением теплых дней верховые прогулки принимают еще более спортивный характер: лед становится так тонок, что иначе как галопом по нему ехать опасно. Скачешь и слышишь за собой треск пробитого копытами тончайшего ледяного покрова, но он разрывается медленнее, чем движение коня. При подобных прогулках приходилось только расставаться на время со своей спутницей, шведской бесстрашной амазонкой, приглашая ее скакать на интервале не менее десяти шагов друг от друга. Кони инстинктивно чувствовали опасность оказаться на дне морском.

День закончился в королевском театре «Opernhuset», куда нас пригласил мой морской коллега, старший лейтенант Петров. Он от души обрадовался моему приезду и старался как можно скорее передать мне все завязанные им знакомства с военным миром. В антрактах он то и дело представлял мне элегантно одетых молодых людей во фраках — сухопутных и морских офицеров. При одном слове «Överst» — полковник — они низко передо мной раскланивались, сохраняя под штатским платьем военную выправку, но при этом сгибались только в поясище, не наклоняя головы, что нам казалось несколько смешным.

— Хребет сгибают, — смеялся Петров за ужином после спектакля. — Помнишь, как Петр доносил сенату о взятии крепости Орешек: «В сей баталии господа шведы зело хребет свой показали»?

Так и не успел я за первый день исполнить своих обязанностей — нанести официальные визиты, а с них-то и начались мои первые служебные неприятности.

На следующее утро я был разбужен в гостинице резким телефонным звонком.

— У телефона полковник граф Роозен.

Я пробовал выразить ему восхищение от вчерашней встречи, но куда девалась его мягкость и любезность в обращении!

Вчера вы просили меня испросить аудиенцию у командующего войсками, генерала Варберга, но вчера же вечером позволили себе оскорбить моего высокого начальника, выразив согласие на посещение без его разрешения

одного из подчиненных ему полков. Это ставит меня в необходимость просить вас предварительно дать объяснение вашему поступку. Ставлю вас в известность, что лейтенант Гилленштерн уже арестован.

В первую минуту, да еще спросонья, я был ошеломлен: какой, какой лейтенант? Но тут же вспомнил, что один из представленных мне в театре молодых людей, фамилию которого я даже не разобрал, действительно говорил мне что-то невнятное про посещение его полка. Это я принял за любезность и ответил тоже какой-то любезностью.

— Послушайте, — сказал я Роозену, — я с своей стороны могу считать приглашение лейтенанта только знаком уважения его к русской армии, а никак не проступком, готов принять вину на себя, но не намерен являться к вашему генералу, прежде чем не узнаю, что офицер освобожден от ареста.

Инцидент был исчерпан, и после обеда я уже сидел в полной парадной форме в служебном кабинете генерала Варберга, ни словом не обмолвившись о шумихе, поднятой его чересчур нервным начальником штаба.

Этот сам по себе ничтожный инцидент помог мне во многом: слух о нем разнесся с быстротой молнии по всем полкам маленького стокогльмского гарнизона, что сразу привлекло ко мне симпатии всей военной молодежи; пришлось, однако, и самому взвешивать в будущем каждый свой шаг. Не знаешь, чем обидели этих на вид твердых и сильных людей. Память о великой когда-то Швеции, владычнице всей Балтики, не изгладилась в их умах, и это побуждало их относиться с болезненной подозрительностью к иностранцам и в особенности к русским, из опасения, что кто-нибудь недостаточно почитается с их национальным достоинством.

Никакой придворный этикет не мог сравниться с тем строгим ритуалом, которым сопровождалось любое собрание, любое развлечение в этой стране — характерной хранительнице древних феодальных порядков. Когда от них бывало немощу, мы ехали отдыхать в наш скучноватый, серенький, но такой здоровый своей простотой Копенгаген. Вкусны бываюи разные, и шведы сами считали этот город самым веселым в скандинавских странах, часто его посещая.

Чтобы загладить неприятное впечатление от нашей первой служебной встречи, граф Роозен пригласил нас к себе на нарядный обед; кавалеры во фраках, дамы в открытых вечерних платьях и брильянтах. Нас предупредили, что опаздывать нельзя ни на минуту, но когда мы вошли на лестницу, то увидели сидящих на ступеньках разодетых дам со своими мужьями: они приехали слишком рано и ждали, чтобы стрелка часов дошла до указанных в печатном приглашении семи часов вечера.

Мне как иностранцу было предложено, подав руку хозяйке дома, вести ее к столу. Хотел я по европейскому обычаю сесть за стол как почетный гость направо от хозяйки, но графиня указала мне место налево от себя.

— Таков у нас обычай, — объяснила она, — ближе к сердцу.

(Позднее я усвоил, что и движение на улицах направляется по левой стороне и что дверные ключи отмыкают двери поворотом не слева направо, а справа налево. Все наоборот, чем в других странах.)

Как только начался обед, каждый из приглашенных стал поднимать бокал и, обращаясь по очереди сперва к дамам, а затем к кавалерам, ко всем по старшинству, проделывал следующую церемонию: поймав взгляд нужного лица, он поднимал полный бокал, принимал самый серьезный вид, смотрел прямо в глаза и тихо произносил: «Скооль!», с той же серьезностью выпивал

вино, после чего снова поднимал уже пустой бокал и, не спуская глаз с отвечающего ему теми же жестами лица, весь превращался в счастливую, очаровательную улыбку.

Запомнив сложный ритуал, я решил было не ударить лицом в грязь, выпил «Скооль» за хозяйку дома и поднял бокал за самого хозяина дома. Но в этот момент мне захотелось провалиться сквозь землю: весь стол покатился со смеху с криками: «Десять стаканов! Десять стаканов!» Оказалось, что это штраф за нарушение установленного порядка: никто за здоровье хозяина пить не имеет права, и только после сладкого блюда почетный гость должен встать и от лица всех приглашенных поблагодарить хозяев за прием и выпить за их здоровье. Любопытнее всего было, что почти тот же строгий ритуал соблюдался на самых маленьких товарищеских обедах, без дам, которые мы с Петровым устраивали время от времени с целью сближения со шведскими офицерами армии и флота.

Первое дипломатическое приглашение мы с женой получили, как ни странно, от японского посланника, женатого на скромной и милой маленькой японке. После великолепного завтрака, на который японский представитель собрал исключительно полезных для меня гостей — высшего шведский командный состав, мы остались с хозяином дома вдвоем, раскуривая сигары в его кабинете.

— Мне даже неловко, господин министр, что вы в мою честь устроили столь большой и блестящий прием.

— Что вы, что вы, — ответил хозяин, — война позади, и мы обязаны с вами показать иностранцам, насколько улучшились отношения наших стран. А что касается расходов, то я в них не стесняюсь. Мы, правда, получаем меньше жалованья, чем другие наши коллеги, но зато все приемы оплачиваются шведским банком — корреспондентом нашего государственного банка. Мы посылаем ему фактуры, а копии представляем в Токио, прилагая при этом, в виде оправдательного документа, только список приглашенных. Это просто и удобно, — сказал японец, вскинув глаза к потолку и пустив глубокомысленно очередной густой клуб сигарного дыма.

Дипломатический корпус в Стокгольме был в гораздо большем фаворе, чем в Копенгагене; оно, впрочем, и понятно: дворянство тянется к дворянству, а в Швеции оно было в ту пору еще в полной силе и, хотя обедневшее, не уступало своего места разбогатевшей буржуазии, хранило свои традиции, свою обособленность и связанный с этим внешний блеск. Обеды бывали особенно нарядны: всякий уважающий себя швед и даже офицеры надевали в этих случаях фрак с цветов своего семейного герба — синие, белые, фиолетовые, розовые, черные короткие штаны и шелковые чулки. Эта мода была занесена в Швецию из Англии.

Нас с Петровым светские выезды интересовали лишь постольку, поскольку благодаря им можно было расширить быстро образовавшийся круг военных «друзей» (гуда-веннер), поскольку этим в свою очередь можно было парализовать враждебные к России настроения, обеспечивая тем самым нейтралитет на случай надвигавшейся на Европу европейской грозы.

Пробным камнем для шведско-русской дружбы эпох веков являлся финляндский вопрос. Чуждая шведам и по национальности, и по языку, но близкая им и по культуре, и по своей природе, и даже климату, Финляндия оставалась для Швеции воспитанной ею «приемной дочерью», похищенной могучей восточной соседкой.

Дипломаты наши в Стокгольме в лице двух престарелых баронов, посланника Будберга и секретаря Сталля, боялись произносить даже слово «Финляндия»; подобно русским дипломатам в Копенгагене, писавшим донесения о нейтралитете датских проливов, стокгольмские их собратья много лет писали свои соображения о нейтралитете Аландских островов. Мы же с Петровым чувствовали, что чем ближе мы сойдемся со шведским миром, тем вероятнее натолкнемся на острый вопрос о наших отношениях к финнам. В этом случае надо было заранее выработать общую для нас обоих точку зрения и уже твердо ее держаться; от начальства нашего ждать указаний не приходилось.

— Отчего вы, русские, не имеете особых симпатий к финляндцам? — готовились мы получить вопрос.

— Оттого, — условились мы ответить, — что, будучи обязаны вам, шведам, всей своей культурой, они показали себя плохими шведскими подданными. Тут можно было припомнить и о наполеоновском золоте, предложенном Александру I для разрешения финляндского вопроса, а о славных походах Кульнева, Ермолова и Буксгевдена помолчать.

Все, казалось, было предусмотрено, но мне пришлось испытать на себе плоды руссификаторской бюбrikовской политики в Финляндии скорее, чем я мог предполагать. На одном из балов в «Грандотеле», в присутствии всей королевской семьи (она запросто участвовала во всех светских и спортивных увеселениях), я, в перерыве между танцами, заметил сидящую в стороне красивую, уже немолодую брюнетку с задумчивыми темными глазами. В Стокгольме я на подобных балах уже знал в лицо всех дам и барышень и потому принял ее сперва за иностранку.

— Это графиня Гамильтон, — объяснил мне на ухо шведский офицер, — только ты лучше к ней не подходи. Нарвешься на скандал: она слышать не может про русских.

Меня, конечно, это еще больше заинтриговало. С трудом убедил я своего приятеля представить меня брюнетке и, забыв про танцы, увлекся с ней разговором. Графиня оказалась вдовой шведского помещика в Финляндии.

— Это моя настоящая родина, я люблю ее так же, как и Швецию, куда приезжаю погостить к родственникам. Я неплохо пою, и вот за это меня преследуют ваши русские власти в Гельсингфорсе.

— Как, почему? — спросил я.

— Ах, вы не поймете! Я увлечена финляндским освободительным движением и пою на благотворительных спектаклях финляндских студентов. Они так любят свою страну, свой язык, свой народ! За что, за что ваш царь их так угнетает?

Горько было слушать подобные рассказы. Как недавно стоял я еще на линейке пажеского лагеря в Красном Селе и договаривался с соседом, дневальным «Финска Штрелька Батальон». С какой гордостью носили эти замечательные стрелки свои национальные синие канты вместо русских малиновых, а за бортами мушкетеров целую цепочку отличий за отменную стрельбу!

Расформировать финляндские войска — им доверять нельзя, лишить финнов права служить в русской армии и даже запретить мирному населению носить традиционные финские ножи — вот была политика мудрых царских правителей, оскорбивших национальное чувство этого трудового народа, если не навсегда, то надолго.

С графиней Гамильтон формулировка, выработанная с Петровым, была, конечно, неприменима, и я постарался привлечь симпатии этой экспансивной женщины к нашему миролюбивому русскому народу, объяснив притеснения бюрократии временным последствием реакции после нашей революции.

— Нет, нет, — возразила графиня. — Вы, русские, не учитываете, какое вы производите впечатление, ну, скажем, лично на меня. Когда я была совсем маленькой и капризничала, няня моя только и повторяла: «Перестань, вот придет «Русска бэрэн» (русский медведь) и тебя заест».

Это было уже легко обратить в шутку и доказать безопасность русского медведя, пригласив «революционную графиню» на очередной тур вальса.

На балах вообще было удобно заводить знакомства, а полчас и вести такие разговоры, которые трудно было начать не только при официальных визитах, но даже на обедах. Мне всегда были по душе многолюдные собрания: на них тонешь среди толпы и потому чувствуешь себя свободнее. Один из таких балов во французском посольстве мне и пригодился как раз по финляндскому вопросу. В это утро в нашей миссии была получена телеграмма, от одной расшифровки которой последние седые волосы на голове бедного Сталя встали дыбом. Двадцать пять лет провел старик в этой стране, но более странного поручения за все это время не получал. Его шеф, Будберг, тоже испытанный дипломат, провел всю жизнь членом русского посольства в «опасной» Вене, где окончательно позабыл русский язык; чтобы показать, например, свою близость с каким-нибудь коллегой, Будберг говорил: «Ви знаете, он заходил ко мне, как в собственный ватер-клозет» (на его несчастье, бельгийский посланник в Стокгольме назывался Ватерс, а французский консул — Клозет). Телеграмма так взволновала баронов, что они срочно вызвали к себе своих коллег с русскими фамилиями — Петрова и меня. В обычное время они прибегали к их услугам только тайком, для исправления русского языка в своих немудрых донесениях в Петербург. (Сталя, между прочим, показал себя столь добросовестным, что, будучи впоследствии назначенным в Вюртемберг посланником, просидел два с лишком месяца в Стокгольме, чтобы переписать начисто все собственные черновики: он не хотел оставлять в делах следов наших поправок.)

Собрав нас в просторном кабинете Будберга, подсамоуатый Сталя, надев пенсне, прочел, наконец, ужаснувшую баронов телеграмму:

«Постыдитесь осведомиться у шведского правительства об его отношении к вопросу объявления Финляндии в ближайшее время на военном положении и оккупации ее нашими войсками».

Ити с таким вопросом в шведское министерство иностранных дел бароны, разумеется, не смели и усердно просили меня, как военного представителя, им помочь. Я, с своей стороны, заявил, что шведский генеральный штаб все равно никакого ответа без разрешения своего правительства дать мне не сможет, и в заключение было принято мудрейшее решение: положить бумагу в сейф, дать ей отстояться.

Однако вечером на балу мысль об утреннем вопросе меня не покидала. Танцевать не хотелось, и я сидел в отдаленной гостиной, попивая виски с содовой водой. Ко мне подошел случайно министр иностранных дел барон Тролле в сиреневом фраке и, налив себе стакан, подсел к моему столику. Зная, что барон жевал на дочери одного крупного прибалтийского помещика, тоже барона, я стал расспрашивать о его последней поездке в этот край. От прибалтийских губерний было уже совсем близко перевести разговор и на

Финляндию. Как легендарный французский герой Гривуа, который бросился в воду, чтобы спастись от дождя, я решил задать министру вопрос, поставленный в утренней телеграмме.

— Если это случится, — ответил министр, — то мы примем все меры к сохранению нейтралитета; мы даже объявим все порты и нашу северную границу на военном положении, чтобы не пропустить в Финляндию ни одного револьвера, ни одного волонтера. Об одном только я буду просить ваше правительство: предупредить нас об этом за двадцать четыре часа до выполнения вашего решения, а не двадцать четыре часа спустя после вступления ваших войск в Финляндию.

В ту пору мой разговор показался мне большим дипломатическим успехом, и только после революции ответ Трюмля представился мне в своем истинном свете: шведские бароны, как и прибалтийские помещики, одинаково были заинтересованы в подавлении какой угодно ценой революционного движения в их бывших провинциях, перешедших под власть России.

Петербургский запрос явился, кроме того, для меня естественным развитием всех тех закулисных интриг, которые вел штаб Петербургского военного округа для искусственного создания нового северного фронта. Это давало карьеристам и, к сожалению, некоторым моим коллегам по генеральному штабу право приравнять свой округ к числу пограничных, Варшавскому, Вилenskому и Киевскому, которые пользовались особыми преимуществами по службе. Для этого надо было не только сделать из Финляндии опасного внутреннего врага, но и обратить Швецию во внешнего врага, чуть ли не заключившего тайный союзный договор с Германией. Вот против этого я и не переставал протестовать, доказывая, что при всякой политической комбинации Швеция останется нейтральной. Это создало для меня в Петербурге немало врагов среди друзей, но не только первая, но и вторая империалистическая война показали, что господа шведы «не потвели» бывшего у них когда-то русского военного агента.

Когда приходится отстаивать свое мнение против мнения большинства, хорошо иметь при себе единомышленника, друга, у которого можно проверить во всякую минуту правильность своего суждения. Таким человеком в Стокгольме оказался мой морской коллега.

Хотя Алексей Константинович Петров был моложе меня и по чину и по летам, хотя он и не прошел всех уроков манчжурской войны, но он все же имел надо мной большое преимущество: ему довелось получить строевую подготовку не в мирной обстановке гвардейского полка, а в суровых условиях боевой службы в военное время. На крейсере «Россия», одном из лучших русских судов 1904 года, он участвовал в том героическом неравном бою, который выдержала владивостокская эскадра при своей попытке прорваться в Порт-Артур. «Гангут» погиб, а «Россия» и «Рюрик», нанеся урон противнику, вынуждены были вернуться. Сам Алексей Константинович получил восемнадцать осколков разорвавшегося японского снаряда.

— М-м-а-лен-ь-к-к-ие, — говорил он, как обычно запкаясь, — с-а-ам по-вы-к-ковырнул. Сред-ние, ч-что неглу-убоко застряли, вы-нул мо-ло-де-н су-довой врач, а оста-таль-ные в-вот, в-вот пошу н-на па-мять. Вот се-го-дня, по-мо-сму сче-ту, че-рез боль-шой па-лец пра-вой но-ги на-ме-ре-вал-ся вы-лез-ти по-мер двенадцатый, от-то-го и хо-жу с па-лоч-кой, от-то-го и вы-шел вче-ра на не-сколь-ко ча-сов из ки-льва-тер-ной ко-лон-ны, а под-во-дя пла-стырь, при-шлось, раз-уме-ет-ся, его хо-ро-шен-ько смочить.

Петров никогда не забывал парадной мудрости — «пей, да дело разумей», — хотя и считал право на выпивку одной из привилегий хорошего моряка.

Ни при каких условиях он не терял выправки старого гардемарина и с гордостью показывал мне свою фамилию в списке старых воспитанников морского корпуса: Петров 17-й.

— Значит, до меня было выпущено в русский флот уже шестнадцать Петровых, и в том числе мой отец и мой дед, — добавлял он.

Особенно меня поражало в Алексее Константиновиче, при общей большой начитанности, глубокое до мелочей знание морского дела.

— Вот смотри, — сказал он мне как-то, сидя в воскресный день за кружкой пива на живописной горе, километрах в десяти от Христиании. — Сейчас на рейд входит французское учебное судно «Жан-Бар».

Он узнал его невооруженным глазом по одному профилю.

Совместная работа с Петровым представляла отражение той ломки междуведомственных перегородок между военным и морским ведомствами, которую проводили моряки-младотурки в России. В Скандинавии это особенно пригодились.

Уезжая из Стокгольма в Копенгаген, я мог поручить своему морскому коллеге текущие дела, а по возвращении получить «рапорт» о поведении шведов, как говорил Петров.

Он, с своей стороны, поручал мне заменять его при встрече и приемах те тех, то других военных судов, заходивших в скандинавские порты.

— Смотри, — учил он меня, — требуй строгого соблюдения морского регламента (Петров был большим знатоком и поклонником петровских регламентов). — Ты — подполковник, штаб-офицер, тебе полагается подходить к правому борту, и тебя должен встречать нахтенный офицер. Капитаны входящих на рейд иностранных военных кораблей обязаны первыми наносить тебе визит в парадной форме.

Пришлось нам как-то встречать в одном из шведских портов большую русскую эскадру адмирала Эссена и самим ехать представляться четырем адмиралам.

После визитов и завтрака в кают-компании Петров повел меня показывать наш флагманский броненосец.

— Тяжелы условия жизни экипажа на современном корабле, — объяснял он. — Тесно, темно, команда живет, как в тюрьме. Уж лучше служить на миноносце. Там хоть и трюмлет, хоть и работы по чишке больше, да зато трипольнее — начальства меньше. А вот скажи мне, о чем, по-твоему, может думать вот этот матрос? — спросил Петров, незаметно приоткрывая дверь в бронированный отсек, в котором стоял, как в карцере, часовой у затвора громадного морского орудия; он неподвижно смотрел в щель поверх орудийного дула.

— О своей далекой деревне, — ответил было я.

— Да, и еще, пожалуй, о чем другом, — многозначительно заметил Петров.

Я, впрочем, знал, что и сам Петров уже много думал «о чем другом». Иначе я мог бы поверить впоследствии тем белогвардейцам, которые четверть века спустя хотели меня уверить, что Алексей Константинович убит на их фронте, а не на нашем. Он не был убит и после гражданской войны читал лекции в нашей Военно-морской академии в Ленинграде. Оба мы были счастливы не обмануться друг в друге.

Совместная работа в Стокгольме оказалась особенно полезной для изучения шведских вооруженных сил. В генеральном штабе нас принимали крайне любезно, но мы старались по возможности ограничиться разговорами о текущих делах: командировках наших офицеров, приходах судов, маневрах, посещениях полков. Вся переписка велась на французском языке. Мы чувствовали, однако, что какой-либо запрос об организации армии мог вызвать у наших милых коллег, шведских генштабистов, беспокойство даже в тех случаях, когда эти сведения можно было найти в их уставах или журналах. Швеция сразу исцелила меня от той болезни, которой страдали многие коллеги — военные атташе, пытавшиеся при всяком удобном случае открывать Америку и всякое сведение или иностранный документ причислять к разряду «весьма секретных». Важно только не посылать в свою страну даже таких обыкновенных документов, как уставы, без основательной их проработки предварительно в том городе, где они изданы.

Один только вопрос представлял, как и где, большую трудность: определение численности и качества армии в военное время, зависящее в большой степени от численности и степени военной подготовки различных возрастных классов людского запаса. Для Швеции этот вопрос имел особое значение, так как армия мирного времени, силою всего только в шесть дивизий, комплектовалась в значительной степени волонтерами и сверхурочными, представлявшими идеальные кадры для развертывания в военное время первоочередных и второочередных формирований. Долго мы ломали с Петровым над этим головой и, наконец, решили получить эти сведения, как ни странно, из Италии. Там существовал Международный статистический институт, издававший ежегодно толстенные томы со сведениями о рождаемости и смертности населения всех стран мира по годам. Выписав эти книги за 20 лет и взяв за исходные данные публикуемые цифры призывных военнообязанных, мы смогли выяснить размеры этих контингентов на протяжении всех тех лет, когда они подлежат призыву в военное время. Картина получилась поучительная. Оказалось, что в силу тяжелых условий труда и климата, в особенности северных горных районов, смертность шведского населения была больше, чем в большинстве стран, только до возраста в 27 лет, но зато люди, перешагнувшие этот опасный возраст, больше как будто и не умирали. Для Дании результаты оказались обратными: условия сельского труда для молодежи были легче, чем для горняков и заводских рабочих, но люди, не закаленные смолоду, быстрее старели и чаще умирали до сорокалетнего возраста.

Балтика, этот театр минувших и грядущих войн, призывала также нас с Петровым к изучению совместных действий армии и флота. Нам казалось, что шхеры, окружавшие берега Швеции и Финляндии, не потеряли своего значения со времен Петра, сумевшего благодаря им бороться на гребных судах против могучего парусного шведского флота. Современная морская и сухопутная техника могла только изменить тактику.

Шведские маневры, как нельзя более кстати, подтвердили некоторые из наших предположений, доказав, что, в случае занятия шхер пехотой с полевой артиллерией, флот может считать себя хозяином шхерного морского района; жизнь на палубах кораблей становится невозможной, и шхеры продолжают являться союзниками слабых, но активных флотов против более сильных.

Ознакомившись с печатными материалами, захотелось убедиться на деле, как применяются уставные правила и доктрины в самих войсках. В Европе

«Драгомилровых», обучавших войска по собственным уставам, не бывало, и потому разница в боевой подготовке, существовавшая в русской армии, иностранцам была неизвестна. А между тем поездка русского военного атташе в направлении Хапаранды уже сама по себе могла обеспокоить шведов. Каждый год читал я в военном бюджете о суммах, ассигнуемых для украшения на крайнем севере крепости Бооден. Подальше от Боодена, подальше от нашей сухопутной границы, от Финляндии! И потому, предвосхищая желание генерального штаба, я просил меня отправить не в пехотный полк «Далларн-регімент», поближе к Норвегии, а в кавалерию и в артиллерию в Сканию, поближе к Дании.

Наши усилия с Петровым установить дружеские отношения с шведской офицерской средой принесли свои плоды. Слухи о переменах настроения стокгольмского гарнизона по отношению к русской армии докатились и до провинции. Я вошел в просторный зал офицерского собрания Далларнского пехотного полка под звуки русского гимна; стены и обеденный стол были украшены русскими и шведскими флагами. Один из офицеров полка произнес тост на прекрасном русском языке, а мой ответ по-шведски вызвал гром аплодисментов. Таких приемов даже в союзной Франции мне встречать не приходилось!

С семи часов вечера до полуночи пили крепко, но с семи утра до заката солнца меня угощали молоком и даже в пехоте верховой ездой на прекрасных кровных конях. Как было не завидовать спортивной, истинно военной выправке всех меня окружавших, от полковника до рядового. Ни одного брюшка, ни одного плохо застегнутого воротника или невычищенного сапога. С утра до ночи пощелкивают выстрелы на стрельбищах, отдаваясь эхом в тихих бесконечных хвойных лесах.

Это сближение с армией, бывшей нашей соперницей, не могло ускользнуть от внимания некоторых иностранных дипломатов. Германия не имела военного атташе при своей миссии в Стокгольме и командировала ежегодно своего представителя, майора или подполковника генерального штаба, на осенние большие маневры. Ему обыкновенно предоставляли место в одном автомобиле со мной, и мы, как обычно при подобных поездках, высказывали друг другу больше впечатлений о природе, чем о войсках. Случайно пришлось как-то раз остановиться, чтоб пропустить через узкую дорогу небольшую колонну, и этим воспользовались офицеры оказавшиеся на привале того же Далларнского полка; они окружили наш автомобиль, чтобы выразить самым милым образом свою радость встретить меня, «их старого доброго друга».

В отчете об этих маневрах я доносил, что можно ожидать в ближайшем будущем назначения в Стокгольм постоянного германского военного атташе. Новый год мы уже встречали вместе с нашим новым коллегой и его красавицей-женой.

При посещении полков в Скании, этой шведской Украине и житнице всего полуострова, пришлось не только испытать чувство зависти, но и построить в голове целый план подражания шведской культуре для исцеления своей роины от самой странной ее болезни — бедорожья. Подобно всей центральной части России, в плодородной черноземной Скании нет камня, но это не мешает ей быть покрытой сетью прекрасных шоссе из гранитной щебенки.

Секрет простой. С давних пор в центральной Швеции, изобилующей озерами и гранитными скалами, идет работа: ломают гранит и сваливают его на баржи и плоты; с наступлением весны его сплавляют помаленьку на юг,

в Сканию, по каналам. А у нас-то и Ладога, и Онега, и Мариинская система, но и тверское бездорожье, и та грязь, о которой мог иметь представление в то время только русский мужик, земский врач и сельский учитель.

Службе в Швеции я обязан и первым моим знакомством с военной промышленностью. В довоенное время во всех армиях о ней имели представление только артиллерийские и инженерные управления, а военные агенты помещали о ней лишь скромные сведения на предпоследней странице сборников об иностранных армиях. Армия — это дело военных, а промышленность — дело инженеров. «Какую дадут технику, — жаривали военные, — такую и ладно». В Швеции меня, однако, заинтересовал Бофорс — завод, который мог сам, без помощи всемогущих тогда Круппа или Виккерса, вооружать шведскую армию и флот самым современным для той поры вооружением.

Возможность осмотреть этот завод доставил мне один из «врагов» военных атташе — изобретатель. Этот инженер уверял меня, что может показать беспламенный порох, но что для этого он должен испросить моего согласия отправиться в Бофорс. Всякому позволено влюбиться в женщину, кавалеристу разрешается влюбиться в коня, а инженеру — в хороший завод. Мне и пришлось узурпировать это право у инженеров и навсегда сохранить в памяти затерянный среди скал и лесов живописный и такой чистый и стройный Бофорс. Секрет этого завода заключался в том, что выплавка стали производилась на нем в электрических печах, питаемых водной энергией от соседнего водопровода. Ни ударов прессов, ни грохота прокатных станов, а главное, ни одной угольной пыли.

С наступлением темноты меня повели в лошину, где расположился заводской испытательный полигон; опорой для мишеней служила отвесная скала, по которой и стали стрелять из шестидюймового тяжелого орудия. Эффект получался действительно потрясающий: откуда бы я ни смотрел, ослепляющая вспышка выстрела заменялась как будто только красным фонариком.

— Ведь это так важно не только для армии, но особенно для флота при отбитии ночных атак минноносцев, когда вспышка выстрела ослепляет наводчика, — объясняли мне непрерывно местные инженеры.

Где-то и когда-то я слышал, что беспламенность пороха достигается прибавкой к нему баритовых солей, дающих сильный дым, а потому, во избежание пререканий по этому поводу, я предложил повторить опыт на следующее утро. Для верности я просил запечатать тут же несколько мешков с пороховыми зарядами и снести их в мою комнату. Добросовестные шведы положили мешки под кровать, и, «заснув на порохе», мне казалось, что я как нельзя лучше выполняю новые для меня обязанности.

На следующее утро изобретатель экзамена не выдержал, и маленькое стрельбище покрылось облаком белого дыма. Инженеры Бофорса предлагали, однако, съездить за свой счет и повторить опыты из наших орудий в Кронштадте, что мне показалось приемлемым, так как ничем нас не связывало. Не так посмотрело на это наше артиллерийское управление, которое сделало еще более разумное, но, к сожалению, невыполнимое для меня предложение:

«Военному агенту подлежит раздобыть (читай: «стащить») некоторое количество пороха, который артиллерийский комитет мог бы сам исследовать и открыть его состав», — гласил полученный мною ответ.

Не везло мне в жизни с изобретателями!

Немалой помехой в разнообразной работе моей в Швеции явилась, как ни странно, русская придворная атмосфера, созданная браком второго сына короля Густава с великой княжной Марией Павловной («младшей», как ее называли в отличие от жены Владимира Александровича).

Оставшись сиротой после смерти матери, жены Павла Александровича, Мария Павловна получила воспитание у своей тетушки Елизаветы Федоровны в Москве и, как сама признавалась, вышла замуж, главным образом, чтобы бежать из московского «монастыря». За примерами привольной жизни ходить было недалеко, достаточно было встречаться со своими двоюродными братьями Владимировичами, и, приехав в Швецию, она действительно сорвалась с цепи. Небольшого роста, мало интересной наружности, но зато талантливая и острая на язык, она была заражена необычайным самомнением, основанным прежде всего на своем близком родстве с самодержцем «всея великия, малыя и белыя Руси и проч...» Уже в силу этого малевыкая, по ее мнению, Швеция должна была целиком оказаться у ее ног. Подобный взгляд не вполне отвечал разрешению той придворно-дипломатической задачи, ради которой был устроен этот брак.

Родственные связи между монархами издавна считались одним из главных средств для улучшения отношений между государствами.

Свадьба справлялась в Царском Селе, причем шведы сделали все возможное, чтобы примениться к своеобразным русско-церковным церемониалам. С русской стороны королю Густаву был тоже оказан подобающий почет, так как для встречи его в Ревеле был командирован родной брат царя Михаил Александрович.

Петров, как морской агент, сопровождал короля из Стокгольма на шведском броненосце, а мне надо было выехать из Петербурга вместе с Михаилом Александровичем, что позволило поближе познакомиться с этим незадачливым преемником царя. Как только поезд отошел от Балтийского вокзала, я был приглашен с другими чинами свиты на чашку чаю в салон-вагон великого князя.

Совершенно непохожий на старшего брата, высокий, статный, с открытым лицом, Михаил производил, как военный, скорее благоприятное впечатление. Один только взгляд его напуганных глаз выдавал ту недалекость, которая проявлялась с первых же его слов. Мне казалось странным, например, что, едучи встречать шведского короля, мой собеседник тщательно избегал завести беседу о Швеции; каждый раз, когда я пробовал с этой целью привести пример из военной жизни шведской армии, брат царя переводил разговор на высоту прыжка того или другого коня на «Конкур-Иппике» в Михайловском манеже. Подобно брату, он был неразговорчив, застенчив и искал слов.

По установленному этикету при короле должны были состоять: генерал-адъютант (ввиду значения для Швеции флота был назначен Дубасов), свиты генерал, флигель-адъютант, военный и морской агенты. Но для меня с Петровым помещения ни в одном из царскосельских дворцов не нашлось, и я предложил одному из придворных разбить для нас на снегу палатку! Это возымело свое действие. Я еще никак не мог привыкнуть к тому, что офицеры, пожившие на погонах свитских вензелей, допускались ко двору только по крайней необходимости и то с черного хода.

Свадебная церемония воскресила в памяти казавшиеся уже далекими воспоминания о старой придворной службе камер-пажем, но насколько же, она была скромнее по своим размерам, чем отошедшие навсегда в вечность московские коронационные торжества или петербургские придворные балы! Царь был уже узником в своем Царском Селе, и королю Густаву стоило трудов, чтобы устраивать свои поездки в столицу, где, вдали от придворного этикета, он мог свободно проводить часы в Эрмитаже, восторгаясь не только Рембрандтами, но и коллекциями монет. По сравнению с нашими царями мне казалось уже симпатичным, что королевская особа может интересоваться и быть знатоком хотя бы нумизматики. К тому же королю я был обязан получаемыми по вечерам уроками игры в бридж — этой обязательной науки всякого уважающего себя дипломата.

В Стокгольме все поначалу шло гладко. Царь на средства романовской «вотчины» построил для своей двоюродной сестры великолепный дворец. Это ей было на-руку, так как кронпринц, т. е. наследник и старший брат ее мужа, жил на очень скромной даче.

Родившегося на следующий год сына Марии Павловны крестили по лютеранскому обряду в старинной дворцовой часовне стокгольмского дворца, и русская миссия присутствовала на этой церемонии в полном составе. Особый интерес представили для меня большие ценны, составленные из различных эмалированных знаков, «воздетых», как выражался Петров, по случаю церковного торжества «на вые» всей шведской королевской семьи. Оказалось, что по наследству от французского маршала Бернадотта — первого шведского короля этой династии, все ее члены были франкмасонами. Хотя франкмасонская ложа в Стокгольме и помещалась в громадном доме, как раз насупротив моей квартиры, но никто не пожелал меня познакомить с ее тайнами. Со значением франкмасонов в политике буржуазных государств мне пришлось ознакомиться лишь много позже, в Париже.

Мария Павловна считала, что с рождением сына долг матери ею был выполнен, и пустилась развлекаться. На несчастье, все члены русской миссии были холостяками, и моя жена оказалась единственной русской подружкой Марии Павловны.

— Она предложила мне выпить с ней на «ты». Как быть? — спросила меня как-то жена, чуявшая мою корректную отдаленность от романовской семьи.

— Будь осторожна, — ответил я. — От них всегда можно ожидать самых невероятных капризов.

Этого ожидать пришлось недолго.

— Я хочу сегодня танцевать с вами мазурку, — сказала мне на одном из зимних вечеров Мария Павловна.

Разобрать из подобного обращения, где кончалась дружеская простота и где начиналось великокняжеское высокомерие, было невозможно.

— Вы знаете, эта дура (вот так именно она и сказала), кронпринцесса, меня ревнует к шведским офицерам, которые от меня без ума. И вот я решила ей показать, кто я такая. Мы условились с офицерами конной гвардии «Лиф-гарде-тиль-хэст» устроить верховую прогулку через столицу. Они будут меня сопровождать, а вы, как представитель «нашей» армии, поедете рядом со мной, конечно, в военной форме!

Пробовал я обратить это в шутку, пробовал доказать неуместность подобной демонстрации. Мария Павловна, упрямая и своенравная девчонка, настаивала на своем.

— Я как русская великая княгиня имею право, наконец, вам приказывать, — покраснев от гнева, сказала она мне.

Пришлось тоже, несмотря на неподходящую обстановку, перейти на официальный тон и шопотом ответить:

— Успокойтесь, ваше высочество. Поймите, что я здесь, на своем посту, могу исполнять повеления только государя императора, а не ваши.

Разговор был исчерпан, мы больше не танцевали, но при разъезде с бала ко мне подошел известный в Стокгольме бретер и дуэлист, граф Роозен, брат начальника штаба, и заявил:

— Вы оскорбили нашу шведскую принцессу, она плачет, мы этого допустить не можем.

— Замечания от вас я получать не намерен и о вашем поведении донесу завтра же вашему военному министру, — спокойно ответил я, надевая на голову шелковый цилиндр.

На следующий день, на зимних скачках, большинство офицеров избегало мне кланяться, и пришлось ехать уже не к военному министру, а к самому королю.

— Я уже слышал, — сказал мне Густав, — и сделал нагоняй своему сыну за поведение его молодой жены. Вы знаете, как мы вас ценим, и вы должны простить молодую принцессу. Она так странно воспитана. Сыну просил вам передать, что ждет вас с женой завтра к себе на чашку чаю.

«Чашка чаю» по приказу короля все поставила на свое место, кавалькада не состоялась, а шведские офицеры стали кланяться, пожалуй, с еще большим почтением.

Недолго Мария Павловна давала примеры воспитания романовской семьи встретившим ее с такой любовью и вниманием шведам. Натешившись над ними, она тотчас после моего отъезда военным агентом во Францию бежала из Стокгольма при содействии вновь назначенного посланника Савинского — креатуры графа Ламсдорфа и низайшего царедворца. Она оставила на попечение своему несчастному и ни в чем неповинному супругу своего малолетнего сына и вспомнила о нем только после революции, когда для популярности среди парижских белоэмигрантов она решила использовать свои родственные связи со шведским двором. Расчеты ее не оправдались: сын, которому уже было около 20 лет, не пожелал возобновлять знакомства с подобной матерью.

Все эти неприятности, доставленные Марией Павловной русской миссии в Стокгольме, оказались, впрочем, ничтожными по сравнению с той серией настоящих скандалов, которые были вызваны ответным визитом, нанесенным Николаем II шведскому королю. Приезд русского царя в Швецию явился небывалым событием для этой когда-то великой, а в мое время уже такой скромной страны. Это был первый пример в истории.

Церемониал приема, казалось, мог быть особенно хорошо налажен благодаря той генеральной репетиции, которой явился приезд как раз за год до этого Вильгельма II. Германский император и в этом случае хотел как будто предвосхитить дипломатический успех бедного «Ники». Все мы при этом присутствовали, я лично оценил любезность, с которой Вильгельм поздоровался со мной как с представителем русской армии, а наши бароны еще

целый год после этого усердно переписывались с Петербургом, разрабатывая до мелочей порядок приема собственного монарха.

Наконец наступил давно ждаемый день.

Жарким июньским утром садилась паша миссия на шведский катер, поднявший русский посольский флаг (трехцветный, с черным орлом на желтом поле), и в ту же минуту стокгольмский рейд огласился пушечным салютом со всех военных судов и древних крепостных верков. Петров был доволен шведами, воздавшими достойные почести русскому посланнику, и, стоя на корме катера, чувствовал себя в своей стихии. Торопиться было некуда, так как мы встали спозаранку, а до Ваксгольма, морской крепости, прикрывающей с моря Стокгольм, и условленного места свидания было не больше двух-трех часов ходу. Однако, остановившись перед краснобурыми скалами Ваксгольма, мы уже стали беспокоиться о нарушении установленного церемониала. Стрелка часов давно перешла за полдень, а «Штандарт» — царская яхта — все не появлялся. Мы продолжали томиться под раскаленным от солнца тентом катера, — несчастные наши бароны в своих тяжелых золоченых мундирах, я в полной парадной форме, а жена в туалете, специально выписанном из Парижа. Вокруг нас шныряли шведские миноносцы, рапортуя то и дело Петрову о положении царской эскадры. Она, как полагается, запаздывала.

Вдруг лицо моего коллеги передернулось.

Высокий темносиний нос «Штандарта» в эту минуту уже показался из-за скалы.

— С яхты передают: «Посланника на борт не принимать!» — передает по-шведски командир одного из шведских миноносцев.

В мягкой форме Петров передает это «повеление» Будбергу. Самолюбивый, но дисциплинированный барон молчит и только еще пуще багровеет. Держим морской совет и решаем идти в кильватере за «Штандартом», что не особенно приятно из-за поднимаемой им волны.

Как впоследствии выяснилось, нас не хотели допускать к высочайшему завтраку.

Так принимал своего представителя Николай II, но не так понимал свое ремесло Вильгельм. За год перед этим яхта «Гогенцоллерн» остановилась, чтобы принять на борт германского посланника. Вильгельм вышел к трапу, снял фуражку и на глазах шведской эскадры трижды облобызал своего представителя.

При входе на стокгольмский рейд слышались новые салюты, означавшие, как нам объяснили, переход короля на борт «Штандарта». Мы поняли, что к встрече монархов, как это было предусмотрено церемониалом, мы опаздываем, и нам оставалось только постараться причалить на хорошей волне к левому борту. Прошло еще несколько томительных минут, пока по кухонному трапу, заваленному листьями свежей капусты, мы, наконец, влезли на палубу. Петрову эта операция была затруднительна из-за очередного осколка, «выходящего» через ногу, жене моей — из-за ее модного длинного платья, а баронам — из-за их преклонных лет.

Зная придворные порядки, я старался не лезть на глаза и стал в стороне у мачты. Но и тут себе покоя не нашел. Какой-то безусый гвардейский мичман, не взяв даже под козырек и не упомянув моего чина, дерзко буркнул:

— Здесь стоять не место!

Пришлось резко призвать его к порядку. Не успел я «отделать» мячмана, как ко мне подошел король Густав и пригласил за ним следовать.

— Мне не удавалось до сих пор вас представить королеве, — сказал он. — Она ведь часто находится в отсутствии из-за своего слабого здоровья.

Вновь пришлось очутиться в глупом положении, так как королева разговаривала как раз с Александрой Федоровной, «моей когда-то парией», а ей-то я еще не успел в этот день представиться. Быть может, она чувствовала, что я уже не был ее прежним камер-пажем. Она протянула мне, как полагалось, руку для поцелуя, но не промолвила ни слова. Все прошлое уже было навеки похоронено: я никогда больше с ней не встречался.

Обижаться членам нашего посольства, впрочем, не приходилось, так как при встрече монархов не присутствовал даже сам русский министр иностранных дел — Извольский, ожидавший с утра, что его пересадят с «Полярной звезды», шедшей конвоиром, на «Штандарт». Это, уже грубое, нарушение дипломатического этикета было подчеркнуто самим королем: ведя под руку к обеду во дворец царицу и заметив стоявшего у дверей зала Извольского, он извинился перед своей дамой и бросился пожимать руку русскому министру. Оп, как конституционный монарх, считался с министрами.

Вернувшись из дворца и собравшись у Будберга, мы все только думали об одном — когда кончатся эти испытания.

Рано утром я был вызван на «Полярную звезду» к начальнику походной канцелярии, генералу князю Орлову за получением орденов для шведской армии согласно составленным мною заранее спискам. Царь был приглашен королем в гости в его загородный замок, расположенный далеко от всякого жилья. Там, конечно, коронованные особы могли проживать спокойно, но, по случаю появления русского царя, бедным шведам пришлось принять чрезвычайные меры по охране: они послали для этого целый пехотный полк, который выставил заранее настоящее боевое охранение. Их-то особенно пришлось наградить.

Когда в условленный с Орловым час я подъехал к королевской пристани, то на ней уже ждал знакомый мне по Копенгагену катер с «Полярной звездой». Команда дружно ответила на мое приветствие, но, когда я дал приказ отваливать, какой-то незнакомый гвардейский лейтенант со «Штандарта» самовольно задержал катер и прыгнул в него. Не представляясь, он меня спросил:

— Скажите, господин подполковник, отчего посланник не выехал нас вчера встречать с лодками?

— Посланник встречал царя, а не нас, — оборвал я молодого гвардейца, оказавшегося любимцем двора, Саблинным.

А в миссии нашей в это самое время шло волнение из-за неполучения приглашения моей женой к высочайшему завтраку на «Штандарте».

— Будьте наготове, — звонил ей то и дело Будберг, — вот-вот позвуют.

Но он тогда еще не знал, что, по интригам все той же Марии Павловны, имя моей жены было вычеркнуто из списка приглашенных. Больше всех возмущался этим Петров, который, сославшись на рану, отказался явиться на завтрак.

— Ну-усть не отговариваются, ч-что места нехватило, — заявил он Будбергу.

После завтрака гофмаршал Бенкендорф подошел ко мне и просил вызвать из кают-компания Петрова.

— Он обещал нам, — сконфуженно сказал Бенкендорф, — прийти по крайней мере выпить чашку кофе.

Я передал это приглашение через камер-лакея.

Царский престиж для Петровых был уже хорошо поколеблен.

Наконец в 4 часа состоялся отъезд.

Для раздачи орденов мне было предписано идти на «Полярной звезде», и я был рад очутиться подальше от атмосферы «Штандарта». Обе яхты стояли на внутреннем стокегольском рейде, окруженном набережными, заполненными любопытными. Ко мне подошел Извольский и, жалуюсь на слишком короткое пребывание в столице, просил хоть с яхты познакомить его с достопримечательностями этого города-красавца. Я ответил, что спрошу разрешения старшего офицера подняться на мостик, предназначенный специально для прогулок. Капитан Заботкин, хорошо знавший меня по Копенгагену, рассмеялся над моей морской дисциплинированностью и любезно пригласил Извольского подняться. Не успел я, однако, начать свой доклад, как был поражен громким приказом, переданным по рупору матросом со «Штандарта»:

— Адмирал Нилов приказывает: «Пассажиров с мостика убрать!»

Звук рупора отдался эхом по всему рейду. Заботкин покраснел до ушей, Извольский пожал плечами, а гвардейские матросы с «Полярной звезды», привыкшие уже, вероятно, к выходкам вечно пьяного адмирала, многозначительно переглянулись. Приказ был, конечно, выполнен без промедления. Придворная камарилья со «Штандарта» по грубости своей была уже подготовлена к признанию Гришки Распутина.

Светлая северная ночь сменила жаркий тяжелый день, и «Полярная звезда» бесшумно двигалась среди тихих шведских шхер. На безлюдной палубе спящего судна сидели два военных и почти шепотом вели беседу. Это был я и неизвестный мне дотоле полковник Спиридович, оказавшийся начальником тайной охраны царя. Свидетелей не было. Рыжеватый высокий блондин с бегающим взглядом и хотя грубоватыми, но вкрадчивыми жестами говорил умно и со знанием дела. От общих вопросов по агентурной разведке мы перешли к его личной деятельности. Я был так далек не только от успехов, достигавшихся с каждым днем революцией, но и от всех дворцовых интриг, что сгущали атмосферу царского двора! Слова Спиридовича мне показались откровением.

По его мнению, столичныйская реакция не погасила революции в России, и сам он за 10 лет вперед чувствовал ее неизбежность.

Глава седьмая

В НОРВЕГИИ

На высокой горе Хольмен-Кольмен, сплошь покрытой здоровым хвойным лесом, построен из красной сосны громадный дом с большими окнами, с широкими верандами и опромным центральным залом — холлом. Стены пахнут смолой, в широком камине приветливо потрескивают круглые сучки поленья, сложенные плашмя. В холл то и дело входят представители обоего пола и всех наций, кроме русской (русские не охотники до спорта), в спортивных лыжных костюмах. Здесь никто не говорит о политике, о биржевых бумагах и даже о деньгах, между тем как самый облик посетителей выдает их принадлежность к богатым классам, у которых эти темы являются основными для всякой беседы.

В эту страну, в эту гостиницу приезжают только отдыхать. Забывая европейскую изнеженность, встают чуть ли не на расставле, спешат в темный подвал, где берут бурую валуну, ластовиную на древесных иглах, и, оценив простую, здоровую норвежскую кухню, бегут вдыхать несравнимый ни с чем горный и смолистый воздух. Одни парочки уходили на весь день тренироваться на лыжах, а другие, менее спортивные, упражнялись на скатывании с гор. Усадив даму на узкие легкие деревянные салазки и вооружившись длинной палкой, которую держал подмышкой вместо руля, кавалер, встав на колени за спиной своей спутницы, стремглав летел на санках по извилистой снежной, накатанной дороге. Наибольший риск заключался, естественно, в возможности налететь на ствол одной из окружающих дорогу сосен, но в большинстве случаев катастрофы кончались веселым смехом завалившихся в снежный сугроб неопытных иностранцев. Спешная дорожка доходила почти до предместья не то города, не то деревни — Христиании, нынешнего Осло. Оттуда можно было или подниматься напрямки пешком на гору, а для лентяев сесть на «фуникюлер», поместив салазки или лыжи за специальные решетки, расположенные, как правило, вдоль наружных стенок всякого городского трамвая.

Зимний спорт составлял неотъемлемую часть всей общественной жизни Норвегии; лыжники, поставившие рекорд по прыжкам, пользовались такой же известностью, как теноры в Италии или тореадоры в Испании. Ежегодные состязания для окончательного установления рекорда по прыжкам на лыжах представляли большое событие в жизни страны. Никакой мороз, никакая метель не могли отменить этого торжества. Толпы народа собирались в окрестностях столицы, где в глубокой лесной долине строилась небольшая ложа, сбитая из досок. В ней-то и собирались люди в элегантных пубах, с цилиндрами на голове — дипломатический корпус, или, как мы сами его называли, «зверинец». Где-то рядом, в еще меньшей ложе, стоял король с короле-

вой, а с другой стороны снежной дорожки, на которую должны были вспрыгивать лыжники, задувал ужасные марши крошечный духовой оркестр. Совсем как в Питере на Фонтанке, на Семеновском катке. Влево, на высочайшей горе, вершины которой снизу не было видно, то и дело показывались человеческие фигуры, отрывавшиеся от земли и летевшие по воздуху, описывая чуть ли не дугу. Приземляясь, эти фигуры то падали, зарываясь в снег, то, под гром аплодисментов окружающей долины толпы, заканчивали прыжок красивым заворотом на лыжах. Оркестр играл туш. Часы шли, люди продолжали летать в воздухе, было скучно, а главное, очень холодно. Все анекдоты между дипломатами были давным-давно рассказаны, но они продолжали стоять, исполняя служебный долг.

С наступлением лета в эту же страну наезжали любители белых ночей и полярного солнца, среди которых прибывал на своей яхте «Гогенцоллерн» верный посетитель норвежских фиордов, сам германский император Вильгельм. От этого распорядка в своем отдыхе Вильгельм не считал себя вправе отказаться даже в трагические минуты начала первой мировой войны.

Дипломатический мир в летнее время от спортивных обязательств был освобожден, но с закрытием единственного в столице театра дипломатам оставалось только, смешавшись с толпой всех возрастов, в виде развлечения добираться до зеленых народных театров, в те же долины, в которых они мерзли зимой. Большинство дипломатов смотрело, впрочем, на Норвегию как на место отдыха от европейской суеты, а сама страна и население казались для них странными и даже непонятными.

— Объясните, — обратился как-то к одной норвежке вновь назначенный в Скандинавию мой французский коллега, — отчего в вашей стране птицы не поют?

Стояла поздняя осень, и наша собеседница обиделась, не желая даже объяснять, что птицы в это время года уже улетели в теплые края.

— А почему коровы у вас комолены? Это так некрасиво, — не унимался мой француз.

Пришлось заступиться за норвежских коров. Французы, впрочем, оказались самыми несчастными из всех дипломатов: в отличие от всех других наций, а в особенности от русских, они никак не могли отрешиться от обычаев своей родины.

Желаю услужить своему новому французскому коллеге, не понимавшему ни слова по-норвежски, я раздобыл для него истинный клад: молодого лейтенанта, окончившего Сен-Сирскую школу в Версале и к тому же сына единственного в Норвегии генерала (все остальные старшие чины имели звание не выше полковника). Свидание я устроил в местном «Тиволи», столь же демократическом, но еще более скромном, чем в Копенгагене. Лейтенант мой чувствовал себя на седьмом небе, имея возможность похвастаться своим французским языком, и в конце вечера пригласил нас от чистого, восторженного сердца в дом своего отца. Мой коллега запротестовал, ссылаясь на усталость, и мне с трудом удалось его увлечь за собой. Генерал с семьей оказался в отсутствии, и лейтенант, усадив нас в его кабинет, побегал разыскивать достойное своих высоких гостей угощение.

— Слушайте, — сказал я своему бывшему союзнику, — когда лейтенант вернется, заведите с ним разговор про организацию обороны шхерных районов и в особенности Нарвика. Мне, как русскому, неудобно его об этом расспрашивать.

Французский коллега обещал, но тут же чуть не провалил всего дела. Лейтенант вернулся с драгоценной, запыленной от времени бутылкой тяжелого бургонского вина.

— Как после полуночи пить подобное вино! — воскликнул француз. — Нет, это святотатство! Уже поздно, нам надо ехать домой.

Не помню, уцелел ли я «союзника» или просто так на него взглянул, что он сдался, глотнул, поморщившись, вина и завел желанную для меня беседу. Норвежцы, несмотря на препирательство рыболовов трески, не видели в России своего врага, тем более что все помыслы их были направлены в ту пору к обороне против Швеции: они праздновали еще медовый месяц своего освобождения от ненавистной для них унии с этой страной.

— Наша армия слабее шведской, — говорили мне не раз норвежские гештабисты, — но разве шведы могут с нами сравниться и по стрельбе и по яростному штыковому удару нашей пехоты?

Франция представляла для лейтенанта вторую родину, и потому он подробно излагал нам принципы обороны Трондхема, Бергена.

— А дальше к северу у нас никаких укреплений больше нет, но мы, — объяснял он, — организовали надежную местную оборону, возложив ее на местное население, которое прекрасно освоило стрельбу из пулемета (пулеметы считались тогда еще новинкой на вооружении европейских армий).

— Да какое же там может быть население? — изумлялся француз.

— Неужели же вы не знаете лапландцев? — обиделся наш хозяин. — Они ведь идеальные стрелки.

— Нет, нет, — волновался мой коллега. — Никогда вы меня не уверите, что лапландцы способны стрелять из пулеметов!

Французы, как и немцы, часто грешат тем, что недооценивают и своих врагов, и своих друзей, особенно в военном деле.

— Скажите, — задал мне вопрос в мировую войну будущий маршал Петэн, в армии которого временно входила наша русская бригада, — неужели ваши солдаты выучились стрелять из нашей винтовки Лебеля?

Этот высокомерный генерал принимал нас тоже почти за лапландцев.

— Наша трехлинейная винтовка сложнее и лучше вашей, — ответил я тогда Петэну.

Вопросы осведомления о норвежской армии проще всего разрешали англичане. Норвегия жила на английском угле, и уже в силу этого мой только что назначенный английский коллега чувствовал себя в этой стране, как у себя дома.

Мы встретились с ним на зимних маневрах под самой столицей в присутствии короля. Для представителей великих держав маневры казались, правда, легкой забавой, так как, из-за милиционного характера норвежской армии, генеральный штаб мог вывести на них только один сводный батальон с парой батарей. Для меня, конечно, представляли интерес лыжники, которые в русской армии существовали только в пехотных охотничьих командах.

Военных атташе поместили в жарко натопленной уютной даче, хорошо кормили, а с утра подавали к крыльцу верховых лошадей и предлагали ехать следить за ходом маневров. Случайно я оказался старшим в чине среди собравшихся военных атташе — «дойеном», и, как только мы сели на коней, мой английский коллега обратился ко мне с дружеской просьбой:

— Послушайте, дорогой полковник, что мы станем делать в эдакую снежную пургу? Нам ведь надо только встретить «конунген», как они здесь назы-

вают своего короля. Вот вы и скажите, что мы хотим его разыскать, а после этого вернуться сюда и устроить хороший бридж; германский коллега — отличный партнер.

— Но, милый майор, — ответил я, — нам все же придется представить своему начальству какой-нибудь отчет об этих маневрах.

— Я это уже предвидел, — убеждал меня мой хладнокровный коллега, — и заранее предложил норвежскому штабу составить для меня обстоятельный доклад. Я с удовольствием дам вам его переписать.

Английское посольство в Христиании, как, впрочем, и на всем земном шаре, умело всегда лучше всех устроиться, располагая собственной виллой с обширным садом, тогда как канцелярию германской миссии было уже трудно разыскать. Русская же миссия существовала в полном смысле этого слова на средства своего посланника, богатейшего бессарабского помещика Крупенского. Мои редкие наезды в Христианию доставляли ему истинную радость, так как давали лишний предлог затмить всех коллег своим подчас слишком подчеркнутым восточным хлебосольством.

Служебные обязанности русского посланника не были обременительны: интересы России в Норвегии исчерпывались в ту пору соблюдением рыболовной конвенции. Она нарушалась, правда, из года в год предприимчивыми норвежскими рыбаками трески и охранялась ввиду этого русскими вооруженными канонерками.

В противоположность двум другим моим посланникам, людям отменно воспитанным и боявшимся собственной тени, Крупенский со свойственной этой семье южной экспансивностью обращался не только со своим единственным секретарем, но и с норвежскими чиновниками, как с собственными крепостными.

— *Il est terrible, votre ministre!* — жаловались мне норвежцы. — *Il vient au ministère cravache à la main!*¹

Повидимому, сменивший в это время Извольского на посту министра иностранных дел Сазонов был тоже невысокого мнения о моих посланниках. При первом же свидании со мной в своем служебном кабинете этот маленький подвижной человек поразил меня своим несколько фамильярным нервным тоном.

— Ну, как поживают ваши посланники? — спросил он. — Какого вы о них мнения?

Привыкнув считать посланников за своих, хотя и не прямых, по все же начальников, я замаялся, а Сазонов тогда задал мне уже прямой вопрос:

— На какие посты они, по-вашему, были бы годны?

— Для всех трех вижу, к сожалению, только один пост: послами в Мадрид.

Испания не играла еще в ту пору политической роли, но по старой традиции занимала в отношении дипломатических представителей положение наравне с великими державами: посланники считались там послами.

Пророчество мое себя оправдало. Кудашев и Будберг оказались по очереди достойными представителями русского царя при испанском короле, но Крупенского Сазонов имел неосторожность послать в Италию. Скандал был неминуем.

Этому восточному сатрапу не могла быть по душе демократическая, свободолюбивая Норвегия. Помню, как он возмущался моим рассказом о первом приеме в гарнизонном собрании в Христиании.

¹ Он ужасный человек, ваш посланник! Он приходит в министерство с хлыстом в руке!

Меня пригласили туда к 8 часам вечера, но при входе в невзрачный на вид частный домик я был встречен каким-то человечком в поношенном пиджаке, оказавшимся офицером, вежливо попросившим обождать в приемной. В зале шел доклад, на который он меня, к сожалению, пропустить не мог. Хотел я было обидеться, но решил не оскорблять хозяев, предупредивших заранее, что они приглашают на дружескую кружку пива. Велико, однако, было мое удивление, когда из крошечного зала вышел высокий, довольно красивый молодой человек в таком же скромном штатском пиджаке, как и окружающие. Я узнал в нем самого короля Гаакона. Он любезно пожал мне руку, и мы спустились в подвальное помещение, где при слабом свете свечей и должно было происходить «гулянье», как называли русские гусары всякую попойку. Ничего общего с ней этот скромный ужин не имел. Как аяк особаго отаичия, меня посатили вместе с королем за один из многочисленных небольших дубовых столиков без скатертей, без приборов, и хорошенissime норвежки в национальных костюмах с белыми накрахмаленными чепчиками быстро стали нас угощать пивом и разными закусками. Разговор коснулся, конечно, манчжурской войны, которой, как я узнал, и посвящен был доклад. Вероятно, нас там сильно пробирали, а потому и решили в последнюю минуту в зал не допускать. Об этом, впрочем, я мог догадаться по тому тону, с которым задал мне вопрос один из офицеров, сидевших за нашим столиком:

— А скажите, господин подполковник, правда ли, что Куропаткин при каждом удобном случае приказывал служить молебны? Они, видно, вам мало помогли, — с нескрываемым сарказмом добавил капитан.

И припомнился мне молебен перед сражением на Шахе, и приоткрылась завеса, отделявшая русскую религиозность от остального европейского мира, но мировоззрение, воспринятое с детства, еще жило в моей душе, и слова норвежца в ту пору все же меня покорибили. Конечно, я не показал виду и замая любезно разговор, тем более, что король, приглашенный на престол только два года тому назад, был тоже, повидимому, смущен обращением с иностранцем своих «новых подданных». Они, впрочем, поступали с ним без больших церемоний, и Крупенский не раз возмущался, как смело правительство запретить королеве, родственнице английского короля и большой спортсменке, содержать не больше одной верховой лошади. «Верноподданные» берегли государственную казну и «удельных земель» своему монарху не предоставляли.

В противоположность Швеции офицерство никакой роли в жизни буржуазного общества в Норвегии не играло. На улицах нельзя было встретить ни одного военного, и потому пришлось ограничиться установлением добрых отношений с двумя-тремя капитанами генерального штаба, составлявшими центральный аппарат этой оригинальной армии силою в пять бригад. Для того чтобы ее видеть, надо было выхлопотать разрешение на посещение одного из лагерных сборов, производившихся периодически в каждом из пяти военных округов. Много пришлось в жизни видеть лагерей, но ни в одном не окунался я в столь напряженную трудовую военную атмосферу, как там, в бараках, затерянных среди скал и лесов Норвегии.

Стоял жаркий август. Хлеба уже убрали, и в лагерь по тропам и дорожкам шла со всех окружающих деревень молодежь с винтовками за плечами, одни пешком, другие верхом на своих здоровенных, тяжелых конях, выпяженных из плугов. В лагере они мгновенно переодевались в походную форму из серого сукна и уже на следующее утро, разбившись на взводы, шли на занятия.

Подымали меня с петухами и не давали отдыха до заката солнца. Круглый

день посвятившие гуль, окрики команд, топот копыт, изредка «ура». Средь дня только три кратких перерыва для еды и часового отдыха.

Прикомандированный ко мне лейтенант, представитель милиционной армии, сшеломлял своими разъяснениями меня, представителя царской армии.

— Удивляюсь, как ваши люди могут выдерживать столь напряженную работу.

— Конечно, нелегко, — объясняет лейтенант, — но нам приходится заканчивать подготовку пехотинцев в один месяц с небольшим, а кавалеристов в три месяца. Это возможно благодаря тому, что люди приходят, как вы сами убедились, хорошими стрелками, и, в конце концов, стрелковые общества представляют у нас основу обучения солдат. Вас, наверно, неприятно поражают тоже наши крестьянские кони, но они выносливы, неприхотливы и вполне нас удовлетворяют. Галопом ходят, правда, плохо, но в горах ведь скакать не приходится.

— Здесь вы видите только подготовку новобранцев, но эти люди будут еще отбывать и повторные сборы. Больших маневров у нас не бывает: они слишком дорого обходятся. Снаряжение у нас хранится большей частью в крупных деревнях или в соседних с ними городках. Всякий норвежец знает, кто его взводный, кто его ротный, помнит номер своей винтовки, и потому наша мобилизация будет произведена скорее, чем в Швеции, несмотря на ее систему постоянной армии. Наши войска займут позиции на границе через 2—3 часа после объявления войны.

И, поживши несколько дней среди этих свободолюбивых патриотов, я сам начинал верить, что действительно они не только займут границы, но и не дадутся даром любому врагу, посягнувшему на их суровую страну. А теперь, вспоминая их и дожив до дней, когда безумный и преступный Гитлер решил сделать из этой страны германскую провинцию, я ни минуты не сомневаюсь, что немцам в Норвегии долго не прожить.

В ту же пору, составляя донесение о всем виденном и слышанном, я сознавал, что пример этой маленькой армии едва ли сможет внести много полезного в воспитание русской армии: слишком уж были противны духу паризма сама идея милиционной армии и то доверие к населению, на котором эта система была основана.

★ ★ ★

Шел пятый год моей службы в Скандинавии, и хотя работа военных атташе никогда не может считаться законченной, мне все же она стала казаться малопродуктивной; к тому же все окружающие иностранные дипломаты, за исключением совсем уже затертых судьбой, вроде моих баронов в Стокгольме, смотрели на свои посты в этих странах как на временные.

Пересчитывая в канцеляриях наших миссий копии донесений послов с континента (скандинавов мы все считали островитянами), я видел ясно, что в Европе называют величайшие противоречия между великими державами, и обидным казалось сидеть в стороне от событий. Жизнь была во мне ключом; все поручавшиеся мне дела казались слишком легкими. Приняв за правило не отрываться от своей страны и армии, мы с Петровым умудрялись бывать под разными предлогами не менее двух раз в год в Петербурге. Для нас обоих наступала пора отбывать командный пенз, но начальство, которому мы об этом заикались, каждый раз под разными предлогами спроваживало нас обратно к своим постам. Наконец в начале 1912 года я решил использовать назначение

на пост начальника генерального штаба вместо Палицына генерала Жилинского и откровенно доложить о своем желании или переменить пост, или вернуться в строй. Службы в центральных управлениях я опасался, как огня: я уже достаточно с ними познакомился по переписке из-за границы.

— Вами у нас очень довольны, — сказал Жилинский, — я наметил для вас большое повышение. Не согласились ли бы вы поехать в Вену?

Вена — яблоко раздора для великих держав, центр всех германских интриг на Балканах.

Вена — пост, на котором за последнее время оналани себе крылья мои лучшие старшие коллеги по генеральному штабу.

Предложение Жилинского показалось мне крайне лестным, и я уже наметил себе план использовать те связи, которые были завязаны за последние годы у меня, а особенно у жены, с знатнейшими представителями австрийской и венгерской аристократии, игравшими в ту пору еще очень большую роль в политической и военной жизни этой феодальной империи. Недолго суждено мне было оставаться кандидатом на Вену.

— Очень сожалею, — заявил мне через два дня тот же Жилинский. — Министерство иностранных дел категорически протестует против вашего назначения. У вас слишком славянская фамилия.

Видно, не всем нашим дипломатам было по душе вспоминать, что главная улица в Софии носит до сих пор имя моего дядюшки Николая Павловича.

— Недобросовестное объяснение, — сказал на это встретивший меня на Морской невозмутимый Федя Палицын.

Пришлось было и на этот раз собираться обратно в путь, в серый Копенгаген, как неожиданно накануне отъезда я был срочно вызван по телефону снова к начальнику генерального штаба.

— Я слышал, — сказала мне Жилинская, — что вы собираетесь совсем нас покинуть и подать рапорт об отчислении в строй. А вот что вы на это скажете? Прочтите, — и он пододвинул ко мне небольшую бумагу, один формат которой показался мне настолько знакомым, что не хотелось верить. Когда же я увидел родной уже для меня заголовок «военный агент во Франции», то невольно взволновался и для успокоения несколько раз перечитал бумагу:

«Прошу отчислить меня от должности военного агента во Франции по семейным обстоятельствам и предоставить мне командование кавалерийской бригадой. Генерал-майор граф Постниц».

— Что вы на это скажете? — спросил Жилинский.

— От Парижа не отказываются, — ответила я своему высокому начальству.

— Быть может, вы посоветуетесь с семьей?

— Никак нет. Я согласен. Советоваться не стоит.

— Ну, в таком случае через неделю ваше назначение будет оформлено высочайшим приказом.

Приказ 12 марта 1912 года разрешил мою дальнейшую судьбу на много лет!

Когда по случаю назначения мне приходилось проходить вдоль стеклянных перегородок, за которыми, как в клетках, сидели и писали бумаги мои коллеги-делопроизводители и помощники делопроизводителей Главного управления генерального штаба, то мне казалось, что в России нет офицера, который бы не мечтал получить этот почетный пост в союзной стране.

Но как бы и меня самого ни тянуло в мой милый Париж, где уже, верно, пахло весной и где на Елисейских полях зацветали рододендроны, все же я

считал, что не имею права покинуть поста в Окандинави до приезда заместителя. Я хотел представить его лично всем королям и министрам и передать все свои гласные и негласные связи и знакомства. Только в таком случае я считал свой долг выполненным. Пришлось долго ждать, так как никому не было охоты меня заменить; пришлось выдержать перекрестный огонь телеграмм из Петербурга и Парижа, требовавших моего срочного выезда, но все это не помешало привести в исполнение задуманный мною план.

Непредвиденная задержка случилась только накануне окончательного отъезда из Стокгольма. Вещи были уже сложены, прощальные визиты проделаны, и, чтобы проститься с ближайшими приятелями из шведской военной молодежи, я по обыкновению отправился в конце дня в место, служившее клубом, — бани на Стюргатаган. Там после омовений и душей было приятно, да и не бесполезно, посидеть в купальном халате в комфортабельном кресле, раскинаясь с приятелями «сода-виски». В самом спокойном настроении духа вышел я на темную и плохо освещенную улицу и не подозревал, что в этот момент могло случиться то, что является самым ужасным для всякого военного атташе.

«Грэв Игнатъев шпион! Грэв Игнатъев шпион!» — кричали пробегавшие мальчишки, размахивая какой-то газетой. Поймав одного из них, я увидел свой портрет в военной форме и действительно крупный заголовок сенсационной статьи: «Грэв Игнатъев шпион!»

В первый момент я заподозрил тайную немецкую интригу, направленную против моего назначения во Францию. Михельсон уже давно мне говорил, что я имею честь быть записанным в германском генеральном штабе на «Шварцетафель». Таких офицеров русских и французских было немного, и их, между прочим, было запрещено допускать под каким бы то ни было предлогом на маневры германской армии. Вероятно, по мнению немцев, эти офицеры слишком хорошо умели разгадывать германские военные загадки. Я боялся найти фамилии, связанные с моей агентурной работой в Дании, как, например, того же старика Гамлена, про которого впоследствии я читал в воспоминаниях бывшего начальника австрийской разведки, но, пробежав газетную статью, убедился, что это местная шведская утка, пущенная каким-то репортером для дешевой рекламы собственной газеты. Тут был и фиктивный рассказ о моем летнем путешествии в окрестностях крепости Карльскрона, тут были и пикантные подробности о флирте моей жены с чересчур доверчивыми шведскими офицерами... Не теряя ни минуты, я побежал к вновь назначенному посланнику Савинскому и, ошеломив его газетой, заявил, что мне необходимо уехать отсюда не только с реабилитацией, но и с почетом.

— Звони сейчас же к состоящему при короле личному камергеру и проси через него короля еще раз дать мне аудиенцию под любым предлогом, а я устрою сам через своих приятелей обед в мою честь от всего стокгольмского гарнизона.

Через два-три дня в модном загородном ресторане «Хассель бакен», где пришлось провести столько веселых вечеров, я сидел на громадном башкете. Мой фрак украшала врученная мне накануне королем генеральская награда — звезда, а на столе, утопавшем в цветах, пестрели голубые шведские и трехцветные русские бумажные флажки. Было выпито много шампанского, произнесено немало тостов, а на следующий день было напечатано еще больше газетных описаний русско-шведского торжества.

Честь русского военного атташе была спасена.

Глава восьмая

НА ОТВЕТСТВЕННОМ ПОСТУ

Осуществилась моя заветная мечта: я ехал на службу в ту страну, которая была мне уже знакома, переселялся в тот город, где ключом била жизнь, где каждый день и каждый час могли представлять новый и самый разнообразный интерес.

Я сознавал ответственность поста военного агента в одной из великих держав, но, конечно, не мог предвидеть тех полных трагизма событий, которые пришлось пережить в столь любезной моему сердцу Франции.

Овладев уже техникой работы военного атташе, я чувствовал под собой, наконец, твердую почву, зная, что основанием всей моей будущей деятельности будет служить франко-русский союз; при быстром росте военной мощи Германии он приобретал особенно важное значение, хотя, как известно, и не был оформлен дипломатическим актом. Этого оформления, между прочим, тщетно добивались французы, всегда косо смотревшие на наши «традиционно дружественные», по выражению Сазонова, отношения с Германией. Существовал только секретный протокол заседания начальников генеральных штабов 1885 года, периодически дополнявшийся в присутствии только двух свидетелей: русского военного агента в Париже и его французского коллеги в Петербурге.

Этот документ предусматривал автоматическое вступление в войну каждой из договаривающихся сторон в случае нападения Германии на одну из них. Об Австро-Венгрии, находившейся в открытом союзе с Германией, совсем не упоминалось, и это было слабым пунктом для России, особенно с постепенным обострением наших отношений с Веней из-за балканского вопроса. Возмись одна из сторон за оружие для защиты своих прав без прямого участия Германии, и франко-русский союз терял свою силу: французы могли бы в подобную минуту попросту умыть руки.

Таким образом, в обязанности русского военного агента во Франции входило не только блюсти союзный договор, но и стремиться подвести под него не предусмотренный им случай вооруженного столкновения между Россией и Австро-Венгрией. Обо всем этом я надеялся подробно переговорить с моим предшественником, генерал-майором гр. Ностицем, ожидавшим моего приезда в Париж.

Гришок, как звал Ностица весь Петербург, несмотря на свой высокий чин, как вежливый человек встретил нас с женой на Северном вокзале, с иголочки одетый в шитатский сюртук и цилиндр, с большим букетом роз в руке.

Загадочным человеком долгое время казался мне Гришок. Я был еще юным корнетом, а он уже полысевшим раньше времени генштабистом, которого я

встречал или в кавалергардском полку, где он начал службу, или в домово́й церкви у бабушки, куда почему-то допускался его отец, давно нигде не служивший генерал. Он занимался фотографированием не только своего роскошного дворца в Крыму, но и красот далекой Индии, куда он совершал специальные путешествия.

Старик Ностиц рано овдовел, был несметно богат и, конечно, мог дать единственному своему сыну блестящее образование. Выходило, однако, так, что все, к чему готовил себя Гришок, как раз не соответствовало или его призванию, или его вкусам. Избалованный домашним воспитанием, от природы непригодный к военной, а в особенности кавалерийской службе из-за своей крайней близорукости, Гришок, окончив Московский университет, стремится сделать военную карьеру, но вместо хороших коней он заводит яхту и чувствует непреодолимое влечение к морскому делу. Все петеро́кие мамашы бегают за этим женихом-миллионером, но невестам он почему-то не приходится по вкусу. Он отлично оканчивает Академию генерального штаба, исправно маневрирует на полях Красного Села, все сослуживцы находят его милым, вид в пенсне имеет он серьезный, а подчас даже таинственный, особенно когда он хочет заинтересовать собеседника какой-нибудь военно-придворной интригой, до которых он большой охотник.

Богатство, дающее ему самостоятельность, открывает ему доступ к самым высоким царским сановникам, но в царскую свиту он не попадает и довольствуется постом, правда временным, военного агента в Берлине. Это-то и подготовило ему ту катастрофу, от которой ему пришлось пострадать в Париже.

Старый холостяк и на вид смиренный монах, наш Гришок теряет голову при встрече с одной эффектной американкой, женой видного берлинского банкира, разводит ее, женится на ней, но, чувствуя трудность ввести ее в высший петербургский свет, ищет назначения за границу. Интригуя через великого князя Николая Николаевича, он добивается поста в Париже. Там, в этом современном международном Вавилоне, его жена может блеснуть бриллиантами, а Ностиц — затмить самого посла роскошными приемами.

Париж лишний раз смог разинуть рот и позавидовать богатству «боярысь», но Париж привык тоже быть свидетелем быстрого и бесследного исчезновения тех богов, которым он еще вчера поклонялся. Так случилось и с Ностицем. С немалым, впрочем, трудом удалось мне восстановить истинную причину его вынужденной просьбы об увольнении. Оказалось, что для вящего блеска своего парижского «двора» он взял к себе в адъютанты красивого гусара, правда не гвардейского, но Александрийского полка, шефом которого была сама Александра Федоровна. При таком муже, как Гришок, этому молодчику в красных чихчирах и с серебряными бранденбургками удалось иметь успех у супруги своего начальника. Дело ограничилось бы «семейными обстоятельствами», если бы французский генеральный штаб неожиданно не довел до сведения министра иностранных дел о подозрениях, падающих на этого гусара за преступную связь его с Берлином. Высоко метили на этот раз германские вербовщики!

Все это мне было известно при моем приезде в Париж, но, считая Гришка за серьезного генштабиста, я все же надеялся получить от него какое-нибудь деловое наследство. Каково же было мое изумление, когда тут же по дороге с вокзала Ностиц извинился за невозможность говорить со мной о делах ранее двух-трех дней.

— Я хочу перед отъездом посетить некоторые полки, — объяснил он мне. — Знаешь, после сдачи должности это удобнее сделать.

В чем заключалось удобство, я не посмел допрашивать генерала. Лучше поздно, чем никогда, только подумал я, но понял, что данных о состоянии союзной армии мне получить от него не удастся, и решил терпеливо ждать возвращения Ностица.

Я встретил его в совсем расстроенных чувствах.

Он только что вернулся из поездки в Венсенн, предместье Парижа, где квартировал 37-й драгунский полк; всякая армия имеет такие полки и учреждения, которые считаются образцовыми и навсегда обречены на парадирование перед почетными иностранцами.

— Я ужасно сожалею, милый друг, — сказал мне Ностиц, — что с первого же дня вынужден просить тебя распутывать случившуюся со мной возмутительную историю. Представь себе, поначалу все шло великолепно. Встретили меня драгуны с соответственной почтительностью, лошади дали смирилу, хорошо выезженную (это мне напомню милых бывших полунитатских товарищей по кавалергардскому полку), проделали на плацу конное учение и предложили сняться во дворе, в казармах, общей конной группой. Но в эту минуту адъютант полка попросил моего разрешения пригласить сняться с нами и русского офицера, осматривавшего в тот же день этот полк. Отказать было невозможно, но мне в голову не приходило, для кого я устроил посещение полка. И вот передо мной предстал крохотный человечек в смокинге и вечерней накрахмаленной рубашке, но в желтых дневных ботинках и зеленой дорожной кепке на голове. Он представился мне штаб-ротмистром из то Изюмского, не то какого-то другого полка и казался особенно жалок среди сопровождавших его двух драгунских офицеров в их громадных мелких касках с конскими хвостами. Я до того растерялся, — как всегда скороговоркой закончил Ностиц, — что мог только по-русски сказать: «Подождите, потом, потом. Явитесь к нашему новому военному агенту, полковнику Игнатьеву».

— Хотел сделать как можно лучше, — объяснил мне через пару дней вызванный мною виновник происшествия. — Смокинг на шелку надел вместо парадного мундира, желтые ботинки считал более боевыми, чем лакированные, а кепка ближе подходила к русской военной фуражке, чем нитатский котелок.

Бедному ротмистру были незнакомы условные порядки ношения штатской одежды за границей, но менее сложные, чем указанные в русских военных уставах «формы одежды».

Пришлось, как ни странно, начинать свою деятельность лаконическим приказом, вывешенным при входе в мою канцелярию, который гласил:

«От восхода до заката солнца ношение военнослужащими вечерней одежды — фраков и смокингов — строго воспрещается».

Пока Ностиц продолжал знакомиться с французской армией, я изучал оставленное им деловое наследство. Астрономические цифры исходящих номеров могли произвести сильное впечатление, но — увы! — большинство бумаг оказалось вполне невинного содержания: их без труда мог составлять любой писарь штаба дивизии. Но у Ностица во Франции такого писаря не было, и ему приходилось за эту работу «очень дорого, — как он мне объяснял, — платить личному секретарю».

«При сем представляется устав или газетная вырезка, или интересная статья», — гласила бумага, но ни одна не сопровождалась каким-либо комментарием и дако копией отправленного в Россию материала.

Были, впрочем, среди копий бумаг и менее безвредные, начинавшиеся обычно словами: «У меня явилась мысль...» К числу подобных «мыслей» самой дорогой для Гришюка оказался проект сооружения в маленьком французском городке Живэ памятника русским солдатам, умершим там в госпитале в 1814 году.

— Я уж очень прошу тебя закончить это важное дело, — повторял мне несколько раз Гришюк, знакомя меня с обширной перепиской и с походной канцелярией «его величества» в Петербурге и с каким-то таинственным для меня, но не для Ностица, светлейшим князем Голицыным.

— Очень скупой старик, проживающий часть года на Ривьере, где он построил себе роскошный дворец, — объяснял Гришюк. — У него только семейные дела немного запутаны, масса детей от нескольких браков, и теперь он женат на молодой цыганке. Но богатства у него несметные, и мне страшно трудно было его уломать пожертвовать 30 000 франков на памятник; я обещал ему за это очередную высочайшую награду. Он очень их ценит.

Деньги эти имели свою историю. Как ни противно мне было хранить частные деньги, пожертвованные на казенное дело, как будто уж Россия была так бедна, все же пришлось положить эту сумму в банк и открыть специальный счет, на который во время войны стали вноситься миллионы казенных денег, предназначенные на военные заказы. Мне, конечно, было в ту пору не до памятника, он был недостроен, но сумма продолжала числиться в бухгалтерских книгах. Тем временем неведомый мне Голицын умер. Революция лишила преемателей русских денег за границей источников пополнения их доходов, и тогда-то вдова Голицына вспомнила о деньгах, пожертвованных на памятник в Живэ. Угрожая судом, она потребовала их возврата, и мне пришлось, по соглашению с французским правительством, вернуть ей злополучные деньги. Хватай везде, где есть деньги, забывая все прежние обязательства, — таков ведь лозунг русских эмигрантов в Париже.

Вторым вопросом, который очень интересовал Ностица, а главное, льстил его самолюбию, являлось его положение председателя франко-русской комиссии по радиосвязи с Россией.

— Очень неприятно, — говорил он мне, — что с моим уходом эту должность будет выполнять наш морской коллега, капитан первого ранга Карцов (будущий начальник Морского корпуса), как старший тебя в чине.

По существу же, ни Ностиц, ни Карцов, ни я ничего не понимали в распределении времени и длине волн, посылаемых башней Эйфеля, и только подписывали протоколы, составленные скромным французским секретарем комиссии, майором Картье.

Для меня осталось навсегда неясным, насколько Ностиц пользовался доверием во французском военном мире. С одной стороны, его любезное обращение и большой служебный такт несомненно подготовляли благоприятную для меня атмосферу, но, с другой — казалось странным, что впоследствии никто не упоминал мне в разговорах его имени. Положению русского военного агента во Франции содействовали, впрочем, больше всего изменения в самой европейской обстановке. Далеко позади остался тяжелый 1906 год — времена Лазарева; для его преемников двери французского генерального штаба открывались сами собой, и, пожалуй, роскошные приемы Ностица вызвали только подозрения в военных кругах. Французский военный мир, а в особенности генеральный штаб, был составлен из таких скромных и небогатых людей, что их нельзя было соблазнять, подобно немецким и шведским офицерам, ни раз-

душенными салонами, ни ослепительными дамскими декольте. Дипломатические приемы в каждой стране должны сообразоваться с ее собственными вкусами и обычаями.

Приступая к исполнению своих обязанностей, я, конечно, не собирался конкурировать по части приемов с моим предшественником; но все же надо было организовать прежде всего свою штаб-квартиру, достаточно представительную и в то же время отвечающую всем служебным потребностям военного атташе.

Кто в течение долгих четырех лет мировой войны не знал адреса русской военной миссии во Франции — 14, авеню Элизе Реклю, — в новом тогда квартале на Марсовом поле, у самого подножья Эйфелевой башни? Но кому могло притти в голову, что в длинном темном холле первого этажа, где во время войны дожидались приема сотни посетителей, когда-то беззаботно танцевала молодежь, что обширный кабинет начальника военной миссии со створчатыми окном и дверьми, выходившими прямо в сад, представлял в мирное время розовый салон хозяйки дома, а секретариат в соседнем кабинете — столовую? Никто, бывало, не хотел верить, что в небольшом втором этаже, сообщавшемся с первым внутренней лестницей и состоявшем из двух спальных комнат и канцелярии, могли во время войны разместиться все службы, через которые прошли сложные многомиллионные военные заказы. Правда, кровать начальника оставалась на месте в отделе бухгалтерии, а машинки стучали в ванных комнатах.

Мне казалось, что война требует жертв всякого рода, и что союзный военный агент, живший за счет французского военного займа, должен показать пример экономии в расходовании казенных средств. Глядя иногда на разрушение созданного с такой любовью своего парижского гнезда, я утешал себя мыслью, что не затрачиваю на себя и свою работу ни одного русского рубля.

Одним из главных удобств парижской квартиры было наличие трех выходов, допускавших одновременный прием в обоих этажах посетителей, которых неудобно было знакомить друг с другом. Большую прелесть представляла дверь, выходившая в небольшой палисадник, из которого в свою очередь можно было выйти, не пользуясь парадным ходом, непосредственно на верховую дорожку Марсова поля. Туда по утрам мне подавали мою верховую лошадь.

В первые дни пребывания в Париже мне казалось, что ничего не изменилось за те шесть лет, что я покинул этот город. Так же, как тогда, сквозь прозрачную утреннюю дымку зеленели ровные, как скатерть, газоны, обрисовывались пышные контуры цветущих каштанов. Так же, как и тогда, утренняя тишина нарушалась только мелодичными дудками уличных продавцов. Все носило хорошо мне известный и освященный традициями парижский распорядок жизни. Но когда около полудня я очутился на знакомых мне Елисейских полях и попробовал нанять извозчика, то к моим услугам нашлись только небольшие красного цвета такси. Это были те знаменитые такси, на которых в сражении на Марне генерал Галлиени перевез на фланг германской армии, и неожиданно для нее, целую пехотную дивизию. Шофером такси оказался старичок, в котором без труда можно было узнать бывшего «коше де фиакр» — извозчика.

— То ли дело были мои две старые нормандки, — вздохнул старик, разделяя вполне мои собственные мысли.

Он с шумом и лязгом переводил окорость, дымил и шипел, въезжая в поток медленно двигавшихся машин самого разнообразного вида. Как пережиток старины высоко тротировали в ногу парные упряжки упрямых парижских консерваторов. Копоть от горючего отравляла воздух, жгла свежую листву деревьев; Париж вскоре лишился и лип и каштанов, замененных грубыми кленами. С приближением к центру города поток разнокалиберных повозок двигался все тише и, наконец, на первом же перекрестке окончательно остановился под ругань шоферов и кучеров. Регулировать уличное движение полиция еще не обучилась, и старому Парижу с его узкими улочками и переулками никогда не удалось вполне примениться к бешеному росту техники. Как трудно было ему сохранить свое французское лицо среди все более и более его наводнявших иностранцев всех национальностей!

— Не судите о Франции по Парижу; Париж больше не Франция, — не раз говаривал мне сам генерал Жоффри.

В этом международном городе можно было прожить, не заводя знакомств с французами, и я почувствовал, что одной из трудных задач для меня явится установление связей с теми людьми, которые представляют истинное лицо этой страны.

Но, с другой стороны, Париж с каждым годом становился тем международным центром, где завертывался клубок международной политики; не ухватить хотя бы самую тонкую ниточку этого клубка значило не предвидеть своевременно его возможной трагической развязки.

Официальные визиты начались, естественно, с представления собственному послу, Александру Петровичу Извольскому. Принял он меня в том же громадном кабинете на улице де Гренелль, где когда-то я являлся к старику Нелидову, и был настолько любезен, насколько то позволяла его крайне нелюбезная и потому отталкивающая на первый взгляд внешность. Этот человек не умел смеяться, не в силах был выразить, например, искреннего сочувствия, даже в том случае, если он его бы и таил в своей душе. Ему как будто особенно нравилось представлять из себя сфинкса, с моноклем в глазу, безупречно одетого по последней английской моде. Как убежденный англофил, он, быть может, находил, что своей замкнутостью он лучше всего подражает английским лордам. Верхом блаженства считал приглашение в какой-нибудь английский замок, презирая не только французскую буржуазию, но даже русскую аристократию.

— Вы, дорогой граф, — не выдержал как-то в споре со мной на политические темы Извольский, — как всякий истинно русский человек — социалист и революционер!

К какому сорту русских людей причислял себя сам гофмейстер «двора его величества», определить было трудно. Характерной была только его визитная карточка; не «российский посол», как обычно писали его предшественники, а «императорский». Для членов романовской семьи Извольский делал исключение и не знал, как бы стяжать благоволение даже самых молодых ее членов. Забывая свое высокое положение посла, он выбегал на улицу провожать до машины Кирилла и Бориса. Далеки были времена бывшего посла в Париже, генерала князя Орлова! (Он, между прочим, потерял глаз в турецкую кампанию и импонировал черной повязкой, наглядно говорившей о его военной доблести.)

Узнав о непристойных оргиях молодых царских сыновей Владимира и Алексея, Орлов предложил им на следующий же день возвратиться в Россию,

написав в дотонку такое письмо Александру II, после которого, до самой смерти этого царя, гуляки-сыновья не смели показывать носу в Париже.

Извольский вместо миллионов Орлова имел за собой одни долги, так как получаемого жалованья (100 000 франков в год) не могло, конечно, хватать на все расходы, связанные с представительством. Если для частного человека долги представляют в капиталистическом обществе самую тяжелую сторону жизни, то для дипломата, а в особенности для посла, долги могут вызывать самые нежелательные толки. Я никогда не хотел верить басне, что Титони, итальянский посол в Париже, мог путем материальной заинтересованности влиять в желаемом ему направлении на политику Извольского, но мне с горечью приходится вспоминать, каким доверием пользовался при Извольском такой пролаза, как Николай Рафалович, племянник Артура. Живя в Париже, этот господин имел почему-то самые тесные связи с итальянским банком «Кредито Италяно».

Извольский пробился в люди, затратив на это немало труда, претерпел, как всякий незнатный чиновник, немало унижений, а потому и дрожал за достигнутое под старость дней высокое положение.

Сам он, впрочем, опровергал это, объясняя мне не раз подробности босно-герцеговинского инцидента, стоившего ему поста министра иностранных дел. Он справедливо считал аннексию Австро-Венгрией этих двух славянских провинций началом всех последующих европейских интриг вокруг Балканского полуострова.

— Напрасно «Новое время», а за ним и вся Россия считали, что мой австрийский коллега Эренталь меня провел, что я не показал достаточной твердости в защите славянских интересов. Зная, насколько сильна позиция Австро-Венгрии в этом вопросе (Босния и Герцеговина находились под протекторатом Австро-Венгрии по берлинскому договору 1879 года), я перед отъездом на свидание в Бухлау зашел к нашему военному министру и поставил ему простой вопрос: готовы ли мы к войне или нет? И когда он мне объяснил, что русская армия еще не успела залечить манчжурских ран, я понял, что кроме дипломатической лавировки мне ничего не остается делать и я ничем не смею угрожать. Вот и весь секрет. Я предпочел пожертвовать собой, принять на себя потоки грязи, которыми меня и до сих пор усердно поливает господин Пиленко в том же «Новом времени», чем рисковать втравить Россию в войну с Германией. Реабилитировать себя перед историей мне едва ли удастся, — заканчивал обычно этот черствый на вид человек свой рассказ.

Так, впрочем, и случилось. Извольский умер нищим и всеми покинутым в парижской больнице вскоре после нашей революции.

Сознавая нашу военную немощь после русско-японской войны, нельзя было не войти в положение русского представителя на свидании в Бухлау и не смягчить в большой степени ту жестокую репутацию, которая была создана Извольскому после босно-герцеговинского провала. Его объяснения казались мне тем более правдоподобными, что, встречая Эрентала в бытность его послом в Петербурге, я уже мог вынести представление о его крайних: ограниченных способностях, тогда как от Извольского нельзя было отнять глубочайшей дипломатической и исторической эрудиции, знания им всех тонкостей балканской политики на протяжении многих десятилетий; еще молодым дипломатическим секретарем разграничительной комиссии после русско-турецкой войны 1877 года Александр Петрович объехал верхом границы всех балканских государств.

Всю жизнь он много читал на всех языках, имел выдающуюся по своей ценности личную библиотеку, но для дипломатических справок ему пользоваться ею не приходилось: он знал почти наизусть содержание любого дипломатического трактата. Мне не пришлось присутствовать при длинных беседах Извольского с Пуанкаре, занимавшим в год моего приезда в Париж пост министра иностранных дел, но я убежден, что большая часть времени при этих беседах уходила на уроки, которые давал русский посол французскому премьеру в балканских вопросах. Совместная деятельность в течение первых месяцев балканской заварухи связала личные интересы этих двух людей, и они направляли в зависимости от этого внешнюю политику своих государств.

Как начальник Извольский имел репутацию недоступного и придирчивого человека. Всех своих сотрудников он считал за слепых исполнителей своих указаний, и мне до сих пор кажется еще невероятным, что в трагические минуты этот бонза мог усаживать перед собой в кресла, правда, только двух сотрудников: советника посольства Севастопуло и меня. Двери при этом наглухо закрывались, и доступ в кабинет даже для секретаря был строго воспрещен.

Долговязый Севастопуло, богатейший одессит греческого происхождения, утонченного воспитания, всю жизнь провел за границей и никакого представления о русском народе не имел. Это был, пожалуй, его главный недостаток. Он принадлежал к той категории русских чиновников, которые честно служили России, сознавая выгоду быть ее представителями, но в душе оставались типичными иностранцами.

Остальные парижские коллеги действительно большого интереса не заслуживали. Как ни падали французы на титулы, даже баронские, они тем не менее едва ли находили для себя приятным иметь русское союзное посольство, составленное как насмех исключительно из немецких фамилий: барон Унгериштерберг, граф Ребиндер, граф Людерс-Веймарн. Истинное свое лицо они выжили лишь в первые дни войны.

Военные агенты были у Извольского на особом счету. У него с ними остались старые счета по службе в Японии, где его донесения о вероятности русско-японской войны резко расходились с мнением военного агента. Впоследствии венские провалы моих коллег тоже доставили ему, как министру иностранных дел, немало хлопот, и потому на мой приезд в Париж он, вероятно, смотрел только как на избавление от неприятных воспоминаний о моем предшественнике. С первых же слов я почувствовал, что посол смотрит на меня как на лицо вполне правомочное и самостоятельное, которому он готов оказывать только нужное содействие. Такова, к сожалению, была установка во всех русских посольствах; военные агенты с болезненным служебным самолюбием охраняли свою независимость, а в результате эта междуведомственная борьба приводила, как показал опыт, к самым трагическим последствиям; она ставила перед Петербургом неразрешимые вопросы: кому верить — послу или военному агенту? Между тем, в Париже в мае 1912 года достаточно было прочитать утром десяток газет, чтобы понять, что международная обстановка осложняется с каждым днем и что, не разбираясь в ней, военный агент не может выполнить своей основной задачи: предвидеть войну и своевременно известить о ее вероятности.

— Я в большой европейской политике, а особенно во внутренней французской, новичок, — обратился я к Извольскому после того, как выслушал его

рассказ о последнем разговоре с Пуанкаре. — Разрешите поэтому те донесения, в которых придется касаться этих вопросов, предварительно вам показывать.

— Пожалуйста, пожалуйста, — смущенно пробормотал не ожидавший подобного обращения Извольский и, как всегда в подобных случаях, поправил свой неизменный монокль.

Лед недоверия был надломлен, и вскоре посол уже давал мне на прочтение все свои важнейшие донесения не после, а до отправки их курьером в Петербург.

Посольство в тот же день устроило мне прием у президента республики Фальера. В просторной гостиной крошечного Елисейского дворца, видевшего в своих стенах и Александра I и Наполеона III, у громадного окна, выходявшего в вечнозеленый сад, стоял только один и то не знакомый мне господин в элегантном штатском сюртуке. При виде моего парадного мундира при всех орденах неизвестный немедленно пошел мне навстречу и почтительно представился:

— Германский военный атташе, подполковник Винтерфельд. Очень счастлив познакомиться, я, как видите, тоже являюсь к президенту, чтобы поднести ему по поручению императора вот этот ценный исторический труд о Наполеоне.

Не думал я в эту минуту, что с этим красивым, слегка седеющим коллегой, столь отличным от обычного типа самодовольных немецких генштабистов, будет связано у меня столько памятных воспоминаний. Надо было отдать справедливость Берлину, что на этот раз он выбрал, наконец, располагавшего к себе военного представителя: кроме наружности, в которой особенно выделялись умные, пронизательные глаза, сама манера обращения, прекрасный, без всякого акцента, французский язык позволяли моему коллеге заслужить широкие симпатии.

Вероятно, с целью отвлечения внимания Франции от австро-русских конфликтов Вильгельм последнее время всячески заигрывал с нашими союзниками, и ни для кого не было секретом, что на приемах военных атташе в Потсдаме император подчеркивал перед всеми свои симпатии к французскому военному атташе, полковнику Пэллэ, с которым подолгу разговаривал.

Когда после ухода Винтерфельда меня ввели в кабинет президента республики, я очутился перед очень тучным стариком самого добродушного вида, точь-в-точь таким, каким он был изображен накануне в веселом театральном «Ревю».

«Пань Фальер», иначе его никто в Париже не называл, был совершенно лишен той рисовки, которой заражены не только все французские министры, но и большинство буржуазии.

На хорошем, но не изысканном языке, с небольшим крестьянским южным акцентом старик сказал мне примерно следующее:

— Я очень рад с вами познакомиться, полковник, но, к сожалению, я кончаю скоро свои семь лет президентства и, конечно, буду рад уехать в свою деревню. У нас ведь там виноградники, я сам с отцом на них работал и просто не понимаю, чем заслужил высокую честь представлять перед светом, и в особенности перед вашей великой страной, мою родину. Я так мало этого достоин. Я сохранил самые светлые воспоминания о моем путешествии в Россию. Прошу вас, полковник, познакомиться поближе с французским народом и с нашей армией, и я уверен, что вы их полюбите.

Я был растроган.

Вечер того же дня мне пришлось провести в обществе скромных профессо-

ров Сорбоннского университета, далеких от всякой политики, которые из вежливости расспрашивали меня про первые впечатления от их города. Я рассказал им про приятное впечатление, вынесенное от приема меня президентом республики.

— Что вы, что вы, это вы нарочно хотите нам сказать приятное, — смущенно возражали мои собеседники. — Нам даже совестно, что вам пришлось являться к такому неуклюжему толстяку.

— Уверяю вас, — продолжал я со всей искренностью, — мне пришлось видеть уже на своем веку и царей, и королей, и всяких министров, а вот такого скромного слугу своего народа и такого гордого своей страной правителя мне еще встречать не пришлось.

«Папá Фальер» имел, впрочем, все основания сознавать, насколько скромная роль отводилась во Франции президенту республики, и даже властному Пуанкаре, тосковавшему по формуле Людовика XIV — «*L'état c'est moi*», — не удалось порвать тех оков, которые были наложены на главу государства создателем Третьей республики. Авантюра Наполеона III слишком дорого обошлась Франции.

Для военного агента весьма важным являлось установление отношений с военным министром.

Большинство русских военных недоумевало, каким образом во Франции штатский человек мог управлять военным министерством, и когда я объяснял, что эти люди в пиджаках имеют больше авторитета, чем наш собственный военный министр во всем блеске генерал-адъютантского мундира, приближавшего его к самому царю, мне не верили. Между тем, доказывая как-то Сухоминову необходимость для него вмешаться в дела артиллерийского снабжения, я получил следующий знаменательный ответ:

— Вы правы; по закону все главные управления мне подчинены, но если бы я вздумал заглянуть в Главное артиллерийское управление, то настоящий хозяин, великий князь Сергей Михайлович, и разговаривать со мной не пожелал бы. Вот тут и отвечаю за снабжение, — закончил, вздохнув, Сухоминов.

Наоборот, во Франции военный министр был снабжен никем из военных не оспариваемой полнотой власти, и это составляло главную, да, пожалуй, и единственную положительную сторону военного аппарата. Как член правительства военный министр ответственность нес перед парламентом, от которого вместе с тем зависели все штаты военных подразделений и, с чисто французской мелочностью, все кредиты до последнего сантимата. Какой же был бы для меня прок говорить даже с самим начальником генерального штаба о малейшем нововведении, когда все вопросы зависели от гибкости, изворотливости и авторитета военного министра перед военными комиссиями Сената и Палаты депутатов.

Кто же, как не свой, т. е. парламентарий, штатский человек, мог лучше знать все пружины, от которых зависел результат голосования в этих комиссиях.

Пробовали за это дело браться и некоторые генералы, но они были только игрушками в руках выдвинувших их партий и не смели проявлять своего военного мужества в горячих ночных словесных схватках. Кроме того, им труднее было отказывать членам парламента в ответах на бесконечные запросы, большинство которых сводилось к карьерным интересам их авторов.

— Мы тратим две трети нашего времени на составление ответов депутатам и сенаторам, — жаловались мне на ушко близкие друзья из военного

министерства. — Один просит перевести в лучший гарнизон какого-нибудь рядового, сына влиятельного кабатчика — депутатского выборщика, другой, чтобы получить больше голосов на выборах, просит повысить цены на закупку фуража интендантством и т. п.

Разумеется, военные министры тщательно скрывали от русских военных агентов всю эту внутреннюю политическую кухню, — они не хотели показать слабой стороны парламентского режима. Но и на военных агентов это налагало обязанность не показывать вида, что они в курсе борьбы политических партий.

В этом отношении один из моих предшественников, Муравьев-Апостол, оставил нам, своим преемникам, поучительное наследство.

Это произошло в тот бурный период французской внутренней политики, который был создан так называемым делом Дрейфуса и последствия которого докатились и до моих дней. Капитан генерального штаба был обвинен в продаже секретных документов Германии. Дело получило огласку, и приговор военного трибунала, присудившего Дрейфуса к позорному лишению военного звания и вечному заключению, возмутил все либеральные и левые политические круги. Такие писатели, как Золя и Анатоль Франс, открыли кампанию для доказательства невинности Дрейфуса. Франция разделилась на дрейфусаров и антидрейфусаров. Непримируемая вражда этих двух лагерей перенеслась и в армию. Часть командиров стояла за Дрейфуса, а другие, в особенности аристократия, продолжали настаивать на предательстве этого еврейского выходца. В военном министерстве были введены секретные личные карточки на офицеров с отметкой о политической благонадежности, начались административные увольнения в отставку и ничем необъяснимые повышения по службе. Нельзя было придумать более наглядного опровержения столь дорогого для французов лозунга: «Армия вне политики», но нельзя было дать в руки германского командования лучшего средства для ослабления мощи противника.

В конце концов, защитники Дрейфуса добились полной реабилитации безвинно оклеветанного капитана. И вот в эту-то минуту к новому военному министру, генералу Андре, ставленнику дрейфусаров, явился в полной парадной форме русский военный агент Муравьев и заявил, что начавшиеся уже в армии репрессии против антидрейфусаров могут повлечь на дружественные отношения к Франции русской царской армии.

Коротка была беседа Муравьева с генералом Андре, но еще короче была и развязка: по требованию собственного погла Урусова, Муравьев был принужден в тот же вечер навсегда покинуть свой пост и сломать свою служебную карьеру.

Не следовало, конечно, вмешиваться в чужие дела, но нельзя было, однако, не интересоваться политической физиономией каждого военного министра. За два года, проведенные мной во Франции, их сменилось шесть человек; правда, Лебрэн, бывший инженер из Донбасса и будущий президент республики, — характерное политическое ничтожество, — провел на этом посту только один день.

Да, Дрейфус был оправдан, дело его было ликвидировано, но отражение союзной армии от борьбы политических партий вменялось в обязанность военному министру.

Являться по случаю моего назначения и начинать работать мне пришлось с самым интересным из всех виденных мною военных министров, Александром

Милльераном. Угрюмый, с копной седеющих волос на голове, он избегал смотреть собеседнику в глаза, что крайне затрудняло всякое с ним общение. Несмотря на свою компетенцию по многим государственным и, в частности, военным вопросам, Милльеран, как политическая фигура, не представлял, правда, особого исключения из той плеяды в два-три десятка депутатов и сенаторов, которая служила источником для дополнения министерских постов после падения предшествующих кабинетов.

Как более правые, подобные Милльерану, так и более левые, подобные Бриану, — все они начинали свою политическую карьеру как периодовые люди, социалисты, защитники интересов рабочего класса, а кончали ее предателями.

Первые разговоры с военным министром велись, как ни странно, не на военные, а исключительно на политические темы; вопросы внешней политики, связанные с балканскими событиями, заставляли военного министра смотреть на русского военного атташе исключительно как на агента связи. Ты русский, да еще присланный к нам полковник, значит, ты должен знать и рассказать, что делается в России, как там относятся к текущим событиям, — так рассуждал всякий француз, а не только военный министр.

Но о том, что делалось у себя дома, я в течение всех долгих лет, проведенных во Франции, как раз меньше всего знал. Неприятно было, например, узнать в 1913 году о сформировании трех русских корпусов из серьезного французского офицоза «Тан» и просить свое начальство объяснить эту «газетную утку», которая оказалась как раз не «уткой», а правдой; германский военный агент, конечно, мог бы лучше об этом осведомить французский генеральный штаб, чем его русский коллега во Франции. Тяжелее провести было первые пять недель мировой войны без единого известия о германских силах, находившихся на русском фронте. Недопустимо было в течение всей мировой войны получать русские коммуники только после оглашения их во французской прессе, но еще трагичнее было получить сообщение о Февральской революции только спустя три дня после того, как она уже совершилась. Полное отсутствие всякой связи с родиной после Октябрьской революции повело к тому драматическому положению, которое мне хочется успеть еще объяснить моим читателям.

Русское правительство всегда мало считалось со своими заграничными представителями и предпочитало зачастую вести дела непосредственно с иностранными представителями в России.

А между тем, мой приезд во Францию совпал с началом таких исторических событий на «полуострове к югу от Савы и Дуная», что от отношений к ним России зависела судьба Европы.

Я был назначен в Париж 12 марта 1912 года, т. е. через несколько дней после заключения сербско-болгарского союза — этого барьера против австро-германской экспансии на Балканах. Тот же союз представлял непосредственную угрозу Турции. С этого момента события развивались с молниеносной быстротой. 30 сентября того же года началась первая балканская война, причем решительные победы союзников над турками вызвали на свет давно таившиеся империалистические аппетиты всех европейских держав. Военным агентам пришлось во время превратиться в военных дипломатов.

Поначалу французы отнеслись к турецко-славянской войне легкомысленно, обвиняя славян в нарушении мирного европейского жития. Неприязнь к славянам объяснялась еще и теми крупными интересами, которые связывали

Францию с Турцией. Успехи славян вызвали, наконец, настоящую биржевую панику вследствие падения турецких бумаг.

Но как только обозначились первые серьезные успехи тех же самых славян, вся торгашеская французская пресса стала выражать им свои симпатии по очень простой причине: турки были вооружены пушками Круппа, а сербы и греки — французскими орудиями Шнейдера (Крезо). У военных промышленников уже потекли слюнки из-за возможностей легкой и скорой наживы, которую сулила война, и это вскружило голову «Комитэ де Форж» — хозяевам главных органов французской прессы. Французы вдруг стали настолько воинственны, что в своей защите славянских интересов против поползновений на них со стороны Австро-Венгрии превосходили даже своих союзников — русских.

Обстановка до крайности осложнилась.

«Приподнятый тон французского общественного мнения не соответствует вполне тем проявлениям миролюбия, которые Россия сделала на лондонской конференции», — доносил я в своем очередном рапорте от 2 января 1913 года.

Против подымавшейся волны воинствующего милитаризма восстала партия социалистов с Жоресом во главе; эти люди несомненно чувствовали опасность, нависшую над Францией, и мечтали отвлечь ее приближение.

4/17 декабря 1912 года Генеральная конфедерация труда пыталась провести всеобщую забастовку для выражения протеста против войны. Это было вызвано обострением австро-русского конфликта.

Успехи Сербии, захват ею Албании и выход к побережью Адриатического моря крайне обеспокоили Австро-Венгрию, опасавшуюся создания на своих южных границах сильного сербского государства. Она настаивала, между прочим, на независимости Албании и получила дипломатическую поддержку своей союзницы — Германии.

Париж снова нервничал, и потому я не был изумлен телефонным звонком начальника военного кабинета Милльерана, приглашавшего меня заехать к министру.

Я застал последнего еще более мрачным, чем в обычное время.

— Получена телеграмма от генерала Лагиша (французский военный атташе в Петербурге), — заявил Милльеран, — в которой он извещает, со слов вашего генерального штаба, что частичная мобилизация, проводимая австрийской армией, не вызывает с нашей стороны каких-либо мероприятий. Так вот что, дорогой полковник, нашему правительству необходимо знать, намерены ли вы и впредь оставаться безучастными зрителями проникновения Австро-Германии на Балканы, или, точнее говоря, насколько дороги вам интересы сербского государства.

— Господин министр, я не уполномочен объяснять вам линии нашего политического поведения и запрашу инструкции; так ведь обязан ответить всякий дипломат, — ответил я Милльерану, желая этим полуслушливым тоном, который может себе позволить военный полудипломат, смягчить общий агрессивный характер беседы.

Но это на Милльерана не действовало, и он продолжал вызывать меня на дальнейшие объяснения. Привожу их текстуально:

Милльеран. Какая же, по-вашему, полковник, цель австрийской мобилизации?

Я. Трудно предрешишь этот вопрос, но несомненно, что австрийские приготовления против России носят пока оборонительный характер.

Милльеран. Хорошо, но оккупацию Сербии вы, следовательно, не считаете прямым вызовом на войну для вас?

Я. На этот вопрос я не могу ответить, но знаю, что мы не желаем вызывать европейской войны и принимать меры, могущие произвести европейский пожар.

Милльеран. Следовательно, вам придется предоставить Сербии ее участи. Это, конечно, дело ваше, но надо только знать, что это не по нашей вине; мы готовы; необходимо это учесть... А не можете ли вы, по крайней мере, мне объяснить, что вообще думают в России о Балканах?

Я. Славянский вопрос остается близким нашему сердцу, но история выучила нас, конечно, прежде всего думать о собственных государственных интересах, не жертвуя ими в пользу отвлеченных идей.

Милльеран. Но вы же, полковник, понимаете, что здесь вопрос не в Албании, не в сербах, не в Дураццо, а в гегемонии Австрии на всем Балканском полуострове.

Из всех этих рассуждений самое большое значение представила для меня только два слова Милльерана: мы готовы. Мне было хорошо известно в тот момент, насколько французская армия была «югова», но я, конечно, не стал вступать в пререкания по этому вопросу, а просто сказал:

— Господин министр, ваши слова имеют столь важное значение, что я вынужден просить вашего разрешения, во избежание недоразумения, тут же при вас их записать.

Милльеран рассвирепел. Грива на голове взъерошилась, лоб насупился, и он сухо пробормотал:

— Пожалуйста, пожалуйста, можете записать.

— Обещаю вам, — в заключение сказал я, подымаясь со стула, — немедленно запросить ответы на поставленные вами вопросы, — и замаял разговор в обычных ни к чему не обязывающих дипломатических любезностях.

Помню, с какой быстротой я домчался до своей канцелярии, чтобы отправить в тот же день сперва шифрованную телеграмму, а затем подробный рапорт с точным воспроизведением текста разговора. Не думал я тогда, конечно, что через много лет прочту этот текст перепечатанным не один раз в различных советских печатных органах как доказательство миролюбия России и провокационной позиции, занятой Францией. Исторический ход событий зачастую дает новую оценку не только людским делам, но подчас и словам.

Помимо давления со стороны Милльерана мне еще приходилось выдерживать напор и лавировать между представителями непосредственных участников балканской войны: болгарским посланником в Париже Станчевым и сербским посланником Весничем.

Каждый из них по-своему защищал интересы своей страны, но не только мне, а и ученым мужам всего мира не под силу было определять, какие македонские вилайеты (округа) населены болгарями, а какие сербами. Используя популярность в Болгарии моего дяди Николая Павловича, Станчев со свойственной этому дипломату дерзкой настойчивостью считал, что его мнение как болгарина для меня закон, что я попросту сам наполовину болгарин, и, конечно, он был отчасти прав, так как заложенное с раннего детства

чувство симпатии к болгарскому народу не могли искупить никакие политические предательства правителей этого государства.

Естественно, что в памятный для славян день 26 марта 1913 года Станчев вызвал меня к телефону рано утром, чтобы объявить великую радость — взятие союзниками Адрианополя. Путь к Царьграду — столице Турции — казался открытым для славян, а в моем тогдашнем представлении — козленным путем и для России. Ни для кого не было секретом, что турецкая армия имела германских инструкторов, что на нейтралитет проливов, столь строго охранявшийся во все времена Англией, уже посягала Германия, пролагавшая себе путь в Малую Азию. Deutschland über alles! — уже звучало в ушах всей Европы. Славянский же союз представлялся мне высшим достижением русской политики и естественным нашим союзником в европейской войне.

С такими мыслями входил я в обычный час в кабинет Извольского, который повел со мной немедленно спор: является ли Адрианополь стратегическим ключом для Константинополя?

— Ваш генеральный штаб (именно «ваш», а не «наш») всегда меня в этом убеждал, а теперь вот Пуанкаре имеет сведения, что это не так. Никогда нельзя полагаться на мнение военных авторитетов, — раздраженно закончил Извольский. (Русская дипломатия больше всего боялась, чтобы вопрос владения проливами разрешился без ее участия.)

На мое счастье, этот неприятный разговор был прерван телефонным звонком.

— Ах, это вы, Станчев... Я ничего против не имею. Посольская церковь открыта для всех... Да, но это я не могу... Вы поймите — душой я с вами, но наш нейтралитет... Ах, граф Игнатъев, вот он как раз сидит у меня... Хорошо, я ему передам, да, да, непременно.

— Этот надоедливый Станчев хочет устроить торжественный благодарственный молебен по случаю одержания победы, и я обещал просить вас заехать к нам в церковь. Только так, знаете, в пиджаке, а то прочитают в газетах, выйдет неприятность, — раздраженно объяснял мне посол.

— В пиджаке или в мундире меня все равно заметят, — доказывал я.

Когда на следующий день, воздев парадную форму, я вошел в посольскую церковь на рю Дирю, союзные посольства, тоже в мундирах и регалиях, уже были построены и не начинали церковной службы, дожидаясь меня. На правом фланге стоял Станчев, рядом с ним Веснич, затем румынский посланник Лаховари и, наконец, греческое посольство. Из алтаря вышел настоятель церкви, протоиерей Смирнов, и, обратившись к толпе молящихся, состоявших из смуглых брюнетов — обитателей балканских стран, заявил, что, по желанию представителей союзных государств, он предлагает прежде всего провозгласить вечную память русским воинам, павшим за освобождение славян в 1877 году.

«Хорошо, что я здесь, — подумал я, — раз уж пошел на риск скандала с Извольским, надо идти до конца». И, по настоянию посланников, двинулся первым к кресту после молебствия. Овернулся и попал в объятия незнакомого господина с седеющей бородкой.

— Простите, — сказал взволнованный старик, — это от полноты славянских чувств. Я доктор Массарик, член австрийского рейхстага (при слове «австрийского» меня невольно покорило), и пришел разделить общеславянскую радость.

Радость, как известно, была непродолжительна.

Австрийская дипломатия оказалась и на этот раз сильнее русской и сумела использовать дележку турецкого наследства, натравив на болгар всех их прежних союзников. Началась вторая балканская война, но она уже ничего не могла изменить в том соперничестве, которое породили последние месяцы 1912 года между австро-германским и франко-русским блоком. Болтовня на лондонской конференции показала, что голос дипломатов уже недостаточен для разрешения европейских проблем. Франция, позднее чем другие страны, но зато с большим напряжением воли, решила отточить свое оружие.

Главой тех политических и финансовых кругов, которые решили разбудить усыпленный продолжительным миром французский народ, явился Пуанкаре. Для достижения этой цели надо было возбудить болезненные воспоминания 1870 года, освежить черный креп, покрывавший по традиции аллегорические статуи Страсбурга и Меца, — утерянных столиц Эльзаса и Лотарингии. Статуи эти стояли среди других, окружавших центральную городскую площадь Конкорд, и, как почти все памятники во Франции, изображали женщин. Они так мало привлекали внимание проезжавших, что рассеянные парижане могли постепенно забыть про символическое значение черного креста, спускавшегося с голов этих двух статуй.

С первого же дня, когда Извольский представил меня Пуанкаре как министру иностранных дел, последний произвел на меня то впечатление, которое я сохранил навсегда. Трудно было себе представить более заурядную наружность, чем та, которую наградила природа этого будущего вершителя судеб послевоенной Европы. Français moyen — средний француз — определение, которое как нельзя более подходило к внешности Пуанкаре.

Небольшого роста, с лысой головой на неподвижной шее, с маленькими щечками для бесцветных и холодных глаз, с красеньким приплюснутым носиком и крошечной неопределенного цвета бородкой клинышком — таков был этот невзрачный человек; зато, как только он начинал говорить, в скандированной речи и авторитетном тоне чувствовалась не то воля, не то упрямство и во всяком случае абсолютная самоуверенность и самовлюбленность. Этот блестящий оратор мог быть адвокатом в гражданских процессах, но никогда не имел доступа к человеческому сердцу. Он являлся полной противоположностью своему сопернику в области ораторского искусства, страстному трибуну Аристиду Бриану. Пожалуй, лучшую характеристику этим двум своим политическим противникам дал впоследствии полный старческого сарказма Клемансо.

— Войдите в мое положение, — говорил он, — мне приходится считаться с двумя людьми, из которых один все знает и ничего не понимает, а другой ничего не знает, но зато все понимает! (Под первым он разумел Пуанкаре, под вторым — Бриана.)

Да, Пуанкаре — это была живая энциклопедия буржуазного государственного права и истории своей страны.

Уроженец Лотарингии, т. е. той восточной части Франции, через которую веками проходили орды иностранных захватчиков, Пуанкаре впитал с молоком матери глубокую ненависть к германской расе, и когда, соответственно «поправев», Пуанкаре заслужил доверие всех без исключения правых парламентских группировок, последние стали выдвигать этого всезнающего оратора на министерские посты.

Одной из причин успехов этого министра являлось отсутствие торопливости,

этого основного недостатка не только политических, но и многих ученых людей Франции.

Упрямый лотарингец, Пуанкаре не бросал раз поставленной себе задачи и терпеливо ждал благоприятного момента для подготовки всегда витавшего в парижском воздухе реванша за 1870 год.

Эту воинствующую предвоенную политику Пуанкаре, стяжавшую ему прозвище «Пуанкаре-война» (Poincaré la guerre), его политические враги припоминали ему не раз и после мировой войны, как раз в тот момент, когда он собирался вернуться к власти. Франция в то время чувствовала себя еще столь усталой от войны, что всякое упоминание о ней отталкивало всю нацию от людей, напоминавших ей о тяжелых годах. Вот при каких условиях Пуанкаре вспомнил после 1920 года про меня как про одного из живых свидетелей его деятельности, несмотря на то, что в глазах французов я представлялся в ту пору уже «матерым большевиком». Подойти ко мне ему пришлось через одну общую знакомую даму (женщины всегда играли во Франции роль удобных политических посредников), которая мне сказала:

— Президент (во Франции все высокие чины сохраняют свои звания, подобно военным, даже после выхода в отставку) хочет с вами встретиться и просит передать, чтобы вы не опасались этого свидания. Только дураки, прибавил президент, не способны к эволюции в своих политических взглядах.

Я принял это предложение в надежде найти могучую поддержку в вопросе скорейшего установления дипломатических отношений с СССР. Но я ошибся. Мелочную душонку этого ставленника капитала могли интересовать только вопросы личной карьеры. После горького рукопожатия и ни к чему не обязывающего приветствия со сланцавой, как у всякого воспитанного француза, улыбкой Пуанкаре принял тот особый деловой тон, характеризующий любого политического деятеля этой страны.

— В ваших архивах, генерал, должны сохраниться копии донесений Извольского, и они могли бы доказать, что незаслуженной репутацией я обязан извращению вашим бывшим послом моих слов.

Извольский к тому времени уже сошел в могилу, и опровергать правильность его донесений я, конечно, не собирался, тем более что знал, насколько добросовестно этот заправский дипломат относился к каждому выражению.

— А знаете, господин президент, я в этом отношении нахожусь в еще более тяжелом положении, чем вы. Представьте себе, каково мне будет оправдываться перед Советской страной в моей деятельности в вашей стране. Какой это Игнатьев? — спросят столь страшные для нас большевики. Ах, да это тот самый, что участвовал в подготовке преступной империалистической войны, который из всех сил стремился вооружить Францию. А у меня ответ уже готов.

— Это очень интересно, — не выдержал мой собеседник, — как же вы сможете оправдаться?

— А я возьму с собой только одну небольшую папку (Пуанкаре не выходил на трибуну иначе, как развертывая перед собой толстенное досье с документами), в которой будут собраны данные о лихорадочной подготовке к войне Германии с 1908 по 1914 год, и, огласив эти цифры, спрошу, кто из товарищей не сделал бы того же, что делал я, то есть ежегодно, ежеминутно думал только об одном: усилении военной мощи своего союзника. А вас, господин президент, Палата при подобном выступлении может проводить только аплодисментами.

Я знал, конечно, наперед, что Пуанкаре на подобное выступление не способен, но разговор этот доказывает, что в довоенное время я не мог не сочувствовать политике Пуанкаре, представлявшей для меня интерес как противовес надвигавшейся германской угрозе.

Сделавшись министром иностранных дел и используя сочувствие Idee войны со стороны металлургов, Пуанкаре нетрудно было направить французскую прессу в соответствующее русло во главе с самым ответственным органом, газетой «Тан», органом объединения французских металлургов, знаменитого «Комитэ де Форж».

Сколько лет в Париже и за границей я считал священным долгом читать эту пространную газету, сколько раз, как многие дипломаты, сладко засыпал над бесконечно длинными и подчас такими скучными ее статьями! Но, несомненно, в мое время это была единственная французская газета, освещавшая, правда по указке своих хозяев, но документально, не только всю внутреннюю французскую политическую жизнь, но и события, происходившие на всем земном шаре.

Естественно, что в предвоенный период русские дела заняли в этой газете одно из первых мест, и это дало мне случай сблизиться с другим будущим нашим политическим врагом, Андре Тардьё.

Тардьё сделал свою блестящую карьеру журналиста на передовицах газеты «Тан» в течение тех двух лет, которые отделяли мир от первой империалистической войны. Почти каждый раз, как я выходил из кабинета Извольского, я встречался на маленькой внутренней лестничке, существующей и поныне, с Тардьё. Это был тогда дышащий здоровьем, несколько тучный, холеный, безупречно выбритый человек лет 35 — 40. Я уже знал, что во внутреннем кармане черной «ласточки» он несет на просмотр послу гранки очередной передовицы, а от него надеется получить какую-нибудь короткую заметку о событиях в России. Через три-четыре часа эта заметка уже будет фигурировать на последней странице газеты в разделе «Дэриэвр нуваль» (последние известия).

Все читали этот отдел, посвященный последним известиям, раньше других из-за его краткости и содержательности и относились к нему с особым доверием. Во главе заметки «петитом» будет напечатано только одно слово «Санкт-Петербург», и никто не сможет подозревать, что эти новости переданы не по телеграфу, а в конвертике русского посольства в Париже. Французские деньги к тому же печатались с особым изяществом на тончайшей бумаге и потому места в конвертах занимали мало. Полагаю, однако, что частица русских займов во Франции тоже переводилась автоматически на текущий счет в банке господина Тардьё. Он, впрочем, мог свободно обойтись и без них: сыну председателя Общества международных вагопов можно было себе позволить заниматься международной политикой исключительно из интересов собственной карьеры. Парижская жизнь и дорого стоявшие женщины могли нарушить любой бюджет убежденного холостяка.

От всякого встреченного на жизненном пути человека, даже самого отрицательного типа, можно чему-нибудь поучиться. Андре Тардьё и навсегда остался обязан за то, что он мне объяснил, каким надо быть циником, чтобы пройти в депутаты французского парламента, используя освященный французской революцией лозунг «Свобода, равенство и братство». После манчжурских поражений и беспросветной столыпинской реакции смысл этих слов, равно как

и самый мотив «Марсельезы», сделались для меня полными большого значения. Урок Тардьё послужил мне на пользу в минуты нашей собственной революции.

Журналистская карьера Тардьё так быстро подняла его на уровень политических деятелей, что, вероятно не без совета Пуанкаре, он решил баллотироваться в депутаты, и вот, когда в его кармане уже лежал депутатский мандат, близкие его друзья — Мажино, тоже депутат (будущий военный министр), Аири Робер, блестящий адвокат, Робер де Флэрс, виднейший драматург, все почти сверстники, — пригласили и меня, как уже хорошего приятеля, чествовать Тардьё ужином. Сидели мы в отдельном кабинете ресторана «Лаперуз». Тишина, пожелтевшие от времени художественные росписи на стенах, сохранившиеся от времени XVIII века, стеариновые свечи с колпачками на канделябрах — все предрасполагало к интимной дружеской беседе. При этом все собравшиеся были хорошими знатоками старинных французских вин.

— Сперва, как вы знаете, — рассказывал Тардьё, — я пытаюсь пройти от партии национальных республиканцев в одном из городов на восточной границе. Думал сыграть на чистом патриотизме, вызванном в этом районе непосредственной германской угрозой.

— Но откуда же вы были известны избирателям? Вы же чистокровный парижанин, — осторожно и наивно попробовал я расспросить Тардьё.

Все дружно рассмеялись и выпили лишний стакан за политическое просвещение полковника.

— Истрапил я там немало денег и на местную газету и на здоровые выпивки симпатизировавших мне просчителей «быстро». Просто грабеж, но хорошо еще, что мои секретари, на разъезды которых пошло тоже немало денег, сообщили мне в предпоследнюю минуту, что позиции моего соперника, какого-то местного врача, радикал-социалиста, настолько сильна, что мои шансы не обеспечены. Поймите мое положение, не мог же я рисковать, а потому немедленно вернулся в Париж, где мой приятель, помощник префекта полиции в Версале, ручался обеспечить мне успех на выборах тут же под Парижем, а я, конечно, обещал ему в будущем повышение по службе. Терять времени было нельзя, но и самому пришлось все же поработать. За один день приходилось выступать по десяти раз. Хотите потерять все, что вы вложили в русские займы? Не хотите? Голосуйте за меня, так как только мы, истинные друзья России, мы можем вас спасти. О войне с Германией говорить даже и не приходилось, а социальные реформы этих спекулянтов на канусте и зеленых бобах, конечно, не интересовали. Все это оказалось не так сложно, как я думал, — вздохнул Тардьё; быть может, и он в эту минуту вспомнил об улетевших уже далеко идеалах университетских годов.

Каждые четыре года Франция проводила три-четыре месяца в предвыборной кампании, описанной Тардьё. Народ бил за счет будущих депутатов, а кандидаты изощрялись в ораторском искусстве. Для сенаторов и этого не требовалось, выборы же в президенты республики хотя и требовали созыва Национального собрания, но по существу являлись простой формальностью. Кандидат намечался заранее неофициальным подсчетом голосов Палаты и Сената, а требования, предъявляемые будущему президенту, были скромные: быть удобным и знать тайны парламентской кухни.

Выборы Пуанкаре 17 января 1913 года представляли исключение из этого правила. Балканская война быстро разожгла политические страсти, и Пуан-

каре, а через него и франко-русский военный союз стали страшилищем для всех левых партий как непосредственная угроза европейскому миру. Политика вошла в моду; о ней говорили даже во всех салонах еще недавно бесечно веселящегося Парижа.

Выборы Пуанкаре заинтересовали всю Францию, и вот почему 17 января живописная дорога от Парижа до Версаля обратилась с утра в непрерывный поток машин, спешивших доставить к завтраку весь Париж.

День выдался теплый, солнечный, в лесу зацветали первые темнолиловые фиалки. В модном ресторане «Резервуар» столики к завтраку были уже давно расписаны, и надо было иметь хорошие связи, чтобы попасть в число счастливцев. Каждый стол старался получить к себе верного осведомителя, если не министра, то по крайней мере депутата или сенатора. Столы утопали в цветах и окружены были сплошным бордюром из дамских шляп необычайно больших размеров — такова была тогдашняя мода.

Ресторан помещался в двух шагах от исторического Версальского дворца, один из залов которого был приспособлен для заседания Национального собрания, составленного из тех же членов Палаты и Сената.

— Ах, и вы здесь? — спросил меня пробивавшийся к своему месту Извольский. Ему, повидимому, не особенно было приятно, что военный агент сумел так скоро стать парижанином. Ведь это был «его» день, день выборов его ближайшего единомышленника.

— Это «моя» война, — сказал будто бы Извольский в день разрыва дипломатических отношений с Германией.

В разгар завтрака, состоявшего из самых изысканных блюд, политых лучшими винами, в зал ресторана то входили, то выходили с озабоченным и деловым видом «осведомители». Газетные репортеры с не менее озабоченным видом ловили их при каждом удобном случае.

— Памс! Памс! — все чаще слышалось со всех сторон.

Осторожно, не желая выдавать себя за круглого невежду, спрашиваю соседку, залезая для этого под поля ее соломенной шляпы (парижанки, чтобы предвосхищать моду, начинают носить соломенные шляпки зимой, а меха летом):

— Кто такой Памс?

— О, он очень богат, — объясняет мне соседка. — Гораздо богаче Пуанкаре.

Оказалось, что это и был кандидат левых, ставленник никогда не выходивших из моды радикал-социалистов, этих истинных торгашей своими политическими убеждениями. Голоса разделились, что вносило большое оживление в группы хорошо закусивших посетителей ресторана «Резервуар» и усилило торжество победы Пуанкаре, получившего 429 голосов, против 327 Памса.

Короткий зимний день склонялся к вечеру. Толпы народа, запрудившего громадный двор и широчайшие проспекты Версаля, опьяненные успехом уже популярного главы правительства, кричали: «Vive Poincaré!», а он во фляке ехал в открытой коляске, окруженный эскадроном кирасир в хорошо начищенных стальных кирасах. Они должны проводить его до Елисейского дворца в Париже, где «папá Фальер» его встретит, обнимет и, как атрибут высшей власти в республике, наденет на его плечо широкую красную ленту с орденом Почетного легиона.

Судьба Франции решена на долгих семь лет, франко-русский союз обеспечен. Сомнения, вызывавшиеся во мне колебаниями внутренней политики, тоже изжиты.

Можно работать исключительно на усиление военной мощи нашей союзницы.

Глава девятая

СОЮЗНАЯ АРМИЯ

Сегодня пятница — курьерский день, отправка в Россию дипломатической почты, накопившихся за неделю бумаг. Для посольских коллег горячка подобного дня происходила только два раза в месяц, у меня же набиралось столько материала, что пришлось устраивать себе эту горячку каждую неделю, отсылая для ускорения все несекретные бумаги — уставы, инструкции, отчеты о прессе и т. п. — с французским курьером, отправлявшимся как раз через неделю после русского.

С раннего утра, запершись в своей крохотной канцелярии, для которой была отведена часть моей квартиры, я собственноручно переписывал все секретные бумаги, снимал под специальным прессом с них копии в книгу с пронумерованными страницами из прочной папиросной бумаги и с особым наслаждением вдыхал сургучный дым, научившись мастерски накладывать красные незакопченные печати на подбитые коленкоров конверты. Каждый удар печати вносил какое-то нравственное удовлетворение и успокоение: она ведь, эта печать, должна сохранить и донести в неприкосновенности на родину плоды твоих трудов, самые важные и, как самому себе казалось, срочные сведения.

Никому не доверял я и доставки своих бумаг в посольство. Поезд с Северного вокзала уходил поздно вечером, но пакеты полагалось сдавать не позже 6 часов господину Шлаттери, доверенному канцеляристу посольства. Этого времени, как мне казалось, было достаточно, чтобы успеть перлюстрировать мои бумаги в находившемся в двух шагах от посольства секретном отделе французского генерального штаба. Слишком уж много лет состоял Шлаттери на нашей службе, слишком много знал наших секретов, и его вкрадчивое рабочее лицо меня не пленяло. Он, впрочем, это скоро почувствовал, стал вежливо мрачен и после первых неприятных объяснений по поводу запаздывания «*du courrier de l'Attaché Militaire*» (почта военного агента) принимал почтительно из моих рук пакеты, выражая только удивление все возрастающему их числу.

Я любил свою работу, столь отличную от обыкновенной штабной, не подчиненную присутственным часам, которые высжиживали мои коллеги в России со стаканом спитого чая за беседами о будущем производстве, орденах, интригах и глупостях начальства; мне всегда казалось скучным выполнять лишь то, что приказано, что предписано, без проявления малейшей личной инициативы. Тут же, на посту военного агента, я был сам хозяином своего времени, своей работы. Всю неделю, и днем, и ночью, как пчела, собираешь мед, встречая все новые и новые источники осведомления, раскладываясь

добытый материал по ячейкам, составляя то телеграммы, то рапорты, то служебные, то частные письма начальству. Терять времени на бесплодное просиживание стула в канцелярии не приходится.

После ранней утренней верховой прогулки в Булонском лесу, где тебе повезло заговорить то с тем, то с другим из французских военных товарищей (генералы мало разговорчивы), ты, вернувшись домой, опытным глазом просматриваешь десяток газет, пометая интересные места карандашом; с 10 часов выполняешь текущую переписку с французским генеральным штабом, ожидая в то же время соотечественников, являющихся по самым разнообразным вопросам.

После завтрака, почти всегда связанного, по парижскому обычаю, с деловым свиданием, спешаешь в посольство, в военное министерство, с пяти часов на светские приемы, где встречаешь опять же нужных тебе людей, а вечером ловишься убежать пораньше домой, чтобы в тиши кабинета заняться очередной крупной работой.

Много времени отнимали командированные русские офицеры, тем более что, отправляясь за границу, они не имели представления о прямой своей подчиненности военным агентам и быстро растеривали военную дисциплинированность.

Подхожу я как-то утром к своему рабочему столу и вижу большой лист розовой промокательной бумаги, служащей мне бюваром, сплошь исписанным вкось и веривь тут же лежащим синим карандашом.

«Мне необходимо получить завтра же разрешение на осмотр военного арсенала в Бурже, а на понедельник — снаряжательной мастерской в Венсенне. Кроме того, организовать осмотр частных заводов. Собрать все секретные инструкции по снарядам, трубкам и т. д....» И, наконец, где-то в углу неразборчивая подпись: «Костевич».

Весь, значит, мир уже должен знать, кто такой Костевич — капитан, член Главного артиллерийского комитета.

В данном случае Костевич, впрочем, имел основание предполагать, что и личность и даже чин его мне известны: вся европейская печать на протяжении нескольких недель печатала сенсационные подробности об аресте в Германии русского капитана Костевича, обвиненного в шпионаже, и о вызванном этим дипломатическом инциденте.

По настоянию нашего посольства в Берлине, он был, в конце концов, выпущен, и ему было предложено продолжать свою «научную командировку» в других странах, а мне поручалось организовать во Франции реабилитацию этого самого Костевича.

Не успел я еще опомниться от первого взрыва возмущения за военную невоспитанность своего соотечественника, как он сам появился в дверях моей канцелярии и совершенно по-штатски собирался поздороваться, протягивая мне руку.

— Скажите, капитан, — обрезал я, — вы имеете представление о военной дисциплине и чиновничестве? Благоволите прежде всего официально мне представиться.

Невзрачный на вид, курносый человек, с плохо выбритым лицом был ошеломлен и, вспомнив, верно, свои кадетские годы, встал «смирно» и тоном надутого, но провинившегося парня объяснил свое вчерашнее вторжение в мою канцелярию в неприступные часы и порчу моего бювара стремлением сэкономить упущенное время.

Окончив блестяще Артиллерийскую академию, Костевич был оставлен при Главном артиллерийском комитете и командирован за границу как специалист по трубкам; успехи попросту вскружили ему голову; он считал, что все ему позволено. Париж его протрезвил лучше, чем германская тюрьма, а наша встреча привела к совсем неожиданным для нас обоих последствиям.

Совершенно случайно Михаил Михайлович Костевич оказался снова проездом в Париже в те дни, когда мне пришлось в начале мировой войны разрешать задачи организации материальной помощи русской армии из-за границы.

Вот тогда-то я нашел в этом грубоватом и мало воспитанном капитане бесценного, неутомимого и высококвалифицированного помощника. Помимо этого, он был русским человеком, глубоко страдавшим за участь русской армии и разделявшим все мои взгляды на необходимость самой срочной помощи из-за границы.

Недаром всевластный тогда начальник артиллерийского снабжения, Сергей Михайлович, говорил окружавшим его в Петербурге льстецам:

— С Игнатьевым справиться трудно, с Костевичем тоже, но переносить сотрудничество этих двух людей — невыносимо!

Нас разлучили, к сожалению, навсегда, так как, завладев этим выдающимся специалистом после войны, английская армия использовала его в своей интервенции на севере России.

Другим моим техническим осведомителем еще в мирное время явился постоянный военный присматриватель на заводе Шнейдер-Крезе, тоже высокообразованный артиллерист, полковник Борделиус.

Артиллерия в эту эпоху завоевывала во всех армиях особенно важное значение.

Еще с маньчжурской войны полюбил я этот род оружия, постиг всю его мощь в современном бою, а этим двум русским артиллеристам остался навсегда благодарен за те практические уроки по химии, баллистике и металлургии, которые мне так пригодились в мировую войну.

Вздыхал неразговорчивый Борделиус, показывая мне во всех деталях завода Крезе, где до войны существовали еще устаревшие прокатные прессы с откатом на холостом ходу. Первоклассные мастера и рабочие, образованные инженеры и наряду с этим устарелое оборудование, грязь в цехах и во дворах — вот картина этого главного металлургического и военного завода Франции до мировой войны.

За роскошным банкетом, устроенным, как полагается, дирекцией завода, только и было разговора, что про русскую артиллерию. Фирма Шнейдер-Крезе считала себя государством в государстве и чуть ли не враждебно относилась к казенным французским заводам. Ее гораздо больше интересовали иностранные заказчики, с которых можно было драть любую цену, чем собственная французская армия. Директоры Крезе доказывали, между прочим, что руководящей программой своего артиллерийского отдела они считали программу русской артиллерии. Такова, видно, была вечная судьба нашей отечественной техники в прошлом: все ее передовые идеи осуществлялись иностранной промышленностью и перехватывались иностранными армиями.

Но кроме артиллерии мне было необходимо во Франции ознакомиться и с новым, как я доносил в то время, «п я т ы м» родом оружия — авиацией. Франция, верная своим традициям, всегда была застрельщиком во всех новинках техники — первые пароходы, первые паровозы, первые автомобили и

первые аэропланы. Но после первых дерзостных опытов и связанных с ними жертв эта страна отказывается от дальнейшего развития технического изобретения, и Германия первая использует его в широких размерах.

В частности, французская армия относилась всегда с особым недоверием к новинкам и создание за два года до войны зачатка специальной авиационной инспекции считала за великое достижение. Военная авиация находилась при этом с первых же шагов ее создания и до конца существования Третьей республики в полном плену у частных авиационных фирм, которые в предвоенное время росли, как грибы. Каждая из них убеждала в преимуществах своих машин, и глаза разбегались на аэродроме в Виллакубле между серебрястыми металлическими «Дюпердюсеннами», грандиозными, как тогда казалось, «Морис Фарманами» и считавшимися верхом достижения техники «Вуазенами». Каждая фирма вывозила для осмотра из своего ангара машину, точь-в-точь как коня из скаковой конюшни.

Такая же конкуренция и неразбериха царилa и в автомобильном деле, и мне стоило больших трудов добиться от французского генерального штаба ответа на личный запрос Сухомлинова о сравнительной оценке автомобильных фирм. Эта табличка считалась секретным документом как могущая нанести ущерб той или другой частной фирме. Французам, впрочем, не было нужды этого опасаться, так как выбор наш был уже навсегда сделан: фирма «Рено» через услужливого и ловкого полковника Секретева, любимца Сухомлинова и даже самого царя, задолго до войны захватила монополию на автомобили в русской армии. Против этого, как и против многих других монополистов, мне и суждено было «вести войну» во время мировой войны.

Вся эта зарождавшаяся военная техника с великим трудом воспринималась французской армией. Офицеры, интересовавшиеся ею, были наперечет. Армия, несмотря на свой республиканский характер, жила обособленной от окружающего ее мира жизнью и лучше всего воплощала тот дух консерватизма, который характеризует французскую нацию: «Cela se fait ainsi! Cela se faisait toujours ainsi!» — можете вы слышать и сейчас от любого мастера, от любого чиновника.

И когда, по прошествии шести лет, мне пришлось вернуться к изучению французской армии, то я с ужасом заметил, что она не только не обнаружила прогресса, не только не использует всех достижений техники, но что вообще военная мощь нашей союзницы к началу 1912 года шла на убыль.

Одной из причин этого явления было неумолимое постепенное вырождение нации; французы из экономии не позволяли себе иметь более одного ребенка, а в результате число призывных с каждым годом уменьшалось. Другой причиной было усиление антимилитаристических и пацифистских настроений в некоторых слоях французского общества перед лицом нарастающей угрозы империалистических войн.

Идеи Жореса об упразднении вообще постоянных армий и замене их вооруженным народом казались соблазнительными, и потому мне было очень интересно познакомиться с главой французской социалистической партии. Жорес, с своей стороны, прослышав о моей службе в Норвегии, не погнушался для подтверждения своих взглядов познакомиться с военным представителем ненавистного для него царского режима. Свидание наше устроил один наш общий знакомый депутат в ныне уже не существующем ресторане «Жюллиен» на Больших бульварах, служившем тогда местом сбора многих

журналистов. Редактор созданной им в 1907 году газеты «Юманите» оказался плотным человеком среднего роста, с рыжей седеющей бородой лопатой. Взгляд его светился доброжелательством и прямой.

Как у истинного парижанина и журналиста, у Жореса была куча самых неотложных дел, и, пожирая с аппетитом завтрак, запивая каждое блюдо красным вином, он забрасывал меня вопросами, как будто желая завербовать в моем лице лишнего союзника против задуманного удлинения сроков службы во французской армии.

— Нет, нет, вы не можете допустить, чтобы такие люди, как французы, s'abrutissent (оглуплялись бы) бесполезным сидением в казармах и сабельными приемами на казарменных дворах!

Он был в восторге, когда я разделял его мнение в отношении вредного пристрастия французов к казарменной подготовке, но, к сожалению, я, со своей стороны, не получил того впечатления от Жореса, которого ожидал. Вождь социалистической партии представлялся мне грозным обличителем, сосредоточенным мыслителем, а не только симпатичным, горячим идеалистом, и недаром лучшей надгробной речью на его похоронах оказались слова, брошенные из толпы плакавшим навзрыд французским рабочим:

— Какое несчастье! Это был такой добрый человек!

Еще в 1905 году под влиянием Жореса сроки службы были уменьшены до двух лет без соответственного усиления постоянных кадров волонтеров и сверхсрочных, что понижало с каждым годом и уровень боевой подготовки, и численный состав мирного времени (на 1 января 1913 года во французской армии состояло под знаменами 559 592 человека против 750 000 германской армии).

Наконец, и что самое важное, в последующие годы дисциплина в армии пошатнулась, давали себя чувствовать антимилитаристические настроения.

«Слухи о проекте увеличения службы под знаменами на один год вызвали уже в армии беспорядки, которые носили во всех случаях характер уличного, прямого выражения протеста. Генерал Жоффр, у которого я был на-днях, казался мне несколько нервным, но убеждал меня не придавать крупного значения этим беспорядкам», — вот в каких выражениях было составлено мое секретное письмо от 9 мая 1913 года на имя генерал-квартирмейстера Юрия Данилова.

«Число уклонившихся от воинской повинности возрастало с каждым годом и достигло к 1911 году 10 000 человек, то есть 5% годового призыва, а число дезертиров 2 600 человек в год», — доносил я в другом рапорте в конце 1912 года.

Такова была мрачная картина состояния союзной армии к моменту начала балканских войн и грозного вооружения германских армий.

Крутой поворот внутренней политики с приходом к власти Пуанкаре имел своим прямым последствием лихорадочную работу по усилению военной мощи Франции. С этой минуты на мою долю выпадала задача следить за этой работой, с тем чтобы в каждый данный момент иметь возможность дать должную оценку в степени подготовленности к войне нашей союзницы.

Казалось, главным источником осведомления должен был являться французский штаб, куда я имел свободный доступ. Однако мне вскоре пришлось убедиться, что любезные приемы высокого начальства никогда не дают военным атташе обоснованного и четкого ответа и реального осведомительного материала.

— С 1870 года не было еще сделано так много, как за этот год, — сказал мне осенью 1913 года начальник генерального штаба, генерал Жоффр.

Конечно, я привел эти слова в своем очередном донесении, но о том, что именно сделано, мне пришлось узнавать из других источников.

Еще в скандинавских государствах я привык относиться с особым уважением к толстым томам, заполненным, на первый взгляд, мертвыми цифрами — военным бюджетом. Во Франции эти цифры дополнялись печатными комментариями докладчиков парламентских комиссий; на них мне удалось подписаться с первого же дня моего приезда.

Когда знаешь общую структуру армии, а главное, ее подотчеты, бюджетные цифры постепенно оживают, при сравнении с цифрами предшествующих лет получают еще большее значение, и, в конце концов, если и не дают полного осведомления, то во всяком случае намекают те вопросы, которым следует уделить особое внимание. Бюджет — это душа всякого дела.

Такой же кабинетной работы потребовал и ряд так называемых «законов о кадрах», стремившихся привести в какую-нибудь стройную систему награждение за долгие годы отдельных и подчас противоречивых циркуляров и инструкций.

«Основанием организации французской армии до 1912 года служил закон о кадрах от 13 марта 1875 года», — так за два года до мировой войны начинал я свой обширный доклад о реорганизации пехоты.

Я, конечно, в ту пору не мог предвидеть, что до начала великого испытания в распоряжении Франции оставались уже не годы, а месяцы, что казавшиеся мне грандиозными военные реформы начнут осуществляться буквально за несколько недель до мировой войны. Я просто считал, что нам необходимо знать во всех подробностях работу союзной армии не только для учета ее сил, но и как материал для реформ собственной нашей армии; я знал, с какими трудностями бывали сопряжены всякие нововведения в России.

На мое счастье, военным министром после Милльерана был назначен мой старый знакомый еще по командировке 1906 года, всегда приветливый и приятный в обращении господин Этьенн. Он не раз уже занимал этот пост и считался «верным другом армии». Чтобы заслужить эту репутацию, он специализировался на военных вопросах, все равно как какой-нибудь другой из его коллег депутатов, по профессии адвокат, занялся бы финансами, колониями или изящными искусствами.

К нему-то я и обратился с просьбой помочь мне получить во всех подробностях проект закона о чрезвычайных военных расходах, внесенный после длительной разработки в Палату депутатов. Небывалая по тогдашним временам цифра в 1½ миллиарда золотых франков объяснялась в этом законе лишь кратким перечнем статей и для отвода глаз подробными историческими справками.

— Вам надо по этому вопросу поговорить с Клемантелем, — ответил Этьенн при очередном свидании. — Вы ведь с ним знакомы. Я помню, мы с вами встретились на свадьбе его дочери в Версале.

— Да, я знаю, что Клемантель состоит в настоящее время докладчиком военной комиссии Палаты, но мне бы хотелось, чтобы вы его предупредили, — настаивал я. — Так будет солиднее.

Я чувствовал, что не только Жоффр, но и сам военный министр не решаются открыть мне официально секретную программу вооружения, и это еще больше возбуждало мое нетерпение.

Ждать пришлось, правда, недолго. Не я, а сам Клемантель пригласил меня позавтракать в модном ресторане у «Lague» на рю Руаэль.

В общем зале я его, однако, не нашел и, зная парижские порядки, поднялся во второй этаж, где помещались отдельные кабинеты, назначавшиеся не только для любовных, но подчас и для деловых свиданий.

— Кабинет господина Клемантеля? — спросил я дежурного гарсона на верхней площадке лестницы.

— Тут, тут, — как всегда с некоторой таинственностью, ответил мне полупонотом опытный гарсон и бесшумно пропустил меня в одну из окружающих площадку дверей. Но вместо Клемантеля передо мной предстал высокий почтенный старик с большой седой бородой и, как все французы, представляясь, неразборчиво назвал свою фамилию.

— Я друг господина Клемантеля, он депутат нашего города.

Стол был накрыт на четыре прибора, и старик пригласил меня заранее занять почетное место на диванчике.

Едва я успел узнать, что незнакомец является хозяином крупной фирмы каучука в Клермон-Ферране, как в кабинет, с обычной для французских деловых людей поспешностью, влетел и сам депутат Клемантель. Он был очень красив, знал это и с особой тщательностью расчесывал свои усы стрелкой.

Никто не мог бы предположить, что под лохочной, полупарикмахерской наружностью Клемантеля, как нельзя более подходившей к типу парижского довеласа, скрывались поразительная работоспособность и усердие.

— Министр немного опоздает и просит его не ждать.

О фамилиях министров всегда предоставлялось догадываться: называть их считалось дурным тоном и недостатком почтительности. Мне хотелось верить, что Клемантель намекает на Этьенна. Посидеть за хорошим завтраком и распить бутылку старинного бордо с военным министром и докладчиком военных бюджетов мне, как военному агенту, представлялось большим достижением.

Однако, как до приезда Этьенна, так и при нем разговор вертелся исключительно вокруг интересов фирмы Бергуньяна, из чего я понял, что это и есть фамилия старика, занимавшего меня разговором.

— У вас там в Риге царит германская фирма «Треугольник». Она снабжает калошами всю Россию. Дело это блестящее, по в случае войны русская армия будет поставлена в безвыходное положение: она останется без автомобильных шин, поставляемых ей тем же «Треугольником». Как же вам не поддерживать стремление французской фирмы Бергуньяна стать поставщиком вашей армии? Ее шины в техническом отношении, конечно, не уступают немецким.

Вот та тема, которую на все лады развивали мои собеседники, взяв с меня, в конце концов, обещание передать в Россию предложение господина Бергуньяна.

Господин Этьенн спешил на заседание в Сенат, не допил своей чашки кофе, извинился и только тогда, пожимая руку и мне, и Клемантелю, спросил:

— Вы договорились о свидании?

— Да, да, все будет исполнено, — поспешно успокоил своего друга-министра Клемантель.

В это время старик с бородой вынул из кармана скрутку бумажник и, не просматривая сложенного надвое счета, подложил в него крупный банковский билет. Подоспевший гарсон понял, что клиент сдачи не просит, и почтительно склонился.

На следующее утро Клемантель уже сидел в моей канцелярии, разложив на столе толстую рукопись; он постоянно в нее заглядывал, объясняя мне поэтапно новые спешные ассигнования. Сидя напротив моего собеседника и не спуская с него глаз, я покрывал карандашными записями один за другим запасенные заранее листки писчей бумаги. Клемантель в свою очередь делал вид, что не замечает моей работы.

Опытный докладчик бюджетов с целью облегчить членам Палаты проглатывание горькой пилюли начинал свои объяснения с экономии, произведенной новым законом в прежних, уже утвержденных парламентом, ассигнованиях:

«Чрезвычайные расходы в 500 миллионов франков на техническое оборудование армии сокращались на 80 миллионов, вследствие исключения из них расходов на полевые гаубицы», — доносил я на основании разговора с Клеманталем в рапорте 27 марта 1914 года.

Смешными кажутся теперь подобные цифры; трагичным, однако, тогда показалось мне это сокращение. Ведь уже четыре года до этой минуты, еще сидя в Копенгагене, мне удалось раздобыть из опытной германской артиллерийской комиссии в Шпандау полную коллекцию рабочих чертежей полевой гаубицы, вводившейся тогда на вооружение нашего общего с французами противника. Сколько раз, на основании опыта манчжурской войны, доказывал я французам значение крупных калибров в полевой войне: если мы не могли разбить глинобитной стенки в Сандепу, то что же смогут сделать полевые орудия против любой европейской деревушки, построенной из камня!

Я сам разделял их влюбленность в 75-миллиметровую пушку, глядя, как 4-орудийная батарея, без малейшего смещения лафетов, давала свободно 100 выстрелов в минуту. Не мог я, однако, соглашаться даже с таким авторитетом, как сам генерал Жоффр, по словам которого «это орудие способно решать любую задачу в полевой войне».

Из экономии французы долго пытались добиться от этого орудия более крутой траектории, приближавшей его к гаубице путем навинчивания на снаряд пресловутого кольца Маландрэн, но я продолжал скептически к этому относиться и потому, не вдаваясь в длинные споры по этому вопросу с Клемантелем, все же счел долгом влить каплю яда в розовые мечты докладчика военного бюджета.

— Да, но зато мы увеличиваем боевой комплект снарядов полевой артиллерии до 1500 выстрелов на орудие и по 200 запасных, — не без гордости утешал меня мой собеседник.

Но вместо утешения эта цифра заставляет содрогнуться при мысли о родной армии; вспоминается нехватка снарядов под Ляояном, встает в памяти мой приказ: «Стреляйте до последнего» — перед атакой Путиловской сопки. Наверно, — думаю я, — у нас такого количества не запасено, но размышлять долго не приходится: Клемантель сыплет все новыми и новыми цифрами.

Ура! Наконец-то 15 миллионов на походные кухни!

Еще восемь лет назад убеждал я французов, что разводить костры и варить суп в походных котелках на войне не удастся, а они меня уверяли, что французы индивидуалисты и предпочитают готовить суп каждый по своему вкусу!

Присутствуя на больших маневрах 1912 года, наш будущий главнокомандующий, Николай Николаевич, тоже был возмущен этим французским ретроградством и по возвращении в Россию выслал через мое посредство в подарок союзной армии все образцы наших походных кухонь. До Северного вокзала

в Париже кухни доехали благополучно, но сколько же хлопот доставили они мне при перевозке их в город и подыскании для них достойного помещения! Ни один из родов оружия не считал их для себя полезными, и потому и не выделял лошадей для перевозки. В конце концов, мои кухни месяцами стояли во дворе Высшей военной школы, но долгое время мне никого не удавалось ими заинтересовать.

А вот и новый вздох облегчения вырывается из груди: 33 миллиона на создание неприкосновенного запаса новой формы обмундирования серо-голубого защитного цвета. После смелых атак французской пехоты в мировую войну немцы прозвали французских пехотинцев «голубыми дьяволами». Прощай, традиционные красные штаны, которые можно было разглядеть за сто верст! Потребовалось тоже десять долгих лет, чтобы учесть опыт русско-японской войны.

Рука устает записывать, но усердный Клемантель уже разошелся: в 1918 году должно быть закончено оборудование больших лагерей из расчета по одному на каждый из 21-го существовавших в ту пору во Франции корпусов. К сожалению, война нагрянула в том же 1914 году, и большинство полков могло готовиться к бою только на небольших гарнизонных плацах да на дорогах. Сходить с них и топтать не только засева, но даже луга войска не имели права. Частная собственность охранялась лучше, чем права нации на самооборону.

Дойдя до цифры в 130 миллионов, ассигнованных на переоборудование пяти сухопутных крепостей, Клемантель прерывает чтение и задает мне деликатный вопрос:

— Я слышал от сопровождавшего нас нашего генштабиста, что при посещении крепостей Верден, Туль и Бальфор вы нашли их очень устаревшими, даже как будто никуда не годными?

— Что вы, что вы! — успокаиваю я. — Это не совсем так. Просто мне показалось, что в них еще много кирпича и недостаточно бетона.

— Да, но вы не видели Мобежа, — защищает Клемантель.

— Пытался, — говорю я, — взглянуть на это чудо техники; о нем мне говорит генерал Жоффр всякий раз, что я позволяю себе ему напомнить о работе моего предшественника Лазарева и о вероятности германского наступления через Бельгию.

— Они в этом случае упрутся в Мобеж, — возражал мне всегда начальник генерального штаба, но когда, очутившись случайно на пограничной станции Мобеж, я в ожидании парижского поезда пожелал взглянуть на эту крепость, то под разными предлогами меня до нее не допустили.

Ассигнованные на крепости миллионы израсходовать не пришлось: чудо техники, Мобеж, был в первый же месяц войны обойден германскими армиями и сдался 3-му резервному германскому корпусу после кратковременной осады, а за устарелость Вердена заплатили те сотни храбрецов, что пали под его стенами в 1916 году.

Пространные рапорты и доклады, составленные на основании многочасовых бесед с Клемантелем, показались мне недостаточными. «Величайшим нашим несчастьем, — говорил мой коллега по генеральному штабу, Федя Булгарин, — является то, что мы гораздо больше пишем, чем читаем». А мне хотелось, чтобы добытые мною сведения не только были подшиты к делу, но и использованы для намечавшейся у нас программы всех наших вооруженных сил.

Повторю, я не мог определить срока грубого нарушения Германией всех договоров и вторжения германских полчищ в цветущую Францию и поэтому, несмотря на все недочеты, считал французскую программу грандиозным достижением.

Хотелось это закрепить, поскорее реализовать и подогнать наших союзников сообщением им хоть чего-нибудь из того, что делалось у нас, и я поехал в Петербург.

Я чувствовал, что предстоит выдержать бой с начальством.

— Ну, что там опять выдумали твои французы? — тоном нескрываемого пренебрежения спросят меня коллеги по генеральному штабу, и, конечно, мне придется затратить все свое красноречие, чтобы доказать начальству необходимость ответить доверием на доверие.

«При отсутствии взаимного доверия всякий военный союз является только ненужным и даже вредным бременем для армии», — так заканчивал я в свое время один из своих рапортов.

Но это был глас вопиющего в пустыне. Начальник генерального штаба Жилинский, сам же назначивший меня в Париж, был всегда как будто чем-то раздражен; я позднее только понял, что это объяснялось ненавистью его, заклятого монархиста, к республиканскому режиму. После двукратной, но бесплодной беседы с ним мне пришлось заявить, что возвращаться с пустыми руками к своему посту мне просто невозможно.

— Ну, переговорите с Беляевым. Он в курсе дела, а потом перед отъездом можете еще раз зайти ко мне, — отделался от меня Жилинский.

Беляева, будущего военного министра, я знал по манчжурской войне. Там ему, полковнику генерального штаба, не нашли лучшего применения, как заведывать полевым казначейством. Он привозил нам из тыла кипы желтых рублевых бумажек — наше жалованье; бумажки мы прозвали «чумизой», а Беляева — «мертвой головой» из-за его лысого и лишенного всякой жизни черепа. Как я мог предполагать, что именно этому усердному кабинетному работнику, давно оторванному от армии и военной жизни, суждено будет сделать столь блестящую карьеру?!

От природы застенчивый и боявшийся собственной тени, Беляев знал в свое время манчжурских «зонтов», остерегался их едких язычков и потому, несмотря на свой генеральский чин, относился к ним всегда с некоторой опаской. С какими душевными муками пришлось ему выполнять поручение своего высокого начальства и передавать мне, старому «зонту», сведения о нашей большой программе!

— Западные крепости, как вы знаете, решено упразднить, — начал Беляев, — и отнести район сосредоточения подальше от границы.

— Но ведь крепости, как вас учили в академии, и должны прикрывать развертывание армии, — возражал я, пытаюсь получить объяснение на этот волновавший французов вопрос.

— Ну, это уже решено самим военным министром, генералом Сухомлиновым, — невозмутимо объяснила «мертвая голова», оставляя для меня навсегда неразрешенным вопрос, где кончалось недомыслие и где начиналась измена.

Перешли к пехоте. Вспоминая свою службу в полку, вечную нехватку людей в строю, безобразный процент запасных, вливавшихся в манчжурские первоочередные полки, я обращал внимание Беляева на сильный состав французских рот мирного времени, доведенных, подобно германским, почти до численности военного времени.

— У нас тоже приняты меры, — объяснял Беляев. — Например, сувальская пограничная стрелковая бригада будет иметь штаты военного времени, а пехотная дивизия в Вильно будет иметь одну бригаду более сильного, а другую более слабого состава.

— Я вперед отказываюсь командовать подобной дивизией, — попробовал я пошутить. — Ведь ее полки даже на параде друг другу в затылок не поставишь! Да и боевая подготовка будет в отдельных полках на разном уровне. Неужели же нужна такая пестрота?

Беляев не нашел нужным реагировать и продолжал:

— А в кавалерии мы решили изъять из дивизии четвертые казачьи полки и придать их заранее пехотным дивизиям.

«Уж и так казаки отстают в строевой подготовке, а тогда окончательно останутся без призора», — подумал я, но оспаривать Беляева уже себе не позволил.

— Главная же реформа коснется артиллерии: вместо восьмиорудийных батарей, мы сделаем шестиорудийные, что увеличит число батарей.

— Это же полумера, — возмущился я. — Правда, выставлать восьмиорудийные батареи на одну позицию опасно. К ним легко пристреляться, но мы в Манчжурии делили их пополам, вот и все. Если уж проводить реформу, так проводить ее до конца и делать батареи четырехорудийными. Если этого не позволяет скорострельность наших орудий, так надо заменить их новыми, хотя бы французского образца. Для чего, спрашивается, все же эта полумера?

Ответ Беляева характеризовал не только его самого, покорного и удобного прислужника последних дней царского режима, но и всю тяжелую русскую предвоенную атмосферу.

— Дорогой Алексей Алексеевич, скажу вам по секрету: это желание генерал-инспектора артиллерии, великого князя Сергея Михайловича, желающего ускорить во что бы то ни стало производство офицеров своего рода оружия. Увеличивая число батарей, мы увеличиваем и число подполковничьих вакансий в артиллерии!

Самым же страшным, как я и ожидал, оказался вопрос боевого комплекта полевых снарядов.

— У нас сейчас приходится около 600 снарядов на орудие, и мы считаем, что, увеличивая это число до 900, из коих часть будет в разобранном виде (одна часть в Самаре, а другая часть в Калуге, подумал я про себя), мы вполне обеспечим нашу артиллерию.

О французской цифре 1500 Беляев и слышать не хотел. Жилинский тоже, и все мои доводы получили вполне определенный отпор.

— У них так, а у нас так, — изрек мой высокий начальник.

Он не мог предвидеть, что на меня и выпадет во время войны тяжелая задача восполнить этот пробел в нашей собственной подготовке к войне.

— Как же мне поднести весь этот багаж французам? — спросил я одного из своих ближайших коллег по генеральному штабу.

— Ну, на то ты и дипломат, — ответил он.

С этой кличкой, слышанной не раз и от советских товарищей, мне не придется, вероятно, расстаться и до конца моих дней.

★ ★ ★

Чудес на свете не бывает, и если свою победу на Марне французы называли чудом, то, конечно, это должно было найти свое объяснение в том балансе

положительных и отрицательных данных, который военные агенты обязаны подводить еще в мирное время на основании положительных и отрицательных данных об иностранной армии.

Запоздалый закон о чрезвычайных кредитах, раскрывая главные недочеты в подготовке Франции к мировой войне, не мог дать представления о боевых качествах союзной армии, зависящих всегда и больше всего от организации внешнего управления.

— Рыба с головы воняет, — говаривал частенько Михаил Иванович Драгомиров.

Главным преимуществом высшего французского командования по сравнению с нашим являлось существование в мирное время так называемого «Conseil superieur de guerre» — Высшего военного совета. В то время как в России Военный совет представлял складочное место для престарелых и неподходящих для действительной службы генералов, Высший военный совет во Франции был составлен из будущих командующих армиями, при которых состояли уже заранее назначенные их ближайшие сотрудники — ячейки полевых штабов. Половину времени эти генералы инспектировали войска тех корпусов, которые в военное время должны были войти в состав их армий, а другую, большую, часть времени сидели, как ученики, за решением стратегических и тактических задач, связанных, главным образом, с маневрированием и железнодорожными перевозками вне поля сражения. Руководил этими занятиями начальник генерального штаба Жоффри, будущий главнокомандующий. Он придавал особенное значение полевым поездкам генерального штаба, на которых значительное место уделялось использованию в военное время железных дорог. Зная, что основной слабостью русской армии, так ярко выраженной в манчжурской войне, являлось неумение управлять крупными военными соединениями, мне хотелось во что бы то ни стало использовать эту сильную сторону подготовки союзной армии. Начать это дело я думал с командирования нескольких русских генштабистов на секретные полевые поездки высшего французского командования, и после некоторых затруднений мне удалось заручиться на это согласием Жоффри. Разочарование ожидало меня в Петербурге; едва я попробовал заикнуться о моем проекте, как один из самых влиятельных генералов на Дворцовой площади стал убеждать меня отказаться от этого намерения.

— Подумайте, — сказал он, — придется после этого на правах взаимности пригласить к нам французов, а последние полевые поездки в Виленском округе окончились таким провалом, что открывать это союзникам никак нельзя.

Французов в свою очередь крайне беспокоил вопрос о том, кто будет назначен в случае войны русским главнокомандующим, и, не добившись на это ответа от своих представителей в Петербурге, сами решили назначить нам такового. Жоффри и его окружение иначе и не титуловало великого князя Николая Николаевича.

Никто не мог предполагать, что Жоффри, несмотря на свое высокое положение в мирное время, сможет заслужить ту популярность, которую он себе стяжал в мировую войну. Тучный, но еще вполне бодрый старик, только что перешедший предельный возраст 60 лет, Жоффри совершенно был отличен от трафаретного типа французских генералов, которые так падки на внешний блеск и самовлюбленность. По своей молчаливости, замкнутости и безграничной способности владеть внутренними переживаниями он больше всего напоминал мне Кутузова. Трудно было вести с ним беседу: он долго присматривался к собеседнику и, даже уверившись в нем, не выражал ему никаких

внешних признаков симпатии. О завоеванном мною постепенно доверии я мог судить только по числу удовлетворенных им просьб и по отрывочным разговорам с его ближайшим окружением — двумя-тремя порученцами. По этим офицерам можно было легко оценить главное качество Жоффра, характеризующее всех крупных военных и государственных людей: умение выбирать своих сотрудников и знание людей, доходящее до проникновенности. Из оставшихся в живых его порученцев высоких постов достиг, между прочим, Гамелен; только история сможет определить степень его преступности в разгроме Гитлером его страны, но никто не сможет отрицать блестящих способностей Гамелена как генштабиста.

Выбору лиц даже на самые мелкие посты Жоффри придавал первостепенное значение. Как-то раз перед приездом во Францию Николая Николаевича он спросил моего мнения о лицах, выбранных им для сопровождения великого князя на маневры. Последним в списке стоял неизвестный мне тогда капитан Вейган.

— Он хоть и гусар, но замечательно серьезный офицер. Вы обратите на него особое внимание, — сказал Жоффри.

В другой раз, исполняя мое желание посетить один из пехотных полков, Жоффри направил меня в 100-й пехотный полк, стоявший в небольшом городке Бар-ле-Дюк. Полк ничем особым не отличался, учиться ему было трудно из-за местности, сплошь возделанной под ягодные огороды (Бар-ле-Дюк всегда славился своим вареньем), стрельбище полк имел на дистанцию только в 200 метров, но командовал этой частью полковник Бертело, умнейший из умных генштабистов, будущая правая рука Жоффра в первые месяцы мировой войны.

К сожалению, назначения высшего командного состава мало зависели от Жоффра; это была привилегия военного министра, и этим можно объяснить, что во время войны французский язык был обогащен новым глаголом «limoger» — «лиможе», соответствующим по смыслу — «уволить, прогнать». В город Лимож направлялись десятки генералов, уволенных Жоффри за неспособность командовать. Для смягчения толков об их судьбе и был выдуман этот новый глагол.

Другим качеством Жоффра была независимость его суждений о подчиненных. Жоффри был франкмасон, т. е. принадлежал к той тайной политической организации, одной из задач которой является борьба с дворянскими предрассудками и клерикализмом. Жоффри, несмотря на это, не только переносил, но и высоко ценил военные качества такого яркого представителя католицизма и врага франкмасонов, как его ближайший помощник еще в мирное время — генерал Кастельно. Хотя военные и не пользовались титулами, но все знали, что Кастельно является отпрыском древней французской семьи графов и маркизов Кюри де Кастельно. Ничего, впрочем, кроме религиозности, являвшейся его личным делом, и военной доблести он от своих предков не унаследовал. Его живой мозг был направлен только на военное дело, а свои чувства патриотизма он доказал в минуту, когда в разгар войны ему доложили о потере четвертого и последнего из его убитых сыновей.

— Ах, и он убит! Господа, продолжаем наше дело! — обратился он к присутствующим на Военном совете под его председательством.

Кастельно, как впоследствии и Фош, являл, между прочим, пример истинно военной вежливости, не допускающей славовости и подобострастия, но далекой от напыщенности и недоступности. Для этих людей я прежде всего являлся полковником, потом русским и, наконец, по каким-то печатным спра-

вочникам, дипломатом. Обижаться на это не приходилось, до того это было искренно и по-военному.

— Bonjour, Ignatiéff! (Здравствуйте, Игнатъев!) — кричит, бывало, во весь голос Кастельно, обгоняя меня галопчиком на утренней поездке в Булонском лесу. Он успевает при этом поднять руку к козырьку, а мне остается только для порядка салютовать ему штатским котелком, отвечая вдогонку:

— Bonjour, mon général! (Здравствуйте, мой генерал!) (Приставка «мой» во французской армии употребляется только при обращении младших к старшим.) Военное чиновничество, даже в штатском платье, соблюдалось, а военную форму я имел право носить только при торжественных приемах и церемониях.

Трудно сказать, чем определяется отношение иностранцев к дипломатам: одни приходится ко двору, другие нет, одни хороши для одной страны и совсем непригодны для соседней. Одному верят, а слова другого заранее вызывают сомнение.

Из долголетнего опыта службы за границей я пришел к заключению, что секрет заключается в том чутье, которое подсказывает иностранцам, насколько дипломат отражает лицо своей страны и насколько ему по вкусу нравы и обычаи страны чужеземной. Я всегда любил Францию, любил ее народ, и, вероятно, поэтому французские генералы за редкими исключениями еще до мировой войны считали меня «своим». При этом мне не приходилось затрачивать столько усилий, расточать столько любезностей, как, например, в Швеции. Французский генеральный штаб умел ценить всякую работу и знал, что для меня вся она направлена для подготовки отпора германскому империализму. Он уже привык выслушивать от меня и острую критику и требование уважения к своей стране.

Еще при своем назначении в Париж я заявил своему начальству, что организовать агентурную работу подобно той, которая была мною создана в Дании, я считаю не только бесцельным, но даже вредным. Мне уже было известно, что агенты-профессионалы привыкли доить вместо одной сразу двух коров, продавая те же сведения по дешевке французам и втридорога русским. Кроме того, при пропуске через границу одни агенты могли предавать других и вносить большую путаницу в руководство разведкой. Поэтому я предложил всемерно использовать агентурную разведку союзной армии и начать это с организации обмена уже существующими секретными документами.

— Ну попробуйте, едва ли это вам удастся, — ответило мне тогда мое начальство. Оно было, пожалуй, по-своему праву, так как в продолжение долгих лет французы имели большие подозрения, что их сведения могут попасть не только в Петербург, но через Петербург и в Берлин.

Рассчитывать на инициативу в этом вопросе с нашей стороны я тоже не смел, вспоминая манчжурские неудачи с Харкевичем и Гидисом. Выбирая из двух зол меньшее, я решил все же преодолеть недоверие французов и считал для себя большим праздником тот день, когда запечатал пятью печатами конверт с краткой препроводительной запиской: «При сем представляется первый список агентурных документов, предлагаемых нам на правах обмена французским генеральным штабом».

Начало было положено, и этим я обязан дружескому сотрудничеству со стороны своего нового французского знакомого, тогда только майора, Дюпона. Несмотря на свой невысокий чин, он ведал уже всей агентурной разведкой, сосредоточенной в особом отделе, подчиненном 2-му бюро генерального штаба.

Для того, чтобы лишь видеть Дюпона, надо было добиться права ходить в генеральный штаб не только с парадного, но и с черного хода, а для этого заручиться доверием и Жоффра, и Кастельно.

★ ★ ★

Основной работой, кроме рассмотрения годовых бюджетов, уставов, инструкций, являлись у меня отчеты о больших маневрах. В них, кроме описания самого хода маневров, было удобно сделать выводы о боевой подготовке армий на основании сведений, собиравшихся постепенно из разных источников в течение круглого года. Неутешительными кажутся лежащие передо мной пожелтевшие от времени листы моего рапорта за № 433 от 5 декабря 1913 года о больших маневрах:

«Из разносторонних отраслей боевой подготовки пехоты, — писал я, — наиболее страдают те, кои, вообще, представляют слабые стороны французской пехоты, а именно: стрельба и ведение пехотного боя в сфере ружейного огня. Французы в этих вопросах положительно не прониклись достаточно опытом русско-японской войны... Мыслящие офицеры сознают, что пехоте придется многому переучиться под огнем. На это необходимо ответить вопросом: ценою каких жертв?»

Кавалерия, как и везде, является наиболее яркой носительницей консервативных идей, что во французской армии особенно заметно вследствие присущей нации ненависти к изменениям существующих и освященных временем обычаев. Езда и действие холодным оружием — вот главные основания обучения французской кавалерии... Все отрасли обучения, не связанные непосредственно с кошной атакой, находятся в пренебрежении. Для характеристики отношения кавалерии к стрельбе достаточно сказать, что весь курс стрельбы проходится в три дня, а в некоторых полках и в два дня в году.

Артиллерия сделала наибольшие успехи по сравнению с другими родами оружия, и французская полевая артиллерия, вооруженная 75 мм. орудиями, представляет совсем другую силу, чем японская и наша в 1904—1905 годах; мощность ее действия настолько выше этих артиллерий, что она должна рассматриваться как совершенно другой тактический элемент... Одно из зол, с коим артиллерии еще не удалось справиться, — это пренебрежение к телефону, следствием чего в бою является слабая связь батарей между собой и пехотой».

В трагических последствиях, которые имело это пренебрежение телефоном, мне пришлось, к сожалению, убедиться очень скоро в настоящем сражении на Марне, где передовые роты французской пехоты polegли, скошенные собственными мелинитовыми снарядами.

Вероятно, во избежание всегда возможной провокации со стороны Германии большие маневры 1913 года производились не на восточной, а на испанской границе, в районе Монтобана. В этом живописном, утопающем в зелени городке сохранились развалины средневековой крепости, один из бастионов которой и был обращен в столовую для иностранных военных атташе.

Новые времена ввели и новый распорядок дня для иностранных представителей: вместо верховых лошадей, можно было передвигаться в не очень блестящих, но все же каких-то автомобилях, дававших возможность с раннего утра до поздней ночи объезжать, как всегда, обширный район военных действий и даже видеть войска. Так же, как и тогда, в 1906 году, с поражающей выпносливостью совершала французская пехота сорокаверстные марши, как

и тогда, прямо с походных колонн, без остановок и привалов, развертывалась и неудержимо наступала, напоминая наполеоновские времена. Чувствовалось, что охватившая страну волна воинственного патриотизма докатилась и до армии, что люди выполняют свой долг не за страх, а за совесть. Я знал тоже, что тренировка в маршах составляла основную часть воспитания французского пехотинца того времени, но мой германский коллега Винтерфельд не мог воздержаться от восхищения. Он, вероятно, чувствовал какую-то перемену в духе войск.

— *Ils sont merveilleux ces hommes là!* (Эти люди чудесны!) — повторял он мне.

Вечером того же дня, выходя из столовой, он отвел меня в сторонку и сказал:

— Послушайте, мой милый Игнатьев, вы будете, конечно, составлять отчет об этих маневрах. Окажите же услугу Германии. Попросите, чтобы некоторые из ваших выводов были бы тем или иным способом доведены до сведения нашего императора. Он окружен такой компанией сорвиголов (*des têtes brûlées*), что они нуждаются в хорошем холодном душе. Я чувствую, что с некоторых пор моим донесениям в Берлине не доверяют. А Петербург может это сделать.

События показали, что переданные мною слова моего германского коллеги и его высокая оценка французской армии желаемого действия не произвели.

Эта моя ночная беседа с Винтерфельдом явилась для нас последней до мировой войны. Катастрофа, жертвой которой оказался Винтерфельд, произошла на следующий день утром.

Мои приятели частенько говорили, что мне в жизни везло. В этот день мне повезло действительно. Военные атташе рассказывались по машинам, соблюдая строгое старшинство в чинах. На задних местах — генералы и полковники, на передних — подполковники и капитаны. Мое место было во второй машине на заднем сидении, но посадка в машины задержалась из-за опоздания Винтерфельда, забывшего захватить бинокль. Желая соблюсти точный час выезда, один из сопровождавших нас французских генштабистов попросил меня сделать «союзническое» одолжение и занять место Винтерфельда в первой машине на переднем, менее почетном, месте, что я, конечно, и исполнил. При движении маршрут был все же вскоре нарушен из-за необъяснимого отставания от нас второй машины, а часа через два мы уже совсем остановились и, потрясенные совершившимся, бережно положили на берегу ручейка бесчувственное тело нашего германского коллеги. Его мертвенно бледное лицо еще не выражало страданий; оно только казалось особенно серым из-за окружающей его ярко зеленой травы. Оказалось, что вторая машина опрокинулась на повороте, но серьезно пострадал только Винтерфельд, сидевший как раз на моем месте. В течение долгих месяцев крохотная французская деревушка, в которой мы приводили в чувство Винтерфельда, сделалась местом паломничества всех врачебных знаменитостей Франции и Германии. Ранение оказалось настолько серьезным, что об эвакуации больного не могло быть и речи. Это был тот самый Винтерфельд, на которого после войны выпала унижительная обязанность подписать капитуляцию своей армии в вагоне маршала Фоша, в Компьенском лесу.

Катастрофа произвела тяжелое впечатление на всех коллег, а в особенности на мало повинных в ней французов. Мне она показалась символической.

В бастеоне засиделись в этот вечер дольше обычного. На площади перед выходом стояла, как всегда, толпа и, несмотря на поздний час, ожидала выхода русского военного агента. Крики: «Vive la Russie! Vive les Russes!» (Да здравствует Россия! Да здравствуют русские!) — встречали меня, нарушая ночную тишину. Отведенная мне комната у местного нотариуса находилась на противоположной стороне маленького городка, и я шел каждый день окруженный толпой, из которой то и дело протискивались женщины, одетые, как везде на юге Франции, в черное платье. Они хватали мои руки, стремясь их поцеловать, и, показывая меня детишкам, учили их.

— Vois, mon gâ! C'est un russe. C'est lui, qui va nous sauver. (Смотри, малыш! Это русский! Он-то нас и спасет!)

Спасем ли мы? Вот над чем мог призадуматься в подобные минуты предстатель союзной армии.

Глава десятая

AMIS ET ALLIÉS¹

Союз трех монархий — русской, прусской и австрийской, заключенный во время войны 1813—1814 годов против Наполеона, продолжал на протяжении почти всего XIX века препятствовать какому бы то ни было военному сближению России и Франции. Российская империя Николая I и Александра II систематически онемечивалась, и немцы имели основание смотреть на императорскую Россию как на собственный «хинтерланд», выжимая из нас все с большей и большей пагубностью необходимые для себя материальные ресурсы. Навязанный России и вечно возобновлявшийся хлебный договор, кормивший немцев дешевым русским хлебом, как нельзя лучше характеризовал надетое на царскую Россию германское ярмо.

Немалую роль в изменении курса русской политики, направленного на оближевание с Францией, сыграл, между прочим, бывший русский посол в Париже барон Моренгейм. Этот хороший маклер, еще будучи посланником в Дании, сумел устроить свадьбу Александра III и датской принцессы Дагмары (будущей императрицы Марии Федоровны). Попав в Париж, Моренгейм использовал этот брак для обработки русского увальня Александра III и его молодой супруги, истинной датчанки, не простившей разрыва Бисмарком ее родины в 1864 году. Нелегко было примирить этого заядлого реакционера с мыслью о союзе с презренным республиканским строем. Рассказывали, что, пригласив французского посла в Петергоф на парад конно-гренадер, Александр III вынужден был впервые услышать «Марсельезу». Он не в силах был взять руку под козырек для отдания чести французскому гимну и, сделав вид, что умирает от жары, снял тяжелый конно-гренадерский кивер и стал обтирать пот с головы.

Жившая воспоминаниями о разгроме ее немцами в 1870 году, Франция 80-х годов видела в России свою спасительницу. Вот почему прием русской эскадры адмирала Авелана в Тулоне, первый приезд Александра III во Францию, грандиозный, ставший историческим, парад в его честь, — все эти события медового месяца франко-русской дружбы врезались в память целых поколений, и воспоминания о них дожили до моих дней. Французский генералитет рассказывал мне об этом, захлебываясь от восторга.

В 1912 году одних восторгов уже не было достаточно, хотелось во что бы то ни стало использовать официальные посещения ответственных военных начальников прежде всего для развития взаимного понимания. Русские, например, принимали ни к чему не обязывающую французскую любезность в обра-

¹ Друзья и союзники.

щении за чистую монету, раздражались французской аккуратностью, казавшейся им ненужной мелочностью и придирчивостью, а французы не могли примириться с нашей беспечностью и давно уже характеризовали наши деловые отношения словами: «Ничего... сейчас...».

Общим свойством и русских, и французов являлась страсть делать все только в последнюю минуту. Немцы хорошо знали и потому старались использовать эту слабость.

Разница культуры двух стран отражалась и на служебных отношениях. Особенно тяжелое впечатление производили периодические совещания начальников союзных генеральных штабов. Сидит толстяк Жоффри, насупивши брови, и ждет, что скажет сидящий против него накрахмаленный и cedящий слова сквозь зубы генерал Жилинский. Жоффри приехал в Россию и считает вежливым предоставить слово своему коллеге.

Разместившись на краю стола и разложивши перед собой протокол совещания, смотрю на сидящего против меня генерала Лагиша, французского военного атташе в Петербурге. Этот сухой, чопорный старичок, гордившийся своим аристократическим происхождением, очень подходил к петербургскому высшему обществу. Он был достаточно скучен и консервативен.

— Какой ваш номер телефона? — спросил я раз Лагиша.

— Я его не имею и никогда не допущу, чтобы в мою спальню вторгся по телефонному проводу чужой и, быть может, вовсе мне неприятный голос. Я не лакей, чтобы меня вызывали по звонку.

До Петербурга Лагиш провел несколько лет на том же посту в Берлине, где карьере ему сделала жена, болезненная, но очень неглупая женщина, обворожившая даже, как говорили, самого Вильгельма.

Начальники союзных генеральных штабов напоминали двух карточных игроков. Жилинский, не имея достаточно козырей, пытался их не отыгрывать, а Жоффри старался тем или иным путем их вытянуть у своего партнера.

Вот Жоффри приводит известные уже мне данные о производимых в его армии реформах, а Жилинский не называет ни одной конкретной цифры, не приводит даже всем известной численности царской армии в мирное время — в 1 200 000 штыков, отделиваясь общими местами. Рассказывая об усовершенствовании французской железнодорожной сети, Жоффри явно стремится навести разговор на недостатки наших железных дорог, но Жилинский делает вид, что французские железные дороги его совсем не интересуют, а развитие собственных зависит от министра путей сообщения.

Доходим до самого деликатного вопроса — сроков мобилизационной готовности, естественно, более длинных для России, чем для Франции. Тут приходится назвать какое-то число дней, но Жилинский не может понять, что Жоффри, как всякий француз, предпочитает смотреть правде в глаза, а не мириться с неясностью.

— Без обозов эти войска, конечно, могли бы быть готовы к такому-то дню, ну а с обозами вопрос другой, — объясняет Жилинский; прения затягиваются, и мы с Лагишем долго не можем добиться, сколько же дней надо записать в протокол.

Наконец армии мобилизованы, начинается обсуждение планов сосредоточения, для которых, казалось, надо было бы учесть возможные планы противника. Но об этом в протоколах долгие годы умалчивалось, и только на последнем совещании в 1913 году Жоффри, наконец, решил попытаться открыть и эту последнюю карту. Жилинский, намечая в общих чертах план развертывания

русских армий, вероятно, с целью сделать удовольствие Жоффу, особенно напирал на крупные силы, которые будут выставлены против Германии (Австро-Венгрия для французов не представляла большого интереса). Но, к великому моему удивлению, Жоффр, водя пухлой рукой по разложенной на столе карте нашей западной границы, вместо одобрения наступательных тенденций Жилинского, стал убеждать его в опасности вторжения в Восточную Пруссию.

— Это самое невыгодное для вас направление, — доказывал он. — *C'est un guet-apens* (ловушка), — несколько раз повторял он.

И когда я слушал в первые дни войны известия о разгроме армии Самсонова в Восточной Пруссии, брошенной в этом направлении тем же Жилинским, передо мной лишний раз вставал неразрешимый вопрос, где кончается недомыслие и где начинается предательство.

Если уж совещания начальников штабов не могли наметить, хотя бы в общих чертах, совместного плана войны, то, конечно, этого нельзя было ожидать от свиданий высоких представителей союзных армий.

Неприятное впечатление, которое производил всякий раз на французов Жилинский, мне удалось, между прочим, смягчить при посещении Парижа Сухомлиновым. Сухомлинов был одним из тех приятных собеседников, в разговоре с которыми не только можно не замечать их собственных недостатков, но и не настаивать на уточнении излагаемых ими положений.

Приехал Сухомлинов в Париж частным лицом со своей супругой, но охотно исполнил мою просьбу посетить и Жоффра, и военного министра. Надо же было чем-нибудь возместить мою собственную неосведомленность о русских делах.

Один вечер, проведенный с Сухомлиновым в Париже, пролил для меня некоторый свет на причины его будущей позорной репутации. Я чувствовал, что ему хотелось показать своей жене веселящийся вечерний Париж, и решил пригласить их ужинать в только что тогда открытый, а потому и самый модный по тогдашнему времени ресторан «Сиро». Цены в нем были баснословные, и когда гарсон подал мне счет, Сухомлинов сказал:

— Этого еще не хватает, чтобы военный агент платил за своего министра. А впрочем, Алексей Алексеевич, это уже не так несправедливо, как кажется. Какие наши с вами оклады жалованья? Почти одинаковые, а расходы на представительство мне ведь тоже никто не возмещает... Как вы счастливы жить в таком городе! — задумчиво сказал мне мой министр, глядя на окружающих декольтированных красавиц и танцующих с ними элегантных кавалеров во фраках.

— Ей-богу, — шутя, как мне показалось, добавил он, — я рад был бы поменяться с вами должностями.

Я невольно улыбнулся.

— Вот вы не верите, — продолжал Сухомлинов, — если бы вы знали, как мне тяжело, до чего хочется свободно вздохнуть, пожить, наконец.

Рядом со мной сидела и флиртовала его не столько красивая, сколь обворожительная супруга. Мне стало понятно, что этот человек в самом опасном возрасте — перехода к старости, — попал под полное влияние этой привлекательной авантюристки. Какая громадная пропасть лежала между его частной жизнью и служебным долгом, который уже отходил в его уме на второй план! Он переставал сознавать всю ответственность, возложенную на него за судь-

бы его страны, и, быть может всерьез, был бы не прочь обратиться из генерал-адъютанта в молодого полковника генерального штаба, променять служивый Петербург на веселящийся Париж!

Гораздо большим испытанием явился для меня приезд на маневры в 1912 году Николай Николаевич и ответный визит Жоффра в следующем году в Красное Село. Эти поездки, как когда-то приезд паря в Стокгольм, не укрепляли, а расшатывали мой служебный авторитет за границей, заставляли снова краснеть за некоторых представителей своей страны. «Скажи, с кем ты знаком, и я тебе скажу, кто ты такой», и о высоких лицах чаще всего судят по их окружению. Жоффр, отправляясь в Россию, собрал вокруг себя весь цвет генерального штаба, лучших специалистов по всем родам оружия до службы железных дорог включительно. Ему за них краснеть не приходилось, даже при попытках нашего офицерства сплотить союзников. (Толстяк Бертело ответил за всю французскую армию, его не свалили, и он выходил с попойкой твердо на своих могучих ногах!)

Чем руководился Николай Николаевич, привезя с собой кучку генералов, снабженных баронскими титулами и немецкими фамилиями, объяснить невозможно. Лучшим доказательством ничтожности свиты, окружавшей его на французских маневрах, явилась мировая война: ни один из этих генералов ничем в ней не отличился.

Церемониал приезда нашего будущего главнокомандующего был разработан еще моим предшественником и включал в себя, между прочим, бесконечные осмотры древних замков на Луаре, входивших в район маневров. Мне же было дано единственное оригинальное поручение: оказать содействие командированному за 3 месяца до маневров в Сомюрскую кавалерийскую школу наезднику великого князя, Андрееву. Он должен был выбрать и специально объездить верховую лошадь для «лукавого». Мне казалось, что этим могли заняться сами французы, но Андреев мне объяснил, что «его высочество изволят непрерывно толкать лошадь левой ногой и что к этому ее надо заранее приучить». Зачем понадобилась лошадь, когда все высокие начальники давно уже следили за ходом маневров из автомобилей, понять было трудно. Я, признаться, забыл бы про эту деталь, если бы при первом же выезде в поле не увидел на одной из лужаек построенных верховых лошадей. Жоффр взгромоздился на своего рыжего лысого коня, а для Николая Николаевича, вероятно с целью угодить, Андреев подготовил своего старого мерина серой пусарской масти. Не успел я еще пригнать Себе стрелян, как оба будущих главнокомандующие двинулись шагом, направляясь на ближайшую полевую дорожку; на этом наша конная прогулка и закончилась: разбитый на передние ноги старый екаун по прерывистым, не чувствуя своей высокой ответственности, спотыкнулся, задев копытом о небольшую кочку; этого было достаточно, чтобы долговязый всадник, бывший генерал-инспектор русской кавалерии, сперва съехал к нему на шею, а затем, потеряв равновесие, и совсем слез на землю. После этого решено было продолжать объезд войск на машинах.

К вечеру я сделал для себя новое и страшное открытие в отношении военных способностей бывшего «лукавого»: как ни старались французские генштабисты объяснять ему быстро сменявшуюся маневренную обстановку, он, привыкший к нашим мертвым схемам, не был способен в ней разбираться.

«Путевник», — подумал я.

Очень мне также казалось обидным, что никто из соотечественников, сопровождавших Николая Николаевича, не задавал мне ни единого вопроса; то

ли они считали меня полным невеждой, то ли хотели показать, что вся эта новая, незнакомая обстановка для них вполне ясна и что их ничто не поражает. Как же мне было не скорбеть душой за русских, когда французы, сопровождавшие Жоффра в Красное Село, заваливали вопросами не только Лагипша, но и меня. Это ни на чем не основанное русское зазнайство лишний раз доказывало, что уроки манчжурской войны ничему нас не научили.

Особенно странное впечатление должна была производить на церемонных французов своей истеричностью жена Николая Николаевича, дочь черноморского князя.

— Зачем вы вернулись? — кричала она на меня, выскочив из вагон-салона. — Как вы смели оставить великого князя одного?

Повидимому, страх перед покушениями, ставшими у нас обычным явлением, ни на минуту ее не покидал.

Самовластия этой самодурки, сыгравшей уже немалую роль в разложении царского окружения, рекомендовавшей такой же истеричке, как и она, Александре Федоровне то Бадмаева, то Распутина, не было пределов. На маневрах она решила разыграть роль сверхфранцузской патриотки и, к великому смущению французского правительства, пожелала совершить специальную поездку на границу в Эльзас, что являлось настоящей нескромностью и провокацией. Бедный Извольский чуть не разбил при этом известии своего мошкля. Черноморка, ни с кем не считаясь, разыграла на границе настоящую комедию: она стала на колени у ног французского пограничника, протянула руку на германскую сторону и, захватив горсточку земли, стала ее целовать. Она стяжала этим большой успех у дешевых репортеров парижских бульварных газет.

★ ★ ★

При посещении Жоффром Красного Села для меня приоткрылась завеса над истинным настроением русских солдатских масс. При объезде лагеря гвардия действительно кричала еще вернопопаданию «ура», но в авангардном лагере, где стояла какая-то армейская пехотная дивизия, приказ приветствовать «обожжаемого монарха» выполнялся только передними шеренгами. В задних же рядах, столпившихся между бараками, некоторые солдаты демонстративно молчали, другие, опустив глаза в землю, не желали даже смотреть на процессию. Как бы это не заметили французы! Неужели никто из русских не хочет этого видеть? Не с кем было поделиться впечатлениями, как будто все окружающие заткнули ватой уши и надели себе повязки на глаза.

Первые дни Жоффру приходилось обращаться ко мне по всем вопросам; сопровождавшая его русская свита с каким-то ничем себя не проявившим генералом во главе совершенно не соответствовала своему высокому назначению; особенно хорош был выбор личного адъютанта, доверенного лица Николая Николаевича, — Сашки Коцебу, полного невежды в военном деле и обязанного во многом в своей служебной карьере исполнению цыганских романсов под питару. Они были в большой моде в России.

Но постепенно Жоффр заметил, что сам-то царь, которого приходилось встречать ежедневно то на военном поле, то в царской столовой, ни разу не только не заговорил со своим военным атташе, но даже не поздоровался. Подобное обращение монарха, привычное уже для нас, русских, но совершенно непонятное для французов, указывало Жоффру, что в России надо считаться только с ближайшим царским окружением в романовской семье. Результаты сказались по возвращении в Париж.

Не успел я там приняться за обычную работу, как прибыл генерал-квартирмейстер Данилов. Он лично был приглашен генералом Жоффром, но тот, вероятно, про это забыл и принял его, даже не предложив сесть; в рабочем штатском пиджаке Жоффр стоял, опершись на свой письменный стол, а перед ним, в парадной форме, с лентой через плечо, стоял, вытянувшись, русский генерал. Пренебрежительное обращение царя и его ближайшего окружения ко всем, кто не носил царских вензелей на плечах, окончательно сбивало с толку французов, а царский двор так им «вружил голову», что русским предстателям в Париже приходилось каждый раз после их возвращения из России «наводить на них порядок».

Проводив своего возмущенного прямого начальника до гостиницы, я немедленно вернулся в генеральный штаб, где задал настоящую головоломку дежурному порученцу Жоффра. (Французский юмор позволяет высказывать самые неприятные вещи в легкой и веселой форме.)

Случайно на следующее утро я встретил «провинившегося» на похоронах какого-то важного французского генерала (это тоже входило в мои обязанности). Склонившись, с присущей ему манерой, как-то набок, Жоффр сконфуженно жал мне руку и просил помочь ему загладить неприятное впечатление, произведенное им на Данилова. Мы решили предоставить ему разрешение присутствовать на маневрах пограничного 20-го корпуса, считавшихся секретными.

★ ★ ★

Гораздо более могучим средством для сближения армий, чем эти официальные «налеты», должны были бы явиться ежегодные взаимные шестимесячные командировки офицеров в войска.

К сожалению, они ограничивались смехотворным числом — три офицера от каждой из армий.

В первый год, организовав это дело, я имел неосторожную мысль устроить у себя дружескую встречу французских и русских офицеров-стажеров и пригласил их к себе на завтрак. Сели за стол, выпили водки, закусили русской кулебякой и стали обмениваться впечатлениями.

— Не правится мне Париж, — заявил вдруг почтенный русский капитан. — Грязно у вас здесь. То ли дело Берлин! Вот где чистота!

Пришлось впредь отказаться от дерзкой мысли устраивать подобные встречи.

От командированных во Францию русских офицеров я получил немало ценных сведений о быте и боевой подготовке наших союзников, но для некоторых французских офицеров русская армия осталась непонятой. Не только настоящего сотрудничества между союзными армиями на случай войны не было подготовлено, но и взаимного понимания между Россией и Францией не было установлено.

Рекорд в непонимании чувств французского народа побил один из самых верных клиентов парижских кабаков, великий князь Борис Владимирович. Франция являлась, вообще, излюбленным местом для проматывания денег не только всех монархов, но и их некоронованных родственников. Первое место в этой компании занимала, конечно, семья Романовых, «освещавшая» ежегодно, как выражался один мой приятель, «парижский небосклон звездами большой и малой величины». Все они проживали здесь частными людьми и несколько не интересовали французские правительственные круги. Борис решил, однако, использовать оживление франко-русских отношений в целях

создания себе популярности, благо в России и русской армии он давно потерял всякое к себе уважение. (Назначение его в мировую войну атаманом всех казачьих войск, эта оплеуха, нанесенная казакам, окончательно доказала ту аморальность, которая характеризовала последние месяцы царизма.)

В Париже Борис начал готовить свое «политическое» выступление, как оказалось, еще при Ностиче, используя с этой целью слабость моего предшественника к памятникам. Я как раз никогда не принадлежал к их особым поклонникам, считая, что дела и творения людей говорят за себя лучше всякого каменного изваяния.

Борис чувствовал, вероятно, что у меня слишком много другого и более важного дела, и потому продолжал действовать за моей спиной, подыскав для этого весьма подходящего исполнителя в лице старого парижанина, полковника Ознобишина, или, как он себя называл, «Д'Ознобишина». (Этой приставкой буквы «Д» большинство русских нетитулованных дворян стремилось подчеркнуть во Франции свою принадлежность к аристократии, не учитывая, что эта приставка для французских дворян произошла от поставленного в родительном падеже названия того замка, который принадлежал этой семье. Замок «Ознобишин», конечно, в России не существовало.)

Ознобишин во многом напоминал мне моего старого манчжурского знакомого Ельца. Оба они в свое время кончили Академию генерального штаба, отличились в «войне» против полубезоружных китайских боксеров, оба были талантливы, но, покинув генеральный штаб, предпочли, сохраняя военный мундир, обратиться в Молчалиных при высочайших особах. Ознобишин числился состоящим при герцоге Лейхтенбергском, проживавшем большую часть года во Франции.

От безделья Ознобишин, по поручению Бориса, объехал все места сражений кампании 1814 года, ознакомился с воздвигнутыми на них памятниками в честь русских войнов и составил подробный доклад о необходимости их реставрации. После этого он позвонил мне однажды по телефону и просил принять по «крайне срочному делу».

— Я являюсь к тебе, Алексей Алексеевич, — торжественно объявил мне Ознобишин, — по поручению его высочества Бориса Владимировича; он приказал ознакомить тебя вот с этой бумагой, — и положил передо мной напечатанный на великолепной веленовой бумаге рапорт Бориса не больше и не меньше как на имя самого царя!

Это заставило меня углубиться в изучение пространного документа, но, по мере того, как я читал, я все больше находил его невероятным.

— Слушай, Дмитрий Иванович, ты что это? Пошутить лишний раз захотел? — смеясь, спросил я. (Ознобишин не лишен был остроумия и очень хорошо, как подобало приятному паредворцу, распевал цыганские романсы под рояль.)

— Нет, нет! Это уже вопрос решенный, — обиделся Ознобишин. — Мы только хотели заручиться твоей формальной поддержкой. Как видишь, мы предполагаем включить вопрос о памятниках в общую программу празднования в будущем году столетия кампании 1814 года против Наполеона. Борис Владимирович прибудет во Францию во главе делегаций от всех полков, принимавших участие в этом походе; на площади Бонкорд, на том самом месте, где была воздвигнута трибуна для союзных монархов, мы устроим, как и тогда, сто лет назад, торжественное молебствие.

— Ну, так знайте же, — прервал я, не будучи в силах сдержать себя, — что если вы задумаете предлагать всерьез подобную нелепость, то я немедленно подам со своей стороны рапорт по команде и буду категорически протестовать.

Как ни был слаб Николай II, он все же не внял просьбе своего двоюродного брата и положил следующую краткую резолюцию:

«Разделяю мнение военного агента».

Немного находилось и в царской России таких косных людей, как Борис, но все же в культурных слоях столицы судили о Франции в общем так, как судил я сам, высадившись впервые на Северном парижском вокзале. Аристократия болтала по-французски, как болтал и я сам когда-то, но языка не знала. Петербургская знать посещала по субботам Михайловский театр, где играла постоянная французская труппа, но до франко-русских отношений и их желательного развития никому не было дела. Париж в этом отношении шел впереди Петербурга.

Искусство во все времена являлось лучшим средством пропаганды, а русское искусство и русский гений буквально завоевали в мое время Францию без всякого содействия и вмешательства в это дело царского правительства!

Одним из самых близких мне домов была семья Мельхиора де Волгоэ, известного критика, переводчика наших классиков и знатока русской литературы, инициатора основания французской школы в Петербурге.

Крупнейшей представительницей русской музыки — Бородин, Римский-Корсаков, Мусоргский, Лядов и Серов — явились истинными вдохновителями таких современных композиторов, как Дюкаэ, Морис Равель и Дебюсси.

Такой колосс, как Шаляпин, создал свое имя тоже при мне за границей, в Париже. Я помню его дебют в «Борисе Годунове», постановкой которого открывался только что построенный театр Елисейских полей. Когда поднялся занавес, когда полились родные мелодии и грянул русский хор под трезвон московских колоколов, появилась могучая фигура Шаляпина. Он, как никто из певцов, мог передавать в мелодии ее текст. У меня забилося сердце от чувства бесконечной гордости за свою страну, ее гений, ее несравненный язык.

— Смотрите! Слушайте! — хотелось крикнуть декольтированным, усыпанным бриллиантами дамам и лохматым кавалерам во фраках, представлявшим «весь Париж», съехавшийся на невиданный спектакль. Он в рекламе, впрочем, не пуждался. Театральный зал, как один человек, забывши на минуту всякую светскую условность, кричал, аплодировал, не давая опуститься занавесу.

С таким триумфом можно было впоследствии сравнить только появление в Париже нашего Красноармейского ансамбля песни и пляски, затмившего все, что было показано на международной выставке 1937 года.

Не меньшим успехом пользовался в предвоенном Париже и русский балет. Он был, однако, совершенно отличен от традиционного балета Мариинского театра: его задачей было создать нечто артистически цельное — танцы, наглядно воплощающие музыкальный замысел автора, танцы, пластическая экспрессия которых идет в унисон с музыкой. Пионером в этом новом жанре хореографического искусства выступил Дягилев. Сын кавалергардского офицера, поначалу только талантливый дилетант, он быстро достиг высокой эрудиции в области искусств и сумел составить свою труппу из таких первоклассных артистов, как Павлова, Карсавина и неподражаемый Нижинский. В России места для этого новатора не нашлось. Консервативный императорский

балет не мог примириться с революцией в театральном искусстве. Используемая Дягилевым музыка Римского-Корсакова, Черепнина, Прокофьева, Стравинского требовала новых, полных смелой оригинальности постановок, декораций Бакста, Рериха, Бенуа и не только классических танцоров, но и выскоталантливых исполнителей.

Париж ахнул, Париж потерял голову: в России — темная реакция, а в Париже — Ballets Russes (русские балеты), представляющие для искусства дерзкое, смелое новаторство.

Чем-то далеким от всего земного запечатлелась в памяти французов и бессмертная Анна Павлова в исполнении «Смерти лебедя» Сен-Санса.

Совершенно особенный характер носили «Концерты танцев» — эти песни без слов, как их называли французы, нашей соотечественницы Наталии Трухановой. Они соревновались со спектаклями Дягилева в новых принципах исполнения танцев, но использовали исключительно современных французских композиторов.

Базалось бы, что все подобные торжества русского искусства должны были стать прежде всего центром внимания со стороны многочисленных русских, издавна избравших Париж своим постоянным местожительством. (Внук писателя Фонвизина, приехавший в Париж на три дня, остался в этом городе на всю жизнь.) Однако даже манифестации русского искусства не могли их спаять. Русских колоний, подобных тем, которые, естественно, образуются из представителей других наций в каждом большом заграничном центре, не существовало. Средостения, воздвигнутые между различными общественными классами в России, еще сильнее давали себя чувствовать в Париже: на правом берегу Сены проживали состояния русские богачи, а на левом берегу ютились среди материальных лишений враждебные им политические эмигранты.

Поставив себе задачей войти как можно глубже во французскую жизнь, я русских встречал, главным образом, по царским дням в посольской церкви, являвшейся уже тогда не столько религиозным, сколько светским центром.

Единственным русским, с которым меня связала судьба в эти годы, оказался мой бывший посланник в Стокгольме, Кирилл Михайлович Нарышкин. Он сменил там Будберга и за короткое свое пребывание в Швеции особенно близко сошелся с Петровым и со мной. Он вышел в отставку одновременно с моим назначением во Францию и, вернувшись в родной ему город Париж, из симпатии ко мне нанял квартиру насупротив моей канцелярии. Ему-то, этому мало кем оцененному, уже старому человеку, обязан я многим в познании Франции и французов.

При знакомстве с этим оригиналом прежде всего бросалась в глаза его неприглядная внешность, заросшее волосами лицо, подслеповатые глаза, но с первых же слов в нем чувствовался высококультурный русский человек, гордящийся своей родиной, своим происхождением, тонко воспитанный и опытный дипломат.

Кирилл Михайлович получил воспитание в Пажеском корпусе и часто вспоминал, что его товарищем по выпуску был Брусилов, окончивший, между прочим, корпус чуть ли не последним учеником. Нарышкин же был фельдфебелем строевой роты и по своей должности состоял камер-пажем при Александре II.

Следующий эпизод хорошо характеризовал как Нарышкина, так и этого представителя семьи Романовых, считавшегося среди русских царей одним из самых воспитанных и гуманных.

В пасхальную ночь, после продолжительного богослужения в дворцовой церкви и парадного выхода, царская семья собралась по традиции в малахитовом зале Зимнего дворца на разговорие. Уже светало, когда царь вышел из зала и, увидев ожидавших дежурных камер-пажей, подошел к Нарышкину, похристосовался и в виде милой шутки сказал:

— Что ж, молодежь, по усам текло, а в рот не попало?

Он намекал на долгую придворную службу камер-пажей без возможности закусить.

— Для Нарышкиных всегда найдется, чем закусить во дворце вашего императорского величества, — ответил Нарышкин, напоминая этим царю, что его семья, хотя и не титулованная, всегда гордилась своим родством с царем Петром Великим, мать которого была, как известно, из рода Нарышкиных.

Престарелый уже тогда Александр II не забыл полученного им урока от своего камер-пажа и, христосуясь с ним на следующий день как с фельдфебелем шефской роты, прибавил:

— Ну, Христос воскрес, бунтарь!

Было действительно в этом аристократе, как во многих русских людях, что-то бунтарское, какое-то глубоко критическое отношение ко всему окружающему миру. Это, вероятно, всеми чувствовалось и потому и создало для Нарышкина так много врагов среди его коллег и так много друзей среди всегда и все критикующих французов.

Строевая служба в Петровской гвардейской бригаде, куда по семейной традиции вышел в офицеры Нарышкин, его не удовлетворяла. Он немедленно подал в отставку и устроился одним из многочисленных атташе при парижском посольстве. За долгие годы, проведенные на этом посту, он соответственно обленился, но внедренная с малых лет военная дисциплинированность и служебная аккуратность сделали из него, в конце концов, полезного сотрудника для всех сменявшихся в Париже русских послов. Дослужившись до советника посольства, ему пришлось покинуть Париж. Он был назначен посланником при Ватикане. Там, между прочим, секретарем посольства оказался в то время Сазонов. «Опасный человек» — так характеризовал всегда Нарышкин будущего министра иностранных дел. Политика царского правительства в последние месяцы до мировой войны доказала правильность подобной оценки.

— Прежде всего, — учил меня Кирилл Михайлович, — русский дипломат не должен допускать, чтобы какой бы то ни было иностранец смел наступать ему на ногу, в чем бы то ни было не посчитаться с достоинством России. Мы оба с вами любим французов, но знаем также их сложность к зазнайству. Если вы провели день, не «осадив» хорошенько какого-нибудь француза, то должны считать свой день потерянним.

Однажды мы спустились с Нарышкиным в метро, и какой-то француз, после неудачной попытки протолкнуться в толпе, сказал Нарышкину: «Вы меня толкаете, сударь!», на что Нарышкин, не задумываясь, ответил: «Нет, извините, я только вас отталкиваю!» Французы прощают всякий ответ, лишь бы он был остроумен.

Давая мне советы о сношениях с французским правительством, Кирилл Михайлович считал, что никакая из моих письменных просьб без удовлетворения оставаться не могла.

— Ведите заранее переговоры, преодолевайте затруднения, но не пишите бумаг без уверенности в благоприятном ответе. После первого же отказа ваше

положение пошатнется, после второго вам придется вести самые неприятные объяснения, а после третьего вам не останется другого выхода, как покинуть ваш пост, передав его более опытному преемнику.

Вместе с тем вы должны зорко следить за формой всякого полученного вами официального письма. Малейшее пренебрежение в отношении вашего звания или положения может повлечь за собой самые неприятные для вас и для вашей страны последствия.

Этот совет мне особенно пригодился после революции, когда французы, стремясь незаметно и безболезненно лишить меня дипломатической неприкосновенности, пробовали, как бы по ошибке, пропустить в официальных письмах звание военного агента и тем свести к нулю мое соглашение с ними о русских капиталах, действительное до признания Францией советской власти. В ответ я немедленно закрывал мой казенный счет во французском государственном банке и этим на следующий день восстанавливал свои права.

У Нарышкина, на почве переписки, произошел следующий характерный для него инцидент с зазнавшимися римскими кардиналами. В Ватикане дипломатическая переписка велась, как обычно, на французском языке, но итальянские кардиналы попробовали не считаться с международным правилом, особенно в своих сношениях с православной и уже поэтому им враждебной Россией. Они написали русскому посланнику Нарышкину бумагу на итальянском языке. Тот обратил внимание на эту некорректность при первом же визите к кардиналу, ведавшему у папы иностранным отделом. Итальянцы извинились, но продолжали писать по-итальянски. Тогда Нарышкин решил их проучить и составить ответ на русском языке. Для этого потребовалось, однако, разыскать в архивах Ватикана единственное в своем роде письмо папе, составленное Петром I на русском языке. Этот документ разрешил единственное затруднение — правильное титулование папы на русском языке:

«Ваше высочайшее святейшество», — писал Петр I.

Урок этот был кардиналом усвоен.

Неприятные бывают последствия для дипломата от одного вырвавшегося, подчас, лишнего слова, но еще опаснее для него является иногда самая маленькая неточность выражения в официальной переписке. С этой-то наукой не только излагать в письменной форме на иностранном языке свои мысли, но и обходить в вежливой и удобоприемлемой форме все препятствия и стал меня знакомить Кирилл Михайлович с первых же дней моего приезда в Париж. Мне казалось, что я знаю в совершенстве французский язык, а на деле вышло, что надо не только перечувствовать для ведения переписки с французами, но и совершенствоваться, так же как и в родном языке, до конца дней. Как нельзя измерить глубину человеческого мышления, так нельзя установить для каждого отдельного человека предел овладения словом, выражающим точно его мысль.

Поводом для первого урока в составлении служебных бумаг явилось выполнение невинной на первый взгляд бумаги нашего генерального штаба: мне поручалось получить через французское правительство рабочие чертежи бронированной башни завода Сен-Шаман, принимавшего участие в сравнительных опытах, производившихся в Севастополе. Я знал, что опыты эти представляли действительно громадный интерес для артиллерий всех стран. Никому, кроме нас, русских, не пришлось в голову проверить на опыте теоретические выводы о степени сопротивления броневых башен артиллерийскому огню. С этой целью мы предложили крупнейшим иностранным фирмам: английской—

Виккерсу, германской — Круппу и французской — Сен-Шаман построить на песчаных берегах Крыма свои башни рядом с нашими собственными, Путиловского и Балтийского заводов, вывели в море свою черноморскую эскадру, да и начали разрушать с различных дистанций, не жалея снарядов, эти башни. Французские показали наибольшую прочность, и казалось, что можно было тут же договориться с этой фирмой о технической помощи. Но наше начальство, не открывая мне всей подоплеки, решило использовать на этот раз союзнические отношения с Францией и получить эту помощь самым дешевым способом, «без расходов от казны», — через своего военного агента и французское правительство.

— Деликатное дело, — сказал Кирилл Михайлович, — прочтя полученную юрентенскую бумажку.

Я сам вспомнил о моих похождениях в юности с японским осадным парком, строившимся как раз той же фирмой, но на этот раз хитроумные дипломатические выверты моей длиннейшей ноты французскому министру, составленные под диктовку Нарышкина, возымели свое действие: через несколько дней к парадному подъезду моей квартиры подкатила большая французская военная двуколка, и два обозных солдата начали втаскивать ко мне в канцелярию тюки с драгоценными чертежами.

Нарышкин был для меня еще особенно ценен потому, что, оставаясь русским, посещая церковь и нанося визит послу по высокосторжественным дням, он привык жить жизнью парижанина. Куда только мы с ним не попадали: то в студенческий квартал на «Буль Миш»¹, где слушали очень занятные даровые лекции по истории России, то, смешавшись с парижской толпой, смотрели на многолюдную ежегодную процессию к Стене французских коммунаров на кладбище Пер-Ланз.

Несмотря на отдаленность этого исторического события, подвиг борцов за лучшее будущее человечества пленял даже чуждых их идеям людей. Не мог и я думать, что близок уже день, когда идеалы Парижской Коммуны будут воплощены в действительность и сольются для меня с понятием о своей родине и достойным этого высокого идеала русским народом.

А по воскресеньям в цилиндрах и с полевыми биноклями через плечо отправлялись мы со всеми парижанами — и бедными, и богатыми — на один из многочисленных ипподромов, на скачки. На тотализаторе мы редко и мало играли, но скачки были интересны тем, что на них можно было встретить и совершенно непричастных к скаковому делу людей.

— С кем это вы только что разговаривали? — спрашивает меня Нарышкин, глядя вслед небольшому человечку, обращавшему на себя внимание своей природной косоглазостью.

— Ах, вы еще не знакомы? Это мой новый помощник — улан Крупенский.

В эту минуту со всех сторон раздались звонки, оповещающие об открытии касс тотализатора для следующей скачки. Нарышкин отошел, но скоро снова меня отыскал в толпе.

— Этому молодому человеку я даю срок на пребывание в Париже не более шести месяцев, — внушительно заявил он. — Ваш улан стоит у кассы пяти-сотфранковых билетов, и на подобную высокую игру никаких бессарабских имений нехватит.

¹ Студенческое название бульвара Сен-Мишель.

Предсказание Нарышкина, конечно, сбылось. Он уже привык без ошибок определять русских прожитателей жизни в Париже.

От подобных офицеров, командированных в мое распоряжение, я мог требовать только ежедневной явки в присутственные часы в мою канцелярию: они никакого содержания от казны не получали и жили на собственные средства. Они вскрывали почту и записывали в журнал входящие бумаги.

— А знаешь, Алексей Алексеевич, что такое бумаги? — сказал мне как-то благодушный Крупенский, еще не выпавший от вчерашнего ужина на Монмартре. — Бумаги — это ведь только осложнение жизни.

Частенько вспоминались мне эти наивные слова при разборе почты; много в ней действительно встречалось «осложнений жизни».

Посещая скачки, я открыл, что Нарышкин был единственным русским человеком, состоявшим членом французского аристократического и спортивного «Жюкей-клуба». Он имел поэтому право входа в «паaddock» для осмотра лошадей и в почетную ложу, откуда можно было следить за всем ходом скачек. Мне, как любителю чистокровных лошадей, поневоле приходилось ему завидовать. Состоять членом какого-нибудь фешенебельного клуба вошло в обычай всех дипломатов в Париже и Лондоне. Принадлежность к клубу выделяла их из общей массы иностранцев, населявших эти интернациональные столицы, закрепляла их положение, расширяла круг знакомых и полезных для службы связей. Клубам в свою очередь было лестно иметь в своих списках представителей иностранных держав, и потому баллотировки их сводились в большинстве случаев к простой форме. Единственным исключением являлся «Жюкей-клуб», куда дипломаты, как и всякие другие иностранцы, не принимались в постоянные члены, а только во временные, для проверки. Через год после того, как их могли уже раскусить, они получали право при желании вторично баллотироваться в постоянные члены. Вот на этот-то искус никто из дипломатов не решался. А это как раз мне было наруку.

«Подальше от всяких иностранцев, поближе к французам», — было моим постоянным девизом в Париже, и я, по совету Нарышкина, решился на этот рискованный шаг: поставить свою кандидатуру в «Жюкей-клуб».

Я, конечно, не мог в то время предполагать, что этот не то спортивный, не то попросту светский задор мог иметь последствия в самые тяжелые для меня времена после нашей революции.

— Как это вам удалось удержаться в Париже? — задают мне вопрос нередко советские люди. — За одни ваши симпатии к Октябрьской революции против вас должны были восстать все силы буржуазии.

Они и восстали, но одна уже буква «J», стоявшая за моей фамилией во всех справочниках, заставляла задуматься эту самую буржуазию. По ее понятиям, человек не мог состоять членом подобного клуба, если бы совершил какой-либо позорящий его имя поступок. А что касается его политических взглядов, то в принципе клубы во Франции заниматься политикой не имеют права. Их уставы должны быть утверждены правительством.

Помню, с какой торжественностью Нарышкин, после выбора меня во временные члены, ввел своего крестника в первый раз в раззолоченные и сплошь покрытые пушистым ковром залы «Жюкей-клуба». Было 5 часов вечера. В сюртуке, с цилиндром в руках он представлял меня, обходя один за другим карточные столы, за которыми в этот час играли в модную коммерческую игру — бридж. За столами, где играли по крупной, сидели те представители аристократии, которые уже были зафрахтованы международным капиталом,

а их фамилии служили рекламой для банков и крупнейших промышленных предприятий. Только два неприятных на вид старичка играли в углу в устаревший преферанс, а какой-то маниак, очень злой на язык, как шепнул мне Нарышкин, не примирившийся с внедрением капитала в среду королевской аристократии, раскладывал в одиночестве пасьянс. Азартные игры со времен крупных скандалов, характеризовавших эпоху Наполеона III, были строжайше воспрещены.

В соседних залах у пылающих каминов сидели небольшие компании, распивавшие чай. Их тоже пришлось всех обойти. Особое внимание обращал на себя высокий, видный мужчина лет пятидесяти, Ионахим Мюрат. Он стоял спиной к огню камина и «перорировал», как подобает председателю скакового общества, непосредственно связанному с «Жокей-клубом». Прямой потомок наполеоновского маршала, Мюрат для сохранения своего княжеского достоинства по примеру многих дворянских родов породнился с еврейским капиталом, женившись на богатейшей приемной дочери эльзасского банкира Эттингера. Для приглашенных в свой загородный замок Мюрат высылал коляску, запряженную четвериком пугом, с жокеями вместо кучера, разодетыми в цвета неаполитанского короля (светлоголубой и желтый).

В клубной библиотеке, затемненной зелеными абажурами, сидели за отдельными письменными столиками старички, составлявшие письма с таким усердием, что то и дело справлялись в одноязычных французских словарях, стремясь подобрать наиболее подходящее слово или выражение. Этот культ родного языка представлял всегда основную черту французской интеллигенции, унаследованную ею от старинной, искусственной в изысканном эпистолярном мастерстве, аристократии.

Через громадные окна библиотеки светились электрические фонари парижских бульваров и витрины роскошных магазинов. Там гудели автомобильные гудки, раздавались выкрики продавцов последнего выпуска вечерних газет, а тут, лишь перейдя порог клуба, можно было пользоваться абсолютным покоем и тишиной.

Такая же тишина парила и за обедом.

В середине столовой был накрыт большой круглый стол на двенадцать приборов, напоминавший «стол короля Артура», за которым восседали только старшие члены и завсегдатаи клуба, а остальные выбирали по своему вкусу маленькие столики, вытянутые по всю длину зала, — «дилижанс», как их называли. Не сразу стали меня приглашать садиться за почетный стол, над которым, как дерзкий вызов французской живописи, висела во всю стену картина Сверчкова «Охота». На первом плане две густопсовых борзых, вытянувшись, готовы схватить серого зайчонка, а на косогоре скачущий русский охотник в сером чекмене и папахе. Без русских и «Жокей-клуб» не обходился, и картину эту, как мне объяснили, подарил один из основателей его, Демидов, бывший владелец «Малышкки».

В течение первого года я вполне освоился с жизнью клуба: было очень удобно не возвращаться из города домой в свой отдаленный квартал и использовать клуб то для деловых свиданий, то для срочной отправки корреспонденции, то просто для уединения на часок-другой, чтобы отдохнуть от шума парижской жизни. Отношения с клубными коллегами настолько наладились, что мне стало даже неудобно оставаться на положении временного члена, не пользующегося, например, правом участия в баллотировке. Зная, какому риску подвержены выборы в постоянные члены клуба, при которых один черный

шар уничтожает двадцать белых, Нарышкин воздерживался от какого-либо совета, но, конечно, пришел в восторг, когда я самостоятельно принял решение баллотироваться. Имена кандидатов выставлялись всегда в течение целой недели при входе в залы клуба, но обычай требовал, чтобы они не появлялись в эти дни и не мешали своим присутствием могущим возникнуть о них разговорах. Нарышкин, наоборот, клуба, конечно, не покидал и только в четверг, т. е. за 48 часов до баллотировки, с тревогой сообщил мне, что среди некоторых влиятельных коллег поползли какие-то неблагоприятные обо мне слухи. Я имел право заранее снять свою кандидатуру; провал при баллотировке мог сделаться известным немедленно в городе, после чего оставаться на посту военного агента могло быть неудобным: большая часть членов клуба состояла из военной молодежи или из их родственников, тоже отставных французских военных.

— Нет, — сказал я Кириллу Михайловичу, — ни слов, ни решений своих назад брать не привык.

Он дружески пожал мне руку и пошел уведомить о моем решении второго моего «крестного отца», начальника кавалерийской дивизии, генерала де Лэпэ.

В субботу, обычный день баллотировки, громадные старинные залы «Жокей-клуба», как мне потом рассказывали, представляли необычайную картину. Их переполнила толпа провинциальной молодежи, съехавшейся со всех концов Франции. Все это были офицеры, которым генерал де Лэпэ послал краткую телеграмму:

«Баллотируем нашего русского товарища, полковника такого-то. Прошу прибыть в Париж».

Под напором военной молодежи притихли любители парижских сплетен, и в 7 часов вечера ликующий Кирилл Михайлович позвонил мне по телефону, чтобы сообщить единогласные выборы меня в постоянные члены клуба.

Тогда только уже стало возможно открыть и виновника поднятой против меня кампании. Он оказался маркизом Альбюффера, молодым сравнительно человеком, обладателем прекрасной машины, которой сам правил. Французский генеральный штаб, чтобы похвастаться своим демократизмом, воспользовался призывом маркиза на повторную службу и назначил его личным шофером Николая Николаевича на маневрах 1912 года. Там я и познакомился с этим отпрыском наполеоновской аристократии. На следующий год «*Maréchal de logis*» (сержант) превратился в гостеприимного хозяина и пригласил нас с женой в свой замок на большой провинциальный бал. Парижские гости съехались туда засветло, и перед обедом хозяин убедительно просил меня полюбоваться его образцовой кухней и приготовленными заранее столами на ужин. Я имел неосторожность согласиться, чем, как оказалось, и совершил преступление: перед выборами в клуб Альбюффера, желая, вероятно, похвастаться своим близким знакомством со мной, рассказал про это одному из брызжавших старичков, который снабдил эту ничего не значащую деталь неслестным для меня комментарием: иностранец позволяет себе совать нос даже в нашу французскую кухню!

Вот какого рода мелкими интригами могли жить последние обломки старой аристократии.

Общество «Жокей-клуба», как и наш петербургский свет, отличалось одной и той же особенностью: аристократия утратила навсегда умение веселиться. Аристократы, как бы из страха унижить свое достоинство перед перераставши-

ми их иными общественными группами — интеллигенции и буржуазии, добровольно надевали на себя шоры и возводили в культ самые отвратительные из всех человеческих недостатков — ханжество и лицемерие.

Минутами хотелось вспомнить свои молодые годы, сбросить и фрак, и мундир, и орден и провести хоть несколько часов равным среди равных, встретить и мужчин, и женщин, живущих вне предрассудков официальности. По пятницам, т. е. в курьерский день, покидая свою полную табачного и сургучного дыма канцелярию, я бежал, конечно, не в чопорный «Жокей-клуб», а в скромный артистический клуб «Les Mortigny», куда-то в отдаленный от центра квартал, 63, рю де Прони. Клуб представлял собой громадное ателье художника, где собирались раз в неделю, по вечерам, художники, скульпторы, молодые писатели, начинающие скромные актеры и актрисы, будущие парижские звезды. Инициаторами и вдохновителями этого дела оказались, конечно, несколько русских парижан. По карману большинства посетителей готовился и обед. Потом раздавались крики: «Colonel au piano», и так как другого полковника кроме меня не было, то я обращался на несколько минут в дарового тапера. (Армия во Франции пользовалась таким уважением, что военное звание сохраняло преимущество пред всеми прочими, а титулы из армии изгнал 1789 год.)

Тем временем на крохотной сценке готовилась импровизация — недельное театральное и политическое обозрение. Костюмы допускались только из бумаги или колескора. Шелк был изгнан из гардероба как порочащий славные традиции клуба. Талантливость режиссера и полная свобода в выборе им как темы, так и трактовки служила гарантией успеха. Никто из присутствующих не смел отказываться от исполнения предназначенной для него роли, и Шалапин от души смеялся, увидев, как я с опущенным на лоб чудом изображал его в классической «Дубинушке». Он, как и многие приезжие знаменитости, любил посидеть за стаканом самого дешевого «пинара» и отрешиться хоть на время от своей самовлюбленности. В «Мортинья» ей бы не было места. Его даже и петь не просили, но зато поражались его талантом, когда, закрыв глаза, он проделывал свой немой номер полусонного портного, пришивающего себе оторванную от пиджака пуговицу.

Эти скромные вечеринки связывали людей прочнее, чем суровые баллотировки. Как отрадно бывало встречать своих друзей по «Мортинья» где-нибудь в прязных окнах то под Реймсом, то под Аррасом, но как горько было не досчитаться большинства из них после войны! Мировая бойня погубила цвет французской интеллигенции, подготовила почву для прихода новой оголтелой фашистской молодежи и лишила Париж навсегда тех дешевых, но полных французского юмора радостей, которыми славился когда-то этот вечный город.

★ ★ ★

Война разлучила меня навсегда и с моим парижским другом Нарышкиным. Задержанному предвоенной тихорабочной работой, мне в течение последних дней перед объявлением Германией войны не приходилось его встречать. Но вечером этого рокового дня он зашел ко мне и совершенно спокойно сказал:

— Ну, Алексей Алексеевич, позвольте мне вас на прощание обнять.

Я подумал, что в предвидении опасности Нарышкин, как и многие парижане, собирается выехать с семьей куда-нибудь подальше на юг Франции, и с трудом поверил, когда, заметив мое недоумение, Кирилл Михайлович решительно мне объяснил:

— Когда наступают дни, подобные тем, которые нам приходится переживать, каждый должен вернуться на родную сторону.

— Но у вас в России нет ни родственников, ни друзей, — пробовал я возразить.

— Это ничего не значит. Вы, полковник, должны оставаться защищать интересы нашей родины здесь, а я обязан вернуться домой.

На следующее утро он собственноручно запер на ключ свою прекрасную квартиру и, забрав болезненную жену и двух дочерей, уехал в Москву.

Когда произошла революция и семья собиралась вернуться в Париж, Кирилл Михайлович не пожелал ее сопровождать. Поняв гибель своего класса, он не хотел стать эмигрантом, взял свою любимую толстую трость и вышел нешком из Москвы в неизвестном направлении. Он, видимо, хотел умереть на родной земле. Так кончил жизнь старый русский парижанин.

Глава одиннадцатая

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Весна 1914 года была последней весной для предвоенной Европы. Она являлась и для меня последним видением прежней парижской жизни и вместе с тем этапом в моем революционном самосознании.

Рано и как-то особенно ярко залило в этот год весеннее солнце парижские бульвары, рано и буйно зацвели каштаны на Елисейских полях. Парижский сезон обещал быть особенно интересным и блестящим.

Никогда еще за последние годы политический горизонт не казался столь безоблачным: на Балканах уже отстремели пушки, и только где-то в далеких горах Македонии изредка пощелкивали курки каких-то беспокойных повстанцев. Так представляла положение французская пресса, всегда стремившаяся подладиться под общественное мнение.

Пуанкаре старался подогревать чувства воинственного патриотизма факельными шествиями войск—«*Les retraites au flambeaux*»—и военными оркестрами, исполнявшими марш «*Sambre et Meuse*». Парижане смотрели на них по субботам только как на красивые зрелища. Стройные компактные колонны пехоты, окруженные победным пламенем факелов, говорили о мощи армии—надежной защитницы мира, а совсем не о грядущей опасности войны. Законы о трехлетнем сроке службы и о каких-то дополнительных миллионах на оборону были приняты парламентом, значит, можно было спокойно позабыть про тревогу последних месяцев и пожить в свое удовольствие.

Так рассуждал во всяком случае правящий класс—крупная буржуазия: накопленные ею богатства позволяли превратить собственную жизнь во время парижского сезона в один сплошной праздник.

Не послевоенные бумажные кредитные билеты, а настоящие золотые «луидоры» текли в карманы парижских промышленников и коммерсантов. Для всех хватало заказов и работы. Автомобильные фабрики не успевали выполнять заказы на роскошные лимузины, задерживая выпуск военных грузовиков. Автомобили давали возможность богатым людям, не довольствуясь парижскими особняками, давать приемы и в окрестностях, как, например, в таком историческом замке, как Лафферьер, принадлежавшем Эдуарду Ротшильду. Между прочим, в этом замке располагалась в войну 1870 года германская главная квартира, и когда мне предложили расписаться в «Золотой книге» почетных посетителей, то не преминули похвастаться собственноручными подписями Бисмарка и Мольтке.

Не видно было в ту пору на бульварах длинных послевоенных веренищ такси, безнадежно поджидающих седоков. Жизнь была таким ключом, что уличное движение, как казалось, дошло до предела; в голову не могло прийти, что

всего через несколько недель те же улицы, те же площади опустеют на несколько долгих лет.

Портные и модистки могли брать любые цены за новые невиданные модели весенних нарядов и вечерних туалетов. Пресыщенный веселящийся Париж уже не довольствовался французским стилем: в поисках невиданных зрелищ и неиспытанных ощущений его тянуло на экзотизм, а «гвоздем» парижского сезона оказались костюмированные персидские балы. Когда и это приелось, то был устроен бал, превзошедший по богатству все виденное мною на свете: бал «драгоценных камней». Принимавшие в нем участие модницы заранее обменивались своими драгоценностями и превращались каждая в олицетворение того или другого камня. Платье соответствовало цвету украшавших его камней.

Красные рубины, зеленые изумруды, васильковые сапфиры, белоснежно белые, черные и розовые жемчуга сливались в один блестящий фейерверк. Но больше всего ослепляли белые и голубые бриллианты. После наших с «надцветом» желтых петербургских брильянтов они подчеркивали лишний раз гонку русских богачей за количеством и размером, а не за качеством.

Светало, когда я вышел с бала и с одним из приглашенных пошел по улицам уже спавшего в этот час города.

— Мне кажется, — сказал я своему спутнику, — что этот бал — последний на нашем веку.

— Почему вы так думаете? — удивился мой собеседник.

— Да только потому, что дальше идти некуда.

Я не знал, что это простое предчувствие окажется пророческим предсказанием конца старого мира.

Вся эта атмосфера последнего парижского сезона, казалось бы, меньше всего располагала к тому решающему в жизни моменту, который представляет внутреннее перерождение человека. А между тем для меня оно свершилось и оказалось столь глубоким, что я впоследствии называл его «моей собственной революцией».

В те дни, когда это произошло, я не отдавал, конечно, себе ясного отчета, каким образом могла произойти такая перемена в столь короткий срок, но теперь, когда из политически безоружного, беспомощного аристократа я обратился в советского гражданина, мне стало ясно, что для «моей собственной революции» требовался уже в то время только хороший внешний толчок. Глухое сознание многих несправедливостей русской жизни, созревавшее с молодых лет, крушение в маньчжурской войне понятия о величии и непогрешимости царского самодержавия, болезненное сознание превосходства европейского демократического строя над отсталой царской Россией представляли к этому времени такое накопление горючего материала, что требовалась только спичка, чтобы его воспламенить и сжечь на этом костре целую серию предрассудков, которыми я еще тогда жил. Предрассудок объясняется часто силой привычки: нет у тебя, например, никакого молитвенного настроения, хочешь похотеть веселый французский водевиль, но привычка, эта вторая натура, это невольное рабство, тянет в церковь, ко всеобщей. Никакого чувства уважения к великим князьям, подобным Борису, у меня уже давно не было, но светлоголубая лента ордена Андрея Первозванного, полученная ими при рождении, отделяла

их в моих глазах от остальных смертных. Я давно осознал ничтожество Николая II, чувствовал даже весь вред, приносимый его царствованием моей родине, но не в силах был отделить личность царя от понятия о России.

При моем полном тогдашнем политическом невежестве кто бы, казалось, как не просвещенный революционер мог мне открыть глаза на те ничтожные сами по себе перегородки, которые закрывали для меня доступ к свободному самостоятельному мышлению.

На деле же, «рассудку вопреки, наперекор стихиям», своим перерождением я обязан встрече с одной из первых парижских артисток — Наташе Трухановой.

В платье из мягкого шелкового бархата, цвета красной герани, с широкой бриллиантовой диадемой на голове встретил я ее на большом балу в театре «Опера». Лучистые глаза и осветившая для меня в эту минуту весь мир улыбка сразу мне сказали, что она — родная, русская. Но мало ли у меня было в жизни увлечений и мало ли встречалось в Париже красавиц! Однако после первых двух-трех бесед я понял, что это не случайная встреча, а решение моей дальнейшей жизненной судьбы. Почва для этого, впрочем, уже давно была подготовлена.

Вот уже восемь лет, как я был женат на очень милой барышне, принадлежавшей к высшему петербургскому обществу, в котором идеалом мужчин было достигать всего с затратой наименьших усилий, а по понятиям женщины жизнь была создана для удовольствий.

В Париже моя молодая жена сразу завоевала успех в том обществе, где эти принципы особенно ярко процветали. Общество это, или, как его называли, «весь Париж», не было чисто французским: в него входили все, кто имел или очень большие деньги, или хоть какой-нибудь титул. Титулы продавали себя деньгам, а деньги поклонялись титулам. Именно в этом обществе легче всего было поддаться искушению смотреть на жизнь как на сплошной беззаботный праздник. Работа и труд для представителей этого общества были уделом специально обреченных на это людей, но сами они понятия о нем не желали иметь.

Зачем тратить время на скучные писания рапортов, когда в тот же вечер можно попасть и на интересный спектакль и на веселый бал? Разве не приятнее ежедневно видеть свою фамилию в парижских газетах в рубрике великосветских приемов, чем безнадежно ждать одобрения своей работы от далекого питерского начальства?

К чему тратить время на домашнее хозяйство, когда на это есть прислуга?

От семейного очага оставалась лишь та лицемерная видимость, с которой примирялось, как с совершенно нормальным явлением, не только парижское, но и всякое, так называемое высшее общество.

Это мировоззрение после нелегкой борьбы и разрушила во мне прежде всего Наталия Владимировна.

Происхождения она была незнатного: отец — небезызвестный русский артист Бостунов, мать — дочь французского крестьянина-виноградара, получившая хорошее образование. Отец бросил семью, когда Наталии Владимировне было всего тринадцать лет, и потому она особенно непримиримо относилась ко всему, что могло разрушать семейное счастье.

— Неужели вы можете примириться со всем окружающим вас лицемерием? — постоянно спрашивала она.

Наталия Владимировна смолоду познала нужду и с 15 с половиной лет начала уже зарабатывать. Труд, работа являлись для нее не только долгом, но и жизненной целью, а на этом и я сам был с детства воспитан.

Она рано покинула Россию, где ей пришлось близко познакомиться с жандармами и полицейскими российскими порядками. Она характеризовала их словом, равно ненавистным для нас обоих: «самоуправством».

Наталия Владимировна не знала ни одной молитвы и часто повторяла: «Неужели для того, чтобы веровать, вам нужна какая-то церковь?»

И неутоленная жажда правды, хотя бы и самой суровой, но неизведанной, тянула меня в этот тихий, удаленный от шумного Парижа уголок на острове святого Людовика, где в одном из уцелевших старинных дворцов эта непехо-жая на остальных молодая женщина устроила свою квартиру. Я встретил здесь обстановку безупречного вкуса, богатейшую французскую и русскую библиотеку, а на письменном столе развернутый томик стихов Бодлера: «*La tout est beauté, calme, ordre et volupté...*»¹.

Живя в атмосфере греческих классиков, французского искусства, театра, поэзии, хозяйка дома продолжала чувствовать Россию своей родиной, совершенно не считаясь, как вся левобережная интеллигенция, ни с царем, ни с романовской семьей.

Разлетелись в прах многие предрассудки, я почувствовал себя свободнее и самостоятельнее. Я не предвидел еще ожидавших меня в будущем революционных потрясений, но уже тогда знал, что приобретал в жизни того друга, рука об руку с которым перешагну через любые жизненные испытания. Я был готов перенести любую грозу.

В те памятные для меня дни я еще жил под впечатлением своей последней поездки в Россию и приема у царя. За все долгие годы моей службы за границей Николай II ни разу не «соизволил» назначить мне аудиенцию, как это было принято для всех военных агентов при великих державах, и я перестал даже записываться, как полагалось, на царские приемы в ту книгу, что лежала с этой целью в генеральном штабе. Но на этот раз меня заставил это сделать мой новый начальник, генерал-квартирмейстер, незнакомый мне до того времени человек с очень громким голосом, широкими генеральскими лампасами и громадными звонкими шпорами.

— Ты не смущайся, — утешали меня мои коллеги по генеральному штабу, когда я вышел из генеральского кабинета. — Он ничего в делах не понимает, его перевел из Киева Сухомлинов, у него богатая жена, но долго у нас не продержится.

К большому моему удивлению, на этот раз, уже через 24 часа, я получил приглашение на прием в Царское Село. Представлялось много старых генералов по случаю получения очередной награды — ордена Белого Орла, Александра Невского или просто Анны 1-й степени и несколько полковников-командиров армейских, пехотных и казачьих полков. Я оказался, как младший, на левом фланге длинной шеренги, огибавшей зал с трех сторон.

— Ваше императорское величество, командир такого-то пехотного полка, полковник такой-то представляются по случаю приезда в город Санкт-Петербург, — рапортует мой сосед, уже седеющий полковник.

¹ Там все — красота, покой, порядок и упоенье.

Царь молча подает руку, треплет аксельбант и после минутной паузы, поднимая глаза на полковника, спрашивает:

— Ну, как, вы довольны расквартированием?

Вероятно, он знает места расквартирования каждого полка, удивляюсь я и не ошибаюсь.

— Я помню, — продолжает Николай II, — что два батальона размещены у вас по казармам, а два по квартирам.

Полковник сияет от восторга. Память, эта единственная сильная сторона семьи Романовых, сослужила им немалую службу.

— Ну что же, передайте от меня полку спасибо за верную службу.

Тот же конец я уже слышал и в беседе с предшествующим уса-тым каза-тым полковником.

Через за мной, и, перечисляя все свои чины, титулы и должности, я замечая, как из-за спины царя и незаметно для него бесшумно приближаются в своих мягких чулках без каблуков безучастно стоявшие до этой минуты посреди зала три-четыре человека царской свиты. Из них мне особенно запомнилась шуплая фигурка в красном чекмене командира царского конвоя Трубецкого; я знал этого офицера еще по службе в конной гвардии как большого интригана.

«Держи ухо остро», — подумал я. Всякое мое слово станет известным в тот же день в «Яхт-клубе» на Большой Морской, этом гнезде германской агентуры.

— Ну, что вы думаете о Франции? — спрашивает меня Николай II.

Желая помочь ему формулировать интересующий его вопрос, я отвечаю:

— Ваше величество, за последние месяцы там творится так много нового, что мне приходится затрагивать в своих рапортах самые разнообразные вопросы.

— Я все ваши донесения читаю, — говорит мне царь. — Они очень резны. (Я не оспариваю, хотя знаю, как составляются сводки из моих сений.) Не скажите, какого вы мнения о французской армии?

Замечаю, что стоящая за спиной царя свита насторожилась. Меня охватывает чувство негодования: какая бестактность, как можно задавать мне такие вопросы на людях! Разве я вправе раскрывать при этих клубных сплетниках тайны большой французской программы вооружения и объяснять техническую отсталость союзной армии? Попадо выходить из положения.

— Французская армия напоминает мне человека не очень сильного, но твердо решившегося нанести удар своему могущественному противнику. Я могу ручаться, что союзная армия и французский народ это выполнят, — твердо и решительно заявляю я.

— О, какой вы оптимист! — слегка улынувшись, отвечает царь. — Дал бы бог, чтобы они продержались хоть десяток дней, пока мы успеем отмобилизоваться и тогда как следует накласть немцам.

Аудиенция была закончена, но об этом разговоре мне пришлось вспомнить пять месяцев спустя после победы на Марне и еще, к сожалению, не один раз в течение несчастной для России мировой войны.

Вернувшись в Париж, я в своем очередном рапорте охарактеризовал ту лихорадочную работу, что велась во французском генеральном штабе по проведению в жизнь большой программы вооружения:

«Окна на Сен-Жерменском бульваре светятся подолгу в необычные ночные часы...»

Генеральный штаб работал, Париж танцевал на вулкане, а в Петербурге царило общее благодушное самодовольство.

Ярким подтверждением этих пагубных настроений явилась постигшая меня по возвращении из Петербурга неожиданная служебная неприятность.

Наладив отношения с военными журналистами, или, как их называли в Париже, редакторами военных статей важнейших газет; я получил от них приглашение на обычный годовой банкет в зале сравнительно скромной гостиницы «Лютетия». В назначенный для этого день утром мне телефонировали из военного кабинета президента республики с просьбой, в виде особого исключения, быть вечером в военной форме; объяснили мне это намерением Пуанкаре присутствовать на банкете во фраке и с лентой Почетного Легиона. Это уже меня несколько смутило, как смутил также при приезде в гостиницу и оркестр национальной гвардии, готовившийся встретить «Марсельезой» президента республики. Скромный банкет журналистов принимал вполне официальный характер.

Войдя в зал и здороваясь с собравшимися, я до последней минуты надеялся найти среди них или Извольского или хотя кого-нибудь из французского высшего командования, но никого не нашел.

Меня несколько успокоило то неофициальное место в конце президентского стола, которое мне было отведено; оно освобождало меня от каких бы то ни было выступлений, а я к ним совершенно не был подготовлен. Все испортилось с минуты, когда, отвечая на банальные тосты, произнесенные председателем Синдиката военных журналистов, Пуанкаре встал и среди воцарившейся тишины начал свою красивую, но, как всегда, несколько растянутую речь. На этот раз она была определенно воинственна. Перечислив все, что делается Францией в предвидении войны, Пуанкаре неожиданно обернулся в мою сторону: все присутствующие последовали его примеру.

Я знаю, — сказал президент, — какие большие усилия делает и наша Россия. Присутствующий здесь ее военный представитель может вам это подтвердить. «Франция исполнила ныне великую задачу усиления военной мощи, что дает ей право на уважение со стороны врагов и дружбу и доверие со стороны ее друзей».

Таков дословный перевод последних слов речи президента.

Других «друзей» среди присутствующих кроме меня не было, и все взоры обратились на меня. Пришлось взять слово. Ответ мой был самый краткий. Поблагодарив президента республики за выраженное им чувство к русской армии, я в нескольких теплых словах сказал, что и Россия высоко ценит те жертвы, которые приносит в данную минуту Франция для усиления своей военной мощи. Ни гром аллодисментов, ни комплименты по моему адресу меня в эту минуту не трогали, так как единственной моей заботой было проверить стенограммы моего импровизированного выступления: не сказал ли я чего лишнего.

Редактор газеты «Тан» был крайне любезен, и как только мы встали из-за стола, показал мне переписанный в соседней комнате на машинке вполне корректный и безобидный текст статьи о банкете с приведенными в нем речами.

Не раз приходилось возмущаться непониманием заграничной обстановки со стороны моего начальства, но полученный мною некоторое время спустя запрос о банкете превзошел всякую меру.

«Главное управление генерального штаба предлагает вам дать объяснения по поводу приложенной при сем статьи», — гласила краткая бумага, сопровождавшая вырезку из какой-то черносотенной столичной газеты. В ней газетный репортер после описания банкета приводил мои слова и возмущался, давая следующие мотивы для охватившего его патриотического негодования: «Позорно для русского военного представителя унижаться подобным образом перед французами. Россия сама по себе достаточно сильна, чтобы не нуждаться в помощи каких бы то ни было союзников».

Я ответил:

«На номер такой-то. Приведенные газетой мои слова вполне точно передают смысл моего выступления, и полагаю, что генеральный штаб сам изыщет способ защитить с достоинством своего заграничного представителя».

На этом вопрос был исчерпан.

Заключительным днем в парижском весеннем сезоне было то воскресенье, когда на ярко зеленых скаковых дорожках Лоншанского ипподрома разыгрывался «grand Prix» («Большой приз президента республики») — 100 000 франков, доходившие, вместе с подписными, чуть ли не до полумиллиона. Эта скачка была заключительной для всей серии предшествовавших ей испытаний чистокровных лошадей и представляла спортивный интерес не только для Франции, но и для всей Европы. На этот приз допускались и заграничные лошади.

В 1914 году воскресенье «grand Prix» пало на 28 июня. День вышел, как на заказ. Несмотря на жару, все старались разодеться как можно наряднее — мужчины в цилиндрах и черных сюртуках, а женщины готовили для этого торжества заранее заказанные туалеты и шляпы. Лоншанский ипподром являлся местом соревнования не только тренеров, жокеев и коней, но и дамских модных портных и парижских модниц.

От входных ворот до президентской ложи, представлявшей отдельный двухэтажный павильон, стояли в медных касках с конскими хвостами солдаты республиканской гвардии. Они сдерживали толпу любопытных, бросившихся при воинственных звуках «Марсельезы» навстречу президенту республики.

— Vive Poincaré! Vive le Président! — кричала толпа, пока он, торжествующий и сияющий, пожимал руки членам Комитета поощрения чистокровной лошади.

Скачки, как всегда за границей, так быстро следовали одна за другой, что в перерывах с трудом можно было найти время и рассмотреть лошадей, и сделать выбор среди последних «créations» (моделей) дамских туалетов.

— Третья скачка! Третья скачка! — выкрикивали шныряющие тут же люди в кепках, отрывая поминутно из тетрадок листки тончайшей папиросной бумаги с каббалистическими цифрами. Игроки, однако, хорошо их понимали и могли по ним следить не за скачками, а за ходом игры в тотализаторе; им интересно было знать, какая лошадь в каждый данный момент пользуется успехом у публики, с тем чтобы предугадать, какая может быть на нее выдача в случае выигрыша ею скачки. И вдруг такие же люди в кепках стали кричать:

— Убийство герцога Фердинанда!

Схватив у одного из них листок, я прочел:

«Сегодня утром в Сараеве выстрелом из револьвера убиты наповал проезжавшие в коляске наследник австрийского престола эрцгерцог Фердинанд и его супруга».

«Война!» — мелькнуло у меня в голове, но тут же я подумал, что прежде всего надо решить, к чему обязывает меня самого это известие. Сомнений в его правильности быть не могло, но хотелось все же услышать подтверждение от компетентного лица.

Я быстро вышел из ворот, нашел свою машину и велел себя возить к своему австрийскому коллеге, полковнику Видалю.

Он жил где-то в скромном квартале за Домом инвалидов, сам открыл мне дверь и, повидимому, был поражен моим появлением с официальным визитом в цилиндре. Его молчаливое долгое рукопожатие подтвердило мне правильность сообщения агентства Гавас.

— Я пришел выразить вам, дорогой коллега, соболезнование по поводу потери австро-венгерской армией ее главнокомандующего, — начал я.

Усадив меня в своем кабинете, Видаль в первые минуты все еще не мог справиться с собой и, наконец, ответил:

— Я никак не ожидал, что именно вы первый окажете мне это внимание. Потеря эрцгерцога незаменима для нашей армии... — И он стал подробно излагать мне план эрцгерцога создать под влиянием своей жены чешского происхождения западное, чисто славянское государство, которое могло бы сговориться с восточными славянами. О тесной дружбе Фердинанда с императором Вильгельмом Видаль, конечно, не заикался.

— Но самое плачевное, — заявил он, — это отсутствие достойного преемника эрцгерцога Фердинанда.

— А герцог Рудольф? — спрашиваю я.

— О! Это настоящий Габсбург.

— А что вы подразумеваете под словами «настоящий Габсбург»?

— Габсбург — это человек, который способен просидеть целый день над обсуждением вопроса, какого цвета — желтого или синего — должны быть канты у стрелкового батальона...

На том мы и расстались.

В тот же вечер я обедал у Наталии Владимировны, где случайно собралось несколько друзей и в том числе известный парижский пустоплет, но очень неглупый и тонкий граф Бони де Кастеллан — олицетворение снобизма и моды.

Разговор, естественно, вращался вокруг убийства в Сараеве, обсуждались его возможные последствия, и мне, как военному агенту, приходилось мало говорить, а больше слушать мнения окружающих. Зато хозяйка дома упорно настаивала на неизбежности европейской войны.

— Политика никогда не входила в область Терпсихоры, и во время войны музы смолкают, — заявил Кастеллан, не находя других мотивов для отстаивания своего убеждения в том, что «все устроится».

Он, как большинство французов, питал столько же симпатии к Вене, сколько антипатии к Берлину.

Мнение Кастеллана о том, что «все устроится», как нельзя лучше характеризовало ту политическую атмосферу, которая создалась в Европе после сараевского инцидента. Заскрипели снова перья дипломатов, пытавшихся предотвратить общий европейский пожар.

Мне, однако, пришлось тут же убедиться, насколько уже были натянуты отношения между Австро-Венгрией и Россией и насколько они были непопра-

внимы. На следующий день после визита к Видале я должен был, как член дипломатического корпуса, захватить «расписаться», т. е. внести свое имя в книгу, лежавшую в передней австро-венгерского посольства. Не успев взять перо в руки, как из внутренних покоев старинного дворца, в котором размещалось посольство, вышел сам посол граф Сэчен. Он много выезжал в свет, и я частенько встречался с ним на парижских балах.

— Ах, как вы любезны, дорогой полковник! — обратился ко мне посол. — Прошу вас зайти ко мне в кабинет.

Это было верхом учтивости, и отказаться от подобного приглашения мне, конечно, было невозможно.

Считая Сэчена за весьма ограниченного светского человека, характерного представителя венского двора, я полагал, что визит к нему ограничится выражением мною обычного дипломатического соболезнования. Он любезно предложил мне напиросу, что означало его желание задержать меня еще на пару слов. Спокойно и обстоятельно начал было излагать посол все подробности убийства эрцгерцога, потом, теряя постепенно равновесие, стал говорить о подготовке этого злодеяния сербами и, наконец, уже совершенно утратив самообладание, повел атаку против русской политики в славянском вопросе вообще:

— Мы не позволяем себе вмешиваться в ваши дела, когда узнаем об убийстве ваших сановников и великих князей, по какому же праву ваше «Новое время» позволяет себе вести неприличную кампанию против нас за арест в Галиции какого-то безвестного попа?

Давно еще, со времен манчжурской войны, имел я зуб против авторитета суворинской газеты: ее стратеги подарили нам Липевича, ее дипломаты — Сазонова, а ее политики — всю ту плеяду русских премьеров, что систематически подготавливали справедливый взрыв народного негодования. С момента босно-герцеговинского инцидента господин Пиленко на столбцах этой газеты решил сделать себе карьеру на безответственной травле русской дипломатии, недостаточно энергично, по его словам, защищающей то братьев славян, то чуть ли не само достоинство России. Этому борзописцу не было дела ни до внутренней, ни до внешней слабости его страны. Цензура все пропускает, а парь читает только «Русский инвалид» и «Новое время».

Графу Сэчану все это, вероятно, было хорошо известно, и потому мои объяснения, что «Новое время» не является официальным правительственным органом, могли лишь представить для нас обеих возможность вежливо, но и навсегда расстаться.

От писаний господина Пиленко нашей стране не удалось освободиться и после революции, так как, продавши себя столь же продажной газете «Матэн», он оказался ее осведомителем в советских делах, а потому одним из самых злостных наших врагов.

Последним предвоенным видением в Париже явился для меня «Парад 14 июля» — день национального праздника, установленного в память взятия революционным народом Бастилии.

Как когда-то большой придворный бал в Зимнем дворце 1904 года был последним в России, так и парад на Лоншанском поле 1914 года оказался неповторимым во Франции. Во время войны на Лоншанском ипподроме паслись гурты скота для фронта, а после войны национальный праздник окра-

силлся в новые и чуждые для меня, как и для многих французов, цвета: Франция-победительница, по мнению ее правящей верхушки, должна была выкинуть из своей памяти всякие воспоминания о революции, и празднование взятия народом оплота королевской власти должно было замениться празднованием победы, торжеством реакции над поднимающейся волной рабочего движения. «Парады 14 июля» были сведены к прохождению победных знамен и нескольких рот и батарей, представительниц особенно отличившихся в мировой войне полков, перед могилой Неизвестного солдата, вокруг Триумфальной арки. Для главного участника и ценителя прежних парадов — парижского народа — места не было, и для меня — тоже.

До войны этот народ направлялся на парад еще накануне, с вечера, целыми семьями и ночевал под сенью Булонского леса. С рассвета каждый стремился занять места поближе к его опушке, окаймлявшей с трех сторон ипподром. Он был расположен в низине и с окружающих холмов был виден, как на ладони. Громадные скаковые трибуны отводились только для «избранной» публики по протекции.

Из-за страшной жары, отмечавшей обычно во Франции это время года, во избежание солнечных ударов и утомления войск, парад назначался в необычный для подобной церемонии час: в 7 часов утра.

К началу парада весь этот участок Булонского леса напоминал подобие военного лагеря с тлеющими остатками ночных костров, с выходящими с разных сторон войсками всех родов оружия, с белеющими то тут, то там флагами с красным крестом у пунктов скорой помощи.

Военные атташе собирались по традиции у «Ветряной мельницы»; в XVIII веке она составляла часть тех «folies» (безумий), которые строил брат короля, граф д'Артуа, как декорацию для игр пресыщенных жизнью аристократов, изображавших пастухов и пастушек.

Тут, отдельно от построенных уже в ряд казенных лошадей, предназначенных для военных атташе, стоял и мой чистокровный пшедой конь, приобретенный незадолго до этого у старинной скаковой конюшни Омон. К нему так шла отличная от французской нарядная русская седловка с медным переносом и подпярком (форменная седловка представляла, на мой взгляд, одно целое с военным мундиром).

Войска уже были построены в ожидании объезда командовавшего парадом военного губернатора Парижа, но стояли «вольно», а ближайшие к нам стальные каре кирасирских дивизий спешили.

Среди офицеров 1-го полка я имел много приятелей и для проминки своего нервного коня пошел к ним ровным «кантером» по чудному грунту скакового круга. Как часто напоминали мне кирасиры о моем коне при моих посещениях фронта в мировую войну! Они тогда уже сидели спешенными в грязных окопах, а лучший мой друг Давизар, когда-то доставивший мне эту лошадь, погиб смертью героя в самом начале войны.

Через несколько минут все громадное поле огласилось звуками «Марсельезы», звучавшими, как мне казалось, особенно воинственно в этот день:

Aux armes, citoyens!
Formez vos bataillons!
(К оружию, граждане!
Стройтесь в ряды!)

Как долго эти слова сохраняли для меня свой первоначальный смысл — призыв народа к защите революции! Но в это июльское утро беззаботный парижский народ не думал о войне. Он просто искренне любовался своей армией, выражая восторги громкими приветствиями по адресу каждой проходящей части.

На первый взгляд все военные парады похожи друг на друга: тот же порядок объезда, та же последовательность в родах оружия при прохождении церемониальным маршем. Однако всякому военному человеку должны бросаться в глаза те небольшие различия в порядке движения, которые являются характерными не только для армии, но и для нации.

В ту, не так уж отдаленную, но столь отличную от теперешней эпоху на парадах проходили люди, но не проносились машины, трещали барабаны, но не гремели неуключие танки.

Никакие потрясения не в силах были лишить французскую армию тех дорогих солдатам военных традиций, которые составляли гордость армии, отличали ее от армий других наций. Кто мог более величественно, чем королевский тамбур-мажор подбрасывать высоко свой жезл, кто мог звончее, чем наполеоновские фанфары, переключаться с собственным оркестром и покрывать все пронзительными звуками вскинутых и перекинутых в воздухе труб! В какой стране кавалерия, даже на парадах, не признавала другого аллюра, кроме широкого галопа! Как вечный вызов тяжелому гусиному шагу своего врага-пруссака французская пехота проходила нарочито ускоренным, легким, коротким шагом. Традиционные густые пехотные каре казались, благодаря этому, полными жизни и свойственного нации живого темперамента.

Этот же темперамент ярко выразился и в момент моего отъезда с парада. Опасаясь возможности враждебных выкриков по адресу германского военного атташе, меня просили сесть с ним в один-и тот же открытый автомобиль. Не знаю, впрочем, насколько было ему приятно услышать вырывавшиеся со всех сторон крики толпы:

— Vive la Russie! Vive les Russes!

Так же, как и на маневрах в Монтобане, в этих возгласах слышалась уже не простая овация, а вера парижан в свою могучую восточную союзницу.

В тот же вечер я выехал в Петербург для встречи там Пуанкаре, собиравшегося нанести визит царю и другим иностранным монархам по случаю своего выбора в президенты. С целью избежать проезда через Германию Пуанкаре совершал свое путешествие морем. Это меня, как военного агента, освобождало от его сопровождения, и я мог остановиться на пару дней в Берлине, чтобы повидать своего нового коллегу, полковника Базарова, заменившего Михельсона. Я знал Павла Александровича еще по манчжурской войне.

Стоял я в Берлине всегда в той же первоклассной, хоть и устаревшей, гостинице «Бристоль» на Унтер-ден-Линден, в двух шагах от нашего посольства.

В отношении выбора гостиниц я всегда поступал вопреки поговорке и предпочитал быть последним в городе, чем первым в деревне, т. е. находил практичнее занимать самую дешевую комнатку в первоклассном отеле, чем за ту же цену хорошую, но во второклассном.

Было ровно 10 часов утра, когда тихая в это время Унтер-ден-Линден огласилась необычайной для уха музыкальной сиреной автомобиля.

— Это наш кайзер едет во дворец, — с почтением объяснили мне в гостинице. — Никто кроме него не имеет права в Германии пользоваться подобным гудком.

Внешняя рисовка Вильгельма II представляла тот гипноз, который действовал не только на его подданных, но и на иностранцев..

Вот он ежедневно гудком автомобиля оповещает всех своих вратов о проезде по столице, вот с сухой от рождения рукой галопирует в Тиргартене, заговаривая то с тем, то с другим офицером берлинского гарнизона или иностранным военным атташе, вот он в форме адмирала произносит речь на спуске нового броненосца в Киле, а вечером в скромном синем сютуке генштабиста успевает показаться то на театральной премьере, то на концерте. Он находит даже время после верховой прогулки заезжать запросто пить утренний кофе в русское посольство, где его принимает молодящаяся супруга посла графа Павла Андреевича Шувалова. Только после падения всех европейских империй мне довелось, со слов одного из близких друзей Шуваловых, узнать, какого рода дела устраивались за этими интимными беседами на Унтер-ден-Линден. Впав в бедность после революции, вдова Шувалова искала в Париже покупателя на железнодорожные акции прусских железных дорог, подаренные ей Вильгельмом в обмен за небольшую услугу: постройку стратегических железных дорог на нашей западной границе сообразно видам германского генерального штаба.

Среди бесцветных монархов начала века типа Николая II Вильгельм, несомненно, выделялся природной талантливостью, скованной узкими монархическими идеалами. При своей опасной склонности к фантазиям он служил хорошим прикрытием для совсем не фантастического развертывания планов германского империализма. Надо было быть очень прозорливым дипломатом, чтобы угадать, где кончалось фиглярство кайзера и где начиналось выполнение им роли, выработанной окружавшей его воинствующей кликой.

Так же трудно было угадать, что за красивым и на вид безопасным фасадом, который представлял собой гвардейский вахт-парад, проходивший под окнами моей гостиницы с оркестром музыки, скрывалась лихорадочная подготовка страшной мировой бойни и что эта внешняя муштра составляла часть системы боевого воспитания не только армии, но и всего немецкого народа.

Вензеля русского императора Александра I на белых погонах прусских гвардейцев напоминали об общих боевых традициях русской и германской армий после совместных походов против Наполеона. Но бывший «священный союз» уже рушился на моих глазах, а ближайшее будущее, повергнув в прах все три империи, входившие в союз, доказало искусственность и слабость политических комбинаций, построенных на монархических началах. Они давно уже пережили сами себя.

Картина мрачного, и, быть может, близкого, будущего открывалась всякий раз в беседах с моими берлинскими коллегами. Про численность германской армии в мирное время — 750 000 — говорить уже не приходилось. Спокойный и такой уравновешенный, Базаров лишний раз подтвердил мне те астрономические цифры, которые определяли размеры развертывания германской армии при мобилизации и численность обученного запаса. Оба мы при этом сходились во мнении, что все резервные корпуса будут мобилизованы одновременно с действующими, и это одно уже увеличит силу первого германского удара почти вдвое против того, на чем упорно продолжал строить расчеты наш генеральный штаб.

Павел Александрович знал про мою работу в Копенгагене и разделял мое мнение, что качество резервных полков будет не ниже, а, пожалуй, даже и выше действующих, что и подтвердилось в ходе первой мировой войны: немцы поздно развиваются, и юноши — почти дети — 19—20 лет менее выносливы, чем резервисты 29—30 лет, гордившиеся при этом возможностью вступить в ряды своих же старых полков, как это предусматривала система мобилизации.

Старые маневруны, мы оба могли себе ясно представить, сколь ужасна по своим размерам может быть мировая война, а поэтому таили надежду, что Германия в последнюю минуту не решится на роковой шаг.

В Петербурге на Дворцовой площади спокойно продолжала работать наша дружная и сложная штабная машина. Сенсационной новостью являлось назначение нового начальника генерального штаба Янушкевича. Злые языки говорили, что этим высоким постом Янушкевич обязан своему умению развлекать царя веселыми рассказами за случайными попойками в гвардейских полках. Мне это качество не было известно, и новый начальник генерального штаба представлялся мне просто удобным для Сухоумлинова человеком, не мечтавшим, подобно своим предшественникам, о независимом от военного министра положении.

Я помнил Янушкевича еще по академии, где ему были поручены практические занятия по военной администрации с одной из самых слабых прусс. В ту пору он ничем не выделялся.

Встретил меня новый начальник весьма просто и, как мне показалось, с отпущением того уважения, которым я не был избалован в России. После моего доклада о выполнении французами «большой программы» Янушкевич спросил:

— Скажите, Алексей Алексеевич, много нас опять будут «мучить» французы?

— По-моему, — успокаивал я, — Специальных военных представителей Пуанкаре с собой не берет. Хорошо иметь только на всякий случай под рукой для справок военную конвенцию.

— А где же она находится? — не без тревоги спрашивает меня сам хранитель этого не имевшего юппи документа.

— Да вот тут, в вашем сейфе, — указываю я на угол кабинета.

— Там ничего нет. Жилинский, уезжая в Варшаву, все с собой забрал, заявив, что это только его личные бумаги. Не хранится ли этот документ во французском отделе? — успокаивает себя Янушкевич.

Разумеется, что начальник французского отдела и в глаза не видал этого архисекретного документа, по поиски которого были мобилизованы все ответственные работники генерального штаба. Он так и не нашелся, и Россия вступила в войну, не имея в своих руках никакого письменного обязательства своего союзника.

Для встречи Пуанкаре надо было ехать в Петергоф и ожидать его на пристани в нижнем парке. Там к назначенному часу собралась вся царская свита, выросшая за последние годы до небывалых размеров: в целях развития верно-подданинских чувств всякий командир гвардейского полка зачислялся в свитские генералы, а адъютанты полков — во флигель-адъютанты. Задержка в подобном «монетарном благоволении» считалась чуть ли не оскорблением для полка.

История показала, что в день отречения от престола Николая II из всей этой украшенной царскими вензелями компании ему остался верным только один его друг детства, совершенно бесцветный, но принципиальный Валя Долгорукий.

Тогда же, на пристани, эти привилегированные военные держали себя как настоящие хозяева положения; многие, звавшие меня раньше по гвардейской

службе, попросту игнорировали этого отщепенца, полудипломата в форме генерального штаба. Сказался вреднейший обычай, о котором говорит русская пословица: «с глаз долой — из сердца вон».

Не желая дискредитировать в глазах французов своего положения и памятуя уроки, полученные еще в Швеции от контакта с русским придворным мифом, я все три дня пребывания Пуанкаре держался в тени, в задних рядах, стараясь не попадаться на глаза никому из русских. Тяжело было видеть при этом, из каких ничтожеств умудрился Николай II составить ближайшее окружение Пуанкаре. Ответственные разговоры с французами позволял себе вести только глава состоявшей при них свиты из какой-то ничем ни чем не отличающийся, мало известный генерал-адъютант. Царь, разумеется, не смел сопровождать президента в собственную столицу, а потому на долю генерала выпала нелегкая задача занимать французов при переезде на пароходе из Петергофа в Петербург. Слухи о рабочих беспорядках произвели глубочайшее впечатление на наших союзников, и ядовитый талантливый французский премьер Вивиани всю дорогу истязал несчастного генерала своими расспросами. Русская свита президента была возмущена: затрачивать подобные вопросы считалось в петербургском высшем обществе верхом бестактности; полиция, жандармы, а главное, царская гвардия служили еще достаточно прочной стеной, чтобы изолировать правящие классы от «черни». Хитрые французы, повидимому, уже этой уверенности не имели.

— Президент очень обеспокоен; это не слишком серьезно, не правда ли? — *Le Président est un peu inquiet; ce n'est pas trop sérieux, n'est ce pas?* — спросил меня почти на ухо на следующий день один из ординарцев Пуанкаре, улучив для этого совсем не подходящую минуту на параде войск в Красном Селе.

Парадный обед в честь Пуанкаре состоялся в Большом петергофском дворце. Стоял чудный теплый вечер, через открытые окна зала доносился шум воды, извергавшейся могучим «Самсоном». В виде особой бестактности, а может быть, просто по недомыслию, меня посадили за обедом рядом с германским военным аташе. Разговор, естественно, ограничивался обменом впечатлений о сравнительных красотах Петергофа и Потсдама. Но когда Николай II встал и начал свою речь, мне хотелось тут же провалиться на месте. Я никак не мог предполагать, что вопрос о войне уже настолько назрел. Одно дело, когда Пуанкаре говорил о значении нашего союза среди собственных журналистов, и другое — когда царь, при всем дипломатическом корпусе, указывает без обиняков, против кого направлен этот союз.

— Небось, немцам жарко стало, — сказал мне после обеда какой-то рабочий царедворец.

Как жаль, что я не могу точно воспроизвести речи царя, но ясно помню, что весь следующий день я провел под впечатлением тех выражений, которые непосредственно задевали Германию. Мне было известно, что речи подобного рода всегда составляются и согласуются с министрами иностранных дел, и очевидно, что тонкий Вивиани постарался вложить в речь царя все, что желал, но не хотел сказать Пуанкаре, ограничившийся красноречивым и некомпрометирующим его ответом.

Разговор царя с глазу на глаз с президентом состоялся только утром последнего дня в том же Большом петергофском дворце. Николай II для этого специально приезжал из Александрии, где он постоянно жил с семьей. Какие вопросы были подняты, никто из бродивших по парку чинов свиты догадываться не мог. Я знал только, что текст военной конвенции для этого не по-

требовался. Бедный Янушкевич еще лишний раз шепнул мне на ухо все то же знаменательное слово:

— Не нашли!

Смутное и невеселое впечатление осталось от обеда, данного Пуанкаре в честь дядя на броненосце «Франс», стоявшем на Кронштадтском рейде и готовом к отплытию. Корабль не был создан для подобных приемов, и, несмотря на иллюминацию, гости после обеда болтались в полутемных проходах между грозными орудиями башен верхней палубы. Как бы в тумане, мелькнули передо мной в последний раз silhouettes царя и царицы...

Тиха и пустынна была набережная могучей Невы, когда я возвращался пешком от пристани Николаевского моста до Литейного моста, вблизи которого находился опустевший родительский дом. Мать с семьей ожидали меня в Чертовине. Глухое предчувствие чего-то зловещего, охватывавшее меня в эту тихую летнюю ночь, меня не обмануло: я увидел вновь эту набережную и золотой шпиль Петропавловской крепости только семнадцать лет спустя.

Когда я засыпал, в ушах еще звенели звуки «Марсельезы» и «Боже, царя храни». Эти гимны так мало были созвучны, но оба звучали как сигнал военной тревоги. Я не мог только предполагать, что этот же сигнал меня разбудит на следующее утро: еще в кровати мне подали номер «Нового времени», где на первой странице я прочел ультиматум Сербии. «Война!» — уже твердо решил я на этот раз и помчался на Дворцовую площадь, прямо в отдел секретной агентуры, к Монкевичу. Этот генерал был в постоянном контакте с министерством иностранных дел и мог лучше других знать, что происходит в русских сферах.

Тонкий был человек Николай Августович; он был со мной всегда очаровательно любезен, но прочитать его мысли было тем более трудно, что он мог их хорошо скрывать за своей невероятной косоглазостью. Невозможно было угадать, в какую точку он смотрел. Помощником себе он взял Оскара Карловича Энкеля (будущего начальника генерального штаба финской армии), тоже умевшего скрывать свои мысли. Оба они держались обособленно от остальных коллег, совершенно не считались с их мнением и своим обращением со мной ясно давали понять, что они являются хотя и косвенными, но единственными непосредственными начальниками военных агентов.

Они держали себя европейцами, людьми, хорошо знакомыми с заграничными порядками, и вместо плохой штабной столовой всегда приглашали заграницю позавтракать в «Отель де Франс» на Большой Морской; там, по крайней мере, ни вызовы начальства, ни вопросы «посетителей» не могли помешать интимной беседе.

Много тайнственного и необъяснимого, в особенности в русских делах, оставила после себя мировая война, и первые загадочные совпадения обстоятельств начались для меня именно в это памятное утро 24 июля. Чем, например, можно объяснить, что во главе самого ответственного секретного дела разведки оказались офицеры с такими не русскими именами, как Монкевич, по отчеству Августович, и Энкель, по имени Оскар? Каким образом в эти последние, решительные дни и часы почти все русские военные агенты находились везде, где угодно, только не на своих постах? Почему и меня в это утро Монкевич и Энкель так упорно убеждали использовать отпуск и поехать к матери в деревню?

— Вы, дорогой Алексей Алексеевич, вечный пессимист. Австрийский ультиматум Сербии — это только небольшое дипломатическое обострение, — объясняли они мне.

— Не стану утверждать, что это война, но все же считаю, что в такие тревожные минуты каждый должен быть прежде всего на своем посту. Там будет видно, — и, прицепив саблю, я поехал на Невский проспект в отделение спальных вагонов брать билет на норд-экспресс, уходящий в Париж в тот же день в 6 часов вечера.

В дверях я столкнулся с моим коллегой, военным агентом в Швейцарии, полковником Гурко.

— Ты куда так спешишь? — спросил он меня.

Я повторил ему доводы, только что высказанные Монкевицу, о необходимости для нас, военных агентов, срочно вернуться к нашим постам.

— Пошел ты к черту, что я там буду коптеть? Я здесь рассчитываю на днях получить в командование полк, — ответил мне неглупый, но известный своей сказочной рассеянностью коллега.

Это легкомысленное отношение к своим служебным обязанностям Гурко имело роковые последствия: в сейфе в Берне, ключ от которого он по рассеянности забыл, были заперты все адреса нашей секретной агентуры в Германии, и мы оказались отрезанными от нее в самые роковые часы первых дней германской мобилизации и сосредоточения. Швейцарская граница с Францией была в это время уже закрыта, и мне пришлось, по приказу из Петербурга, затратить немало времени и хлопот, чтобы пропустить через нее одного из моих парижских сотрудников. В конце концов, драгоценный сейф пришлось взломать.

После мимолетной встречи с Гурко я долго еще должен был утрапивать агента спальных вагонов устроить мне место в норд-экспрессе. Все билеты были уже проданы, и мне в виде особого исключения предоставили купе проводника. В нем я устроил своего посла Извольского, который уже никакого себе места в поезде не нашел.

Торжествующий от достигнутого успеха, я вернулся к Монкевицу, чтобы сообщить о своем отъезде.

Шел уже второй час дня.

— Сейчас в Красном Селе закончилось экстренное совещание министров под председательством самого государя, — объявил мне Монкевиц. — Военный министр только что телеграфировал и, узнав, что вы собираетесь в Париж, просил вас немедленно съездить в Красное Село. Ему необходимо видеть вас перед отъездом.

— До поезда мне остается около четырех часов времени, и, чтобы успеть обернуться, надо как-нибудь получить машину, — ответил я, взглянув на часы.

Военный автомобиль мог предоставить только, как особое личное одолжение, начальник автомобильной роты, полковник Секретев. Обделывая в Париже свои дела с фирмой Рено, он старался быть особенно со мною любезным.

— Господа полковник подойти к аппарату не могут. Они только что выпили с молебствия по случаю рожденья и в настоящую минуту в офицерском собрании, садятся за стол, — ответил мне дежурный офицер автомобильной роты.

«Тут война, а они справляют молебны и ротные праздники», — подумал я не без возмущения. Я еще не предвидел, что «мирное житие» будет продолжаться в русском тылу и на протяжении всей кровавой войны!

Открытую машину «Рено», со слегка выпивший ликим шофером, я все же получил и в исходе четвертого часа уже подлетел к царской палатке в Красном Селе. Здесь мне представилось необычайное зрелище: на шоссе и на прилегающей к палатке небольшой площадке были выстроены паж и юнкера. а в середине каре толпилась царская свита, генералитет и иностранные военные атташе. Первыми бросились в глаза блестящие шишаки касок германских военных представителей.

Война, участь России была решена слетевшимися в Красное Село Сазоновым, Сухомлиновым и царем за одно утро (посла союзной страны они даже не нашли нужным об этом уведомить), а после хорошего завтрака безвольный царь превратился в настоящего воюку и, как дерзкий вызов Германии, досрочно производил юнкеров в офицеры.

Германский военный атташе, конечно, хорошо меня знал в лицо, и мое внезапное появление могло только подчеркнуть, как мне казалось, быстрый темп нарастающей угрозы. К тому же все присутствующие были в походной форме, защитных фуражках, при шашках, а я, не успев переодеться, приехал в городской черной фуражке и при сабле. Поэтому, соскочив с машины, я незаметно забежал за ближайший к палатке деревянный фрейлинский флигель и, уловив минуту, знаком вызвал к себе одного из помнивших меня еще стариков камер-лакеев.

— Иди, — сказал я, — доложи осторожно военному министру, что я здесь и его жду.

Через несколько минут, покинув свиту, торопливой легкой походкой подошел ко мне Сухомлинов в сопровождении Янушкевича.

— Как хорошо, что вы здесь, — сказал он. — Подбодрите, как следует, там французов. Предупредите, однако, их, что мы общей мобилизации не объявили, а только частично мобилизуем корпус, находящиеся на границе Австро-Венгрии.

Зная прекрасно, что частичная мобилизация по плану № 2 была предусмотрена только на случай оккупации Финляндии, а что мобилизовать часть корпусов вне общего плана мобилизации мы не могли, я из осторожности позволил себе проверить, точно ли я понял «его высокопревосходительство», и получил подтверждение.

«Война, значит, не решена, по почему же Сухомлинов с таким неподдельным волнением меня обнимал на прощание, почему Янушкевич не менее сердечно со мной прощался, как будто они расстаются со мной навсегда?» — вот с какими мыслями мчался я обратно в Петербург — прямо на Варшавский вокзал.

На поезд я поспел, лег и проснулся, уже подъезжая к пограничной станции Вержболово. Там я сразу прошел в кабинет начальника жандармского управления, полковника Веденияшина, с тем чтобы переодеться в штатское платье.

За долгие годы моей заграничной службы он уже хорошо меня знал: мало ли по каким делам приходилось прибегать к содействию этого всемогущего представителя наших пограничных властей. На этот раз я застал Веденияшина потерявшим уже обычную для него уверенность в себе.

— Посоветуйте, Алексей Алексеевич, как мне поступить? — растерянно спрашивал он. — Могу вам сообщить по секрету: все полки получили срочный приказ вернуться из лагерей в свои постоянные гарнизоны, очевидно, для мобилизации.

«А Сухомлинов-то меня убеждал, что ни Виленский, ни Варшавский округа не мобилизуются», — подумал я про себя, но, конечно, промолчал.

— У меня же, — продолжал Ведениянин, — никаких распоряжений на случай войны не имеется. В ста шагах, как вы знаете, уже пограничная речка. Немцы могут вторгнуться в любую минуту. Что же мне делать со станцией? Разрушать ее или нет?

Какой я мог дать совет? Запросить начальство? Но оно, казалось бы, должно было подумать о пограничных станциях за много лет до войны.

Так и оставил я Ведениянина в неведении, а впоследствии узнал, что все случилось, как он и предвидел: немцы заняли Вержболово. Сжег ли Ведениянин станцию или, наоборот, оставил ее в неприкосновенности, мне объяснить не могли, но твердо уверяли, что он кончил самоубийством в Вильно. Как бы он ни поступил при отсутствии инструкций, его легко можно было обвинить в панике.

В Эйдукеене, германской пограничной станции, я встретил знакомую и обычную обстановку; разве только таможенные и железнодорожные служащие показались особенно предупредительными ко мне.

Естественно, что весь день я про отрывался от оконного стекла, стремясь заметить хоть малейшие, но хорошо мне знакомые еще с академич. признаки предмобилизационного периода: удлинение посадочных платформ, сосредоточение к большим станциям подвижного железнодорожного состава и т. п. Но уже темнело, а мне все еще ничего не удалось заметить.

Горькую истину, подтверждающую неизбежность войны, пришлось узнать только в Берлине, где к нам в купе вошел поверенный в делах, выехавший встретить Извольского.

На мирном, тихом Унтер-ден-Линден, перед зданием русского посольства, уже гудела негодующая толпа. Возбуждение против России дошло до пределов.

Извольский от волнения то и дело поправлял свой спавший с глаза монокль. Он еще надеялся на свои дипломатические способности в улаживании конфликтов. Для меня же с минуты расставания с Сухомлиновым жребий был брошен.

— Это ведь для тебя, — указав на стенку, добродушно сказал французский проводник, принимая вагон от своего немецкого коллеги на бельгийской границе. На стенке продолжала висеть сабля с красным английским темляком и надпись: «За храбрость».

Гроза приближалась. Стало темно на душе. Раскатов грома еще не было слышно, но первые молнии уже проблещали.

Я возвращался в Париж со смутным предчувствием ожидавших меня там трудностей всякого рода, но я, конечно, не мог предполагать, что никогда уже больше не увижу тех, от кого зависела не только моя собственная служба, но и судьба моей родины, что страшная, невиданная еще в мире война выведет Россию на новые пути, а предстоящая моя служба во Франции перекует меня в того, кем я стал в настоящее время.

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ

РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ

МСТИТЕЛИ

Ночью немецкие солдаты стали выгонять из домов жителей.

Мела пурга. Черные потоки бесновеного ветра, густо замешанного снегом, пудели в воздухе. В непроглядном мраке нельзя было разглядеть лица людей.

Немцы поспешно выстраивали жителей в шеренги и связывали телеграфной проволокой руки. Потом между связанными руками продевалась веревка, концы которой держали солдаты.

И так их гнали по обочине дороги, и если падал один человек, за ним валилась вся шеренга.

Солдаты били прикладами по стонущей куче человеческих тел. И люди подымались, снова шли, теряя сознание от дикой боли в вывернутых суставах, скрученных тонкой проволокой.

По дорогам катились грузовики, фургоны, переполненные солдатами. Остановившуюся машину задние ставили в канаву. Слышалась брань, истеричные крики команды, которую никто не слушал.

Немцы катились обратно на запад, ослепленные пургой, ошупевшие от стужи, опалевшие от близости смерти, каждый с единственным, яростным желанием — спасти только самого себя.

А зловеще спокойные звуки канонады все приближались, и алые вспышки все дольше висели во мраке прозным заревом.

Так всю ночь они текли шальным трясным потоком по белым, завьюженным дорогам.

На рассвете было приказано остановиться.

Солдаты?! Да разве это были солдаты! Но слушая офицеров, они разводили гигантские костры, сжигали на корточках в дыму, свали в огонь сведенные стужей призраные пальцы, давили вшей и, развесив на палках рванье, сушили его на огне. Это было измощенное босячье, с худыми, костлявыми лицами, слезящимися от дыма глазами. Но они были толсты и неповоротливы. Это они разбухли от награбленной одежды, которую успели напялить на себя, пытались спасти от мороза прыжки, до крови расчесанные тела.

Никакие силы не могли оторвать их сейчас от дымного теплого пламени костров. Но ведь русские идут по пятам, надо думать о том, как спасти свою шкуру. Вот для этого они и прихватили с собой, отступая, жителей поселка.

Бамбено-твердую землю рыли старики, женщины, дети. Обер-сфрейтор, сидя спиной к костру, держа на коленях автомат, наблюдал за ними. Для того чтобы ударить неградивого, нужно стоять возле него на холоде, на ветру. Обер-сфрейтор предпочитал удобства. Первым выстрелом он предупреждал, вторым — наказывал.

Что думали эти наши русские люди, какие страдания испытывали они? Может, в гнев проклинали себя за то, что не сожгли себя вместе со своими хатами, когда эти звери внезапно ворвались к ним? Или, отупев от измощения, ждали только скорой и легкой смерти? Разве может быть мера /тем мукам, какие переносили они? И могут быть слова, равные тем, какие шептали они своими белыми, обскровленными губами?

А может быть, они просто хотели сохранить жизнь любой ценой, забыв святую, высокую гордость советского человека. Слабые душой, старики, женщины, что они могли сделать?

Далеко впереди окопов немецкие саперы осторожно укладывали мины; засыпая снегом лунки, они тщательно заматали следы сосновыми веточками.

Начищенное смертью снежное голубоватое поле равнодушно блестело на солнце белой твердой скорлупой.

Хорошо оградили себя немцы от внезапного нападения.

К вечеру пленных жителей согнали в кучу и, вбив вокруг колья, окружили колючей проволокой.

Но не успела ледяная зеленая луна выскочить из серых облаков, как с опушки леса застучали пулеметы и, невидимые на снегу, в белых халатах, приблизились цепи русских бойцов.

В расположении немцев стали рваться снаряды. Солдаты, охранявшие русских пленных, уползли на брюхе в окопы.

И поняли наши русские люди, что спасение близко и они могут теперь спастись, бежать в лес и там, притаившись в сугробах, выждать, когда бой кончится. И люди кинулись в лес.

Но вдруг раздался крик «ура», грозные, единодушные, лялюющие. Это русские бойцы, поднявшись, шли в атаку.

И никто не сказал ни слова, но вдруг пленники остановились. Они с ужасом глядели туда, где впереди окопов простиралось снежное поле, набитое смертоносным железом. И никто не произнес ни слова. Никто не призывал друг друга пожертвовать собой во имя своих спасителей. Только сначала один человек метнулся туда, вперед, к этому полю, за ним другой, третий. Они падали, сраженные выстрелами немецких солдат, но некоторым удалось добежать, другим, истекая кровью, — доползти до незримого, страшного рубежа.

Огненные взрывы минного поля вздыбили в небо черные столбы земли. И между этими столбами пронеслись наши бойцы, как карающие призраки в развевающихся белых халатах, держа в руках винтовки, с напряженно вытянутыми жалами штыков.

К полуночи все было кончено.

Командир собрал бойцов и, оглядев залитое лунным светом снежное поле, покрытое черными, зияющими ранами минных разрывов, сняв шапку, сказал:

— Товарищи, вы видели, какие люди живут в нашей стране. Какие у нас матери, отцы, сестры. Где еще в мире есть такие? Так не дадим же мы врагу передышки. Я знаю, товарищи, есть мера силам, и невозможно нам, не отдохнувши, преследовать врага. Но не я прошу, они весят, — и командир простер руку к снежному полю. — Что мы им ответим, товарищи?

И бойцы, глядя с мстительным восторгом в молодое лицо своего командира, на покрытую серебряной сединой зпеш голову, сняли шапки и, вытянувшись, замерли в грозном молчании.

Потом отряд без единого слова команды двинулся вперед. И они мчались по белому снегу в белых халатах, — невидимые мстители.

— Измайлов! Говорят, тебя сегодня чуть было вороны не съели.

Измайлов, бережно накрывая мотор самолета стеганным чехлом, благодушно соглашается:

— А вы что думали? Если их больше тысячи! Еле выскочил.

— И как это ты без кислородного прибора летаешь? — удивляется капитан Лютов. Обернувшись к летчикам, Лютов значительно произносит: — Иной раз мотор на двухстах чешет. Подумать! Голова кружится.

— А правда, Измайлов, когда ты в Туле сидел, тебя милиционер за нарушение правил уличного движения оштрафовать собирался?

— Что милиционер! Пусть лучше расскажет, как он к немецкому штабу подрулил. И знаете, ребята, — с деланным возмущением говорит румяный пилот с девическим лицом и свешивающимися по спине, как косы, проводами от ларинтафона, — часовой ему накараул, а он, трубиян, — гранатой.

— Так ведь же туман был, — оправдывается Измайлов и застенчиво улыбается.

Измайлову приятно, что с ним, с рядовым пилотом, летающим на гражданской машине, прозванной «гроб с музыкой», так запросто шутят боевые летчики, почти все имеющие на своем личном счету по нескольку сбитых вражеских самолетов.

Окружив Измайлова, летчики ведут его к себе завтракать.

Он немного смущенно выглядит среди нарядных, подтянутых рыцарей воздуха. Одет в толстую куртку, как-то по-извозничьи низко подполсанную. На голове не шлем, а меховая ушанка. На ногах — валенки. А из кармана стеганых штанов торчит зеленая ручка гранаты.

Он идет, переваливаясь, толстый, неповоротливый. Над ним подшучивают, а он спокоен и рассудителен.

Конечно, правда, когда по нему стегнули из зенитного пулемета, он кое-как дотянул до деревни и там с замороженным плотником чинил пробитые плоскости. Конечно, не из дерюги, как утверждают истребители, встал он заплата, для этого перкаль есть. И ничего тут обидного нет, если помогал плотник. Не было бы плотника, так он еще кого-нибудь попросил бы помочь, какая разница!

Когда Измайлов разделся и сел за стол, он оказался худеньким черноглазым паренком лет двенадцати.

У летчиков за столом всегда шумно. За завтраком досталось капитану Лютову. Утром он таранил «Ме-110». Таран был произведен на большой высоте и не совсем удачно. Лютов вынужден был покинуть свою разбитую машину. Падая затылком, он увидел внизу спускающегося также на парашюте немецкого летчика. Лютов подобрал стропы и, приблизившись к нему, вытаскил пистолет, стал в него стрелять. Немец, в свою очередь, тоже начал его обстреливать. Дуэль парашютистов закончилась на земле.

Лютов пришел на аэродром с синим, вспухшим шрамом на щеке, с планшетом немецкого летчика в руках, сердитый и раздраженный.

Измайлов внимательно прислушивался к шумному «розыгрышу» Лютова. Дискуссия, несмотря на свою форму товарищеского подтрунивания, открывала самые изысканные тонкости пилотажного искусства, непостижимого постороннему. И когда адъютант командира части принес пакет, Измайлову очень не хотелось уходить, не дослушав до конца спор.

Перед полетом никто не давал Измайлову ни метеосводок, ни прогноза погоды. Он — связной, и должен летать всегда: ночью и днем, в туман, в бурю, в снегопад. А если на него нападёт «Мессершмитт», у него нет оружия, чтобы отбиться, уйти он тоже не может — у него мизерная скорость. Единственное, что доступно Измайлову, — нырнуть вниз, куда придется, и постараться при этом не очень сильно поломать машину, чтоб самому остаться целым, спасти драгоценные документы и успеть доставить их во что бы то ни стало в срок.

Измайлову приходилось летать с офицером связи на разведку, на поиски окруженных подразделений, к партизанам в тыл немцев.

На обратном пути машина, заправленная скверным немецким автомобильным бензином, барахлила, и Измайлов вынужден был делать в воздухе перевороты через крыло, шевели, чтобы взболтать в баках горючее, оседающее смолистой грязью.

Но и это горючее добывалось с трудом. По целым суткам партизаны караулили в засаде подходящие машины, чтобы было чем заправить советский самолет. Был случай, когда его самолет пришлось в конной упряжке со спящими плоскостями вывозить из немецкого тыла, после того как опередью с «Хейнкеля» перебило два цилиндра. Часто на обратном пути ему приходилось с собой брать раненых. Заблудившись в тумане, он садился прямо у околицы какой-нибудь деревни и, выпросив дорогу, летел дальше. А однажды, когда горючее было у него на исходе, он не в силах был перетянуть через лесной массив и повис на вершинах деревьев с расщепленным пропеллером.

Измайлов очень любил свою машину, и ему казалось, что он летает на ней с самого начала войны. Но это было не так. Самолет его так часто чинили и так много переменяли в нем частей, что от первой машины остался без смены, может быть, только один номер на хвостовом оперении.

На войне у каждого человека имеется мера его доблестным деяниям. У пехотинца — количество уничтоженных им лично врагов. У артиллериста — количество выпущенных снарядов. У танкиста ассортимент лесколько шире. У истребителей — сбитые самолеты врага.

А вот у Измайлова не было никакого личного счета.

Он делал все, что ему приказывали. Задания были настолько разнообразными, настолько не походили одно на другое, что подсчитать сделанное за время войны было просто невозможно.

Если бы Измайлова спросили: «Ну, как, старик, здорово ты теперь научился летать?» — он не нашелся бы, что ответить.

Но если погода была очень скверная, а задание — сложным, командование всегда назначало в рейс Измайлова, зная, что он никогда не подведет.

К боевым летчикам Измайлов относился с благоговением и, слушая их, даже не завидовал, настолько их искусство и дерзость казались ему возвышенными и недостижимыми. Он уже был горд тем, что многие боевые пилоты знали его в лицо, хотя каждый из них считал долгом подшутить над своим «мелколетным» собратом.

Над аэродромом стояла неподвижная стужа. Сухо блеснул снег. И небо было прозрачным, чистым, ни одно облачко не отепляло ледяного свода.

Измайлов снял чехлы с мотора и пропеллера, положил их в кабину и, разорвав мотор, вырулил на старт.

Дежурный по аэродрому нетерпеливо махнул рукой, чтобы он скорее сматывался. По мнению дежурного, каждая лишняя минута пребывания этой машины на боевом аэродроме портила его строгий вид.

После короткого разбега Измайлов взлетел и, сделав крутой вираж, лег на курс.

Доставив пакет, Измайлов полетел обратно на базу. Погода успела испортиться. Сухой снег падал косо и закрывал землю. Измайлов поднялся чуть повыше, чтобы случайно не напороться на телеграфный столб.

Очень сильно мерзло лицо. Измайлов снимал рукавички, растирал щеки, нос, не обращая внимания на то, что во время этих манипуляций его машину сильно бросало в воздухе.

Измайлов должен был еще залететь в совхоз и захватить там свежих сливок для лейтенанта Суровцева, лежащего в госпитале. Об этом его попросил Лютов. Делая неглубокие виражи, он тщательно глядел вниз, на землю, ссылаясь рассмотреть сквозь несущуюся снежную мглу очертания квадратных коровников совхоза.

И вдруг мимо него с ревом пронеслась черная тяжелая машина, выбрасывая прямо над его головой синие и алые строчки трассирующих пуль.

Измайлов почти машинально отдал ручку вперед. Машина резко пошла на снижение. Но потом он подумал, что во время снегопада противник может потерять его из виду, а садиться вслепую опасно, да и почевать в степи возле поврежденной машины не очень-то хотелось. И он, осторожно подняв самолет, повел его над самой землей. Прошла минута, две, а немца нигде не было видно. Измайлов шел над лесом. Осмелев, он набрал еще метров 100—150.

Но снова сзади раздался пронзительный рев немецкой машины.

Садиться вниз на деревня невозможно. Измайлов только успел сбросить газ. И правильно сделал. Но разобрав в снегопаде, с какой машиной он имеет дело, фашистский летчик проскочил мимо самолета Измайлова на бешеной скорости, по успев даже открыть огонь.

Измайлов увидел, как, обернувшись, немецкий летчик потрозил ему кулаком.

Раздумывать нечего. «Мессершмитт», развернувшись, снова зайдет в атаку. Нужно садиться.

Но Измайлов заколебался. Он вспомнил, как немец потрозил ему из кабины кулаком, и с горечью подумал: «Хорошо ему, сволочи, на боевой машине издеваться. Будь я на «Миге», я бы показал тебе такую дулю!..»

Измайлов стал поспешно протирать рукавицей круглое зеркало, вделанное перед ним на кронштейне, как в кабине шифера. Он с решительным лицом положил одну руку на сектор газа, другой крепко схватил ручку управления.

Не спуская глаз с зеркала, не меняя курса, чуть подняв свой самолет, он вел машину.

Сзади послышался рев «Мессершмитта». Немец шел чуть правее, намереваясь с одной ошпреди разрезать беспомощную, слабую машину. И вдруг, когда, казалось, все кончено, Измайлов дал резко газ и круто завалил машину вправо, наперерез курсу вражеского самолета.

Маневр советского летчика был более чем неожиданным. Круто задрав свою машину, немец хотел вырвать ее вверх, чтоб избежать столкновения. Но его самолет, продолжая скользить вперед юзом, ударился центропланом о мотор самолета Измайлова.

Сила удара была настолько велика, что «Мессершмитт» с заданными вверх колесами, резко перевернувшись, рухнул на землю.

В сухом снегу пылали черные обломки фашистской машины, а вокруг нее валялись легкие зеленые обломки связного самолета.

И вот Сережи Измайлова больше нет. Сережа теперь никогда не узнает, как любили его наши боевые летчики и как тяжело им было провожать его, мерно шагая под грозыные, глухие вздохи траурного марша.

Капитан Лютов, самоуверенный, дерзкий, насмешливый, бесстрашный человек, вытирая снятой перчаткой глаза, глухо сказал:

— А ведь я этого парня давно к себе в звено высматривал и рапорт в ВВС подал. Красиво погуби, ничего не скажешь. А вот нет его больше, и тяжело мне, ребята, очень тяжело.

Вы все читали, товарищи, вчерашнюю сводку, так знайте: этот дерзкий падает на вражеский аэродром был совершен капитаном Лютовым, и посвящен он был светлой памяти Сережи Измайлова.

СЕКРЕТ ЕВДОКИМОВА

— Ну, сколько раз их можно притаскивать? Ну, раз! Ну, два, наконец! Но чтоб три! Да еще подряд. Это просто ни на что не похоже.

— Жульничество какое-то.

— Может, ты их арканом как-нибудь ловишь?

— Арканом, правильно, — соглашается Евдокимов и смеется. А видно по лицу — врет.

— Ты расскажи, Евдокимов, прием, нам его тоже нужно знать. Ну, расскажи.

— Не могу, — говорит Евдокимов, — секрет производства.

— Ну, тогда знаешь, что?! Не танкист ты, а свинья!

И ребята, бросив переобувать правую гусеницу, начали расходиться от машины Евдокимова. Евдокимову стало неудобно, он помахал перчаткой и сказал:

— Ладно, так уж и быть, слушайте. У кого хорошая паннироска есть?

Облокотился Евдокимов о башиню, погу картинно выставил и, помня в пальцах паннироску, объяснил, как будто все этого не знали:

— «Языка», ребята, добыть — это дело очень сложное и чрезвычайно трудное. Но, спрашивается, как его достать, если я — танкист и стоит мне из машины мизинец высунуть, как немцы из пулемета и по мизинцу сажать будут?

Как его добыть — вот в чем вопрос! — Евдокимов принял еще более гордую позу, потом спрыгнул на землю и сказал:

— Так вот вы здесь подумайте, а я схожу в столовую, заправлюсь как следует, и кто своим умом дойти не сможет, объясню!

Евдокимов хотел уйти. Но вы сами знаете наших ребят. Больных, нужно сказать прямо, среди них нет. Самый хилый полусось свободно выжимает.

— Евдокимов, — сказали ему ребята хладнокровно, — если ты из себя горю стронешь, так мы сейчас тебе такие почти воздадим!..

И, окружив Евдокимова, ребята стали его подбрасывать в воздух.

Если бы Евдокимов летчиком был, так ему эти широты в воздухе, может, и приятны были. Но вырвался из братских рук, бедняга. Отбиваясь, тяжело дыша, он сказал:

— Ладно, и пошутить нельзя. Слушайте, черти! — И присел возле дерева.

Танкисты почтительно окружили Евдокимова.

— Ну, так вот, — еле переводя дух, сказал Евдокимов, — как я этих немцев ловил — дело очень простое. Как получу задание на разведку, после по-

давления огневых точек подмечаю, где немецкие автоматчики прячутся, и дую туда на полный газ. Понятно, те от меня в щели прячутся. А я на щель. Наеду на щель, прижму ее брюхом танка, чтоб немцы вылезти не могли. А потом потихоньку нижний аварийный люк открою и вытягиваю фашиста из щели за уши в танк. Есть, конечно, которые не хотят сразу идти, так я ему цып-цып и пару раз из пистолета. Так и подсаживать после этого не надо, сам как тв погрёба в машину вскакивает. Измучится от света и позвать его задержку просит.

Бывает, конечно, случаи, когда их по-трое в щель забивается. Тогда, конечно, можно и выбрать, которые получше. Всех в машину забирать не рекомендую, и так тесно. Ну, вот и вся механика.

Ребята рассмеялись и потом все приняла в восторг. И всем захотелось снова воздать почести Евдокимову, теперь уж всерьез.

Но Евдокимов ухватился за дерево и стал кричать. Ребята все-таки оторвали его от дерева и, подняв на руки, торжественно отнесли в столовую.

А Евдокимов, которому этот триумф пришелся по душе, все-таки кричал, что если теперь он что новое выдумает, то никому больше рассказывать не будет. Но это неправда. Евдокимов хоть и гордый, но все-таки хороший, душевный парень. И никогда ничего от своих товарищей скрывать не будет.

Обед в этот день был удивительно вкусный. А может, это показалось, потому что у всех в этот день было очень хорошее настроение.

ГВАРДЕЙСКАЯ ЧЕСТЬ

Они познакомились в воронку от снаряда.

Один боец был из первой роты, и фамилия его — Тимчук. Другой, Степанов, из третьей роты.

— Как же ты сюда попал, — спросил Тимчук, — когда твое место на правом фланге?

— А ты чего сюда вылез, когда ваши ребята позади цепью лежат?

Тимчук перевернулся на другой бок, спокойно ответил:

— В порядке бойцовской инициативы! Понятно?

— Доминской интересуешься? — подмигнул Степанов.

— До крайности. Четыре станковых. Сыпет и сыпет, терпения нет.

— Смокнул что-нибудь, — деловито осведомился Степанов, — или просто папаша пошел?

— Пока папаша, а там видно будет.

— С одной горлостью, значит, на рожок прешь.

Тимчук не обиделся, а просто сказал:

— Если мысль есть, так ты не зарывайся, а обыкновенно скажи.

Степанов поправил на поясе сумку с торчащими из нее толстыми ручками протivotанковых гранат и значительным шопотом сообщил:

— Вот сплавировал! До той канавы доползти, потом возле забора как-нибудь, а там и дом под рукой. Засуну в подвал две гранаты — и шуму конец.

— А они тебя приметят, да как шарахнут очередью!

— Зачем? Я аккуратно. Сапоги новыми портялками обмотал, чтоб не демаскировали.

— Лихо! Но только они в стереотрубу за местностью наблюдают, — упорствовал Тимчук.

— А ты чего все каркаешь? — разозлился Степанов. — Заметят, заметят, а сам напропалую прешь.

— Я не каркаю — рассуждаю, — спокойно заметил Тимчук. — Ты вот что, теперь меня слушай. Мы сейчас с тобой разминемся: ты к своей канаве ступай, а я тут недалеко выбоинку приметил. Залягу в ней и, как ты по-над забором ползти начнешь, буду из своего автомата на тебя внимание немцев обращать.

— Да они же тебя с такой близости первой очередью задержат, — запротестовал Степанов.

Тимчук холодно и презрительно посмотрел в глаза Степанова и раздельно произнес:

— У них еще дули такой не сделано, чтоб меня трогать. Давай действуй. А то ты только мастер разговоры разговаривать.

Степанов обиделся и ушел. Когда он добрался до забора, то услышал сухие короткие очереди автомата Тимчука и ответный бешеный рев фашистских станковых пулеметов.

Пробравшись к кирпичному дому, где засели немецкие пулеметчики, Степанов поднялся во весь рост и с разбегу швырнул в окно две противотанковые гранаты.

Силой взрыва Степанова бросило на землю, осколками битого кирпича попало лицо.

Когда он очнулся, на улицах села шел уже иттыковской бой. Немецкие машины горели.

Степанов поднялся, вытер окровавленное лицо снегом и, прихрамывая, пошел разыскивать Тимчука, чтоб сказать ему спасибо.

Он нашел Тимчука в той же выбоине лежащим на животе с равнодушным лицом усталого человека.

— Ты чего тут разлежся? — спросил Степанов.

— А так, отдыхаю, — сказал Тимчук и, вяло поглядев в лицо Степанова, ядовито добавил: — А ты, видать, носом землю рыл, иди умойся.

Степанов заметил мокрые, красные комья снега вокруг Тимчука и тревожно спросил:

— Ты что, ранен?

— Отдыхает человек, понятно? — слабым, но раздраженным голосом сказал Тимчук. — Нечего зря здесь окопчиваться. Твоя рота где?

Степанов нагнулся, поднял с земли автомат и, повесив его на шею, грубо сказал:

— Ох, и самолюбие у тебя, парень!

Подхватив подмышки Тимчука, он взвалил его к себе на спину и понес на пункт медпомощи.

А Тимчук всю дорогу бранился, пытаясь вырваться из рук Степанова, но под конец ослабел и перестал разговаривать.

Сдав раненого, Степанов нашел политрука первой роты и сказал ему:

— Товарищ политрук, ваш боец Тимчук собственноручно подавил огневые точки противника, скрытые на подступах села. Это надо было нашей третьей роте. Она зашла во фланг немцам и стала их уничтожать. А иначе ничего бы не вышло.

— Спасибо, товарищ боец, — сказал политрук.

Степанов напомнил:

— Так не забудьте.

Прихрамывая, он пошел к западной окраине села, где бойцы его роты вели бой.

— Все люди как люди, воюют, в атаки ходят, немца от всей души, самоотверженно бьют. Только я один какой-то неопределенный товарищ.

Первый номер, недавно назпаченный первым номером и поэтому еще очень гордый, принимая патроны от фотного подносчика боеприпасов Степана Сидоренко, так ответил на его шалобу:

— В армии все должности почетны. Но, во-первых, у каждого человека есть к чему-нибудь способность, и он должен ей соответствовать. Во-вторых, всего можно достигнуть. У меня, например, высшее стрелковое образование. Любой расчет в уме без линейки произвожу. И мой номер первый. А ты вроде как пятый.

Сидоренко, собирая стреляные гильзы в мешок, печально отрезнулся:

— Хоть и пятый, но без меня вам не обойтись.

Заложив ленту, первый номер дал по противнику франтоватую очередь. Два патрона — интервал, два патрона — интервал. Потом, оглянувшись через плечо, степенно заметил:

— Человек ты необходимый, точно.

Сидоренко вздохнул, взвалил себе на плечи мешок и пополз обратно.

Земля покрыта снегом, сухим, чистым, почти голубым. Сидоренко легко скользит по пушистому покрову, а когда впереди него снег взмывается серебристой пылью от пулеметной очереди, он сползает в выбоину или прячется за бугорок, за кочку и ждет, высматривая, в какое место ляжет новая трасса.

Он давно уже привык к тому, что немецкие снайперы охотятся за ним. Научился обманывать их, научился точно предугадывать огневой маневр врага. Точно знал, где нужно проползти, как поворачивать, почти копя носом землю, или быстро перебежать, согнувшись в три погибели. Весь маршрут свой он изучил до того, что иной не знает так своей улицы. В особенно гибельных и опасных местах он ночью готовил себе ямки, чтобы можно было передохнуть.

Сидоренко считали лучшим подносчиком боеприпасов, и пулеметчики, которых он обслуживал, были всегда уверены, что Сидоренко никогда не подведет. И как бы сильно ни проспреливалась местность, доставит боеприпасы вовремя.

Но Сидоренко было двадцать лет. У него было толстое, доброе лицо и горячее сердце. И каждый раз, жалуясь на свою судьбу, он ласково навлекал на себя веселые насмешки приятелей. И те трунили над ним, называли его пятым номером, хотя каждый знал отлично, что Сидоренко — бесстрашный человек и замечательный подносчик.

В злупого боопитания, выдвывая ящик патронов, сержант сказал Сидоренко:

— Ты бы, Степа, попросил командира, чтобы он тебе пару черепаш из Москвы выписал. В гужевой упряжке боеприпасы возить, вроде танкеток на малом ходу. Только вот подхлестывать их не во что. А так подходящее животное, вполне.

Сидоренко сердито ответил:

— А ты бы, Владимиров, хоть бы фартук на себя надел, а то товар отпускаешь, а виду настоящего нет. И вывеску закажи.

Сержант побавровел и не нашелся, что ответить. Обратно ползти Сидоренко пришлось труднее. Немцы открыли сильный минометный огонь.

Сидоренко метался от воронки к воронке. Прижавшись к еще теплой после разрыва земле, он намечал ближайший пункт для перебежки. Поправив ремни на спине, поддерживающие ящик с патронами, он снова на четвереньках бросился вперед. В интервалы между минометными разрывами по нему суко били

из автоматов снайперы. Пуля разрежала ремень, и Сидоренко теперь полз, толкая ящик впереди себя.

Случилось так, что пулеметчики были вынуждены перенести огневую позицию, а немцы выбросили вперед автоматчиков для уничтожения огневых точек, и Сидоренко, не зная этого, пробирается теперь к пустому месту, куда навстречу ему ползли немецкие автоматчики.

Когда первый номер заметил черную точку на свету, он догадался, что это Сидоренко. И когда увидел приближающуюся навстречу Сидоренко немецкую цепочку, он понял, что подносчик обречен.

Открыв фланговый огонь, первый номер приказал второму номеру сообщить отделенному о бедственном положении Сидоренко.

Отделенный командир сказал командиру взвода, что потерять такого драгоценного человека, как Сидоренко, невозможно, и получил разрешение атаковать отряд автоматчиков. Автоматчики, увидев красноармейцев, бегущих на них, запросили огневой поддержки. Заслушали станковые пулеметы.

Командир взвода запросил командира роты. Рассказав обстановку, он заявил, что оставлять на погибель лучшего подносчика невозможно. Ротные минометчики, выдвинувшись вперед, открыли огонь по немецким пулеметам. Загорелись немецкие минометы. Командир роты запросил командира батальона, и артиллеристы открыли огонь по немецким батареям.

Воздух гудел. Черная земля и желтые перья щенок от разбитых немецких блиндажей вздымались в небо.

Наша поднялись и перешли в атаку.

К вечеру бой стих. Часть, заняв новый рубеж, наскоро чинила разбитые немецкие укрепления, устанавливала орудия. Саперы зарывали в темноте трупы немецких солдат.

На рассвете в блиндаж майора позвонил командир полка. Поздравив с хорошо проведенным боем, он спросил, кстати, удалось ли выручить подносчика боеприпасов товарища Сидоренко. Майор запросил об этом командира роты. Командир роты вызвал командира взвода. Взводный послал связного к отделенному. Отделенный сказал, что сейчас выяснит, и пошел к бойцам.

Он нашел Сидоренко. Сидоренко сидел в окопе рядом с первым номером и сердито говорил ему:

— Как ты мог сомневаться и Плюшкина из себя строить, когда тебе по нему нужно было хлестать и хлестать? Если бы тебе кто другой боеприпасы носил, тогда сомневайся, экономь. Адрес переменяли, ну так что ж! На снегу написали колесами, куда отошли. Что я, безглазый, что ли? Нашел же сразу.

— А автоматчики? — скорбно оправдывался первый номер.

— Ну так что ж, — сказал Сидоренко раздраженно, — я на этой местности, как у себя дома или в тире. Им прятаться некуда. Мне же пострелять удовольствие. В какой-то раз пришлось повоевать по-человечески. А то все на брюхе и на брюхе.

— Ну как, все в порядке, товарищ Сидоренко? — спросил отделенный командир.

— Так точно, — вытягиваясь, отпартовал Сидоренко и потом извиняющимся тоном добавил: — А что касается моей задержки в связи с немцами, так я пострелял самую малость, чтоб освежиться. Но перебоев в снабжении не было. Товарищ первый номер может подтвердить.

Через пять минут командиру полка было доложено, что подносчик боеприпасов Степан Сидоренко цел и невредим.

— Очень хорошо, — сказал командир полка, — отличных бойцов нужно беречь.



Ю. ЖУКОВ

БОИ БРИГАДЫ КАТУКОВА

Комиссар нагнулся и осторожно тронул Катукова за плечо:

— Генерал, командирское пополнение прибыло...

Катукоев привстал с матраца, брошенного на каменный пол, потер глаза, выпрямился и машинально расправил складки шпигеля. В тесном, задымленном подвале, который генерал в шутку прозвал «пещерой Лейхтвейсса», было по-прежнему шумно. Входили и выходили офицеры связи. Сolidный врач длинно и обстоятельно жорил кого-то, виновного в том, что в походную баню привезли мало воды. Инструктор радиопередвижки, стараясь перекрычать всех, рассказывал, как внимательно слушали немецкие солдаты организованную сегодня для них передачу, — «аж из блиндажей повыскакали!» В уголке подполковник Кульвинский, отгородившись плащ-палаткой, докладывал по телефону:

— Все в порядке. Нехватает только инпор... Хозяйство три восемь прибыло... Один хозяин беспокоится насчет вилок... Консервы? Консервы готовы!..

Генерал улыбнулся, — все обстояло вполне нормально. Проспись он в мягкой постели в тихой и пустой комнате, — наверняка почувствовал бы, что ему чего-то нехватает.

— Командирское пополнение прибыло, генерал, — повторил комиссар, — пора начинать...

Командиры ждали в соседнем отсеке подвала, усевшись на изломанных школьных скамьях (когда-то над этим подвалом стоял дом, и в доме был техникум). На столе мигала керосиновая лампа, и желтые блики ложились на обветренные, не по годам строгие лица. Эти уже понюхали пороку: все они побывали в строю и только на время покинули армию, чтобы подлечить раны.

— Ну, здравствуйте, товарищи, — негромко сказал генерал, входя в отсек.

— Здравств, — грянул ответ, и командиры вытянулись в струнку перед человеком, о котором они так много слышали. Они вглядывались в спокойное, немного усталое худощавое лицо генерала, в котором сочеталась такая-то домашняя, обыденная мягкость с решимостью военного человека. Немного удивила

некоторых грубая красноармейская шинель генерала, из-под ворота которой виднелась серая фуфайка. Катников перехватил недоуменный взгляд молодого лейтенанта, и в глазах его промелькнула лукавая искорка.

— Ну, кто здесь есть из наших ветеранов? Товарищ Зайцев? Отлично. Помню вас. А остальные? Все воевали? Отлично! Начнем знакомиться. Кстати, вот что, — полугубочки придется вам снять. Конечно, это вещь тепловая, но мы командиров бережем. Милая это мишень для немецкого снайпера! Поелете в тыл — надевайте полугубок. Идете в бой — будьте добры: шинель и фуфайку. Вот как наш комиссар, — и генерал указал на стройного, молодецки затянутого в шинель своего соратника, стоявшего рядом. — Поняли? Это, так сказать, к слову...

Катников на минуту умолк, прислушался к грохоту ближних разрывов (снарядная, за которой он внимательно следил со вчерашнего вечера, развивалась успешно) и продолжал:

— Так вот, товарищи, вы прибыли в первую гвардейскую танковую бригаду. Служить в нашей бригаде — большая честь. Думаю, что сработаемся. Сказать вам надо многое, и за один раз обо всем не упомянешь. Запомните главное — воевать надо уметь. Война — дело долгое, и нам с вами очень важно как можно дольше дуберечь и людей, и машины.

Генерал потянулся через стол и взял запыленные антекарские весы, каким-то чудом уцелевшие в этой сутолоке, — последнее воспоминание о некогда существовавшем физическом кабинете техникума. Он задумчиво поколебал их роговые чашечки, сильным ударом погнав одну из них кинзу и продолжал:

— На войне не бывает равенства сил. Вот наш комиссар, полковой комиссар товарищ Бойко, часто говорит так: «Не тот силен, кто сильнее, а тот силен, кто умнее». И я с ним целиком согласен. Вот товарищ Зайцев вам может рассказать, как дрались мы под Орлом с Гудерианом. Был он сильнее во много раз, а между прочим сражались выпирали мы, а не он. Конечно, трудно нам было. Но ведь тут решает крепкое сердце. Как ни трудно тебе, — тянись из последнего, а виду не подавай, что тебе трудно. Атакуй, хитри, ловчись, — пусть немец думает, что он имеет дело только с авангардами твоими, а главные силы, мол, еще не тронуты!..

В соседнем отсеке стало немного тише, и оттуда подходили люди. Танкисты в кожаных шлемах, штабные командиры, на минуту оторвавшиеся от карт, корреспонденты, заехавшие сюда, чтобы проследить за развертыванием интересной операции, и даже маленькая Аня, готовившая ужин командирам штаба, — все внимательно слушали генерала.

В сутолоке фронтовых будней редко выпадает случай обратиться ко вчерашнему дню, продумать, критически осмыслить пережитое. Может быть, именно поэтому Катников говорил с таким подъемом, и беседа с командирским пополнением как-то сама по себе превратилась в интересную лекцию о стратегии и тактике современного боя.

Генерал рассказывал о незабываемых июньских днях, когда части прикрытия, расположенные у западной границы, грудью встретили бешеный натиск вооруженных до зубов мотомеханизированных армий Германии. Помните короткую строчку в сообщении Информбюро: «На Лужском направлении в течение дня развернулось крупное танковое сражение, в котором участвует до 4000 танков с обеих сторон. Танковое сражение продолжается». В этом сражении участвовал и Катников. У него было всего тридцать машин, и все они

погибли поистине героически в первом же бою, каждый танк уничтожил от трех до девяти вражеских. А потом...

— Потом дрались врукопашную, дрались винтовками, лопатами, гаечными ключами, ломami. И еще была у нас артиллерия, — чудесная наша артиллерия. Под Луцком и Дубно мы прошли великолепную школу, — такая школа ценнее любой академии. Вы знаете, — у нас, большевиков, есть одно прекрасное правило: никогда не переоценивать, но и не недооценивать силы своего врага. Люди вы сами обстрелянные и знаете, что боем мы с опытными, порывистыми по своей выучке и оснащению вооруженными силами. И вы прекрасно поймете меня, когда я скажу, что значило для меня в тех условиях, под Луцком и Дубно, разбить 75-ю диверсионную дивизию «ОС». Когда мы добились этого, — и, надо сказать, ценой высокой ценой, — я понял, что годы мирной учебы не прошли для нас даром...

Генерал на минуту задумался. В ночи с минувшим потрескивали сырые дрова. Тихло сладкозвучным запахом горелой осени. Каждый из нас отчетливо вспомнил эти трудные июньские дни, каждый из которых казался годом. Вспомнились торжкие строки оперативных сводок об арьергардных боях наших отходящих частей, вспомнились дымы первых пожаров, вспомнился неумолчный стрекот чужих самолетов над головами, вспомнился суровый жизненный отбор воинов в боях, — вот таких людей, как Катуков, которые за один день вырастали в полководцев, беря инициативу в свои руки.

Катуков тогда был полковником. Рокоссовский, державшийся неподалеку от него, тоже не имел еще генеральского звания. Лизинков, которого теперь знает вся страна, в те дни также был рядовым армейским командиром. Они скромно делали свое дело, не мечтая о славе. Слава сама пришла и подняла их. Но, вероятно, и в те июньские дни Катуков выглядел вот так же, как и сегодня — простым солдатом.

— Да, учеба не прошла для нас даром, — повторил генерал, — мы дали это преимущество нашему противнику еще раз под Малиным, где мне удалось разбить 44-ю, 98-ю и 99-ю немецкие дивизии. В сущности говоря, именно там — под Луцком, под Дубно, под Малиным — мы и поняли, что тактика немцев, стремительных ударов, прорывов без опаски за фланги, устрашения противника всеми этими театральными эффектами представляет собой изображение, рассчитанное на полтавские армии, живущей старыми представлениями о войне. Ну, такой армии, например, какой была французская армия. Не ведь нас учили иначе, чем французов. И мы кое-где, еще до начала этой войны, показали, что немучено маневры отнюдь нам не чужды. Теперь же, получив уроки маневренной войны в таких гигантских масштабах, мы не только не растерялись, как ученики Гамелена, но, наоборот, закашились. Вот только техники у нас тогда было меньше, чем у немцев. Если бы не это, — кто знает, как могли бы повернуться еще тогда события!..

Катуков заговорил о практических выводах из первых боев с немцами, которые он сделал для себя как водитель танковых войск.

Конечно, было бы очень заманчиво воспользоваться многими приемами, которые обеспечили немцам танковым частям успех во Франции, в Югославии. Кто не знает силы массированного удара танков, когда сотни боевых машин идут стальными волнами, грозно, неотвратно, сплошной массой? Десятки, может быть даже сотни танков погибнут, но в конце концов они обязательно проломают, прогрызут любую оборону. Но так может действовать только тот, кто обладает огромными резервами танков. Иначе массированный удар

может превратиться в авантюру, которая повлечет за собой плачевный результат.

Надо было искать новые пути, надо было вырабатывать новую тактику применительно к создавшейся обстановке. И она создавалась на ходу, складываясь из открытий отдельных, наиболее одаренных военачальников, из удачных находок рядовых танкистов, из ловких маневров, удачно примененных в одной из схваток и повторенных в другой. Катуков рассказывал своим командирам именно о таких находках, чтобы каждый из них не ограничивался слепым выполнением приказа, а сам искал, настойчиво и страстно, новых и новых решений на поле боя.

— Поймите основное: ни один род оружия, кроме танков да еще, пожалуй, авиации, не требует такой обостренной инициативы и самостоятельности. С того момента, как вы получили боевой приказ, и до момента возвращения каждый из вас действует на свой риск и страх. Там, на поле боя, ни я, ни мой начальник штаба, ничем помочь вам не сможем. А обстановка меняется с каждым часом. И если вы сами не будете новаторами, если вы ограничитесь слепым выполнением приказа, — заранее могу сказать: вы плохо кончите. А вы действуйте вот так, как, к примеру, действует у нас капитан Бурда: не порячись, на рожон не лезь, трезво оцени обстановку, сам прими решение. Принял решение, — от него не отступай, бейся до последнего, но выполни. Количественного перевеса противника не опасайся. Умеючи можно и одному против десятка драться. Выскочил из-за бугорка, трахнул, — обратно за бугорок. Выскочил левее, опять трахнул, опять за бугорок. Выскочил правее, опять трахнул. Так и дерись. Обязательно следи за товарищем. Ты его прикроешь, он тебя. Если надо, спрячешься, устрой засаду. Подпусти противника вплотную и разгори. Да так, чтобы он опомниться не успел. Танковый бой требует молниеносного решения, запомните это...

Примостившись в уголке «пеперы Лейхтвейса», я мысленно перебирал свои летучие встречи военного корреспондента с этим интересным человеком и командиром. Было немного досадно, что ни обстановка, ни время не позволяют как-нибудь зацепиться за одну деталь, за одну операцию, раскрыть ее во всей полноте так, чтобы показать генерала и его танкистов во весь их богатырский рост. Но в конце концов эта досада была слишком наивна, чтобы принимать ее всерьез: быть может, и наши беглые фронтовые записи сослужат в будущем свою службу историку. И мне захотелось хотя бы наспех, в первом приближении, свести их воедино.

Мы познакомились с Катуковым в тихом подмосковном селе с певучим именем Чисмена. Я подчеркиваю — в тихом селе, ибо именно эта удивительная тишина поражала тогда больше всего людей, знавших, что передний край обороны проходит в 7—10 километрах отсюда. Тогда эта танковая бригада не называлась гвардейской, а Катуков все еще носил в петлицах четыре «шпалы».

Поселок в густом лесу выглядел нарядностью мирным. Над избами курлились дымки. Ребятишки катались на лыжах. Девушки по вечерам сходились на посиделки. Но в самом воздухе было разлитое какое-то гнетущее беспокойство; именно эта настороженная тишина действовала на нервы сильнее самой оглушительной канонады.

Штаб Катукова мы нашли в просторной крестьянской избе. В красном углу висели потемневшие от времени иконы. За печью стрекотала пишущая машинка. На столе была разложена большая карта. Вокруг карты группа людей в кожаных пальто, среди них — полковник Катуков. Он и тогда был такой

же, как сегодня, — спокойный, немного прощеский, хорошо умеющий скрывать от посторонних то, что беспокоит его.

Ему не хотелось тревожить корреспондентов некоторыми неприятными деталями оперативной обстановки, и только несколько дней спустя мы узнали, что именно в тот вечер, когда полковник непринужденно беседовал с нами об особенностях немецких танков, он ждал оглушительного удара двух немецких танковых дивизий, подтянутых на этот участок фронта.

В те дни фашисты готовили свое второе наступление на Москву. На участок фронта, прикрытый танкистами Катукера, германское командование бросило отборные части, в том числе даже дивизии танков, доставленные в подмосковные леса из далекой африканской пустыни. Гроза должна была разразиться с часу на час. Но пока что — ни один выстрел не нарушал спокойствия заснеженных лесов, и только партии разведчиков день и ночь выискивали тайные тропы, ведущие в лагерь противника.

— Самое главное — обезопасить себя от всяких неожиданных сюрпризов, — говорил нам тогда подполковник Кульвинский. — Разведка, разведка и еще раз разведка! Пока мы обороняемся, а они наступают, на их стороне всегда фактор внезапности. Но мы имеем все возможности для того, чтобы свести этот фактор к минимуму...

И мы видели в те дни собственными глазами, что значит настоящая, умно организованная разведка. Катукер, новатор по натуре, сумел организовать дело так, что буквально каждый шаг немцев находился под контролем у танкистов. Сейчас не время подробно рассказывать о том, как все это было сделано. Скажу только, что в распоряжении штаба были все средства и виды разведки вплоть до кавалерийской. Да, да, у танкистов завелась своя конница!

Конные разведчики в своих кожаных шлемах выглядели довольно экстравагантно, однако это была самая настоящая кавалерия: мотоциклисты, пересевшие на коней, прекрасно пробирались по самым глухим, замеченным метелями тропам там, где не прошел бы даже автомобиль, не говоря уже о мотоцикле.

Ходили в дальнюю разведку и танки. В Чисмене Катукер познакомил нас с лейтенантом Коровякинским. Тогда он не был еще так знаменит, как теперь, и не имел даже ордена. Но то, что он делал, было поистине изумительно. Требовалось исключительное самообладание, чтобы, оторвавшись от своей базы, уходить на десятки километров в глубокий тыл врага, воевать там, восстанавливать порядок в селах, завоеванных немцами, промчаться застигнутых врасплох мародеров. Коровянский любил возвращаться из разведки не с пустыми руками. Как раз накануне нашего приезда в Чисмену он приволок на буксире саперную автомашину с полным набором новейших минометов и прочего ценного оборудования.

— Наверно, сегодня нашим, — просто сказал он, — там еще было кое-что, не касаемое до войны, так я колхозникам вернул...

Это «кое-что», как выяснилось, состояло из калки ворованных немцами огурцов, калки капусты, семи живых поросят и кур.

Но это так, между прочим. Главное же заключается в том, что Катукер благодаря своим лихим молодцам, каждый час знал, что именно делают его противники, что именно замышляют командиры немецких танковых дивизий. Он предвидел, что удар будет нанесен одновременно с нескольких направлений, и заблаговременно продумывал все варианты будущего боя, как хороший шахматист, готовящийся к матчу, заранее анализирует возможные варианты пред-

стоящих партий. Разведку он вел вкрутую, беря на учет все до единой лесной тропы. Как мы увидим в дальнейшем, эта предусмотрительность оказалась далеко не лишней, — в трудную минуту она спасла бригаду.

Танкисты Катукова в те дни еще жили свежими воспоминаниями о только что закончившихся боях под Орлом, откуда бригада пришла форсированным маршем, чтобы занять позиции на подступах к Москве. Эти бои, за которые несколько дней спустя бригада была переименована в твардейскую, а Катукوف получил орден Ленина, решили судьбу тульского направления, — танковая армия Гудериана разбила ее о стальную катуковский заслон и истекла кровью. Это была огромная победа: Катукوفу удалось сорвать боковой маневр германского командования, рассчитанный на выход к ближайшим подступам к Москве с юга.

Вечером, когда все текущие дела были закончены и работники штаба освободились, поскольку может быть свободен на фронте человек, ежеминутно ожидающий каких-нибудь новых событий, мы разговорились с ними об этом интереснейшем сражении. Катукوف, его начальник штаба Кульвинский, его комиссар Бойко широкими штрихами нарисовали картину драматических событий, значения которых многие из нас и не постигали в те дни, когда Информбюро сообщало об ожесточенных боях в районе Орла.

Один из создателей теории молниеносной войны, опынейший мастер танкового боя генерал Гудериан, уже давно лелеял мечту — прорвать линию фронта бронированным кулаком, выйти на оперативный простор и проложить дорогу к воротам Москвы. Несколько попыток, предпринятых им, потерпели полную неудачу: танки Гудериана были биты. Но всякий раз ему удавалось довольно быстро восполнять потери и снова вводить в бой свою мощную танковую группу. После того как Гудериану не удалось прорваться под Брянском, где он был разгромлен довольно основательно, его танковые дивизии, пополненные за счет резервов, охустились на юг и внезапным стремительным ударом сумели, наконец, пробить узкую брешь в районе Севска. Отсюда они устремились в боеспособном темпе на Орел. Состоялось трудное, угрожающее положение на этом участке. Здесь-то и возникла задача бригады Катукова.

Эта бригада, посаждено перед тем сформированная и обученная опытными командирами, прошедшими суровую школу первых месяцев войны, находилась на станции Мценск в эшелонах. Кроме танкистов, здесь находился пехотный полк. Катукوف оказался старшим командиром. Ему надлежало принять решение. Ответственное и трудное решение! Полковник прекрасно понимал: от того, как он распорядится своими танками и пехотным полком, зависит судьба всего направления, зависит судьба Тулы и, быть может, судьба Москвы. Надо было во что бы то ни стало задержать Гудериана, остановить его бронированную армию до того момента, когда подойдут наши резервы и удастся закрыть брешь.

Данные разведки говорили: Гудериан вводит две танковые и одну мотопехотную дивизию. Еще одна дивизия движется от Болхова. Всего у немцев было свыше 500 танков. Катукوف мог противопоставить им значительно меньше боевых машин. К этому надо добавить, что инициатива находилась в руках немцев, а Катукوف вынужден был обороняться на широком фронте, не зная, где именно будет нанесен главный удар. И все-таки Катукوف без колебаний отдал приказ — разгрузить эшелоны и встретить немецкие танковые дивизии в открытом бою.

— Это была самая страшная и ответственная из всех операций, какие я помню,— задумчиво говорит генерал, глядя на пламя керосиновой лампы,— теперь об этом можно сказать открыто. Мы думали, что придется поглотить всем до одного. Однако было твердо решено: биться до последнего, но не отходить. А на деле оказалось лучше, чем мы думали,— и он мягко улыbnулся,— гораздо лучше, чем мы думали!..

Это было малочисленное сражение большого масштаба, растянувшееся на много дней. Танки Катюкова стальными лавинами обрушились на армию Гудериана. Грудь с грудью, сталь с сталью, металл с металлом сшиблись под Орлом. Немцы не ожидали встретить такой стремительный, упорный и дерзкий отпор. Гудериан не мог предполагать, что так смело и энергично может выступить против его армии всего лишь одна бригада, поддержанная пехотным полком. Это противоречило всем положениям воинских уставов. Предполагая, что советскому командованию удалось сосредоточить здесь крупные силы, немцы решились попытаться с ходу пробить новую брешь.

Здесь-то и пригодился Катюкову опыт, накопленный им в первых боях под Луцком и Дубно. Он экспериментировал смело и энергично, с большим размахом и виртуозной изобретательностью. Именно здесь, под Орлом, родились новые методы танкового боя, которые сейчас нашли широкое применение во всей армии: метод танковых засад, метод подвижных групп, метод танковых десантов.

Надо было убедить немцев в том, что танки Катюкова — только авангарды крупных сил, что на самом деле у нас танков во много раз больше, чем у немцев. Этого можно было достигнуть только смелостью и хитростью. Катюков так и поступал. Он учил своих командиров скрытности, терпению, хитрому маневру, умению выждать благоприятный момент и потом нанести молниеносный удар, от которого противник долго не мог бы опомниться.

У станции Д. под Орлом разыгрывался трудный, затяжной бой. Катюкову все время не давала покоя мысль о дороге, которая шла параллельно железнодорожному полотну в тыл танкистов. Пока на этой дороге все было спокойно. Но, как опытный танкист, Катюков не мог себе представить, чтобы немцы могли забыть о ней. Он рассуждал так: «Если бы я был на месте Гудериана, я обязательно использовал бы этот вариант; значит, здесь надо ждать удара». И, как ни туго приходится основным силам бригады, Катюков оторвал два танка и поставил их в засаду на этом тихом и безлюдном шоссе.

Возглавлял засаду лейтенант Кукарин, молодой, способный танкист. Он умел ждать, и за это его особенно ценил полковник. Как ни досадно было танкистам сидеть без дела в тот самый час, когда их друзья немцами под тяжестью ударов врага,— Кукарин не уходил с шоссе. Залипшие продолжалось долго, очень долго. Временами даже сам Катюков начинал колебаться,— полно, не переценил ли он значение этого участка? Но он твердо решил не снимать засаду.

В конце концов события развернулись именно так, как подсказал Катюкову его презвмый расчет: немцы, решив, что они перехитрили Катюкова, двинули по шоссе мощную группу тяжелой артиллерии, группу танков и машин с боеприпасами. Успех прорыва этой группы мог бы решить исход всего сражения в пользу врага. Стойкие танкисты лейтенанта Кукарина точно выполнили приказ Катюкова: превратив свои танки в хорошо замаскированные ДОУы, они подпустили немецкую колонну на минимальную ди-

станцию и расстреляли ее в упор: сначала сшибли головную машину, потом замыкающую и расстреляли всю колонну.

Надолго запомнился танкистам бой, который разгорелся 10 октября у Мценска, где немецким танкистам и мотопехоте удалось прорваться в тыл к катуковцам. «Мы не признаем слова «окружение»,— говорил по поводу этого боя Катук, — но многие на нашем месте его произнесли бы».

Катук решил пустить в ход несколько подвижных групп, чтобы и на этот раз создать видимость крупной группировки наших сил и короткими, но энергичными ударами разбить немцев по частям.

Семь танков и роту пехоты Катук бросил в глубь населенного пункта, в который ворвались немцы, чтобы навязать им уличный бой. Шесть танков он выбросил на фланг, где двигалась огромная немецкая колонна. Именно здесь должна была решиться судьба операции: надо было разгромить немцев, пока они шли в колонне, не дать им развернуться. Развернулись они — и шесть катукских танков были бы мгновенно уничтожены!

На стороне Катук были верные союзники: внезапность и подвижность. Шесть танков скрытно подошли к железнодорожной насыпи и внезапно открыли из-за нее ураганный огонь прямой наводкой с близкой дистанции. Колонна была уничтожена.

Вторая подвижная группа действовала столь же решительно и энергично. Результат: немцам не удалось окружить бригаду, они понесли тяжелые потери...

Мы беседовали долго в этот вечер с Катукскими и его штабными работниками. Чувствовалось, что эти люди действительно не растеряются в трудных условиях, что для них нет безвыходных положений. В конце, как водится, заговорили о риске и страхе. На фронте об этих вещах говорят и думают просто, без лишней лихости и ухарства. Здесь человек, как на ладони, он виден со всех сторон. Может быть поэтому на фронте люди так откровенны.

— Когда было всего страшнее? — спросил себя и своих друзей Катук. — Пожалуй, под селом Первый Воин, — не так ли, комиссар?..

Бойко утвердительно кивнул головой.

— Чудесные, знаете ли, места. Тургеневские места. Это недалеко от Бежина Луга. Мы держали там оборону. Моя мотопехота зарылась в землю. Надо было удержаться во что бы то ни стало. А немцы, конечно, считали, что им прорваться надо — тоже во что бы то ни стало. Вот и нашла коса на камень. Помните, товарищи, тот день, когда мы с комиссаром штаба под мины попали?..

Батальонный комиссар Мельник, молодой веселый танкист, бывший строитель харьковского тракторного завода, подтвердил:

— Да, денек был веселый. Я уж не чаял, что выберемся!

Вот документально точный, ничем не прикрашенный рассказ об этом страшном и прекрасном дне, который навеки войдет в историю бригады Катук, да и не только в ее историю. Этот рассказ записан со слов самих участников изумительного сражения.

Позиции у леса, раскинувшегося по обе стороны шоссе, танкисты заняли с вечера. На организацию обороны времени было мало, но Катук сделал все, что было возможно: мотопехота подготовила окопы. В лесу на скрытых позициях разместились танки, заранее наметившие ориентиры для ведения огня. Противотанковые орудия заняли огневые позиции в боевых порядках мотопехоты. Были оборудованы командные пункты, проведена связь. Зенитчики приготoвились прикрыть оборонительный район от ударов с воздуха.

Полковник почти не спал в эту ночь. Он великолепно отдавал себе отчет в том, что задача, которую он поставил перед собой, практически почти нерешима: от Орла на север двигались мощные танковые колонны, силы которых во много раз превосходили то, что ему удалось наскрести. Но отсюда, от Первого Воина, он не смел отойти: до тех пор, пока в тылу не сосредоточится новая армия, спешившая закрыть брешь, он не имел никакого права отходить и никогда этого не сделал бы. Значит, оставалось драться до последнего танка и до последнего бойца, и притом так, чтобы жизнь каждого танкиста окушалась самой дорогой ценой.

Раннее октябрьское утро было солнечным и нарядно теплым. Пожелтевший лес выглядел празднично. Остро пахли увядающие травы. В высоком, совсем не осеннем, небе мирно плыли кудрявые облака.

Даже не верилось, что весь этот прекрасный и немного печальный мир русской осени обречен, что через несколько часов снаряды скосят нарядный лес, гусеницы танков сомнут травы и небо замутилось пороховым дымом и бензиновой гарью.

Катуков в мокрых от холодной росы сапогах и кожаном пальто шел по склону холма. Он проверял расстановку противотанковых орудий, мысленно ставя себя на место немецких танкистов, которым вскоре придется, перевалив через гребень противоположной высоты, двигаться вот по этому самому склону.

Пустынное асфальтовое шоссе опускалось в ложину, переваливало через мостик и поднималось на гребень. В сущности говоря, мостик пора было бы уже взорвать, но там, за высотой, где-то находился броневичок разведки Катукова, возвращения которого Катуков ждал с нетерпением. К тому же, мостик этот существенной роли не играл: танки могли и обогнуть его.

Полковник услышал знакомый шум мотора. На гребне появился долгожданный броневичок. Он на бешеной скорости мчался к мосту. На некотором расстоянии за ним двигалась огромная механизированная колонна — то ли танки, то ли автомобили, рассмотреть в бинокль было трудно. Это несколько удивило полковника. Немцы? Но почему они идут походным порядком в таком тесном строю и не стреляют, хотя прямо перед ними мчится советский броневичок? А может быть, это свои? Говорили же, что где-то в районе Орла пробиваются из окружения какие-то части!

Катуков из предосторожности начал отходить к шоссе, поближе к переднему краю своих позиций. Его заметили с броневичка. Воитель круто затормозил, открылся люк, командир выскочил и подбегал к полковнику. Загадочная механизированная колонна все так же неторопливо ползла вдоль шоссе. Теперь уже можно было различить, что она идет тремя параллельными порядками: один по дороге и два по бокам.

— Товарищ полковник! Немцы!.. Больше сотни танков!.. — закричал Катукову командир разведки.

И в ту же минуту раздался неистовый грохот. Окутавшись дымом, немецкая танковая колонна открыла огонь, и сотни снарядов взрыли землю, тысячи пуль засвистели над головами.

— Вижу, — коротко сказал полковник, — немедленно в лес!..

Теперь уже все было ясно. Опасность оказалась грознее, чем мог предполагать Катуков. Гудериан двинул вдоль шоссе 180 танков, считая, что против такого массированного удара не выстоит даже самая мощная оборона. Отправив броневик, Катуков поспешил на командный пункт. Он шел пешком под дымными струями трассирующих снарядов, под градом осколков и пуль.

Бой развивался так, как и предвидел Катукон. Немецкие танки, с грохотом и рычанием развертываясь в боевые порядки, расползались по широкому фронту, стремясь охватить позицию танкистов, а кое-где и прорвать ее передний край массированным ударом. Противотанковые орудия Катукон и танки, подпустив врага на прицельную дистанцию, вели из засад расчетливый, меткий огонь. Уже остановились и замерли несколько темнозеленых машин со сверочными пабок башнями, уже вспыхнули языки пламени над подожженными танками, уже заволоклось пеленой дыма поле и стало темнее, словно тучи набезжали на небо, — а танки все ползали и ползали.

Страшнее всего было именно это неоправданное движение немецких танков вперед и вперед. И хотя все видели, что количество их быстро уменьшается, — у каждого невольно рождалось опасение, что какая-то часть их все-таки дойдет до окопов малопехоты, и тогда... Но зачем говорить и думать о том, что произойдет тогда? Самое плавающее — это выстоять, не уйти, драться, драться и драться. Драться даже тогда, когда танки подойдут вплотную, — ведь у каждого есть и гранаты, и бутылки с горючей жидкостью.

В лесу у Катукон стоял резерв — около тридцати танков. Они стояли молча, ничем не выдавая себя, даже не открывая артиллерийского огня, хотя артиллеристы противотанковых батарей и экипажи танков, стоявших в засадах, выбивались из последних сил. Катукон берег их для крайнего случая, отлично понимая, что выбросить против ста восьмидесяти тридцати танков — значит потерять их.

Немцы ввели в действие свою артиллерию и минометы. Катукон, находившийся со своей оперативной группой на опушке леса, опустил бинокль и командовал:

— На командный пункт! В блиндаж. Свяжись — со мной...

Комиссар штаба нетерпеливо взял полковника за рукав:

— Товарищ полковник, а что?

Катукон молча поднял бинокль к глазам.

Комиссар штаба вопросительно посмотрел на комиссара бригады. Бойко вполголоса сказал:

— Тяни его с собой.

И громко заявил командиру:

— Товарищ полковник, вам придется тоже уйти...

Катукон шел к блиндажу вдвоем с комиссаром штаба. Он знал, что Мельник впервые в таком жарком бою. И как он ни был занят, ему не хотелось упустить ни малейшей возможности, чтобы первое настоящее боевое крепление для молодого способного работника прошло с максимальной пользой. Вокруг них градом падали немецкие бронебойные снаряды, — немцы упорно пытались нацупать неуловимые советские танки, которые так метко били из засад. Не встречая брони, снаряды с шипением зарывались в мягкую землю и не разрывались. Катукон на мигновение остановился, нагнулся над перазорвавшимся снарядом и сказал улыбаясь:

— Смотри, какой тупорылый! Возьмем его на память, а?..

Мельнику стало весело. И впрямь, эти снаряды выглядели безобидно.

Вскоре Катукон и Мельник услышали знакомый вой: немцы ввели в действие минометы. С надрывным плачем мины шмыкались оземь и рвались где-то совсем неподалеку. Комиссар штаба предложил идти быстрее. Катукон качнул головой:

— Погоди минутку...

Снова взвыгнула мина. На этот раз она легла ближе.

— Ложись, — скомандовал полковник, — сейчас упадет рядом!

И действительно, мина рванула совсем рядом, осыпав полковника и батальонного комиссара комьями земли. Полковник тотчас поднялся и спокойно сказал:

— Вот теперь можно идти спокойно. Забирай только чуть-чуть правее. Сейчас мины будут рваться левее. И впредь имей в виду: попадешь под минометный обстрел — прежде всего обрати внимание, как ложатся мины. Главное — уловить направление. Тогда всегда сумеешь уйти невредимым. А побегавши, не разобравшись, — сам свою голову подставишь...

В блиндаже командного пункта началась обычная напряженная работа. Теперь полковник, побывав на переднем крае в самый разгар операции, отлично представлял себе все детали боя и мог свободно планировать действия бригады и оперативно руководить ими. Трудно было со связью: вот уже два часа над рощей висели немецкие бомбардировщики, методически и жестоко перепахивая бомбами землю. Блиндаж завалило обломками деревьев, образовавшими допотопительный настил, и штаб чувствовал себя в относительной безопасности. Но провода рвались то и дело, и все-таки связисты ухитрялись снова и снова тянуть нити проводов сквозь изломанный, обгорелый лес, сквозь дым и огонь, под градом раскаленных осколков.

И в самые страшные минуты, когда казалось, что земля вот-вот разверзнется и поглотит остатки рощи со всем, что в ней находится, когда рев танков, артиллерийская канонада, вой мин, свист пуль и рокот десятков авиадвигателей достигали предельного напряжения, — телефонист штаба все тем же спокойным, немного усталым голосом повторял:

— Я — Незабудка... Я — Незабудка... Сосна, Сосна, я тебя слышу. Сейчас даю Тормоз...

Катуков брал трубку и с картой в руках слушал условный код. Оказывается, немецкие танки уже ворвались на передний край и злобно вертелись волчком над окопами мотострелков, сляясь размотать их вместе с людьми, которые там укрывались. Под тусклые летели связки гранат. Гибли одновременно и те, кто атаковал, и те, кого атаковали. Ни один боец не отступал. Катуков знал, что именно так все и должно было произойти, и все же ему было странно больно и горько, — он унес любовь людей своей бригады, такой дружной и сплоченной.

Было сделано все, что возможно человеку, и даже больше того: Катуков знал, что на поле боя уже сперло несколько десятков немецких танков, намного больше того, чем располагал Катуков; что у него потеря в танках еще нет никаких; что наступательный порыв немцев постепенно ослабевает. И все-таки было еще рано пускаться в ход танковый резерв, а бросать его в контратаку и вообще немыслимо — слишком велико было неравенство сил. И только в самые критические минуты, когда казалось, что немцы вот-вот прорвутся и все полетит к черту, — Катуков выбрасывал из лесу для короткого и стремительного удара небольшую подвижную группу, которая сердито огрызалась и откапывала обратно в лес.

Особенно тяжело пришлось минометной роте, против которой немцы бросили сразу четырнадцать танков. Минометчикам требовалась немедленная помощь, и Катуков приказал бросить в бой на этом участке взвод танков. Их повел в бой молодой танкист Лавриненко. Как горячие кони, рванулись с места его боевые машины. С грохотом и лязгом устремились они вперед, вытянув длинные шеи своих мощных орудий. Вот уже они вырвались на опушку. Вот они

выпрыгали на неровностях луга. Огонь! Еще сильнее огонь! Немецкие танки, водителям которых уже мерещилась в дыму и пламени близкая победа, несколько ошеломили от неожиданности: они не ожидали встретить здесь, после того, как, казалось, все уже кончено, — свежие, без единой царапины, мощные советские боевые машины.

А Лавриненко действовал по-суворовски, так, как учил его Катуков еще в глубоком тылу, где бригада проходила учебу: огонь с ближней дистанции, смелый маневр, уход в укрытие, снова огонь — с другой позиции — и снова маневр. Восемь танков уничтожил взвод молодого командира в течение считанных минут, остальные пустились в бегство, а Лавриненко вернулся в лес и лихо подвел все свои машины к стоянке, как вводит флагман свою эскадру в родную гавань.

— Молодец! — коротко сказал Катуков. И когда Лавриненко передал эту оценку, он невольно покраснел от смущения. А полковник был занят уже новым эпизодом боя. Ему сообщили, что другая мощная танковая группа немцев обходит позиции бригады на левом фланге. Снова надо было пускать в ход драгоценный резерв. На этот раз в бой был двинут свежий танковый взвод Воробьева.

Обе стороны понимали, что здесь, на левом фланге позиций Катукова, почти обойденном немцами, может решиться исход всего сражения. На стороне немцев был количественный перевес. На стороне советских танкистов была хитрость.

Командир танка, комсомолец Любушкин, дрался одновременно с восемью немецкими машинами. Выйди он в единоборство с ними, — его расстреляли бы мгновенно. Любушкин, заметив на луку стог сена, облюбовал его в качестве прикрытия и начал игру в жмурки: выскочит из-за стога налево, даст два-три выстрела, спрячется за стог. Потом выскочит справа, опять два-три выстрела, и опять за стог. Немцы никак не могли рассчитать, откуда он вынырнет через минуту: хитрый танкист играл своей машиной, как виртуоз. Зажечь стог им тоже не удавалось. И такая шаткая на первый взгляд опора, как жалкий стог сена, оказалась решающей для Любушкина: он уничтожил несколько немецких танков, а остальные обратил в бегство.

Сражение длилось до глубокой ночи. Наблюдатели, следившие в бинокли за полем боя, насчитали на почерневшем лугу 43 подбитых немецких танка. 43 из 180! Остальные танки, как раненые звери, бессильно отползли в долину и замерли там до утра. Но Катуков вовсе не был намерен давать им передышку, он приготовил еще один жестокий сюрприз. Как только на поле, залитое бензином и кровью, опустилась ночь, из леса выползли разведчики. Они точно установили место сбора немецких танков, выжидали, пока из тыла не подошли их резервы, и доложили об обстановке Катукову. Звонок в артиллерийскую часть, которая до этого не получала никаких вестей о своем существовании, — и там, где несколько минут тому назад стояли немецкие танки и машины с боеприпасами, к небу поднялся высокий огненный смерч...

Было уже далеко за полночь, когда танкисты закончили свой коллективный рассказ о страшном бое у селения Первый Воин. Они говорили горячо, вспоминая мельчайшие детали пережитого, — ведь этот бой был особенно близок каждому из них, как экзамен, на котором бригада завоевала право именоваться гвардейской.

Бой у Первого Воина явился одним из решающих на том направлении: потеряв десятки танков, встретив сильнейшее и неожиданное сопротивление,

танковая группа Гудериана остановилась и надолго выпустила инициативу из своих рук.

— Ну, а дальше начинается новая глава,— сказал в заключение Катков. Как раз тогда под Москвой обстановка складывалась особенно трудно: это было в середине октября. Надо было спешить. Нам предлагали грузиться в эшелоны, но мы попросили разрешения идти своим ходом,— это было труднее, но надежнее: нам незачем было рисковать и ставить свои танки под угрозу бомбежки с воздуха. Нам дали разрешение, и мы пришли сюда. Между прочим, в пути Лавриненко снова отличился: он один со своим танком спас большой город, к которому прорывались немцы. Дело было так: Лавриненко отстал от колонны, что-то у него не ладилось в машине; копчил ремонт, а тут — прорыв; к нему обратились за помощью, и он, не долго думая, пошел в бой. Немцев, конечно, прогнал. Не могли же они предполагать, что против них сражается всего-навсего один танк! А машина у Лавриненко очень прозная. Впрочем, это особый разговор. О Лавриненко целую книгу можно написать. А сейчас пора уже спать, товарищи. Завтра у всех у нас большой рабочий день...

Переночевав в Чисмене, мы выехали ранним утром на передний край позиций, занятых бригадой Катукова. И здесь мы увидели много такого, что до сих пор отнюдь не было типично для танковых частей. Мы увидели танкистов, занятых саперными работами, танкистов-землекопов, танкистов-минеров, танкистов-строителей.

— Знакомьтесь,— сказал комиссар штаба Мельник, подводя нас к коренастому танкисту в теплом комбинезоне,— старший лейтенант Бурда. У него на текущем счету уже шесть немецких танков, а будет штук шестьдесят,— ручалось! Посмотрите, как он здесь устроился...

Старший лейтенант Бурда, поздоровавшись, заметил:

— Вперед трудно загадывать, но постараемся...

Позиция у него и впрямь была первоклассная. Свои танки он разместил на скате высокого холма в глубоких земляных укрытиях и так замаскировал их сеном и снегом, что разглядеть их можно было только вблизи. В каждом укрытии имелся хорошо оборудованный путь отхода для танка: в любую минуту водитель мог дать задний ход, выскочить из укрытия и ринуться на врага. Это и была танковая засада, замечательное изобретение советских танкистов, сыгравшее такую большую роль в памятных боях у Орла.

Холм, на котором танкисты оборудовали свои засады, командовал над местностью. Далеко-далеко вперед, чуть ли не до самого Волоколамска, уходили занесенные снегом поля. Поодаль высилась темнозеленая стена леса. Темными линиями проектировались на снегу дороги. И здесь, как и всюду, царил тишина. Но здесь людей было уже меньше: танкисты настоятельно советовали колхозникам уходить.

Брошированные крепости танкистов, выдвинутые на аванпосты столицы, были готовы принять сокрушительный удар немцев; в том, что такой удар последует, ни у кого не было и тени сомнения.

Вечером мы снова сидели в штабе полковника. Он, по обыкновению, был радужен и гостеприимен, угощал москвичей чудесными алма-атинскими яблоками, присланными в подарок командирам, рассказывал и интересные истории о приключениях своих лихих разведчиков; но было видно, что мысли Катукова были где-то очень далеко.

Когда полковник куда-то вышел, комиссар нам сказал:

— Вы знаете, у него большое горе. Сын Катукова — пилот. Истребитель, командир звена. Расстались они в июне, и с тех пор ни одного письма, ни одной весточки. Только в сентябре пришло письмо от деду, отца нашего полковника, — был тогда пилот жив, писал делу, что катуковскую марку держит: сбил уже семь немецких самолетов. А потом опять ни слова. Недавно ему исполнилось двадцать четыре года. Ну, мы тут злочно его именины справили, хотели немного повеселить полковника. Да что там! Человек он — кремень, снаружи не увидишь, что у него внутри делается. Но мы-то знаем, что ему это спокойствие дорого стоит...

Катуков вернулся, и комиссар резко оборвал разговор. Кто-то из журналистов невпопад спросил:

— Ну, а как вы, все-таки, ваши ближайшие перспективы, полковник?

Катуков, как всегда, вежливо улыбнулся:

— Ближайшая перспектива — строго сохранять военную тайну. А если вы хотите узнать о перспективах дальнейших, не теряйте с нами связи. Загляните ко мне через недельку. Я думаю, что к этому сроку германское командование что-нибудь придумает...

Подумав, он добавил:

— Придумает... А может быть, кое-что придумаем и мы.

Через недельку наша выдавшая виды фронтовая «эмка» уже ковыляла по ухабам занесенных снегом проселков. В Чисмене мы генерала (теперь Катукوف уже стал генерал-майором) не нашли. Не нашли и Первой гвардейской танковой бригады (теперь она уже стала гвардейской).

— Гвардейцам надоело ждать, — ахнул регуляровщик, указавший нам путь налево, — пошли будить зверя...

Мне вспомнилась фраза, брошенная как бы невзначай Катуковым: «Запомните: лучший вид защиты — это нападение». Да, он оказался верен своему слову. Готовя прочную оборону занятых позиций, Катукوف в то же время делал все, чтобы в любую минуту бригада была готова к наступлению. И теперь, когда советское командование решило упредить немцев и внезапным ударом расстроить их наступательные планы, бригада Катукова легко и стремительно рванулась вперед...

Как раз накануне был опубликован приказ народного комиссара обороны СССР товарища Сталина, в котором было сказано: «За отважные и умелые боевые действия 4-ю танковую бригаду впредь именовать «1-я гвардейская танковая бригада». Одновременно было напечатано сообщение о том, что полковнику Катукovu присваивается звание генерал-майора и что он награждается орденом Ленина.

И вот уже мы подъезжаем к полю битвы. Как резко изменился пейзаж этих благодатных подмосковных мест! Куда исчезла безмятежная тишь! За ближним лесом поднимаются к небу злоеющие клубы дыма. В небе тают облачки разрывов. На обочине шоссе багрово-желтым пламенем пылает огромный тягач незнакомой формы. Село, через которое приходится проезжать, завалено рваной, измочаленной щепой, — это все, что осталось от изб после артиллерийского обстрела. Снег на обочине посерел и словно покрылся сыпью: здесь рвались мины.

Штаб Катукова мы нашли в совершенно неожиданном месте; трудно и придумать хитрее. На опушке леса — полуразвалившаяся землянка. Сюда тя-

нутя нити проводов, присыпанные снегом. Никому из немецких разведчиков и в голову не придет, что генерал может забраться со своим оперативным штабом в такую некомфортабельную дыру. И пока немецкие бомбардировщики выются над соседней деревней, штаб спокойно и деловито руководит боем.

Вот и Катукон. Он все такой же, спокойный, уравновешенный. Только под глазами лепни резкие черные тени.

В землянке холодно. Генерал — в простой красноармейской шинели, на петлицах которой наскоро нарисованы химическим карандашом две звездочки. Катукон никогда не гонится за внешним эффектом, — сейчас война, а не парад.

За лесом ревет артиллерия. Со свистом и шипением взвиваются одновременно десятки мин. Черная копоть оседает на одежде снегом ели. Безумству звонят полевые телефоны. Подполковник Кульвинский чертит торопливо новую схему удара.

— Поздравляем вас, генерал, с орденом...

— Спасибо. Но давайте условимся: сегодня наш разговор будет коротким. Пройдите вон под ту елку, не будем мешать начальнику штаба...

Канонада еще больше усиливается. Генерал смотрит на часы:

— Сейчас стрелки пойдут в атаку...

Обстановка такова. Данные разведки, полученные нами, показали, что немцы готовят новое крупное наступление на Москву. Одним из многих опорных пунктов они выбрали село Скирманово, вон там, за лесом. Командование поставило задачу: предупредить противника, нанести ему удар первыми, спугнуть тем самым их наступательные планы на этом участке. Сегодня ночью, действуя во взаимодействии с другими частями, мы выбили немцев из Скирманова. Немцы оставили десятки подбитых танков, несколько орудий, тягачи, большое количество вооружения и боеприпасов. Сейчас бой идет за Козлово. Наши части развивают успех...

Катукон зовут к аппарату. Он просит извинения и прощается.

— Загляните в Скирманово. Там вы найдете кое-что любопытное.

Мы побывали в Скирманове. Сейчас, после Калинин и Кулипа, Казули и Медыни, многое из того, что нас поразило тогда, кажется обыденным и привычным. Человек легко осваивается с самыми удивительными вещами, и наши фоторепортеры, например, просто презрительно морщатся, завидев подбитый немецкий танк: «Подумаешь, левизна! Вот если бы встретили эшелон, груженный танками, тогда, быть может, стоило бы снять!» Но тогда Скирманово произвело на нас, москвичей, определенно отрадное впечатление: ведь это был один из первых наших сокрушительных контрударов.

Все было любопытно нам: и громады горелых немецких танков, и огромное орудие новейшего выпуска с силуэтом краснозвездного танка на стволе, означавшим, что оно применяется специально для борьбы с нашими сухопутными дредоутами, которых немцы боялись, как огня (недаром за уничтожение каждого из них немецкое командование сулило «железный крест!»), и немецкие блиндажи, заваленные горами куриных перьев и краденными женскими телогрейками.

У одного из блиндажей мы остановились. Фотографов соблазнил оригинальный натюрморт: у входа в грязную немецкую яму валялись обглоданные свиные ноги, неведомо зачем притащенная из избы какого-то колхозника жюна, украшенная наивными бумажными розами, каска, обшитая краденым

старушечьим платком, и несколько пулеметных лент. Я заглянул внутрь этого логова, заваленного сеном, в котором отогревались его недавние обитатели.

— Осторожнее, не наберитесь вшей...

Спокойный голос показался знакомым. Оборачиваюсь. Да ведь это же старший лейтенант Бурда! Вот и знакомые силуэты грозных боевых машин, которые мы видели в засаде у Чисмены. Сейчас они притаились в укрытиях, повернув свои длинные шеи в сторону раскинувшейся в долине деревни Козлово, над которой сейчас рвутся одновременно десятки снарядов, — там продолжается ожесточенный бой.

Некоторых гвардейцев нет. Ранен смелый разведчик Коровянский. Погиб смертью храбрых танкист-орденоносец старший сержант Матросов. Пелешово далась победа! И все-таки, в сравнении с потерями немцев, потери гвардейцев невелики.

Усевшись на завалинку чудом уцелевшей в этой переделке избы, мы беседуем с танкистами о событиях минувшей ночи. Беседа отрывочна, немного сбивчива, — люди еще целиком во власти пережитого. Но впечатления эти ценны своей непосредственностью и неподдельной искренностью.

— А помнишь, как они, сволочи, за кладбище уцепились? А Бутушенко-то, Бутушенко, — вот комик! Фриц-капрал бежит, а он — прыг из танка, за машинку гада и — будь здоров — в плен! Ну, а как Заскалько ~~еще~~ жару дал! Двенадцать орудий по нему в упор, а он — нуль внимания, фунт презрения: будьте добреньки под гусеницы! Ему что эти снаряды — горох! Чорта с два броню пробьют. А Самохин? Что ж ты молчишь, Самохин? Скажи, как ты их гранатами из люка лупанул!..

Самохин немного сконфуженно улыбается:

— Ну, так то ж не по уставу. Что я буду делать, если снарядов не осталось, а фрицы тут, рядышком, в блиндаже, тепленькие!..

И, как всегда, из таких отрывочных замечаний постепенно складывается картина боя, стройная, четкая картина. Мне невольно приходит на ум любимая фраза Катукова: «Надо крепкое сердце вметь». Именно это крепкое сердце решило успех операции минувшей ночью.

Немцы хорошо укрепились в Скирманове. Не будем вдаваться в детали операции: людям, ими интересующимся, они уже известны из специальной печати. Скажем только, что село было ими превращено в крепкий узел обороны с прекрасно организованной огневой защитой. Само расположение его благоприятствовало обороне: слева и справа овраги, а прямо — открытая местность, отлично пристрелянная.

Атака началась с утра после мощной артиллерийской подготовки. Катуков применил строй клина. Впереди шли разведывательные машины. Они мужественно принимали на себя огонь немецкой противотанковой обороны и тем облегчали движение главных сил. За разведчиками, поддерживая их, двигались могучие сухопутные корабли. Они шли клином, в несколько эшелонов, тараня и взламывая немецкую оборону.

Сокрушая все на своем пути, этот бронированный клин прорвался в село. И все же одним ударом сломить немецкую оборону не удалось. Тут-то и потребовалось то самое крепкое сердце, о котором любит говорить Катуков. Надо было на ходу быстро и четко перестроиться, применить новую тактику. И генерал сумел это сделать. Не давая немцам ни минуты передышки, он начал планомерно и методически выбрасывать вперед небольшие группы

танков, изматывая до предела нервы врага. Надо было создать видимость бесконечного наращивания сил.

Танки двигались вперед короткими скачками, нанося молниеносные удары с разных направлений. Снова отличился Бурда. Когда немцы, стремясь поправить пошатнувшиеся свои дела, бросили в контратаку припрятанную в резерве мощную танковую группу, он смело бросился вперед и один — один! — со своим экипажем уничтожил шесть немецких машин. Когда на кладбище ожили немецкие ДЗОТЫ, он бросился туда и похоронил под гусеницами своей машины шесть блиндажей со всей начинкой, живой и мертвой. Когда понадобилось вклиниться в глубину села, — он, не задумываясь, влетел туда, давил, мял, крушил немцев, как только позволяла техника.

Так наращивался, нагнетался успех. Уже погас день, спустились сумерки, зажглись в дыму пожарниц тусклые звезды, — а Скирманово все еще гремело, клокотало, прумело. Генерал, поеживаясь от холода в своей шинели, внимательно прислушивался к пульсу боя и, как опытный врач, ждал кризиса.

Нам рассказывал потом комиссар:

— Честное слово, его скупость некоторых злила. Ну, скажи на милость, зачем так жаться? Кажется, вот-вот подобрось еще пяток танков, и все кончится. А он их держит и держит в резерве. И это было правильно. Именно потому победа досталась нам не такой дорогой ценой, какую пришлось бы заплатить, если бы мы хоть чуть-чуть погорячились и поспешили...

Генерал и комиссар выжидали до глубокой ночи. Они уловили момент, когда в стане врага обнаружилось какое-то микроскопическое, едва уловимое смущение неуверенности, — и тогда по сигналу, переданному с командного пункта, с ревом и грохотом вылетели из укрытий, устремились на врага главные силы бригады. Взвыли могучие моторы, загрохотали гусеницы, багровые языки пламени проводили первые снаряды, взрывавшиеся из длинных стволов орудий, и немецкая пехота, ослепленная пламенем, оглушенная грохотом, подавленная этим проклятым боем, который длился вторые сутки без передышки, дрогнула и начала откатываться. Сначала медленно. Потом быстрее. Потом еще быстрее. И наконец побежала...

Все это происходило буквально за несколько дней до того, как Гитлер отдал свой печально-знаменитый приказ: «Учитывая важность назревающих событий, особенно зиму, плохое материальное обеспечение армии, приказываю в ближайшее время любой ценой разделаться со столицей Москвой». Последующие события как-то заслонили, отодвинули Скирманово. Но тот, кто в будущем займется изучением вопроса о том, как вырабатывалась наступательная тактика советских бронетанковых сил, найдет в своем труде место и для этого эпизода.

События развивались грозно и стремительно. Нужно было обладать крепкими нервами для того, чтобы полностью сохранить душевное равновесие в эти дни. Пятьдесят одна немецкая дивизия рвалась к Москве. Наши войска сопротивлялись с невиданным мужеством, но все же вынуждены были шаг за шагом отступать, теряя пространство и вытравывая время, необходимое для группировки новых ударных армий, призванных остановить и обратить вспять врага.

В холодный ноябрьский день в редакцию ввалился шумный фронтовой фоторепортер, обвешанный с ног до головы трофейным оружием и фотоаппаратами. Сбивая снег с воротника полушубка, он немного таинственно объявил:

— Из Истры.

И добавил, вытаскивая из-за пазухи новенький парабеллум:

— Тысяча и одна ночь! Это от Лавриненко...

Мы заинтересовались положением в Истре, но он вздохнул и отправился проявлять пленку. На снимке, который он показал нам через час, был снят горящий город Истра. На площади, в дыму и гари, стоял знакомый танк, а возле него Лавриненко. Оправившись от ранения, полученного в Скитманное, танкист вернулся в строй и сразу попал в горячие дела.

В то утро половина города уже была занята немцами, а вторую половину удерживали наши войска. Лавриненко со своим танком прикрывал одно из важных направлений. Буквально в две минуты он рассказал фоторепортеру, что происходит в городе, терпеливо постоял перед объективом, дал прикурить, а потом сердито сунул ему трофейный пистолет и крикнул:

— Что же ты стоишь, дурак? Не видишь, — мне воевать надо!..

— Ну, я и ушел, — немного обиженно закончил свой рассказ наш репортер. — И хорошо сделал, что ушел: там мины падать начали.

Еще через день линия фронта еще ближе придвинулась к Москве. Но танкисты были настроены оптимистично, хотя смертельная усталость была написана на их лицах, — они не выходили из боя уже много дней. И что за бои это были!..

— Когда-нибудь про эту войну будут писать книги, — задумчиво сказал мне комиссар, — и какие книги! Вот тогда и напишут про то, как мы уходили из Чисмены.

Мне вспоминалась тихая деревушка, в которой нас принимали гостеприимные танкисты две недели тому назад, кудрявые дымки над трубами, ребятишки на салазках, и тишина, странная, удивительная фронтовая тишина. На фронте мы ко многому присмотрелись, и теперь отлично знали, во что превращаются такие деревушки после того, как через них переклестывает вал войны.

В этот раз я только мельком увидел генерала, — он еще больше похудел и осунулся: приступ застарелой болезни скрутил его, и только чудовищное напряжение воли давало ему возможность сохранять все тот же отлично усвоенный невозмутимый и немного прощесский тон.

— Теперь мы с вами соседи, — говорил он, — что, честное слово, мы не будем слишком назойливы. Придет время, и вам опять придется погаться за нами!

На память об этой встрече я сохранил измятый клочок бумаги, исписанный карандашом. Это черновик какого-то донесения, который мне сунул начальник политотдела: описание исхода танкистов из Чисмены. Теперь уже можно передать его гласности как памятник времени:

«18 ноября 5-я, 6-я, 11-я и 35-я немецкие дивизии перешли в решительное наступление по всему участку фронта. 1-й гвардейской танковой бригаде было поручено прикрыть узел Покровское — Язвице — Грады — Чисмена, оказывая поддержку пехотной и кавалерийской частям. Наступление немцев было предпринято с четырех направлений — с юга, юго-востока, с запада и с севера. Многократное численное превосходство и географические выгоды обусловили успех немецких атак. Невзирая на героическое сопротивление наших частей, немцам удалось вклиниться в наше расположение. Гвардейцы вели себя достойно своего высокого звания, — они умирали, но не отступали. Шесть гвардейских танковых экипажей погибли смертью храбрых, прикрыв-

вая перегруппировку пехоты. Гвардейский зенитный дивизион, отвечая на удары немцев с воздуха и с земли, прикрывал сплошной огневой завесой поселок Чисмену. Одновременно два средних и три малых танка смелыми контратаками сдерживали натиск превосходящих сил противника. Все атаки с запада и с севера были отбиты. Но в это время немцам удалось выйти на южные подступы к Чисмене, ударив с тыла. Для отхода бригады оставался один путь — лесными тропами на северо-восток и на восток...

Да, предосторожность генерала оказалась далеко не лишней. Любая часть, оказавшаяся перед лицом четырех вражеских дивизий, отрезанная от дорог, была бы поставлена под смертельную угрозу, не изучи ее командование заранее во всех деталях все тропы и проселки!

Немцы сделали все для того, чтобы одним ударом покончить с гвардейской бригадой, причинившей им столько неприятностей. Им казалось, что пробил последний час Катукова: непрерывные воздушные бомбардировки, комбинированные удары с различных направлений, баснословный численный перевес — что еще требуется для разгрома одной единственной танковой бригады?

И все-таки сломить волю танкистов не удавалось. Они цепко держались за каждый клочок земли, за каждую позицию, заранее подготовленную для круговой обороны. И только когда отходящие части закончили перегруппировку и танкистам было приказано организованно занять следующий рубеж, Катукوف приказал отходить.

В допесении сказано коротко:

«Отход на Шебалково был совершен организованно, небольшими группами по лесным тропам...»

Совсем недавно батальонный комиссар Мельник подробно рассказал, что кроется за этой лаконичной фразой. Я живо представил себе знакомый мачтовый лес, узкие тропы, запесенные сугробами, и упрямых людей в синих комбинезонах, идущих вслед за сердито рычавшими маминами. Танки буксовали в рыхлом и мокром снегу. Под снежной пеленой скрывались зыбкие топи, и бурые пятна, страшные вестники трясин, преграждали путь. Надо было искать обходы, надо было вытаскивать на буксире застревающие машины, надо было отстреливаться от вражеских автоматчиков, надо было идти, идти и идти, чтобы во-время поспеть туда, где пехота уже ждала поддержки танков. И нельзя было оставлять в этом мертвом, гнилом царстве ни одного танка, ни одного трактора, ни одного автомобиля, ибо каждый из них в эти трудные дни решал исход боев.

С одной из групп шел генерал Катукوف. Он шел пешком, худой и бледный, но, как обычно, подтянутый и стройный. Он мог бы тухать вперед, мог бы сесть в танк, в автомобиль, но он предпочитал идти пешком, потому что знал — никакой приказ в трудную минуту не окажет такого сильного воздействия на бойца, как личный пример командира. Танкисты видели, что генерал идет с ними, и им сразу становилось легче и радостнее на душе.

Люди рубили вековые ели и клали их поперек незамерзших лесных бочажков, протоптывали дороги для автомобилей и помогали тракторам тащить пушки. Каждый шаг давался им с боем. Но к сборному пункту все подразделения вышли во-время, и ни один снаряд, ни один ящик с продовольствием не был оставлен в пути.

Передышки не было. Танки генерала Катукова немедленно развернулись и заняли новый рубеж, готовые оборонять его любой ценой...

Москвичи хорошо запомнили тревоги первых дней декабря.

Им памятни и свист немецких авиабомб, и отдаленный рокот дальнотойных батарей, и мерная поступь новых и новых отрядов, уходящих к фронту, и наглые немецкие листовки, обещавшие скорый конец советской столице.

В эти дни путь фронта бился особенно напряженно. Дальше отступать было некуда: синие и красные стрелы на штабных картах вознались уже в ближние дачные поселки, так хорошо знакомые нам всем, в те самые поселки, где еще в мае гуляли по выходным дням москвичи. И чаще всего в штабах повторялось слово «Крюково».

Да, немцам удалось прорваться сюда, на ближние подступы к Москве. Захватив ценой огромнейших потерь поселок Крюково, они готовились вонзить бронированный клин в самое сердце Москвы. Именно теперь немцы хвастались, что они видят в бинокли «самую середину» советской столицы. Но теперь уже можно со всей определенностью сказать, что на душе у них как раз в эти дни было черно: победы на флангах Москвы оказались для немцев Ширровыми победами.

Танкисты Катукова, как всегда, оказались на самом ответственном участке — под Крюковым. Генерал знал, что в самые ближайшие дни должно произойти нечто такое, что потрясет на весь мир: проявится изумительную выдержку, советское командование в сложнейшей обстановке немецкого наступления скрытно и умело заканчивало сосредоточение новых мощных армий, которые должны были все перевернуть вверх дном и положить начало разгрому фашистских армий, истекших кровью на подступах к Москве.

Может быть, именно поэтому генерал, невзирая на смертельную усталость, выглядел необыкновенно бодро в эти дни. С обостренным вниманием следил он за действиями противника.

— У нас было совсем не много сил, — рассказывал впоследствии Катуков. — Две недели непрерывных боев сделали свое дело. Но я чувствовал — понимаете, как-то физически ощущал, — что у немцев дела обстоят немногим лучше. Знаете, как говорят теперь наши бойцы: «Не тот немец пошел. Скучный немец, вялый». Правда, они еще наступали, а мы отступали. Но уже чувствовалось, что назревают какие-то новости. Надо вам сказать, что в нашем деле великую роль играет психология. Ее надо обязательно учитывать в военных замыслах. Ну, и вот мы с комиссаром подметили нечто весьма любопытное. Было это, по-моему, у Надовражья...

И генерал начал подробно рассказывать об этой операции, которая принадлежит к числу особенно любимых им.

За несколько дней до начала наступления частей Красной Армии — 2 или 3 декабря — генералу донесли об удивительном происшествии: в районе Горетовка—Бакаево три гвардейских танка пошли в контратаку и не встретили такого ожесточенного сопротивления, с каким им обычно приходилось иметь дело. Больше того: немцы при виде этих трех танков обратились в бегство, и притом в паническое бегство. Они бросили даже военное имущество.

Катуков внимательно изучал все обстоятельства этого странного события. Здесь могла иметь место либо провокация — преднамеренная демонстрация мнимой слабости для того, чтобы заманить танкистов, — либо подлинная слабость. Самое придирчивое изучение показало, что ни о какой провокации не могло быть и речи: немцы понесли большие потери и не получили никаких тактических выгод. Можно было предположить, что на этом участке

действовала какая-либо необученная, неопытная часть. Катуков разведал, — оказалось, что от трех танков бежало кадровое подразделение. Значит, действительно на психике немецкого солдата начало сказываться смертельное переутомление и полное истощение всех физических и моральных сил. Отсюда следовало, что время для активных наступательных операций назрело.

Катуков все же решил произвести еще одну проверку правильности своих выводов. Для этого требовалось как следует трихнуть какую-нибудь часть немцев и посмотреть, что из этого выйдет.

Танкисты в те дни обороняли отдельными засадами огромный участок фронта, прикрывая фланг армии. Тем не менее Катуков решил пойти на риск и снял с фронта восемь машин, свел их в единый бронированный кулак и сосредоточил для удара по немецкому тылу. Операция была поручена лихому танкисту Самохину, тому самому, который когда-то забрасывал из люка танка немецкие блиндажи ручными гранатами.

Операция была тщательно подготовлена. Разведчики изучили тайные лесные тропы. Техники идеально подготовили материальную часть. Сами танкисты тщательно изучили по карте местность, на которой им предстояло действовать, и продумали свой маневр. Генерал и начальник штаба проинструктировали их. И вот, глухой зимней ночью восемь танков Самохина углубились в лес и скрытно начали пробираться к селу Надовражье, превращенному немцами в опорный пункт. В предрассветных сумерках они подкрались к околице деревни. Оказалось, что как раз в этот час здесь остановилась большая немецкая колонна — до 10 танков, около 40 автомобилей, много пехоты, отряд мотоциклистов.

Дав полный газ, танки Самохина ворвались в Надовражье, стреляя из всех орудий и пулеметов. Что произошло дальше — описать трудно. «Пожар в кабаке с музыкой и танцами», — говорит по этому поводу Самохин. Его молодцы дважды промчались по улицам Надовражья, оставляя за собой какое-то месиво: достаточно одного легкого прикосновения гусеницы тяжелого танка, чтобы любой автомобиль, не говоря уже о его содержимом, превратился в гладкий металлический блин.

Растоптав три немецких танка, сорок автомобилей, пятьдесят мотоциклов и около роты пехоты, танкисты Самохина так же стремительно вылетели из деревни, как и влетели в нее. На этом можно было бы считать инцидент исчерпанным, если бы Самохин не заметил, что из лесу выходят две немецких танковых колонны, спешащих на выстрелы. Одна колонна подходила к селу с одного конца, вторая — с другого. Их водители смутно отлавливали себе отчет в том, что произошло в селе.

— Вот тут-то мой Самохин и показал им, что такое военная хитрость, — говорит, мягко улыбаясь, генерал, — артистический маневр!..

Об этом маневре он не устает рассказывать, — ему доставляет удовольствие сознание, что его воспитанники овладевают не только боевой техникой, но и тактическим искусством. А Самохин действительно сманивировал артистически. Скрытно передвигаясь за деревьями, он обстреливал то одну, то другую немецкую колонну. Окончательно сбив с толку фашистских водителей, он заставил их в конце концов сцепиться друг с другом, — каждая из немецких колонн приняла своих соседей за советских.

— Они лупят друг друга, а он добавляет, а он добавляет — то одному, то другому!..

Все восемь танков Самохина вернулись на свой сборный пункт без единой парашины. В Надворажье он разгромил 3 немецких танка, 30—40 автомобилей, 50 мотоциклов, подавил около роты пехоты. Самы немцы, вдобавок к этому, в суматохе, стреляя друг в друга, разгромили 5 собственных танков. Генерал был вполне удовлетворен результатами операции! Теперь окончательно было установлено, что наступательный порыв немцев выдыхается. Во-первых, они не сумели организовать оборону и действовали вяло, в то время как раньше на такие дерзкие налеты отвечали энергичными контрударами; во-вторых, они явно растерялись, чего с ними никогда раньше не было; в-третьих, они не смогли даже разобраться в создавшейся оперативной обстановке, не нашли противника и начали бить друг друга, — значит, смертельно измотались.

Теперь Катуков совершенно уверенно и спокойно ждал приказа о наступлении. Он знал, что успех его обеспечен, хотя даже теперь было совершенно очевидно, что немцы окажут самое ожесточенное и свирепое сопротивление — сопротивление отчаяния. Надо было думать о каких-то новых приемах, о новой тактике боя, рассчитанной на новые условия. Если раньше, в период отступления, Катуков славился как чрезвычайно скупой, бережливый военачальник, который трижды рассчитывал и трижды взвешивал все «за» и «против» перед тем, как ввести в бой хотя бы один танк из резерва, то теперь он сам предупредил танкистов, что каждый экипаж получит активное боевое задание в первой же атаке. Если раньше танки Катукова преимущественно дрались из засад в одиночку, мелкими группами, то теперь он планировал массированные удары бронированным кулаком.

— Теперь мы будем действовать нахально, — запомните это, — говорил генерал танкистам. — Дерзость, стремительность и нахальство, — вот что нам требуется сегодня!

Танкисты Катукова должны были решать в наступлении вместе с стрелковой частью трудную задачу: надо было выбить немцев из поселков Каменки и Крюкова, тесно примыкающих друг к другу. Это была прекрасно укрепленная, танко-недоступная позиция: с северо-запада и с юга ее защищали глубокие овраги и долины речек, остальные участки немцы прикрывали прекрасно организованной системой огня. Поселки изобиловали прочными каменными зданиями, которые немцы превратили, как обычно, в долговременные огневые точки.

Бои под Крюковым шли уже несколько дней, но пехоте не удавалось прорвать оборону немцев, несмотря на то, что на отдельных участках ее поддерживали танки. Немцы располагали преимуществом укрепленной позиции, к тому же у них было в три раза больше танков. Надо было и в новых условиях, в условиях наступательного боя, еще раз доказать, что в бою важен не тот, кто сильнее, а тот, кто умнее и хитрее. И Катуков выдвинул свой дерзкий и смелый план. Он свел все свои танки в две массированные группы и предложил нанести одновременно два решительных обходных удара по Каменке и по Крюкову с тем, чтобы пехота атаквала немцев в лоб в тот самый момент, когда танки дезорганизуют немецкую оборону ударом с тыла.

План Катукова был принят командованием. Генерал перебрался вместе с комиссаром в железнодорожную путевую будку, где расположил свой командный пункт командир пехотной части, и оттуда начал руководство операцией танкистов.

Поздней ночью заговорили орудия. Немцы решили, что готовится очередная атака на их передний край, и приготовились к ее отражению. А в это время две мощные танковые группы под грохот канонады обтекали немецкие фланги, готовясь нанести внезапные удары с тыла. Группа, действовавшая против Крюкова, пересекла железнодорожную линию, вышла в район жиряничного завода и на предельной скорости ворвалась в расположение немцев с востока. Другая группа обошла Каменку с севера и ударила прямо в тыл противнику.

Танки мчались молча, прозные и стремительные. Немцы, не разобравшись, приняли их за свои машины. И только подойдя вплотную, гвардейцы открыли ураганный огонь из всех орудий и пулеметов — по штабу, по автобусам, по автоколоннам немцев. Немцы сопротивлялись с отчаянием обреченных: здесь, на улицах Крюкова и Каменки, решалась судьба немецких планов захвата Москвы. Бесспорно тесная близость противников умножала ожесточение боя. Два танка, наш и немецкий, одновременно в упор выстрелили друг в друга, и оба разлетелись в куски. Неимоверный грохот стали, стоны раненых, рев моторов смешивались в один свирепый гул.

Немецкая пехота, сосредоточенная на переднем крае оборонительной полосы, повернула вспять и начала втягиваться в поселок, предполагая, что наши части обошли Крюково и ведут бой в тылу у них. Наши пехотинцы, только и ждавшие этого, устремились в лобовую атаку. Все смешалось. Зажатые между танками и нашей пехотой, немцы замесались и начали отходить.

Но и здесь им пришлось получить еще один сюрприз, заранее приготовленный предусмотрительным генералом: его пехотинцы, установив на флангах станковые пулеметы, лавиной кинжального огня отрезали путь отступления противнику.

Это был удар, от которого немцам было трудно, почти невозможно опомниться. И они побежали. Побежали так, как до этого никогда и нигде не бегали. Тогда-то и образовались вдоль дорог великие кладбища немецкой техники, которые теперь отлично знакомы каждому по газетным фотографиям и киносьемкам.

Танкисты Каткуова отступали с боями от Чисмены до Крюкова в течение месяца.

От Крюкова до Чисмены они дошли в период наступления за семь дней...

И вот уже мы в добрых 130 километрах от Москвы. Много дней минуло с тех пор, как мы познакомились с Каткуовым и его чудесными бойцами и комиссарами, много событий прошло, много снега выпало в Подмоскovie, и много дорог пройдено. Собравшись на коротком биваке в генеральской «пещере Лейхтвейса», мы перебрали по именам своих фронтовых друзей. Некоторых предсчитались. Больше всего было узнать о том, что нет уже на свете храброго танкиста Лавриненко. 47 танков уничтожил этот юшопа, трем смертям смотрел в глаза, три машины сменил на поле боя, но крепко берегла его судьба до тех пор, пока пустой случай не оборвал его молодую жизнь: вышел он на дороге из танка, хотел осмотреться, и шальной снаряд, рванувшийся рядом, убил его.

Пет Лавриненко, нет Матросова, нет еще многих. Но жив Бурда, — теперь он уже капитан и командует танковым батальоном; жив Самохин; выздоравливает Коровянский, — жива и сильна бессмертная танковая гвардия. И вот ее пополнение — молодые, храбрые командиры; каждый из них готов, не заду-

мываясь, сию же минуту пойти хоть к чорту в пекло, но показать, что и он достоин быть настоящим гвардейцем.

Мигает закоптелая керосиновая лампа, колеблются тени на стенах. Генерал заканчивает затянувшуюся беседу с попомнением:

— Остается сказать о себе... Должны же вы знать, кто вами будет командовать. Сам я из крестьян Московской области, Коломенского уезда, — это километров сто от Москвы. В детстве бабрачил. Потом революция, праздничная война. С 1919 года в Красной Армии. Начинал бойцом. Был под Царицыном, под Воронежем, под Варшавой. Дрался с бандитами на Гомельщине. Потом учился на курсах комсостава. Был помкомроты, комроты, комбатом, ну, и так далее — до командира дивизии. Кончили школу «Выстрел». Учился в академии механизации и моторизации. С 1932 года в партии. Воюю с 22 июня. Всяко приходилось; бывало и трудно. Но ведь война вообще — специальность нелегкая. Думаю, что привыкнете и вы...

Откинув плащ-палатку, заменяющую дверь, в отсек подвала вошел человек в полушубке.

— Разрешите обратиться, товарищ генерал. По срочному делу — от командарма...

Катуков кивнул офицеру связи, поднялся и сказал:

— Закончим на этом. Начальник штаба вручит каждому из вас назначение, и — в полк, в полк! Вас ждут там. Всего наилучшего, товарищи командиры!..

Распечатав пакет, генерал углубился в чтение полученного приказа. Вместе с командирами мы поднялись по обледеневшим ступеням и вышли во двор. Грохот канонады стал явственнее. В небе полыхали багровые зарницы. Высоко взлетали голубоватые осветительные ракеты. Трассирующие пули, как мотыльки, трепеща, уносились куда-то вдаль.

Привычный и строгий пейзаж войны! Вот только трупов здесь, пожалуй, побольше. За этот пригорок дрались особенно ожесточенно: немцы сидели вон в том кирпичном здании, а наши — здесь, через двор. Так и дрались, с расстояния в сорок метров. Немцы дорого дали бы за то, чтобы удержаться на этом берегу реки. Не вышло. А теперь им придется катиться и катиться все дальше на запад: оборонительная линия взломана на всю глубину...

Послышался легкий скрип снега. Я оглянулся, — генерал, залахивая на ходу шинель, шел с каким-то военным в полушубке и на ходу корил его:

— Как же это вас удивительно засадили его в ров? Суворов через Альпы переходил, а мы что же — разве такие уже стали слабосильные? А вы знаете, какая у него мощность?..

Я понял, что речь идет о мощном танке, который сегодня ночью увяз в снегу, свалившись в ров. Катуков уже несколько раз говорил об этом как о возмутительном факте, — он бережет каждую машину, как драгоценность. Командир что-то смущенно ответил.

— Ну, вот видите! — воскликнул Катуков. — Такая сила! Когда я служил до войны в Витебске, у нас там была трикотажная фабрика. Считалась фабрикой союзного значения. А мощность ее моторов, всех вместе взятых, в два с половиной раза меньше, чем у валшей машины. Понимаете, что вы наделали? Две с половиной фабрики засадили в канаву!..

Командир снова попытался оправдаться, но Катуков протрез отказался слушать объяснения и сухо оборвал:

— К утру машина должна быть в строю. Понятно? Можете идти...

Я догнал генерала. Он шел к церкви, у которой дымились походные горны, — там уже третьи сутки непрерывно работала походная мастерская, возвращавшая жизнь танкам, изувеченным в боях. У одной машины перебирали гусеницу, у другой ремонтировали мотор, у третьей меняли приборы.

Катуков озабоченно осматривал танки, советовал, торопил, расспрашивал техников о том, что им требуется для того, чтобы ускорить ремонт. Было видно, что виденное вполне удовлетворяло его. И все-таки он добивался ускорения темпов. В конце концов он выяснил, что к утру все интересующие его машины смогут принять участие в операции. Только тогда он оставил танки в покое, вытер руки, и мы направились обратно в «пещеру Лейтвейса». У шоссе пришлось на минуту задержаться, — по замерзшей, обледенелой дороге грохотали могучие тягачи, тащившие за собой чудовищные сверхмощные орудия.

— АРПК, — с удовлетворением сказал Катуков, — артиллерия резерва главного командования. Чудесные музыканты! Теперь уже скоро начнется концерт. Вы его послушаете...

Он помолчал, всматриваясь в небо, исчерченное ракетами и освещенное багровым пламенем, и вдруг добавил:

— Вы знаете, — у меня сегодня большая радость! Вам, наверное, рассказывали о том, что у меня исчез сын? Не отговаривайтесь, — я же знаю, что наши товарищи устроили тут целый заговор: все боялись, чтобы как-нибудь кто-нибудь меня об этом не спросил. Чужаки! Впрочем, это от хорошего сердца идет... Так вот, сегодня получил письмо от сына. Был ранен. Сейчас в госпитале. Скоро опять поедет воевать. Честное слово — гора с плеч!..

Я вспомнил далекую теперь Чисмену, тихий вечер в избушке, где помещался штаб, торопливый рассказ комиссара о пропавшем, улыбку Катукова, — улыбку, не могшую скрыть тревоги, которую ему так хотелось скрыть. Захотелось от всей души поздравить этого человека, сумевшего отвлечься от всего личного ради этой войны и все эти дни продолжать работать с аккуратностью добротного механизма, который одинаково ровно движется и в стужу, и в жару, и под дождем. Но разве найдешь для этого настоящие слова?

А по дороге мимо штаба все шли и шли колонны сверхмощной артиллерии, бежали лыжники в белых халатах, проходили полки пехоты в теплых шалках, в ледяных валеных сапогах; неслись конники.

Продолжалась суровая жизнь войны.

Л. РЕШЕТНИКОВ

ИЗ ЦИКЛА „ДНЕВНИК ВОЙНЫ“

Утро 22 июня 1941 г.

* * *

Нет! Не забудем, не простим
Мы этого рассвета им!

Запомним все: и сад, и дом,
И тень паучью под крылом.

Как зло переела землю сталь.
Как замутилась дылом даль.

Как закричали корабли
У берегов родной земли.

Как глухо ахнула вода.
Как зашатались города.

Воронки. Стекла. Кирпичи.
И над ребенком мать кричит!

О, этот крик глухой тоски!
От горя белые виски.

Разрытый сад. Разбитый дом.
И тень паучья под крылом.

Нет! Не забудем, не простим
Мы этого рассвета им!

Запомним, как мы покаялись
Жестоко мстить за стон земли.

Ни утром, ни в глухой ночи
Не забывать, как мать кричит,

Не видеть дома и семьи,
Не обнимать невест своих,

С винтовок не снимать патрков,
Не выпирать с шинелей кровь,

Пока от сел и до Кремля
Свободно не вздохнет земля!

* * *

Нас провожали девушки. Цветы
На молчаливых хоботах орудий
Горели, словно брызги чистой крови.
И облака, сверкая опереньем,
Далекие на запад уплывали...
...И вдруг старушка нас перекрестила.
И на дороге молча старики
Стояли с обнаженными под ветром
Седыми головами. Е полустанку

Спешила мать, неся в руках ребенка.
Чтоб он запомнил этот тихий вечер,
И нас с тобой у хоботов орудий,
И эти, на закате, облака...

А мы стояли тихо и молчали.
И только на стволах больших орудий
Цветы горели — словно брызги крови...

Июнь 1941 г.

ТАНКИ ИДУТ В АТАКУ

Встаёт над опушкой утро.
Сверкает на танках иней.
И мощные сосны на солныце,
Как бронзовые, горят.
И свет под ногами синий,
И воздух над снегом синий.
У люков открытых багнет
Танкисты молча стоят.

— Сейчас, товарищи, утро.
И солнце встает над нами.
Нас ждут с нетерпением братья.
За нами следит весь мир.
Так не уроним же в битве
Наше славное знамя! —
Сказал, поднимаясь на башню,
Наш молодой командир.

— Грабят родные села
Пьяная, дикая свора.
Жены и сестры наши
Выплакали глаза.
Там, где проходят звери,
Углей осыпает ворох,
Там узнают ребятишки,
Что такое слеза.

Стоит земля родная.
Пашни молчат сурово.
Матери на пожарищах
Идут детей в огне...
Разве найдется такое
Жгучее, горькое слово,
Которое сможет выразить
Нашу тоску и гнев!

Сейчас, товарищи, утро.
И солнце встает над нами.
Нас ждут с нетерпением братья.
За нами следит весь мир.
Так не уроним же в битве
Наше славное знамя! —
Это сказал нам утром
Наш боевой командир.

Тогда мы рванулись в танки.
И дрогнули под ветром иней.
Рука на стартере. Привычно
К прицелу прикован взгляд.
Моторы взревели. От русениц
Снег разлетается синий.
И сосны раздвинулись. Танки
В атаку, на запад, летят...

Можайское шоссе.
Октябрь 1941 г.

КТО СКАЖЕТ НАМ...

Кто скажет нам, что слишком мы
жестоки?

Взгляни: дымятся головки пожарниц.
И угли не остыли. Горышки пепел
Лежит на месте мирного селенья...
И только трубы — каменные трубы! —
Стоят в ночи, крича о злодеянии...

Нет, никогда мы не были жестоки.

Но смерть детей, сожженных в
колыбели,
Но лица молчаливых матерей
С сухими воспаленными глазами,
Но кровь сестер, за ночи посевших,
Взывают к нам о глупе и возмездии...

Пусть скажут нам, что стали мы
жестоки.

Истра.
Декабрь 1941 г.

* * *

*Бойцу-комсомольцу,
замполитруку Б. Парфенову*

Взвод два раза к вторью подступал
Этой распрямленной высоты.
Но чужой стрелок, в море застыл,
Жгучим ливнем дважды нас встречал.
В третий раз пошел в атаку взвод.
И тогда сквозь шквал свинцовой бури
Замполит метнулся к амбразуре
И закрыл собою вражий ДОТ...

* * * * *

Тихо стало. Встали облака.
Сосны над обрывом зашумели.
Замполит в простреленной шинели
Мертвым взглядом смотрит на закат...

Смоленск.
Июль 1941 г.

БАТАЛЬОН ИДЕТ НА ЗАПАД

Искалеченные, наезд
Повернули дороги снова.
На крутых поворотах рычат
Краснозвездные танки сурово.
Гул шагов. И морозный звон.
Тянет дружный с пожарами запах.
Вновь с боями идет батальон
Раз пройденным путем на запад.

Бурлесит метель с утра.
Седоластые шепчутся ели.
И холодные, злые ветра
Хлещут серые полы шинелей.

Но попрежнему штык ослеп.
Сталь винтовки в руках исклещает.
На призывах ночной костер
Тела синих штыков шатают.

На снегу под рукой автомат.
Час на сон под еловой лапой.

У костра на плашноте комбат
Стрелы красные мечит на запад.

Окоро небо окрасит заря.
Закачались сосны верхушки.
Сон разбудит визжащий снаряд
Батальонной недремлющей пушки

Снова бой за село, за дом.
Бой короткий, без лишнего слова.
Кто-нибудь упадет ничком.
Выйдут жители к хатам снова.

И вперед! Снова снега звон.
След железной, от танка, лапы...

Вновь с боями идет батальон
Снегов лес и снега на запад!

Каменка
Декабрь 1941 г.



А. МАЦКЕИЧ А. ШАРОС

РОСТОВСКИЕ ЗАПИСИ

1. ВЗЯТИЕ РОСТОВА

Первый день

Двадцать девятого ноября в четыре часа дня советские войска освободили город Ростов-на-Дону от немецких оккупантов. Гейбельсовское радио попыталось еще раз обмануть общественное мнение, сообщив, что отступление произошло не под ударами Красной Армии, а инициативно, организованно и, главное, временно, для расправы с нежелающим смириться населением оккупированных районов. Этой лжи не поверили даже немцы. Она вызвала раздражение в кругах германского командования и шашмешки во всем мире. Отступление немцев напоминало скорее паническое бегство. В самом деле, с запада на восток, наступая от реки Самбек до Ростова, части мотомеханизированной группы генерала Клейста проделали этот путь за 45 дней. Чтобы пробегать обратно, им потребовалось всего трие суток.

Иначе говоря, темп советского наступления был в пятнадцать раз стремительнее германского. Только на реке Самбек, используя господствующие высоты и крутой западный берег, где заранее была построена мощная система оборонительных укреплений, немцы сумели на некоторое время закрепиться.

Победа под Ростовом означала не только успех на одном из участков фронта — она знаменовала новый этап в истории отечественной войны. Товарищ Сталин высоко оценил ростовскую операцию. В ночь с 29 на 30 по радио была передана его поздравительная телеграмма:

**«ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ЮГО-ЗАПАДНОГО НАПРАВ-
ЛЕНИЯ МАРШАЛУ ТОВ. ТИМОШЕНКО.**

**КОМАНДУЮЩЕМУ ЮЖНОГО ФРОНТА ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВ-
НИКУ ТОВ. ЧЕРЕВИЧЕНКО.**

**ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПОБЕДОЙ НАД ВРАГОМ И ОСВО-
БОЖДЕНИЕМ РОСТОВА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗА-
ХВАТЧИКОВ,**

**ПРИВЕТСТВУЮ ДОБЛЕСТНЫЕ ВОЙСКА 9-й и 56-й
АРМИЙ ВО ГЛАВЕ С ГЕНЕРАЛАМИ ХАРИТОНОВЫМ И РЕМИ-
ЗОВЫМ, ВОДРУЗИВШИЕ НАД РОСТОВОМ НАШЕ СЛАВНОЕ
СОВЕТСКОЕ ЗНАМЯ.**

И. СТАЛИН.

Москва, 29 ноября 1941 года».

Мы вступили в Ростов вечером 29-го, в первые часы восстановления советской власти. На окраинах еще шла перестрелка, а над воротами, подъезжавшие жители вывешивали красные флажки, с опасностью для жизни бережливые мы в дни немецкой оккупации.

Город и дороги к нему воскрешали картину совсем недавних боев. От Ахсая до северных окраин Ростова путь преграждали сожженные, разбитые немецкие танки и автомашины. Дула замолчавших вражеских пушек были направлены на север. Здесь враг еще яростно сопротивлялся.

А дальше картина резко менялась. В одном из окраинных домиков на столе лежало недописанное письмо: «Дорогая Эльза! Нам говорили, что Ростов — путь к победе. Теперь я вижу — эта дорога приведет только к смерти...» Немец не успел окончить письма: надо было бежать. Именно бежать, а не отступать. На улице Энгельса, на Буденновском проспекте, на шоссе, ведущем в Таганрог, каждый метр говорил о стремительном разгроме немцев. Вот стоит машина, вполне исправная, даже ручка вставлена в хруповик. Оставалось только завести. На столах немецких штабов лежали документы — не было времени ни увезти их, ни спрятать, ни сжечь. «Дорога к смерти», — справедливо писал неизвестный немец. По обочинам валялись трупы мертвых солдат, в темноте возникали силуэты танков, автомашин, орудий, брошенных врагом. В штабах полков трудами лежали трофеи: пулеметы, пистолеты, автоматы. Трудно было даже подсчитать их число. Через несколько дней были подведены лишь предварительные итоги. Под Ростовом захвачено 118 танков, 210 орудий, 306 пулеметов, 178 минометов, 4050 винтовок, 831 автомашина и много другого военного имущества.

Через освобожденный Ростов советские войска шли на запад. Был сильный мороз, но люди, не замечая холода, часами стояли у ворот, сияющими глазами провожая проходившие мимо части. Женщины дарили бойцам бутылки с горячим чаем, пышки, гусиный жир, предохраняющий от обморожения, теплые, домашней вязки, толстые шерстяные носки. На улицах вокруг красноармейцев и командиров собиралась толпа и сами собой возникали летучие митинги.

Поздним вечером на Буденновском показалась странная фигура. По середине мостовой маленький седой человек с видимым усилием катил перед собой железную бочку. Иногда он останавливался, растирал озябшие пальцы, дуя на них, потом снова упирался грудью в тяжелую бочку, и она нехотя катилась дальше.

На углу улицы Энгельса старик неожиданно остановился. Впереди, окруженный толпой ростовчан, двигался отряд Красной Армии — один из первых вступивших в Ростов. Красноармейцы устали, шинели у них обтрепались, пропитались грязью, но такое счастье излучала толпа, что бойцы, позабыв усталость, шодтянулись, выправлялись, как на параде, и шли, высоко подняв головы.

Старик подождал, пока отряд не поравнялся с ним, и неожиданно сильным движением выкапил вперед бочку.

Бруто потянув поводья, командир остановил коня. Старик раскрыл рот, видимо, желая что-то сказать, но лишь едва слышно пробормотал несколько неразборчивых слов.

Отряд стоял по команде «смирно». Толпа удивленно молчала, командир сошел с коня.

В толпе нашлись люди, знавшие этого человека. Они рассказали, что он работает сторожем в пекарне и семь дней бесценно берег бочку с бензином. Когда пришли немцы, он им сказал, что бензин минирован. Немцы ушли. Может быть, это была единственная бочка бензина, сохранившаяся к этому моменту в городе.

Командир подошел к старику и, обняв, крепко поцеловал.

— Так что отдайте распоряжение принять бочку, чтобы по всей форме, — почему-то очень строго сказал старик.

— Принять бочку! — крикнул командир.

— Есть! — отозвались из задних рядов.

Несколько рук протянулись и опознали ее. Отряд двинулся дальше. А сзади, звеня на булыжной мостовой, катилась промывающая веселая бочка.

С разных сторон в город вошли милиционеры, и, словно ни в чем не бывало, словно так же было и вчера и позавчера, стали на своих постах. Но о «вчера», о семи днях немецкого господства, забыть было невозможно. На Театральной, на улице Энгельса — по всему городу лежали трупы расстрелянных советских людей. Стену Дома водников немцы в каком-то зверином азарте изрешетили пулями до самой крыши. А возле, на пропугаре, лежали убитые. Потом мы узнали фамилии этих людей, подсчитали число сотен замученных, искалеченных, убитых немцами.

Город был в развалинах. Сгорел и Транспортный институт, здание радиоцентра. Дома стояли с выбитыми стеклами, разбитые, пустые и холодные. Так выглядит Ростов в часы, когда немцы были изгнаны из города.

Бои за Ростов

Ростову немецкое верховное командование придавало большое значение. И в самом деле, через Ростов лежит путь к майкопской нефти, к кубанской пшенице, лежит дорога на Кавказ. Развивая ростовскую операцию, немцы предполагали отрезать Юг от Севера и в течение зимы овладеть богатейшими районами Кавказа. Об этом и в октябре, и в ноябре оповещало немецкое радио.

Для осуществления задуманной операции враг бросил в бой крупные силы. Вдоль берега моря пробивалась бронегруппа Клейста. На правом фланге, стремясь овладеть Ворошиловградом, действовала группа Шведлера. Бронегруппа включала в свой состав 13-ю, 14-ю и 16-ю танковые дивизии СС «Викинг», «Лейбштандарт» и «Адольф Гитлер», 49-й горнострелковый корпус и 60-ю моторострелковую дивизию.

Группировке Шведлера удалось было вклинуться в нашу оборону. Но клин так и не превратился в прорыв. Шахтерские части Героя Советского Союза Петриковского вместе с войсками Шарыгина и Бреславца заставили Шведлера отойти на исходные позиции.

Так складывалось дело на северном участке Южного фронта. На юге, между тем, разразились серьезные события. В последних числах октября и в начале ноября части Клейста обрушились на Новошахтинск. Захватченные в течение этих боев приказы, карты и штабные документы позволяют с достаточной ясностью определить замысел операции. Клейст намеревался пробить нашу оборону у Новошахтинска, чтобы затем, выйдя к Новочеркасску, ударить на Ростов сразу с двух сторон — с севера на юг и с запада на восток — захватить город в клещи.

Но события развивались совсем не по плану. Нечто неоскандальное для немецкого командования появилось в тактике войск Южного фронта. Зарывались в землю, стрелковые части пропускали какую-нибудь танковую группу, а вслед за тем отрывались отнюдь не танкам, не давая немецкой пехоте устремиться в прорыв. Оборона была активной. Даже мелкие подразделения, даже отдельные бойцы научились действовать самостоятельно до последней возможности, осуществлять боевую задачу вне зависимости от того, есть связь с соседом или она отсутствует. Боец части Иванова товарищ Курилов оказался опrezанным от своего соединения. Кругом были немцы. Красноармеец решил использовать особенность своего положения. Была ночь. Недалеко остановилась колонна танков. Повсюду слышались звуки чужой немецкой речи, потом все затихло, только часовой ходит вдоль колонны. Красноармеец незаметно подполз к танку, отвинтил крышку бензинового бака и бросил внутрь опилчку. Машина вспыхнула, как факел. Воспользовавшись поднявшейся суматохой, боец скрылся и пробыл в своем.

Не зря прошли пять месяцев войны. Войска многому научились. Части Бурдейного, Шенетова и Филиппова разгромили 16-ю танковую дивизию, дивизии СС «Остланд», «Викинг», «Бестланд», «Германия». Это был очень серьезный удар по группе Клейста. Инициатива перешла в руки советского командования. Враг откатился на юго-западный берег реки Тузлов и окопался здесь. Однако он не отказался от наступательных планов. В эти дни некий лейтенант Эрик Штром писал своей возлюбленной:

«В общем у нас плохо — кровь, грязь, но впереди Ростов, а там виноградники, сады, рестораны. Я тебе напишу опуда, если меня не заедят до этого времени или если не убьет русская шуля».

Мечта о Ростове, богатом городе, где можно потрабать и отдохнуть, поддерживала сильно пошатнувшийся боевой дух немецкой армии. Клейст собирает все свои силы, пускает в ход даже дивизию «Адольф Гитлер», немецкую лейб-гвардию. «Но это, — пишет генерал-полковник Я. Т. Черевиченко, — уже не могло изменить логического хода событий, не могло вернуть врагу потерянную инициативу».

В конце ноября пенной очень больших потерь враг захватывает Ростов. Предварительная победа для немцев. Даже в официальных документах, приказах командования все яснее чувствуется ощущение тревоги и неуверенности. В приказе № 166/41 по 60-й мотострелковой дивизии говорится:

«Русские солдаты и молодые командиры очень храбры в бою. Даже отдельная маленькая часть всегда принимает атаку. В связи с этим немцы допускают человеческого отношения к пленным. Уничтожение противника огнем или холодным оружием должно продолжаться до тех пор, пока противник не станет безопасным. Фанатизм и презрение к смерти делают русских противниками, уничтожение которых обязательно».

Больше крови — вот единственный вывод, сделанный немцами из очень серьезных полябрьских событий. Они стали рассределять в Таганроге и Мариуполе вместо десятков — сотни мирных жителей, вместо сотен — тысячи пленных. Не помогло! Созданные на полях Франции, Голландии, Бельгии, Греции, Югославии формулы немецкой стратегии осуществлялись с прежней педантичной аккуратностью. Однако прежних результатов они уже не давали.

Прорыв: но за первой линией обороны вырастала вторая, третья, пока, наконец, не останавливался приспособленный к короткому удару обесилевший немецкий клин. Обход: но часть, которую как будто удалось обойти, организует круговую оборону и затем с тыла обрушивается на немцев. Кровь: но на смерть советские люди отвечают грозной, истребительной войной.

Немцы овладели Ростовом, и тут наступление их остановилось. Войска Южного фронта переходят в контрнаступление. С трех сторон обрушивается гроза на засевших в Ростове немцев. Части Лопатина — в направлении на западную окраину Ростова, части Харитонов — на северо-восточную. 56-я армия атакует из-за Дона.

Наступают жестокие, упорные бои. Первым в Ростов врывается полк НКВД. На Театральной площади завязывается горячее уличное сражение. За-



...Завязывается горячее уличное сражение

меститель пошипуха Кожеева и лейтенант Астасеев с группой бойцов очутились в Ростове, когда еще город находился в руках немцев. По существу, они попали в «окружение». Но это слово давно уже перестало путать советских людей. Отряд засел в одном из зданий и, открыв со второго этажа угаданный огонь по немцам, продержался до прибытия подкреплений.

Все больше брешей образовывалось в немецкой оборонительной системе. Кавалеристы части Кириченко стремительным рейдом, перерезав территорию, еще занятую противником, неожиданно ворвались в Ростов. Другая конная часть — кубанские казаки, — под командой товарища Куц, зашла во фланг немцам, проделав сложный и трудный марш по приазовским плавням. Погода не благоприятствовала операции, с моря подул ветер, вода в плавнях поднялась, взрывая лед на замерзших водоемах. Ни пройти, ни проехать. На помощь кавалеристам пришли партизаны-рыбачи, прекрасно знающие местность. Партизаны шли впереди регулярных частей, без отдыха, работая по горло в воде, они намораживали ледяные мосты, строили переправу.

Удачные действия частей Лопатина и Харитоновы позволили 56-й армии нанести удар с юга. Ночью кубанские казаки поползли по льду через Дон. Илота лед подламывался, и человек без крика уходил в воду. Без крика! Так договаривались казаки, от этого зависела жизнь товарищей, исход боя. Всплеснет вода, и снова все тихо. В десяты шагах не услышишь, что ползет казак.

Дон был форсирован. Вместе с регулярными частями мужественно действовал полк народного ополчения — вооруженные рабочие и служащие города.

Двадцать девятого в 4 часа враг был окончательно изгнан из Ростова. И тут открылась картина пребывания немцев в городе — семь дней, наполненных страшными событиями.

II. СЕМЬ ДНЕЙ

Кровавая неделя

У большого четырехэтажного здания школы, прямо на тротуаре, лежат трупы. Сколько их здесь? Дворник из соседнего дома говорит: «Я думаю, не меньше ста. Только наших тут человек двадцать, а сюда таскали со всего квартала!»

Трупы брошены влопалку, тела промоздеются на тела. У самой стенки их так много, что они наполовину закрывают окна первого этажа. Третий день стоят двадцатиградусные морозы, и мертвецы так плотно смерзлись, что небольшим красноармейцам и двум командирам с большим трудом удается отделять их друг от друга. Через полчаса мертвецы лежат уже поодиночке, во всю ширину тротуара — голые, голубоделые, в зимних пальто и все с обнаженными головами, только одна молодая женщина — в сползшей на лоб черной фетровой шляпке.

Почему их убили, почему так надругались над их телами? У самого края тротуара лежит старик, шестидесятилетний, крупный, седой человек, с густыми запыленными бровями. На крупном морщинистом лбу желтое кровавое пятно. В этого человека стреляли в упор, целились прямо в голову. Должно быть, он умер сразу, умер, растерянно ушибаясь, не успев сообразить, что умирает. Мы склоняемся над его трупом, шарим в карманах пальто и пиджака: рука уходит вглубь, все карманы срезаны. Из-под подкладки пиджака кто-то извлекает маленькую серую пребенку. Это все, что осталось у старика.

Рядом со стариком лежит мальчик, вихрастый, веснучатый, рыжий, он в рубашке и ватнике. Живот его разворочен, кровь залила внутренности, кровь смешалась с землей.

Третий в ряду — полный, жестоко изувеченный человек. Часть черепа снесена, голова разрублена пополам. На уцелевшей половине подбородка черная, густая, уже седоющая борода.

Четвертая — маленькая изможденная женщина в теплом платке; она как будто замерзла здесь, на прогарае ростовской улицы. На суконном пальто дыра — след разрывной пули.

Пятая — женщина с разбитым, проломленным черепом. Окровавленная зияющая выпадина рта. Все передние зубы выбиты, и без всякой медицинской экспертизы видно, что она умирала в страшных муках, что ее долго мязали и смерть наступила от удара тупым оружием.

Шестой, седьмой, восьмой — в этом ряду двадцать трупов. Уже выложены три таких ряда, а у стены дома наши бойцы продолжают разбирать трупы. Их там еще много! Кажется, дворник был прав... Тут не меньше ста человек. Искромсанные, изрешеченные пулями, обугленные, ожоженные, с почерневшими лицами, с вздутыми животогами, безногие, безрукие, кровавые обрубки тел.

Пока мы осматриваем трупы, вокруг собираются люди. На дальних улицах еще слышны выстрелы, но все уже знают, что немцы бегут к Таганрогу. Появляются первые прохожие. Девушка с двумя пустыми ведрами идет к Дону, трое мальчишек спускаются с обледенелой горки. Пожилая женщина-врач в белом халате, из-под которого видно зимнее пальто, торопится в единственную уцелевшую в городе больницу.

У кладбища уже большая толпа. Здесь только что прибывшая милиция, красноармейцы, подоспевшие кинооператоры. Жители выползают из укрытий и убегают. Толпа густеет, пока еще никто не решается подойти ближе к трупам — люди стоят на мостовой, смотрят издали.

Очень тихо. Из толпы выходят две старые бесшумно плачущие женщины и дружно, тяжело, без всякого крика падают на землю. Мария Хачатуровна Бандурова с 40-й линии нашла здесь труп своего мужа, Степана Салаконовича Бандурова, Александра Степановна Титрова, тоже с 40-й линии, опознала своего внука.

Теперь уже все бросились к трупам. Матери узнают сыновей, жены признают к телам мужей. Десятилетняя девочка находит мать. Это та самая женщина, которой проломлили череп. Девочка хочет поцеловать мать в губы. Вместо рта у матери кровавая затекшая рана. Девочка кричит.

Почти все убитые — жители соседних домов. Каждую минуту кто-нибудь узнает своих близких. «Это не он, не он!» — кричит молодая женщина возле трупа своего отца, у отца опрестав уши, и весь он так обезображен, что дочь узнает его только по пальто и сапогам.

Разборка трупов подходит к концу. Рядом с последними мертвыми мы находим плакат: на большом белом листе бумаги написано: «Это нерусские, это партизаны».

В толпе замечают немецкий плакат. Сразу смолкает плач, люди отходят от трупов близких, и тут же, среди растерзанных тел, в самом центре кладбища на асфальте, сам собой возникает первый ростовский митинг. Никому неизвестная женщина берет плакат, складывает его вдвое, потом вчетверо, рвет его на мелкие куски, рвет в клочья и рассказывает всем нам о кровавых днях оккупации Ростова.

На улицах стрельбами уже пятые сутки. Жители спрятались в подвалы. Ворота дома № 54 на Советской улице были заперты. Немцы стучали, били прикладами — ворота выдержали их натиск. Тогда фельдфебель бросил зажигательную бомбу. Начался пожар. Как только жители дома выбегали со двора, их хватали и вели на расстрел.

Клавдия Романовна Омельченко выбежала из дому вместе с сыном, двухлетней дочкой и старухой-матерью. На бегу Клавдия Омельченко споткнулась и упала. Ребенка подхватил сын, тринадцатилетний мальчик. Немцы начали стрелять по бегущим, ранили мальчика, затащили его в соседний двор и там растерзали.

На шестой день пребывания немцев у двадцатилетней Евгении Березкиной начались преждевременные роды. Березкина жила одна, мужа ее на второй день войны призвали в армию. Она собиралась переехать к знакомым, но все откладывала. В шесть часов вечера 27 ноября Березкина почувствовала сильные боли, разделась и легла в постель. С каждой минутой боли становились все мучительнее, начинались родовые схватки. Молодая женщина бросилась на улицу. Было уже совсем темно. Два квартала ей удалось пробежать незамеченной. На третьем квартале, у самого родильного дома, ее остановил немецкий патруль. Часовой подбежал к женщине, что-то громко крикнул и выстрелил в упор. Березкина умерла тут же, через несколько секунд.

Немцы, захватившие Ростов, убивали людей с каким-то спортивным чувством. В их палачестве был даже известный элемент азарта. «Один русский упал с автомобиля. Я тотчас же подбежал и каблуками так обработал ему череп, что он сразу перестал дышать», — писал своей матери солдат Эрих Шуте (почтовый знак 29 707) из Ростова. Немцы убивали беременных женщин и детей ради забавы, с веселой усмешкой. Они заводили патефон и под звуки шопеновского марша ставили свои жертвы к стенке и стреляли из автоматов. Но, стреляя в стариков и детей, они не просто заполняли свой досуг. При тщательном изучении документов о немецких злодеяниях в Ростове можно установить, что все преступления солдаты и офицеры совершали обдуманно, что в их поведении не было ничего неожиданного. Опыление кровью, садистский инстинкт, вкус к насилию в конце концов только побочные мотивы этих преступлений. Немцы убивают «с открытыми глазами», как правильно сказал американский писатель Драйзер. Они уничтожают людей с педантичной обстоятельностью, точно уверенные в своем ремесле работники. Их палачество — это и убеждение, и призвание, и профессия. Враги разума и человека, они с особой злобой преследуют всякое естественное и независимое проявление жизни, будь то плач ребенка, смех девушки; достаточно им было увидеть в ростовском саду им. Фрунзе спокойно резвящегося мальчика с голубем в руках, чтобы пристрелить его из пистолета.

Воинские уставы и фашистская мораль узаконили звериный инстинкт и ввели даже известное единообразие в технику истребления мирных людей. Перед нами лежат десятки и сотни актов, подробно описывающие зверства в Ростове. Достаточно просмотреть хотя бы часть документов, чтобы понять: немецкие солдаты убивают ни в чем неповинных мирных жителей в соответствии если не со специальными инструкциями, то по установившемуся и безусловно одобренному военным командованием обычаю. Они входят в дом и говорят при этом одни и те же слова. Потом они приступают к обыскам, приемы которых у них тоже почти всегда одинаковы. Они споняют всех жителей в одну комнату и заставляют их обиваться в угол или укладывают их вповалку. Во

время обыска они отделяют мужчин от женщин и детей, и если не убивают тут же, на месте, то произносят совершенно обязательную фразу: «Немецкое командование считает необходимым использовать ваших мужчин для особых целей». О каких целях идет речь, вдовы и сироты узнают через день или через два, увидев своих отцов, мужей и братьев на какой-нибудь ближайшей площади.

В три часа дня 26 ноября в квартиру рабочего Ростсельмаша Ивана Ивановича Савченко на Второй Мурлычевской, дом № 44, пришли семь немцев. Они спросили, не оставляли ли здесь русские оружие и, не дожидаясь ответа, приступили к обыску. Всех жильцов квартиры согнали в угол. Осмотрели шкафы, перебрали постель, выпустили пух из перин и затем предложили Савченко отправиться вместе с ними. Жена Савченко, Евдокия Дмитриевна, начала плакать. У Савченко пять детей, самому старшему семь лет. Дети, увидев плачущую мать, подняли крик. Немецкий ефрейтор скомандовал «смирно» и заявил, что «арестованный нужен для особых целей». Наутро Евдокия Савченко нашла труп своего мужа.

В тот же день в квартиру братьев Тысленко на 38-й линии, дом № 43, пришли девять немцев. Все события в этой квартире развивались в той же последовательности. Изоляция жителей, обыск, изъятие вещей, арест мужчин. Трех братьев Тысленко немцы увели с собой. В тот же вечер двое из них были расстреляны. Третьему, Ивану, чудом удалось спастись. Немцы расстреливали сразу большую группу ростовчан. В момент, когда раздался выстрел, Иван Тысленко ушел. Пуля пролетела мимо. Иван толкался несколько часов среди трупов, он слышал предсмертные стоны своих братьев. Их сразу не убили и добивали потом поодиночке. Когда немцы ушли, Иван выждал некоторое время и к утру добрался домой.

В течение дня и вечера 26 ноября немцы совершили по крайней мере сто таких налетов на квартиры.

Девять лет Гитлер внушал своим людям, что убийство есть долг «марширующего немца», что солдату «нечего церемониться со шкуркой ближнего», что война — это «игра на поголовное истребление», когда совесть становится «дурным воспоминанием прошлого». Немецкие солдаты хорошо усвоили законы Гитлера. По правилам «игры на истребление», они замучили в Ростове сотни людей. Но эти правила являлись для них нормой поведения только до известной поры. Каждый из них мог пойти дальше и убивать так, как ему нравится и как ему кажется интереснее.

Во дворе типографии на Советской улице немцы заметили двух семидесятилетних стариков, это были рабочие типографии, уже много лет проживавшие в этом дворе. Немцы выломали двери, схватили стариков и поволокли их к месту расстрела. Перед расстрелом они сняли с них теплые вещи и полтора-двух, в одном белье, заставили долго бить поклоны. Полчаса измывались немцы над стариками, прежде чем уложили их очередью из автомата.

Мы видели обезображенные трупы этих людей. Лица их были изрешечены пулями, одежда висела клочьями, собаки грызли их тела.

В поселке Ясная Поляна, в доме № 15, на Первой улице, в квартире шестидесятилетнего старика Булавина помещался немецкий штаб. Четыре офицера несколько дней жили в доме Булавина. При бегстве из Ростова офицеры со смехом и шутками расстреляли старика разрывными пулями. Старший офицер, убивая Булавина, насвистывал веселую песенку. Денщики этих офицеров жили неподалеку, в квартире Александры Дмитриевны Болдугановой (Первая улица, дом № 31). В то время как офицеры убивали старика

Булавиных, солдаты открыли стрельбу по тринадцатилетнему мальчику Васе Болдуганову. Разрывные пули попали мальчику в обе ноги.

Восемьдесят семь граждан Пролетарского района свидетельствуют, что вечером 26 ноября, перед расстрелом Шеклеванова (36-я линия, дом № 38) немецкий ефрейтор отрезал ему ухо. В погребе дома № 38 на Мурлычевской улице немцы били прикладами по голове старух и детей. Они бросали гранаты в квартиры и жгли горящими лапиросами глаза. Они требовали золота, и когда им отказывали, они выбивали изо рта золотые зубы¹.

Вскоре после освобождения Ростова органы милиции составили справку о гражданах города, замученных немцами. Вот как выглядит эта справка:

С в е д е н и я

о зверски убитых гражданах города Ростова

На территории первого отделения милиции	63 человека
" " " " " " " " " "	— 53 "
" " " " " " " " " "	— еще не учтено
" " " " " " " " " "	— 11 человек
" " " " " " " " " "	— еще не учтено
" " " " " " " " " "	— 225 человек
" " " " " " " " " "	— 47 "
" " " " " " " " " "	— еще не учтено
" " " " " " " " " "	— 270 человек

В с е г о 669 человек

Нужно принять во внимание, что это самые первоначальные сведения. Каждый день вносит поправку в кровавый итог. Трупы обнаруживаются при ремонте канализации, под льдом, в прилегающих к городу оврагах, в выброшенных ямах, в заброшенных зданиях, на пустырях.

Страшное горе постигло большой, полумиллионный город. С телеграфных столбов снимали трупы повешенных. По заснеженным улицам бродили бездомные. Безутешные матери находили трупы своих детей. Пыталась Елифановна Ткаченко удалить трупы своих близких. Вечером она написала письмо, текст которого мы приводим полностью:

«Дорогие товарищи! Я должна вам рассказать о своем несчастье. 26 ноября ворвались во двор немецкие убийцы. Они зашли в нашу квартиру и забрали мужа. К этому времени сын мой, Ткаченко Петр Иванович, вернулся домой. Немцы его тоже повели. Сын попросил пальто, я вынесла пальто мужу и сыну: немцы не разрешили брать, упрямая винтовкой. Меня к ним не допустили и увели раздетых. Ночь я провела без сна. Наутро я вышла из калитки, а мне говорят, что муж и сын мой убиты и лежат на углу. Убийцы не разрешили брать трупы. Отец с сыном лежали до 29 ноября, когда пришла Красная Армия. Тогда мы взяли трупы, над которыми убийцы издевались, не считаясь, что муж старик, что сын ребенок. Я, мать убитого бандитами моего

¹ Такой случай был и в Мариуполе, где немцы обложили золотой контрибуцией местное еврейское население. Золота ни у кого не было. Начались расстрелы. Тогда мариупольские евреи стали вырывать у себя золотые зубы и таким образом собранное золото сдали в комендатуру (цитируем по материалам политотдела 56-й армии).

ребенка. У меня убили мужа, я никогда не смогу забыть убийц из гитлеровской шайки. Мужу моему было 54 года, он был рабочим в артели имени Первого Мая.

Наталья Елифаловна Ткаченко».

Когда Ростов был освобожден и перед всем миром открылась картина жестокой и бессмысленной расправы над мирным населением, немецкая пропаганда, пытаясь оправдать преступления командования и солдат, заявила, что, во-первых, убийства в Ростове происходили в период сражений, так сказать «на поле боя», и что, во-вторых, расстреливали они переодетых врагов, захваченных с оружием в руках. Дикие, бесчестные выдумки палачей у микрофона. В самом деле, семидесятилетние старики из типографии на Советской улице — это солдаты? Беременная женщина, бегущая в родильный дом, — партизанка? Мальчик, спасающий из огня сестренку, — это враг, с которым немецкой армии нужно расправляться оружием?

И эти люди были убиты на пятый, шестой день оккупации, когда Ростов никак нельзя было назвать полем сражения. Конечно, как и все захваченные немцами города, Ростов сопротивлялся. Он не мог принять немецкого порядка, порядка виселиц и крови. Но немцы стали расстреливать еще до того, как местное население создало самооборону. С первых часов, с первых минут пребывания их в городе и до последней минуты не прекращался террор. 22 ноября немцы вошли в город, и в тот же день на заснеженных деревьях появились повешенные, у стен зданий — расстрелянные.

Немцы убивали первых попавшихся, случайных прохожих. На Советской улице немецкий офицер решил уничтожить равно пятьдесят человек. Захва-



На ростовском кладбище. Жертвы фашистского террора

ченных на месте жильцов одного дома (людей тоже ни в чем неповинных) оказалось меньше, и тогда по приказу офицера стали хватать всех прохожих, чтобы соблюсти эту математику палача. Кстати, убитых оказалось гораздо больше пятидесяти.

Когда газеты опубликовали ноту товарища Молотова о расстрелах и издевательствах над пленными красноармейцами, немцы поспешили заявить, что советским военнопленным живется у них припеваючи, сытно и спокойно. Министерство пропаганды даже выпустило к микрофону подставных лиц, которые аккуральными фразами из русско-немецкого разговорника заявляли, что дни пребывания в немецком плену самые счастливые в их жизни.

Ростов еще раз показал, что это неумная ложь. 27 ноября в 13 часов 30 минут конвой немецких солдат привел на Нахичеванский бульвар 17 красноармейцев и расставил их в две шеренги на тротуаре, вдоль ограды парка имени Фрунзе. Конвой начал расстреливать плешных из автоматов. Красноармейцы были мужественны и стойки. Когда расстрел закончился, четыре немца из конвоя подошли к решетке парка и стали добивать тех, кто остался живым. После этого по группам медленно проехал мотоцикл. 28 ноября на том же месте тот же немецкий конвой расстрелял еще шесть красноармейцев.

Вблизи Ростова отступающие немецкие солдаты замучили 30 пленных и раненых красноармейцев. Ниже мы приводим документ, свидетельствующий об этой расправе:

«А К Т

По уполномочию бойцов и командиров 70-й кавалерийской дивизии мы составили настоящий акт в том, что в селе Липиновое обнаружили у скирд на северной окраине 30 трупов красноармейцев, находившихся в плену фашистско-немецких войск и зверски расстрелянных 27 ноября отступающими гитлеровскими войсками.

Кроме того, у места расстрела были обнаружены два тяжело раненых красноармейца, спасшихся после отхода фашистов. Раненые сообщили, что вся группа была взята в плен в боях под Ростовом и использовалась на работах по обслуживанию фашистской части. Пищи не получали совершенно. Все время пребывания в плену пленные содержались под открытым небом. В чем и составлен настоящий акт.

Подписи: Рудич, Долгов, Левченко, Чуприна, Костенко, Петраков, Синельников и другие».

Семь дней пребывания немцев в Ростове — семь дней слез, стонов и пыток. В большом, полумиллионном городе нет ни одной улицы, где не лилась бы кровь, нет ни одного дома, которого не коснулось бы дыхание смерти.

III. НЕМЕЦКИЙ ПОРЯДОК

Захватив Ростов, немцы объявили город со всем его населением и имуществом военной добычей. Человек объявлялся просто живым инвентарем, а все его имущество — инвентарем мертвым, находящимся в полном распоряжении германской армии.

На взгляд всякого нормального человека, в городе установился абсолютный произвол. Однако произвол этот подчинялся своеобразным нормам. Очень не новый принцип лежал в основе этого «немецкого порядка»: захваченная территория содержит армию. Обершарфюрер Кацер (почтовый знак 29 707 Ф) пишет Иосифу Кацеру — Пукмантель, № 216 (юг Германии):

«Мы расположились в Ростове, большом индустриальном городе на Дону. Добыли свинью в два центнера весом и ее зарезали. Мы все очень сожалеем, что, очевидно, будем проводить рождество не дома, а в Ростове. Надеюсь еще раз добыть свинью, и тогда мы напечем пироги и хорошо отпразднуем сочельник».

Такой способ добывания продовольствия являлся основой снабжения немецкой армии. Захваченный в плен чиновник Фриц Гунтер на допросе показывал: «На Украине и на Дону мы получили указания значительно снизить пищевой рацион солдат, особенно в отношении жиров и белков (мясо), так как обилие (!) с населением давало возможность обеспечить нормальную калорийность питания нашего солдата».

Как и в других городах, в Ростове подобное «общение» с населением началось через полчаса после захвата города. Немцы рассылались по всему Ростову и стали аккуратно изымать фонды каждого квартала. Сперва обирались магазины, потом переходили к ограблению квартир и отдельных прохожих. В городе оставался всего двухдневный запас хлеба, немного продовольствия и товаров — все наиболее ценное было давно уже вывезено. Но немцы с жалостью набрасывались и на прогорклое масло, забракованное санитарным контролем, и на громоздкие чернильные приборы, десятилетиями лежавшие в самом дальнем углу складов канцелярских принадлежностей, а скисшее вино, которое предназначалось для переработки на уксус, сходило у них за донское игристое.

Вот несколько характерных случаев ограблений ростовских магазинов.

ОГРАБЛЕНИЕ № 1

Немцы подошли к магазину «Гастроном» на площади имени Карла Маркса, и один солдат прикладом выбил стекло витрины. Затем был задержан проходивший мимо мальчик, и его заставили влезть в магазин, чтобы проверить, не минированы ли полки. После этого они всей гурьбой ворвались туда. В магазине было почти пусто, только в углу удалось обнаружить запасы табака. И тут, забыв о всяких предосторожностях, немцы полбежали к полкам и стали вырывать пакки табаку друг у друга из рук. Потом они бережно и осторожно унесли свою добычу.

ОГРАБЛЕНИЕ № 2

Совершенно так же подошли к магазину галантерей, так же выбили стекло витрины, так же задержали мальчика и послали его на разведку. Нашли они тут пуговицы для кальсон, карандаши для бровей, воротнички, тесьму для трусов, детские портфели, дамские сумочки и много галстучков. Добыча была аккуратно погружена на стоящий рядом грузовик и увезена.

ОГРАБЛЕНИЕ № 3

Видно, они не сразу поняли, что это за магазин, и действовали с той же торопливой, но аккуратной и строгой последовательностью: витрина, мальчик, поиски добычи и дежес ее.

В магазине было полутемно, в углу стояла перепуганная сторожиха.

«Где товары?» — обратились они к ней. Сторожиха указала на полки. Немцы бросились к полкам и стали сбрасывать деревянных коней, пионерские барабаны, плюшевых мишек, куклы. Они действовали все быстрее и раздраженнее, издавая немнятные, сердитые восклицания. Опустошив все полки, они

стали топтать и рвать ямочки. Сторожижа стояла в углу и плакала. Она испугалась, и ей непонятно было это стремление к уничтожению.

Нет никакого смысла описывать сотни других ограблений — они в точности напоминают предыдущие три случая.

Пока солдаты и офицеры грабили магазины, на улицах был вывешен первый приказ немецкого командования. Сообщалось, что отныне власть принадлежит немцам и с большевизмом покончено навсегда. Затем последовала целая серия распоряжений, устанавливающих режим городской жизни. Как во всех городах, немцы требовали сдачи оружия и немедленной выдачи всех красноармейцев и партизан.

Специальный приказ устанавливал правовое положение евреев. Им предлагалось немедленно явиться для регистрации, надеть повязки с установленным немцами «сионским знаком» и вывесить эти «сионские знаки» на квартирах, а также в учреждениях и предприятиях, где они работают. Кстати, приказы эти большая редкость — в Ростове их почти не осталось, так как местное население уничтожало их, срывало со стен домов.

Приказы немецкой администрации и деятельность немецких комендатур, приступивших к учету населения, служили своеобразной подготовкой к массовому, повальному грабежу населения.

Такой грабеж начался примерно на вторые, третьи сутки. Очень часто немцы совершали обход квартир по заранее составленным спискам. Грабежи (немцы называли их «обыски») коснулись решительно всех слоев населения.

ОБЫСК № 1

(Квартира известного врача товарища М.)

В двери постучали. Когда жена доктора отворила, вошло несколько немцев. Один из них молча вытащил список и, сделав карандашом какую-то отметку, коротко спросил:

— Квартира доктора М.?

— Да.

— Как нужен только сахар — согласно приказу командования, выдайте имеющиеся запасы.

Женщина вытащила из буфета сахарницу и подала ее. Немец высыпал сахар на бумагу, аккуратно завернул сверток, после чего спрятал сахарницу в карман.

— Теперь мы осмотрим квартиру, — сказал он.

В кабинете немцы остановились около гарнитура кожаной мебели старинной работы.

— Госпожа, — сказал переводчик, — поскольку сахару больше нет, мы вывозем мебель.

Когда немцы ушли, в квартире не стало, кроме кабинетного гарнитура, еще и белья, чемоданов, бутылки с подсолнечным маслом.

На прощанье немцы сказали:

— Мы еще вернемся, и если вы что-нибудь утаили — расстреляем.

ОБЫСК № 2

(Квартира ростовского адвоката товарища Д.)

Немецкий художник Ганс Грюнвальд писал некой фрейлине Эльзе:

«Судьба закинула меня в большой русский город у Азовского моря. Я познакомился с несколькими местными жителями. Был на квартире у одного

адвоката. Его костюм точно сидит на мой рост и сделан из хорошего английского сукна. Как жаль, что ты меня не увидишь в этом костюме, — говорят, он очень идет мне. Ребята здорово обчистили эту квартиру. Я нашел там комплект журнала «Кунст» («Искусство») — очень старые номера. Я листал этот журнал и думал, смогу ли я после войны заниматься живописью? Ты знаешь, с каким удовольствием я рисовал ландшафты. Нет, когда кончится война, я не вернусь к своей старой профессии — ведь каждый из нас будет иметь возможность продвинуться дальше».

Из двух профессий художника и мародера Ганс Грюнвальд, не задумываясь, выбрал вторую.

ОБЫСК № 3

(В квартире гражданки Ц.)

Несколько немцев зашли в квартиру гражданки Ц. по Лензаводской улице. Они были вооружены пистолетами и автоматами. В квартире было много женщин. Немцы спрашивали каждую, сколько ей лет, и ответы записывали. После этого они вывели сестру хозяйки Марию Ц., 23 лет, и повели на третий этаж в квартиру Марии. Мать и соседки со слезами на глазах просили немцев не трогать молодую девушку. Но они заперли ее и по очереди изнасиловали. Вслед за тем еще изнасиловали старшую сестру на глазах ее плачущих детей.

Даже в тех случаях, когда немцы при обысках не убивали, а ограничивались лишь изъятием вещей, они предупреждали: «Мы вернемся и расстреляем». Эти фразы произносились самым спокойным и деловым образом. Ее одинаково правильно выговаривали все — и офицеры, знавшие русский язык, и солдаты, затвердившие только одну эту угрозу.

Улицы города выглядели опустошенными, покинутыми, город совсем не походил на прежний многолюдный, оживленный центр Северного Кавказа.

Между Аксаем и Ростовом у разбитого талка лежал труп замерзшего солдата Фрица Гауфмана. В кармане его мы нашли письмо:

«Я думаю, в Ростове тепло. Ничего подобного. Это какой-то страшный Юг. Говорят, здесь поблизости растут мандарины, где-то неподалеку находятся горячие целебные источники, а здесь мерзлая земля и ветер, обжигающий лицо. Чорт знает, как далеко мы забрались. Ростов самый большой город на моем пути. Но можно ли его назвать городом, если тут такой злобещий беспорядок? Ни уличной толпы, ни одного ресторана, ни дансинга. Гостиницы разрушены, магазины темные и пустые. Я целый день разыскивал парикмахерскую и так ее и не нашел. В детстве я видел кинокартины — в каком-нибудь далеком азиатском городе эпидемия холеры — все население убежало, — остались только непогребенные мертвецы и бедная утварь в лачугах. Теперь представьте себе не маленькую деревушку где-нибудь в Индии, а современный европейский город, покинутый его обитателями. И, что самое отвратительное, за пустыми окнами зданий, сколько бы их ни обшаривали, ни обыскивали, идет какая-то тайная жизнь, что-то шевелится, копошится, ерзает, так что могут быть всякие неожиданности.

Я очень люблю городскую жизнь, но если города выглядят такими зачумленными, лучше жить где-нибудь в самой захудалой деревушке. Говорят, что захват Ростова важен для нашей борьбы. Пожалуй, так оно и есть. Но мы, солдаты, не вкусили ростовских благ. Это холодный и непривлекательный Юг».

«Зловещий беспорядок». По улицам, пригнув голову, быстро проходили редкие жители. Немцы останавливали их, смотрели на ноги, корости ли сапоги, на руки, нельзя ли украсть часы, снимали теплые шапки. Немецкая армия входила в Ростов еще в относительном порядке. Но тут отчетливо появились признаки явной военной деградации. Система грабежа развела самую породившую ее немецкую военную машину. На улице можно было увидеть солдата или офицера в странного вида гражданской теплой шапке, закутанного в мантию. Армия еще не отступала, а некоторые части ее уже разительным образом напоминали наполеоновские войска, когда они уходили из разграбленной, сожженной Москвы.

И в письмах все явственней чувствовалась неуверенность, сомнения в завтрашнем дне. В армии, воспитанной на захватнических идеях, зарождалась мысль о возможном отступлении, о поражении.

IV. ГОРОД НЕ СДАЕТСЯ

В зале Октябрьского райкома партии лежали трупы немцев. Снаряд попал точно — пробил стену и уничтожил собравшихся на банкет офицеров. На столе мы увидели каким-то чудом уцелевшую запыленную бутылку вина — свидетеля невеселой пирушки.

Ни минуты покоя не давала немцам артиллерия. На Ростов-горе в школе № 66 поселились автоматчики. Грянул артиллерийский залп, и в школе не осталось ни одного живого человека.

Ростов не сдавался. Немцы попробовали найти опору в местном населении. К ним на службу пошли: уголовник Минас Агапов, врангелевец Август Вишневский, дважды сидевший в тюрьме Абрам Зухович и еще несколько подценов с длинным воровским или бандитским прошлым. Вне преступного мира найти пособников им не удавалось.

Население боролось с оккупантами. Комсомолка Клавдия Мирошниченко, телефонистка ростовского железнодорожного узла, приняла дежурство 20 ноября в час дня. Вместе с ней работали телефонистки Белова, Шатилова, Глущенко, механики Савина и Пыганов. День был очень тревожный. С каждой минутой приближалась перестрелка. Бой шел совсем рядом. К четырем часам дня стало известно, что немцы уже на вокзале и в любую минуту могут ворваться в помещение узла связи. Телефонистки решили остаться на своем посту, поддерживать связь воинских частей с Батайском, что было очень важно.

Только ночью Мирошниченко, получив приказ, покинула станцию и, переправившись через Дон, попала в Батайск к своим.

В тот день, когда в Ростов вошли немцы, комсомолка Лина Успенко была дома. К полудню перестрелка немного затихла, и Лина вместе с Верой Никитиной и Марией Кебруннер вышла из дому. Девушки узнали, что на железнодорожных путях остался вагон, где лежат раненые красноармейцы. Девушки решили спасти их. Высокая каменная стена преграждала путь к железнодорожным путям. Позвали на помощь прохожих, и за несколько минут стена была



Партизаны взрывают железнодорожное полотно

пробита. Раненых вытаскивали из вагона и разносили по домам. Заметив движение на путях, немцы открыли сильный огонь. Вера Никитина неслась в этот момент раненого. Она упала, ораженная тремя разрывными пулями. Через восемь дней смелая девушка умерла.

Семь суток Лина Угненко и Мария Кебруйнер ухаживали за ранеными, которых они спасли, делали перевязки, готовили пищу, прятали их от немцев.

В день вступления советских войск в Каменноломях и в других районах мы видели, как женщины проводжали бережных ими раненых красноармейцев. Подъезжала санитарная машина, раненого укладывали в нее, увозили. А женщины еще долго стояли на мостовой, глядя вслед.

В день сдачи города командир взвода лейтенант Козлов занимал оборону у высоты Безымянной, на окраине Ростова. У него осталось всего девять человек, и уже несколько часов, как он потерял связь с соседями. Начало темнеть, когда вернулся сержант Мищенко, посланный в батальон для связи.

— Все отошли, — доложил он. — В штабе никого нет. Уходим за Дон.

Лейтенант, построив маленький отряд, огляделся по сторонам. Город спал. Отсюда, с высоты Безымянной, видны были улицы Ростова. Из крайних маленьких, строений поднимался очень мирный и спокойный дымок. В центре дома сливались в одну черную громаду, четко вырисовывающуюся на золотом от заката небе.

Отряд спустился в город, пересек улицу Энгельса и направился вниз к Дону, когда впереди раздался четкий стук солдатских шагов. Из-за поворота показался немецкий патруль. Прижимаясь к стенам домов, бойцы скрылись в переулке. Здания сходились здесь тесно, как горное ущелье, отбрасывая пустую, почти черную тень.

Лейтенант остановился около большого серого здания и, помедлив секунду, поднялся на второй этаж.

На лестничной площадке было совершенно темно. На стук ответили не сразу. Потом послышался шорох. После секундной паузы (кто-то стоял, прислушиваясь за дверью) слабый, прерывающийся женский голос спросил:

— Кто это? Кто там?

— Командиры! — ответил Козлов.

Сразу затрещала цепочка, дверь рывком отворилась, и лейтенант почувствовал, что его кто-то обнял за плечи и тянет внутрь.

— Свои! А мы-то думали... Значит, свои.

Лейтенант и вслед за ним остальные очутились в маленькой, тесной комнате. Хозяйка разгребла уголь в печи, и теплый красноватый свет залил помещение. Козлов оглядел своих товарищей. Они расположились на стульях, на полу, стояли, прислонившись к стене, мокрые от снега, с обросшими, хмурыми, исхудавшими лицами. Тепло волнами разливалось по комнате. От него слабело тело, мямле становились лица. Мысли заволакивались огромной усталостью последних тяжелых дней.

— Значит, свои? Значит, в городе наши? — тревожно спрашивала хозяйка.

Лейтенант резко тряхнул головой, разгоняя сон, и поднялся. Ему было очень тяжело отвечать этой родной и милой женщине.

— Так вот, — начал он, наконец, хмуро глядя на огонь. — Мы-то остались здесь, а город не наш. Понимаете — немцы в городе.

Козлов собрал всю свою волю и посмотрел прямо в сразу осушившееся, усталое лицо хозяйки.

— Если скажете, мы, конечно, уйдем. С нами опасно. Мы ведь дешево жизни не продадим. Так что решайте. А то, может быть, сами уйдете к соседке?

Хозяйка, понуриив голову, стояла около плиты. Потом, не глядя, сделала несколько шагов вперед, точно слепая, нащупала лицо Козлова и очень легко, едва касаясь ладонями, погладила его.

— Чего ж, оставайтесь... У меня такой же в армии. Отдыхайте. Отдыхайте, — повторила она тихо.

Так начались эти долгие семь дней. Крутые сутки бойцы с винтовками стояли на часах у окон и дверей. Ночью, а иногда и засветло, по-двое, по-трое, закутавшись поверх гимнастеров в плащ или шинель, выходили на улицу. На берегу-Дона рядом с убитыми находили винтовки, гранаты. Оружие собирали и унесли с собой, чтобы не досталось оно врагу.

Город страшно изменился за эти дни. Немногие прохожие шли осторожно, сгорбившись, не глядя по сторонам. Как-то ночью зашли на окраину и впереди увидели страшную тень. Это четыре трупа висели на столбах.

Выглянула луна — стало видно далеко кругом. Пустые улицы, замерзший, залитый холодным серебряным светом Дон, пустые дома, точно бесконечная вереница тюрем, между которыми ходят часовые.

Лейтенант вдруг почувствовал страшную тоску — далеко ли свои? Удастся ли вырваться к ним?..

Ранним утром, закутавшись в черный непромокаемый плащ, лейтенант пошел в разведку на окраину города. Неожиданно сзади послышались быстрые, мягкие шаги. Лейтенант обернулся и в двух шагах от себя увидел высокого человека с серым небритым лицом. Несколько секунд они молча стояли друг против друга.

— Вредить? — даже не сказал, а выдохнул человек с серым лицом.

Лейтенант молчал.

— Партизан! Большевик! Я за тобой следил...—задыхаясь говорил человек.

Лейтенант бросился на врага. Но тот, согнувшись, быстро побежал, петляя между строениями. Лейтенант преследовал его, не разбирая дороги, чувствуя только одно — надо догнать и убить эту погань. Пустырь копчился. Начинаясь прямая, замощенная булыжником городская улица. На повороте у подъезда многоэтажного кирпичного здания лейтенант догнал, наконец, и схватил человека с серым лицом. Вокруг, немного поодаль, собиралась толпа. Люди стояли широким полукругом и молча, ничем не выражая своего отношения к борющимся, смотрели на них. Лейтенант, собрав все силы, бросил врага на мостовую и выпрямился.

Из-за поворота, прямо на него, совсем близко, четко отбивая шаг, двигался немецкий отряд.

— Сюда! Сюда! — пропитательно кричал лежавший на земле человек.

Уходить было уже поздно. Тогда лейтенант повернулся к толпе и, взглянув в хмурые, усталые лица, молча отогнул ворот плаща. Два лейтенантских кубика на командирской гимнастерке вдруг ярко, гордо и смело сверкнули на солнце. И сразу изменились, наполнились теплом лица людей, стоявших кругом. Толпа мгновенно окружила лейтенанта. Человек, лежащий на земле, куда-то исчез. Точно сама собой в толпе образовалась узенькая тропка. Чьи-то руки бережно подтащивали, направляли лейтенанта. Командир очутился на большом проходном дворе. Он не успел запомнить даже лиц людей, ради него рисковавших жизнью. Но какое-то явное, гордое чувство наполнило сердце. Он всегда знал, а теперь почувствовал каждую каплю крови, каждой клеточкой тела — немцам не удастся покорить этот веселый и прозный, смелый и честный советский город.

Даже дети вели борьбу с оккупантами. На Ворошиловском, около угла Дмитриевской, несколько дней лежал труп убитого мальчика. Немцы не позволяли убирать его. По ночам ребята соседних дворов отгоняли от трупа собак, караулили тело маленького героя. Вот история убитого. Он подкрался к штабной машине, облил ее керосином и хотел поджечь, когда его схватили часовые. В ночь немецкого отступления ребята, фамилии которых неизвестны, изрезали шины штабной машины, дежурившей у подъезда штаба, помещавшегося в школе № 68. Немцам пришлось бросить машину. Еще несколько дней она стояла у школы свидетелем непримиримой ненависти к врагам, самоотверженного мужества советских ребят.

На углу Доломановского и Пушкинской находились немцы — большой, сильный отряд. Это было в день сдачи Ростова. Группа ребят заметила, что к дому напротив подъехала машина и из нее вышли шофер и лейтенант. В то время как школьники старались отвлечь внимание немцев, Костя Демин подошел к лейтенанту и тихо сказал ему:

— Товарищ командир, нужно уезжать, в нескольких шагах немцы.

Лейтенант посадил мальчика с собой в машину и благополучно уехал.

Сейчас невозможно узнать фамилии тысяч людей, которые вели войну с оккупантами.

От Азова вдоль берега моря тянутся безлюдные, поросшие камышом, прорезанные многочисленными ериками плавни. Непривычный человек, понав сюда, никогда не выберется из этого странного, мертвого, однообразного леса камышей.

Из плавней днем и ночью на немецкие части, квартировавшие в соседних селах, нападали смелые летучие отряды. Они бросали гранаты в немецкие штабы, брали пленных, оружие и снова скрывались в камышах.

Так Ростов и донское казачество боролись с оккупантами, платя кровью за кровь, мстя за тысячи убитых, замученных советских людей.

V. РОСТОВ СОВЕТСКИЙ

Сперва казалось, что возродить город совершенно невозможно. Под ногами жалобно скрипело битое стекло, дома стояли без окон и дверей. Жили без хлеба, без света, без воды. Однако Ростов стал восстанавливаться прямо на глазах и без каких-либо миллионных ассигнований. В эти дни город напоминал едва оправившегося после тяжелой, почти безнадежной болезни человека, который точно заново учится ходить.

Город оживал. На рассвете 30 ноября в районе Нахичевани над низеньким полуподвальным помещением мы увидели выведенную красным карандашом на листе бумаги надпись крупными буквами: «Мастерская, работает попрежнему — производится чинка примусов». Почти одновременно открылась парикмахерская на Ворошиловском проспекте. Вывеской здесь послужила половинка простыни, на которой художник-самоучка изобразил пышную шевелюру и написал: «Завивка перманент с гарантией на шесть месяцев». В парикмахерской сразу образовалась очередь.

Город чистился, мылся, принимался. Дни стояли морозные, солнечные, ясные. Дворники вывели сор. Во многих домах окна были застеклены или забыты листами крашеной фанеры. Улицы принимали спокойный вид. Даже обычная гуляющая ростовская толпа появлялась в предвечерние часы на проспекте Энгельса. Люди точно стремились вознаградить себя за семь очень тяжелых, тюремных дней.

Ростов восстанавливался. Новые черты появились в облике города. Ростовчане стали суровее, серьезнее, и каждый очень многое продумал про себя. Исчез и, вероятно, навсегда исчез тип стороннего человека, который думает, что все происходящее не касается его и, как бы ни было плохо, он всегда отсидится в своем домике.

Общий враг, горе, коснувшееся почти каждой семьи, тяжелые испытания семи дней, как никогда, объединили население города. Это сказалось прежде всего в работе — на темпах восстановления хозяйства и промышленности, на темпах строительства оборонительных укреплений.

Каждый день, даже каждый час приносил новое. На улице Энгельса в разбитом киоске стали продавать нарзан. Холодно, продукт не по сезону, но так приятно купить бутылку нарзана в первом советском ларьке, заплатив советскими деньгами. В пекарнях стали выпекать хлеб, и уже на вторые-третьи сутки эта проблема городской жизни была решена. Бесперывно работали водопроводчики, восстанавливая старый водопровод. Условия были очень трудные, вода могла замерзнуть и разорвать трубы. Нельзя было терять ни секунды. Через несколько дней после изгнания немцев водопроводчики дали воду, электрики — свет. На вокзал пришел первый поезд из Москвы. Его встречали с удивлением и радостью — милого далекого гостя. Поезд привез пакеты с почтой и груды свежих московских газет. На почтамте стали принимать письма. Ростов давал о себе знать, описывался с родными и близкими. Вслед за тем восстановлена была телефонная и междугородная телеграфная связь.

Ростов соскучился по работе и горячо взялся за труд. На фабрике имени Розы Люксембург стали выпускать миллионы папирос для армии. На И-ском и другом И-ском заводах начали выпускать продукцию — тоже для армии. Тысячи жителей превращали город в крепость — для обеспечения тыла армии.

Жизнь входила в нормальную колею. В помещении театра музыкальной комедии состоялся первый концерт. Было холодно, люди сидели в шубах. На завалес платили солонники — в дни немецкой оккупации он был запрятан где-то в сарае. Но зал был переполнен, и каждый номер встречался бурей благодарных аплодисментов. Вслед за тем открылся постоянный театр, начала работать библиотека имени Максима Горького. В школах начались занятия.

В восстановленном дворце пионеров поставили даже сцену для ребят. Об оккупации говорили как о давно прошедшем. «Это было тогда, когда в городе были немцы». Но о днях этих не забыли, о них нельзя забыть.

То, что Ростов стал советским, сразу сказалось на жизни буквально всей области. В городе Шахты пошел трамвай, открылись больницы во многих поселках и станицах. Шахтеры приступили к добыче угля.

Вот что происходило в городе Ростове-на-Дону в первые дни после 29 ноября 1941 года. Люди восстанавливали прежний Ростов, и каждый помнил, что если надо выбирать между немцами и смертью, — лучше выбрать смерть.

Проф. В. Пичета

ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ

Михаил Брагин, Полководец Кутузов. М., «Молодая гвардия», 1941, стр.

Каждая советская историческая книга привлекает к себе внимание читателя, хотя бы она касалась давно известных сюжетов, так как он всегда найдет в ней новое, оригинальное освещение событий нашего исторического прошлого.

Не без основания читатель раскроет работу М. Брагина, посвященную герою отечественной войны 1812 года, М. И. Кутузову, о военной деятельности которого было высказано столько противоречивых и часто совершенно ложных взглядов. Многие дореволюционные историки умаляли роль Кутузова в отечественной войне и поражении Наполеона. Подчеркивает его в своей книге «Дипломатия и народная война» и М. И. Покровский.

Начало советскими историками в последние годы тщательное изучение истории первой отечественной войны дало возможность представить деятельность Кутузова, как главнокомандующего в 1812 году, в совершенно новом аспекте. Впервые это было сделано проф. Н. А. Левинским, который правильно отметил, что «одни только тарутинский маневр М. И. Кутузова ставят его в ряд замечательных полководцев мира. Всеобщее и подробная характеристика М. И. Кутузова дана акад. Е. В. Тарле. В большей его работе подробно рассмотрена та тяжелая обстановка, в которой шла деятельность М. И. Ку-

тузова как главнокомандующего¹. Не сколько интересных высказываний о деятельности М. И. Кутузова находим в главе об «Отечественной войне 1812 г.», написанной проф. М. В. Нечкиной в «Истории СССР», ч. II. Автор правильно отметил, что перед Кутузовым главнокомандующим «стояла чрезвычайно сложная задача: надо победить противника, во много раз превосходящего русскую армию по численности и притом глубоко враждебную в стране. Выполнить эту задачу решил с пылкостью заветов жизни русского человека стремился поддержать именно характер войны и ценою любых усилий сохранить армию, не допуская разгрома превосходящими силами противника². Правильная оценка стратегической точки зрения «обход» невра Кутузова!»

Высказывания о полководце Н. А. Левинского, Е. В. Тарле, Нечкиной и других по-новому освещают деятельность полководца Кутузова: стратега и тактика, который возглавил русскую армию в ее борьбе с врагами.

Но советская историческая наука до сих пор не располагала научно-

¹ Е. В. Тарле. Нашествие Наполеона в Россию, М., 1938 г.

² «История России», ч. II, 1940 г. стр. 87.